THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят шестой год издания

Кн. 287 **НЬЮ-ЙОРК** **2017**

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Генрих Иоффе, Елена Краснощекова, Мария Рубинс, Валентина Синкевич, Владимир фон Цуриков

Ответственный секретарь – Рудольф Фурман
Редакция – Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Марина Гарбер, Илья Куксин

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; C.Geacintov; V.Galitzine; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; N.Lobanov-Rostovsky; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff; O.Radish; I.Sikorsky; V.Sinkevich; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW
№ 287, Июнь 2017
© 2017 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.
POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Илья Гельбах – Прошлое. Главы из романа 3
Геннадий Кацов – Просыпаясь из детства. Стихи 105
Анна Гальберштадт – Стихи 109
Виктор Санчук – Стихи 115
Владимир Батшев – Свидание в июне. Рассказ 120
Сергей Шестаков – Стихи 129
Елена Малишевская – Стихи 132
Ирина Рувинская – Стихи 134
Елена Литинская – По сокрытому временем следу... Стихи 137
Анатолий Николин – Предчувствие Астрид Брандт. Повесть 139
Александр Беляев – Стихи 195

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Л. Ф. Краснова – Биографические данные о Войска Донского генерале от кавалерии Петре Николаевиче Краснове (*Публ. – Ж. Шерон*) 197
Юрий Мандельштам – Статьи о франко-русских прозаиках (*Публ. – Е. Дубровина*) 221

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Антон Бакунцев – Как Бунин готовился стать эмигрантом. 1919–1920 238
А. Гусаченко – Деятельность сокольских организаций в межвоенной Латвии 253
Майя Сёмина – История портрета князя Оболенского кисти Малявина 267
Марк Уральский – Кузнецкстрой: литературный миф как документ эпохи 274

ИНТЕРВЬЮ. ЭССЕ. ЗАМЕТКИ

Лев Гудков, Надежда Ажгихина – Свободы черная работа. Интервью 292
Ольга Матич, *Юлия Горячева* – Люблю объединять. Интервью 302
Сергей Голлербах – Памяти двух друзей 309

Валентина Синкевич – Памяти Е. А. Евтушенко 316
Виталий Райхман – Памяти Евгения Евтушенко.
Стихотворение 323
Александр Кедрин – Друзья мои поэты, великие и малые
(*Публ. – Ю. Сандулов*) 324
Ирина Тишина – Открывая русскую Америку 343

БИБЛИОГРАФИЯ

Блок Марины Гарбер: Андрей Грицман, Борис Херсонский. Свитки. Библейские стихи; Хельга Ольшванг. Трое. Стихи; Анна Гальберштадт. Transit. Стихи; М. Л. Гаспаров. Записки и выписки. Изд. 3-е; Ольга Балла. Упражнения в бытии; ***Евгений Голлербах*** – Марк Уральский. Неизвестный Троцкий; ***В. Леонидов*** – Н. В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии; Лейб-гвардии конная артиллерия в боях и операциях Великой войны; Солженицынские тетради. Вып. 5; ***А. Ю. Вовк*** – О. Матич. Записки русской американки; ***Ксения Кукина*** – Анна Иделевич. Вспять реки ДНК 348

ОБ АВТОРАХ 386

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Илья Гельбах

Прошлое*

У СТЭНОВ

1

На стене против письменного стола в кабинете моего деда висит морской пейзаж. Дело идет к вечеру, и свет, проникающий сквозь большие окна на четвертом этаже дома на Большой Конюшенной, отражается от края старинной позолоченной рамы и словно укрывает поверхность холста призрачной, незримой вуалью. Холст невелик – 40х32 см. Висят на стенах кабинета и две старые, в темных рамках начала восемнадцатого века английские гравюры, выполненные зеленоватой, цвета морской волны тушью.

На знакомой мне со времен детства картине ван де Вельде Младшего изображен английский парусник, попавший в грозу, – часть парусов убрана, часть сорвана налетевшим шквалом. Судно пытается уйти из прибрежной полосы. В памяти остаются реющий на мачте штандарт и тень судна на возвышающейся, с белыми гребешками, волне на переднем плане. На заднем плане, ближе к береговой полосе, на фоне высокого холма терпит бедствие другое судно. Ветер сорвал с него паруса, и волны, похоже, несут его к берегу. Водяные горы, опасно накренившееся судно, отданное на волю разбушевавшейся стихии, проходящая стороной гроза и темно-зеленая вздыбленная масса воды, движение и освещение облаков, присутствие голубовато-фиолетовых обертонов и серо-розовых зон, высветляющихся к левому краю картины, – все передано легко, атмосферично и как бы безыскусно, но абсолютно виртуозно.

Семейная легенда утверждает, что заказчик полотна – владелец судна, чудом избежавшего кораблекрушения. «In Londen,1674» написано кистью на обороте оригинального холста. Там же и подпись художника – Willem van de Velde de Jonge. Художнику в пору написания картины было чуть более сорока лет. Жил он в Гринвиче, на правом берегу Темзы, в просторном особняке с огромными окнами, из которых легко было наблюдать за проходившими парусниками.

---

* Главы из романа «Музейная крыса»

Портрет Виллема Младшего, написанный Людвигом ван дер Гельстом незадолго до переезда де Вельде из Голландии в Англию в 1673 году, доносит до зрителя присущее облику Виллема Младшего гармоничное сочетание жизненных сил с ясным осознанием целей и намерений королевского живописца. Еще при жизни его называли «Рафаэлем морской живописи».

2

Прошлое Стэнов, как это уже, наверное, ясно, довольно почтенное, и очертания его расплываются в балтийском тумане.

Мой дед, профессор-филолог А. А. Стэн – фигура для меня не совсем ясная и даже несколько загадочная. Я хорошо помню его желтые, аккуратно остриженные ногти и сопутствовавший его появлению запах табака. Голос его казался мне скрипучим, он покашливал. Иногда он переходил на немецкий. Одной из его любимых фраз была: «Dieser Mann ist ein Narr»*, ею он иногда завершал дискуссию о том или ином персонаже. Нельзя сказать, что использовал он ее слишком часто, но фраза эта означала, что все разговоры об этом человеке прекращались.

Известно, что дед в совершенстве владел старыми и новыми языками северных стран и что несколько его книг по скандинавско-германской мифологии, опубликованных в конце двадцатых – начале тридцатых годов, по сию пору принадлежат к списку цитируемых историками культуры источников. Считалось, что никто лучше него не знает деталей жизни Вотана, Одина и дюжины других богов Валгаллы. В познаниях его, как это стало ясно со временем, нуждались не только студенты и историки, но иногда и военные аналитики, пытавшиеся разгадать планы немецких наступлений и контрударов, зашифрованных именами северных богов.

Говаривали, кстати, что познания довели А. А. Стэна до сумасшедшего дома, что, разумеется, означает лишь то, что вокруг моего деда хватало недоброжелателей. На самом же деле произошло вот что: в середине тридцатых годов его пригласили в Академию Генштаба в Москве прочесть лекцию о воззрениях викингов на искусство войны. Вскоре после этого дед по представлению Старокопытина, о котором речь пойдет ниже, был направлен в Институт Ганнушкина, где вместе с бежавшим из Германии психоаналитиком еврейского происхождения принял участие в составлении психологических портретов персонажей правящей немецкой верхушки с приложением описания возможных моделей поведения этих лиц в кризисных ситуациях.

---

* Этот человек глупец (*нем.*)

Участие деда, как рассказывала моя тетка Агата, выразилось, в основном, в полировке или, скорее, уточнении перевода документа на русский с учетом специфики психоаналитической терминологии, постепенно, со времен изгнания Троцкого, оказавшейся не слишком уместной и приемлемой в России начала и середины тридцатых годов и оттого вытесненной в сферу подсознательного вместе с самим учением Фрейда.

Отдельного рассказа, как утверждала Агата, заслуживали и его поиски верного и уместного перевода слов, связанных с понятием das Schicksal (судьба, участь, рок, доля – слова эти не раз употреблял Сталин), поскольку немецкий психоаналитик использовал в своей работе и иные, синонимически близкие к das Schicksal, слова: der Tyche – судьба-случай, das Geschick – судьба-сноровка, das Los – судьба-жребий, das Verhängnis – судьба-рок, и, наконец, der Moira – судьба в самом что ни есть античном смысле, символизируемая пряжей, что плетут Мойры, три сестры, дочери Ананке от Зевса: Лахесис, назначающая человеку жребий до его рождения, Клото, прядущая нить жизни, и Атропос, обрезающая ее в назначенный час. Сама же Ананке есть божество необходимости и неизбежности, персонификация рока, судьбы и предопределенности.

Коснемся, кстати, и еще одного интересного вопроса, связанного с судьбой немецкого психоаналитика. Официальная версия того, что произошло, когда разразившаяся через несколько лет война подошла к Москве, состоит в следующем: в столице началась эвакуация, уехали из столицы и сотрудники Института Ганнушкина, а о психоаналитике забыли, имени его не оказалось в списке эвакуируемых сотрудников. Беглец и его жена, предполагая, что немцы войдут в Москву через несколько дней, покончили с собой во внезапно опустевшем доме.

Как правильно описать судьбу психоаналитика и его супруги? Что же произошло на самом деле? И было ли то, что случилось, связано с судьбой этого человека – das Schicksal, да и существует ли судьба вообще?

Следует при этом заметить, что сам дед, согласно одному из поздних рассказов Агаты, полагал, что психоаналитика и его жену намеренно отделили от его коллег по Институту Ганнушкина и оставили в Москве с тем, чтобы от него избавиться, ибо написанные им психологические портреты нацистской верхушки ясно демонстрировали качества того человеческого материала, который поставляет «вождей», и оттого могли быть сочтены провокационными и опасными читателями перевода.

Возможно также, говорил дед, что случившееся с немецким

психоаналитиком и его женой объясняется тем, что кое-кто из верхушки захотел воспользоваться подходящей ситуацией и не только избавиться от него, но и «наложить лапу» (тут я повторяю выражение Агаты) на вывезенную им из Германии богатейшую библиотеку, коллекцию французской эротической бронзы и роскошную мебель.

– В 1941 году ему было пятьдесят пять, – сказал дед Агате, – он был ветеран Первой мировой с двумя Железными крестами. Его жена-немка была жесткая и сильная личность, под стать ему, я их живо помню, и, поверь мне, – продолжал он, – такие люди не уходят из жизни по своей воле или за просто так. Сначала, после прихода Гитлера к власти, он бежал из Берлина в Швейцарию, откуда позднее уехал в Москву. Идея о «грандиозном эксперименте» была в те годы на Западе в большом ходу, но какими «коврижками» завлекли его, я не знаю. После начала репрессий он, конечно же, понял, кто нами управляет, – для этого достаточно было послушать, в чем эти управленцы обвиняли друг друга на московских процессах. Конечно, – добавил он именно тем тоном и в той же манере, которой, по утверждению Агаты, вещал с кафедры, – этот человек, а он был еврей, ощутил всплеск стихийного или, так сказать, народного антисемитизма, случившийся сразу после начала войны, но ведь до прямых погромов дело не дошло, да и не могло дойти, ведь это означало бы вызов существующей власти, чего эта власть, естественно, допустить не могла, – добавил дед, возвращаясь к нормальной тональности, – мерзавцы, такие, как Старокопытин, – продолжал он, чуть понизив голос, – понимали многие вещи каким-то инстинктом, и понимали их очень хорошо.

Сказал он это совершенно спокойно, рассказывала Агата, подобно врачу, сообщающему тяжело больному пациенту, что у того всего лишь легкое недомогание. Оставалось только догадываться, добавила она, кто именно из высших чинов мог быть заинтересован в приобретении коллекции отлитых в бронзе французских эротических фигурок и мебели, выдержанной в духе арт-нуво.

Что касается семьи моего деда, то они вместе с бабкой и моим отцом, которому в год начала войны исполнилось четырнадцать, выжили благодаря специальному усиленному пайку, выдававшемуся от штаба округа. Работал дед и в Радиокомитете, где переводил на немецкий тексты пропагандистских передач, которые велись с линии фронта. Возвращаясь домой из Радиокомитета, А. А. Стэн время от времени заходил к своей сестре, которой он всегда пытался помочь. Сестра деда и ее муж погибли во время артобстрела зимой 1942 года. Их дети были вывезены в эвакуацию и по окончании войны остались жить в Средней Азии.

Воспоминания учеников А. А. Стэна, зачитывавших переведенные дедом на немецкий тексты из брошенных окопов на ничейной земле, были опубликованы в сборнике воспоминаний участников обороны города. Чтецом стал и мой отец вскоре после того, как был призван и попал на фронт. Из его рассказов запомнились мне белый, ослепляющий снег, мороз, патефоны и пластинки с песнями, особенно запала ему в душу песня «Die Fischerin vom Bodensee»*, поскольку была связана с памятью о ранении; вспоминал он и тишину после окончания музыкальных пауз и то, как звучали дребезжащие голоса чтецов на фоне возобновлявшихся звуков перестрелки.

После ранения под Кенигсбергом и недолгого пребывания в госпитале сын А. А. Стэна вернулся в строй и вскоре стал курсантом Военно-морской медицинской академии. Его курсантское удостоверение с фотографией молодого человека, внешне чем-то схожего со мной, хранится в правом ящике моего письменного стола.

Фотопортрет деда в сборнике посвященных его памяти академических трудов представляет его крупным пожилым мужчиной с большим, отлично вылепленным лбом и светло-серыми, почти прозрачными глазами за стеклами очков в тонкой металлической оправе. Его коротко подстриженная седая бородка естественно завершает образ, характерный для уроженцев Севера. Он дожил до восьмидесяти и ничем особенным мне не запомнился, разве что тем, как рука его тянулась за чашкой кофе, оставляя позади крахмальную манжету рубашки с янтарными запонками, – возможно поэтому рука его казалась мне в детстве бесконечно длинной. Обычно дед был погружен в себя, молчалив, любил кофе и однажды на моей памяти, обратившись к моей бабке Аде, с тоской вспомнил о голландских сигарах. Раньше их запас вместе с запасом сигарет для бабки время от времени восполнялся его возвращавшимися из заграничных командировок знакомыми; ароматы появившихся в начале шестидесятых годов кубинских сигар казались ему несколько чрезмерными. Помимо сигар, дед любил хороший портвейн. Красноречивым он, как говорили, становился на кафедре, когда его подстриженная бородка взлетала и опускалась в согласии с развиваемыми им положениями. В одной из статей сборника упоминается и собранная им небольшая коллекция живописи, и то обстоятельство, что тишину своего кабинета предпочитал он всему остальному на свете.

Его жена Ада была моложе деда на десять лет и родила ему двоих детей, Агату и Александра, моего отца. Я хорошо помню бабку, ее темные густые кудри и почти прозрачную розоватую кожу, летящий про-

* Рыбачка с Боденского озера (*нем.*).

филь и большие влажные карие глаза, светлые строгие шелковые кофты и длинные темные юбки. Иногда бабка курила сигареты из табака с медовой примесью, вставленные в светлый слоновой кости мундштук. Моя тетка Агата утверждала, что сигареты были египетские.

Ада была дочерью еврейского провизора из Вильны. За несколько лет до начала Первой мировой войны провизор решил покинуть Российскую империю и уехал с семьей в Хайфу, где собирался поселиться под горой Кармель, в доме, который он приобрел во время своего путешествия в Палестину в 1910 году. Ада, однако, решила в Палестину не ехать, бежала из дому, крестилась и вышла замуж за польского композитора, чьей музыкой и антропософскими воззрениями она увлеклась еще с юности. Она получила приличное музыкальное образование и, помимо польского и русского, свободно изъяснялась по-французски и по-немецки.

– Думаю, она перешла в католичество для того, чтобы сочетаться браком со своим польским избранником, – пояснила Агата.

Впрочем, по мнению Агаты, само стремление Ады выйти замуж могло произойти не только от увлечения ее будущим мужем или его идеями, но и от стремления к независимости от того семейного уклада, что был ей знаком. И, разумеется, ее будущий польский муж казался Аде настолько привлекательным, что она действительно сбежала из дому, приняла католичество и обвенчалась со своим возлюбленным. Ей нравилось глядеть в его ясные светлые глаза, несколько утопавшие в тумане их собственного свечения, ее привлекали его светлые, аккуратно подстриженные усы, бородка и правильные черты лица. К тому же она понимала, что муж боготворит ее, она физически ощущала исходившие от него флюиды обожания. Вскоре они оказались в Петербурге, куда их привело ощущение небывалого творческого подъема, охватившее ее мужа Витольда после отречения Николая Второго и Февральской революции.

Сразу же после октябрьского переворота Ада, благодаря случайной встрече с одним из уроженцев Вильно, начала работать переводчицей в наркомате Троцкого, и молодая семья вселилась в небольшую квартиру в доме на Большой Конюшенной. Все время, свободное от лихорадочного заполнения нотами листов партитуры, муж ее проводил в Петербургской консерватории у профессора А. К. Глазунова, ради встреч с которым он, собственно, и приехал в Петербург. За окном лежала покрытая снегом улица с голыми черными деревьями; пачки листов нотной бумаги с партитурой балета-мистерии по либретто, написанному самим Витольдом, множились и постепенно перемещались с подоконника на письменный стол, а оттуда на черную крышку рояля; он же сидел над ними днями и ночами, не дове-

ряя их переписчикам, что, в конце концов, привело его к физическому и нервному истощению.

Зима выдалась чрезвычайно холодной. В начале февраля новое правительство и его департаменты переехали из Петрограда в Москву, и Ада перешла на работу в Петросовет. Вскоре Витольд тяжело заболел и в конце февраля умер от инфлюэнцы. «Он сгорел», – написала Ада в отосланном с оказией письме своей виленской подруге Агате. Позднее она сравнила события того черно-белого времени с попыткой выполнения «петли Нестерова» аэропланом, который не выдержал напряжения и развалился в воздухе.

Организацией похорон ее мужа занялся сотрудник Петросовета, человек по фамилии Старокопытин. Уступив требованию Ады, он распорядился отвезти гроб с телом покойного на Выборгское римско-католическое кладбище, где его похоронили в могиле, выкопанной в промерзшей земле. Когда гроб опустили в могилу и по крышке его застучали комья холодного грунта, она поняла, что пришедшие на похороны знакомые вскоре разойдутся и она останется одна. «Смерть разделяет, – подумала она, – как и вера.» И ей вдруг пришло на ум, что следовало бы подумать о возможности отъезда в Хайфу. Но в это мгновение к небольшой группе людей, провожавших в последний путь ее мужа, присоединилась пара, за минуту до этого внезапно появившаяся в кладбищенских воротах и быстро направившаяся к еще не доверху засыпанной могиле. Когда эти люди подошли ближе, она увидела знакомое, дорогое для нее лицо виленской подруги Агаты, которую сопровождал ее муж Сташек.

Оказалось, что они прибыли в Петроград для разрешения достаточно сложных финансовых обстоятельств, связанных с облигациями «Заема Свободы», выпущенными Временным правительством. Декретом СНК от 16 февраля 1918 года облигации мелких номиналов этого займа были приняты к обращению в качестве денежных знаков, и Сташек планировал превратить содержимое чемодана, набитого облигациями, которые он в свое время скупил за бесценок, во что-то менее эфемерное. По настоятельной просьбе Ады они поселились у нее и тем самым воспрепятствовали намерениям одного из ее коллег по работе в Петросовете переехать в небольшую квартиру, где она жила. Итак, Агата и Сташек поселились у Ады, и Агата не оставляла ее одну большую часть зимы.

Поначалу Сташек собирался приобрести драгоценности у местных ювелиров, но ювелиры требовали твердую валюту, и оттого Сташеку пришлось изменить направление своих усилий: теперь он пробовал скупать для начала живопись и антиквариат удобного для траспортировки размера. Несколько раз он предлагал Аде уехать вме-

сте с ними в Вильно, клятвенно обещая помочь ей добраться до Хайфы, как только война на Ближнем Востоке окончится.

Шло время, Ада постепенно приходила в себя после смерти мужа, время от времени вспоминала о Хайфе, однако сама идея возвращения в родную семью ее никак не прельщала, она не желала даже и думать о родителях, их понимающих, всепрощающих взглядах, вздохах сочувствия, вопросах, своих вынужденных рассказах и подобном, сопутствующем любому возвращению, аккомпанементе. И в то же время ничего, решительно ничего не удерживало ее в Петрограде; возможно, она и покинула бы его, если бы не факт встречи сначала с ее виленской подругой , а затем уже и знакомство с соседом по лестничной площадке, доцентом А. А. Стэном.

Попробуем объясниться... Аде нравилось само название города, в самом этом слове – Хайфа – звучал, казалось, и реверберировал юг, нота «фа», солнце и бесконечная морская гладь, и все это рикошетом, по касательной, а именно такой способ установления связей был для нее характерен, наводил на мысли о Майорке, где однажды провел зиму Шопен, чьи баллады она играла на укутанном в попону рояле. Более того, в один из темных и вьюжных январских дней незадолго до своей смерти муж обещал ей, что после завершения работы над его opus magnum они отправятся в Вальдемоссу. Собственно, именно этот рояль и был причиной того, что Ада и ее муж оказались в этой оставленной хозяином квартире. После октябрьского переворота в городе начались грабежи и повальное пьянство, а матросам, наводившим революционный порядок в серо-синей мгле холодного и пьяного города, нравилось врываться в особняки и выталкивать рояли с антресолей на булыжник и брусчатку мостовых.

Рояль в квартирке на Большой Конюшенной был именно тем, что хоть как-то, до какой-то степени примиряло Аду с происходившим вокруг. И если до этого она знала, что присутствовавший в ее жизни и в жизни ее мужа элемент безумия был совершенно естественно связан с их собственным выбором, – при желании они могли бы построить свою жизнь иначе, – то теперь никакой возможности не то чтобы вернуться в какую-то более или менее нормальную жизнь, а и просто увидеть ее, не было.

Одним из немногих материальных свидетельств этой ушедшей в никуда жизни был укрытый попоной Бехштейн, всегда ожидавший, казалось, приближения Ады, обнаружившей в брошенной квартире еще и богатую коллекцию нот для фортепиано. Лежали на полках и черновые наброски нескольких фортепианных пьес, свидетельствовавшие о современных вкусах и новаторских устремлениях ученика

Глазунова, в один прекрасный момент покинувшего эту небольшую, но уютную квартирку и, после недолгого пребывания в Выборге, уехавшего в Финляндию, а оттуда в Париж, где музыкальная судьба его не сложилась из-за ссоры со Стравинским. Позднее, к концу тридцатых годов, ему пришлось отправиться за океан, в Голливуд, где он окончательно сформировался как композитор и написал музыку к ряду известных фильмов.

– Мы искали квартиру с роялем, – объяснила Ада причину своего появления в доме на Большой Конюшенной Александру Александровичу, проживавшему вместе с родителями в соседней квартире, – и один из знакомых моего мужа предложил нам пожить здесь, в его квартире, поскольку собирался уехать в Выборг. А в этой квартире стоит Бехштейн с мягким, замечательным звуком, на нем удобно играть Шопена.

Их первая беседа связана была с поисками электромонтера – в квартире, где жили Ада, Агата и Сташек, погас свет.

А. А. Стэн вслушался в звуки ее голоса, что было профессиональной привычкой филолога, – за польским акцентом его соседки скрывалось что-то еще… «Похоже, это отзвук еврейской крови», – подумал он, прислушиваясь к ее дыханию; на улице было еще светло из-за снега, но на темных лестничных площадках света недоставало – лампы были разбиты.

Выяснилось, что в квартире, где жила Ада, перегорела фарфоровая с металлическим ободком электропробка и ее следует заменить, что и было сделано немедленно, – по счастливой случайности в чулане у А. А. Стэна нашлась картонная коробка с запасными пробками. Когда в квартире, где недавно скончался польско-литовский композитор, вспыхнул свет, А. А. Стэн, спустившись с табурета, посмотрел в лицо Аде. При этом он ощутил, что вибрации и обертона в голосе его собеседницы волнуют его, он вдруг почувствовал себя моложе. Ему было двадцать восемь в ту пору, и он полагал себя зрелым, сложившимся человеком.

– Так это вы играете Шопена? – спросил он, имея в виду те пьесы, отрывки которых он иногда слышал, поднимаясь по лестнице и открывая дверь в квартиру, где жил один.

Его родители с недавних пор жили с его сестрой на Петроградской стороне. В то время звуки фортепьянной музыки были слышны нечасто, им на смену пришла музыка духовых оркестров. Проходя по городу, он не единожды видел, как с верхних этажей летели вниз, на булыжник, рояли, и каждый раз предсмертный, в восемь октав, вопль упавшего инструмента заставлял его вздрагивать. Он любил музыку

и был знаком с бежавшим за границу обитателем соседней квартиры. Литература, надо сказать, интересовала его меньше, чем музыка, которую он почитал метаязыком. Несмотря на возраст, его отношения с женщинами исчерпывались несколькими довольно банальными историями, так он оценивал их сам в своих более поздних, обращенных к Агате признаниях, уже после смерти Ады. «В них отсутствовала музыка, все исчерпывалось несколькими словами», – объяснял он.

Что до событий, создавших фон того серо-белого дня, что познакомил его с Адой, то надо сказать, что А. А. Стэн, рожденный в городе, именуемом «окном в Европу», не до конца понимал, кто такие и чего хотят эти пришедшие к власти в результате октябрьского переворота люди, руководители которых вскоре покинули Петроград и бежали в Москву.

Агата и Сташек прожили в квартире с роялем до осени, и когда их подготовка к отъезду приобрела наконец оттенок неотвратимости, Сташек в последний раз спросил у Ады, собирается ли она вернуться в Вильно, который к тому времени стал польским городом, с тем, чтобы жить там – или направиться оттуда в Хайфу, где жили ее родители, братья и сестры.

В ответ Ада сообщила Сташеку, что остается в Петрограде с А. А. Стэном. По счастью, Сташек и Агата сумели выехать из Петрограда и пересечь русскую границу в середине сентября 1918 года, за несколько дней до принятия декрета «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения». Прошло еще несколько недель, и 5 октября 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений».

3

А. А. Стэн получил благословение родителей на вступление в брак с Адой лишь через год после их первого разговора на полутемной лестнице. Всему виной были ее дыхание, голос и акцент, которые усиливали исходившее от нее ощущение несоответствия ее существования обстоятельствам места и времени; все это было странно и неожиданно: одинокая, без друзей и связей музыкантша-пианистка оказалась в Петрограде именно в то время, когда многие весьма достойные люди бежали из города.

Еще в первую свою встречу с Адой на лестничной площадке А. А. Стэн прочитал в ее взгляде рассказ о чужой жизни, которая никак не врастала в эту среду, в эти камни и низкие небеса, и, воз-

можно, именно по этой причине ему захотелось эту жизнь защитить, и он первым делом заговорил с Адой по-французски – немецкий язык в ту пору был бы ошибочным выбором. Итак, он заговорил с нею по-французски; в юности он не раз отдыхал с родителями в Вильфранш-сюр-Мер, и возможность поговорить на французском всегда его радовала. Беседы на иностранном языке сразу же отвлекали от того, что происходило за окном, или хотя бы предоставляли возможность иных суждений. Более того, они еще и создавали другое, отдельное пространство для А. А. Стэна и Ады.

Объяснить все это его родителям было не очень просто, но тут помогла музыка, она доносилась до них через стену с того самого дня, когда они вернулись на Большую Конюшенную от его сестры, проживавшей с мужем и дочерью на Петроградской стороне. Родители не желали становиться в тягость сестре А. А. Стэна и, несмотря на все ее заверения в противном, вернулись к себе домой, когда страшная и тяжелая зима окончилась. К тому времени, когда они в конце концов дали свое благословение на брак А. А. Стэна и Ады, снова началась зима. Ада уже уволилась из Петросовета и теперь работала аккомпаниатором в училище при консерватории, с директором которого А. А. Стэн был знаком еще со времен учебы в Петришуле, славившейся уровнем преподавания иностранных языков.

– Конечно, – сказала Агата, – с точки зрения родителей отца, это был мезальянс. Естественно, поначалу их ужаснула сама идея брака твоего деда с Адой, сменившей иудейское вероисповедание на католицизм и переехавшей в Петербург из Вильно; они опасались, что сын их станет жертвой международной авантюристки. Да, они были против, но дед был непреклонен. Вопрос, в сущности, шел о некоем формальном согласии, и в итоге они все же сочли, что лучше согласиться на брак А. А. Стэна с Адой, чем потерять сына. К тому же в Питере у Ады не было никаких родственников. И надо признать: в конце концов, Ада очаровала и деда, и бабку, – заключила Агата, предпочитавшая называть мою бабку по имени. – Твой прадед, – добавила она, – был в свое время довольно известным адвокатом, а прабабка полагала, что Александр – всего лишь официальное имя сына, домашним же именем считала Nicolas. Это имя ей нравилось гораздо больше, чем Александр, и она смягчилась, узнав, что Ада разговаривает с ее Nicolas по-французски. Это как будто возвращало некий оттенок естественности тому, что происходило и могло произойти в пределах занимаемой Стэнами квартиры.

Из рассказа Агаты следовало и то, что прадед с женою хотели уехать из Петрограда сразу же после переворота, но сначала их задер-

жала тяжелая болезнь прабабки, из-за которой они и переехали к сестре А. А. Стэна. Позднее, в 1922 году, им удалось уехать в Берлин, а оттуда во Францию. Агате в то время едва исполнилось два года, и она их не помнила.

Дед же, как я понимаю, оказался заложником своей в ту пору должности заведующего кафедрой скандинавских языков в университете и, возможно, своей наивной, но искренней веры в то, что все постепенно образуется. Никак не могу исключить и того, что какую-то роль в поддержании этой веры сыграла и Ада, наблюдавшая за действительностью через призму своего увлечения учением доктора Штайнера и не испытывавшая желания двигаться в неизвестность с маленьким ребенком на руках. Но, полагаю, основной причиной в его намерении ничего, по возможности, не менять в своей жизни была его любовь к своему кабинету, книгам и морскому пейзажу на стене. Что до Ады, то ее он, конечно же, любил, но любил как-то особенно, любовью интроверта, как любит хозяин клетки нежданно попавшую в нее редкую, драгоценную птицу.

Последовавшее десятилетие поначалу, казалось, подтверждало надежды деда на то, что все как-то устроится, но с начала тридцатых годов все изменилось, и изменилось достаточно резко. И хотя последовавшие за убийством Кирова высылки не затронули деда и его семью, вера его в то, что все как-то образуется, была к тому времени уже сильно поколеблена происходившим вокруг.

К моменту же встречи с немецким психоаналитиком во второй половине тридцатых годов вера эта окончательно увяла, сменившись ощущением медленного, но неустранимого движения в сторону нового средневековья, чему находил он немало подтверждений, – взять хотя бы новое закрепощение крестьян в так называемых «колхозах». Особенное же впечатление на него произвело сожжение книг в Берлине, в связи с чем припомнил он высказывание немецкого поэта Генриха Гейне: «Это была лишь прелюдия; там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». Позднее он узнал, что ту же фразу припомнил и проживавший в Вене основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.

4

Новая квартира Стэнов, возникшая из объединения старой квартиры с небольшой, почти что холостяцкой квартиркой, в которой до отъезда в Выборг жил один из учеников Глазунова, пережила послереволюционные переделы собственности и осталась нетронутой благодаря «охранной грамоте», выданной деду одним из членов коллегии НКВД, для которого дед переводил секретные письма и документы

особой важности. После ликвидации Зиновьева этот человек с тяжелой фамилией Старокопытин оставался в Ленинграде, а позднее верно служил убийцам своего прежнего хозяина в Москве.

Однажды Агата рассказала мне, что, когда человек от Старокопытина появлялся у деда с нуждавшимися в срочном переводе документами, дед немедленно оставлял все свои занятия и принимался за переводы, а посыльный в ожидании окончания работы сидел у него в кабинете, пил чай и поглядывал на пейзаж ван де Вельде Младшего. Из рассказа Агаты следовало, что кое-какие документы, переведенные дедом, имели отношение к продаже картин из Эрмитажа.

– Есть в этом что-то загадочное, – добавила она, – в близости фамилии Старокопытина и названия нашей улицы, хотя уж ты-то знаешь прекрасно, что ни к мистике, ни к чему-либо подобному никакой склонности я не испытываю. Твой дед, кстати говоря, ужасался тому, что происходило, и не только с картинами, – поясняла Агата, – но что он мог сделать? А о картинах в то время говорили, что их надо продавать, поскольку стране «нужны трактора».

Возможно, именно эти случайности – тут я говорю о кратком знакомстве со Сташеком и длительном общении со Старокопытиным – пробудили интерес деда к расширению семейной коллекции. Доверял он лишь собственному глазу, знаниям и поразительной памяти, к советам же других коллекционеров относился весьма критически, часто повторяя крылатую фразу: «Несмотря на подпись, вещь подлинная».

5

О многих событиях прошлого узнал я из рассказов Агаты и теперь понимаю, что мое ощущение природы ушедшего времени связано с прихотливым и не всегда объяснимым устройством ее памяти. Агата была несколько выше ростом и стремительней в движениях, чем ее мать, на которую она немного походила. В обычные дни и при электрическом освещении Агата выглядела темно-русой, в солнечные же дни она казалась почти темно-рыжей, случалось это, когда луч света падал на ее голову. Родилась она в 1920 году и хотя к тому времени, когда Агата пошла в школу, в семье стали чаще говорить по-русски, статус французского и немецкого языков в их доме никак от этого не пострадал.

Юность Агаты отмечена поездками в Крым и на Кавказ, а также полетами на планере. В конце тридцатых годов завязавшаяся еще в Крыму дружба с одним из секретарей комсомола привела Агату в столицу, где она продолжила свое обучение в ИФЛИ и начала рабо-

тать на радио, когда ее отношения с секретарем комсомола подошли к концу. Произошло это после того, как жена комсомольского секретаря, статная женщина родом из Вологды, потребовала от своего мужа немедленно прекратить связь с «этой ленинградской выскочкой», угрожая в противном случае обратиться в ЦК. Муж ее подчинился требованиям партийной дисциплины, чего Агата не смогла ему простить. Позднее, однако, его перевели из Москвы в Самару, а вскоре после этого арестовали и сослали туда, *куда Макар телят не гонял*. Поразительно, но Агаты эта история никак не коснулась. «Ты не поверишь, но среди этих деятелей попадались иногда и приличные люди», – призналась она как-то раз в поздние свои годы.

Всю войну Агата провела в Москве, во французской редакции «Московского радио». Основам французского и немецкого она выучилась дома, остальное пришло в годы учебы. «Языки – это то важное, что необходимо изучать с детства», – говорила она. И в самом деле, в свое время знание языков помогло ее матери найти приемлемую форму сосуществования с родителями деда. «Сначала она старалась не говорить с ними по-русски, стесняясь своего легкого акцента, только по-французски или по-немецки, знание этих языков связано было с ее виленским детством и юностью», – поясняла ее дочь, так и не завершившая курс обучения в ИФЛИ, так как институт уехал в Ашхабад в эвакуацию вскоре после начала войны.

В начале мая 1945 года, сразу же после окончания войны, Агата вернулась в Ленинград. В конце августа она родила сына. «Старый Стэн», как иногда называли моего деда, был, как говорили, строг с моим отцом и нежен с Агатой. Когда Агата отказалась не только от намерений, но и от самой мысли о том, чтобы выйти замуж за отца Андрея, дед усыновил ее ребенка и тем самым избавил своего внука от необходимости делать прочерк в графе анкеты, требовавшей назвать имя его отца.

Агате не хотелось отдавать Андрея в чужие руки до того времени, пока ему не придет пора идти в школу, поэтому она давала уроки, занималась переводами с французского и бегала в поисках работы по театрам и издательствам. Во второй половине пятидесятых Агате удалось получить диплом об окончании МГУ, с которым ИФЛИ воссоединился в Ашхабаде, в эвакуации. Теперь она переводила и литературно-критические статьи, и труды по истории, и прозу самых разных жанров. Книги скрытых и явных экзистенциалистов, гуманистов и сочувствующих гуманизму писателей, лауреатов Гонкуровской премии и премии Ренодо, а иногда и книги лауреатов премии Фемина теснили друг друга на ее письменном столе; она часто бывала на встречах с приезжавшими в Ленинград деятелями культуры и порой

восторгалась совсем уж малопонятными их замечаниями. Ее очаровало высказывание Ж.-П. Сартра: «Всегда можно понять идиота, ребенка, дикаря или иностранца, достаточно иметь необходимые сведения»; нравились ей и слова Ленина: «Все мы – мертвецы в отпуску» – наряду с приписываемой ему репликой: «Никто не умрет без разрешения». Ей импонировала решимость вождя революции запретить *смерть* как таковую, поясняла она. «Запретить смерть, но как? – спрашивала она сама себя и сама же себе отвечала: – Под страхом смертной казни.» «Неужели вы думаете, что вам позволят умереть без разрешения?» – спрашивала она порой у своих собеседников и заливалась смехом, видя их искреннее недоумение.

Какое-то свойственное ей чувство или предчувствие «черного юмора» заставило ее однажды утверждать, что Сталин любил повторять свою известную фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселей...» каждый раз после окончания очередного траурного митинга на Красной площади. Сказано это было в ходе разговора с ее младшим братом, рожденным в 1924 году. Услышав эти слова, мой отец не удержался от улыбки – шел конец шестидесятых, – но затем нахмурился и заметил:

– Не стоит говорить это всем подряд, Агата.

На что Агата немедленно возразила:

– А ты, Саша, это совсем не «все подряд», не так ли? – и посмотрела на мою мать со значением.

Агата никогда не отказывалась от работы, связанной с переводами, но сердце ее принадлежало театру, и спектакли по нескольким французским пьесам в ее переводах шли с неизменным успехом. Легкие пьесы, комедии и трагифарсы – все они в какой-то мере соответствовали доминирующим нотам ее мировосприятия. Интересная особенность ее работы для театра состояла в том, что переводимые пьесы приходилось тем или иным образом адаптировать к условиям советской жизни, учитывая требования реперткомов, капризы режиссеров, реальность цензуры, правила приличия, втайне высмеиваемые, и актерские, порой самые невероятные темпераменты. Так, следуя требованиям одной из премьерш, а именно «мамзель Анцишкиной», как называла ее Агата, ей приходилось вносить в ремарки дополнительные указания о туалетах ее будущих героинь. «Я не могу с ней спорить и губить свой труд», – говорила Агата.

Работу свою она любила и делала ее с блеском. Когда у нее спрашивали, отчего она сама не пишет пьесы, Агата обычно уточняла: «Какие? Французские?»

АНРИ К.

1

Отец Андрея был иностранец, француз Анри К., довольно именитый в свое время журналист, происходивший из известной своими левыми симпатиями семьи преподавателя философии в лицее Кондорсе. Вскоре после окончания последнего «московского процесса» весной 1938 года Анри принял решение написать книгу о борьбе русской революции с ее врагами, для чего и приехал в Москву. Там, при содействии Старокопытина, занимавшего в то время видную должность в руководстве вещавшего на многих европейских языках «Московского радио», он познакомился с Агатой. Вскоре она начала переводить для него на французский язык разнообразные материалы и статьи, посвященные «троцкистско-зиновьевской оппозиции».

«При первой же встрече он начал говорить со мною о Троцком, к которому относился с определенной симпатией», – рассказывала Агата. «В нем были видение, страсть и elan*, – признавался он Агате, замечая попутно, что ему трудно увлечься Сталиным. – Это слишком монументальная фигура, во всяком случае, для меня, – говорил он. – И потом, его усы, трубка и эти мягкие кавказские сапоги... Он похож на хозяина цирка где-нибудь на Корсике.»

– Когда я услышала все это, мне стало страшно, – призналась она, – хорошо еще, что он заговорил обо всем этом в метро, под грохот поезда. Я с ужасом вслушивалась в его слова, которые он буквально нашептывал мне на ухо. Потом мы поцеловались, и у меня в голове возникла самая странная смесь ощущений: волнение, страх, восторг приключения и мысль о том, что здесь, в Москве, Андре абсолютно беззащитен, и мне захотелось что-нибудь сделать для него, все, что я смогу…

В своей так и не вышедшей из-за начала войны книге Анри К. рассказывал не только о незатухающей классовой борьбе в СССР и осужденных на московских процессах предателях интересов пролетариата, но и об успехах книжной торговли «*в магазинах как у нас*», построенных в разных городах Союза, о счастливой толпе прогуливающихся над Волгой людей и даже о советских влюбленных в Кузнецке, которые «*прежде чем стать мужем и женой оба вступают в партию*». В сущности же, Анри К. прекратил работу над книгой, так как понял, что проект его, увы, оказался несвоевременным. Позднее он признавался, что был рад тому, что книга так и не была опубликована. «*Я заблуждался, как и многие другие*», – писал он.

---

* Порыв (*фр.*)

Подписание «Договора о ненападениии между Германией и СССР» и гибель Троцкого поразили и потрясли его. Пакт Молотова – Риббентропа, по его словам, был предательством, подобным предательству троцкистов и зиновьевцев. Параллель эта или «виток диалектической спирали», как он однажды сказал, поразили его, и он начал размышлять о том, во что когда-то безусловно верил. Но вступление немцев в Париж снова привело его в Москву, где он опять встретился с Агатой во французском отделе «Московского радио».

– Что было делать, ведь меня могло арестовать гестапо, – сообщил он Агате. – Мне, конечно, не особенно хотелось в Москву, тем более, после подписания пакта и расстрелов бежавших от Гитлера немецких товарищей. Находясь в Париже, я начал смотреть на это немного со стороны и, поверь, многое мне показалось странным, – добавил Анри, – но я помнил о тебе, и внутренний голос подсказывал мне, что я снова встречусь с тобой, – пояснил он.

– К счастью, – рассказывала Агата, – я научила его шептать все эти признания мне на ухо, в постели, под звуки передач «Московского радио». После полуночи, когда вещание прекращалось, мы не произносили ни слова. Я догадывалась, что все наши разговоры прослушиваются, еще бы! В конце концов, я жила с иностранцем, но власти в то время закрывали на это глаза, во всяком случае, на связи тех, кто работал на радио. Мне даже не предлагали стучать. Наверное, по их оценкам, я принадлежала к тем, *на кого* стучат; как бы то ни было, мне этого никогда не предлагали. Я считала, что они слушали наши разговоры, хотя в те времена нам было не до серьезных бесед. Почему я думала, что нас слушают? Потому что еще со времен первых московских процессов мой комсомольский друг рассказывал мне об этом. А теперь шла война, я переводила материалы советской прессы на французский, Анри писал свои выступления, которые он еженедельно зачитывал по радио. Жили мы в разных местах, он – в доме для иностранных корреспондентов, где я часто оставалась у него, это была невероятная жизнь: работа на радио, за столом и у микрофона, неожиданные аресты или просто исчезновение людей, молчание, смена сотрудников, постоянное ожидание неприятностей, вино, закуски, сигареты, холод, снег, перебои с отоплением, слухи, визиты представителей различных миссий, общение с другими корреспондентами, приемы…

В 1944 году, уже после высадки союзников в Нормандии, Анри К. вернулся во Францию через Баку, Тегеран и Каир и снова появился в Москве лишь в конце 1946-го, уже после того, как во Франции прошли процессы над писателями-коллаборационистами. Его страстным

желанием, как он утверждал, было жениться на Агате и увезти ее вместе с годовалым Андреем во Францию. Ему было тридцать пять, и мысль о том, что у него может быть жена, сын и дом – с учетом того, что сын уже родился, – казалась ему естественной. «Война уже закончена, – сказал он Агате при встрече, – теперь нам нужен дом и дети...»

– Тут повеяло Толстым, – засмеялась Агата, – при том что «самкой» становиться я совсем не хотела и надеялась, что все это пройдет, как только мы окажемся во Франции.

Однако принятый в начале февраля 1947 года закон перечеркнул возможность выезда за границу Агаты и ее сына. Брак, тем не менее, мог состояться, если бы Андре К. согласился принять советское гражданство, одновременно отказавшись от гражданства французского, но против этого была Агата, которая понимала, какое будущее могло ожидать Андре. В лучшем случае ему пришлось бы работать на радио в Москве, и он, похоже, уже никогда не увидел бы свою родину. «Мы должны расстаться, Анри. Это судьба. Даже Старокопытин не может нам помочь, я уже обращалась к нему», – сказала она просто.

И Анри вернулся на родину, где в 1949 году выступил на процессе против коммунистического еженедельника «Леттр франсез» в качестве свидетеля защиты. Невозвращенец Виктор Кравченко, автор книги «Я выбираю свободу», требовал осуждения левых журналистов за публикацию клеветнических статей о нем и его книге. Еженедельник, со своей стороны, требовал осуждения невозвращенца Кравченко за клевету на первую страну социализма, содержащуюся в его книге, речь в которой шла о преследованиях и расстрелах политических противников советского режима.

Обвинения еженедельника поддержало множество левых интеллектуалов Европы. Выступая на процессе в ходе допроса свидетелей, Жан-Поль Сартр протестовал против попытки опорочить диалектические процессы взаимопроникновения *бытия* и *ничто*. Вслед за Сартром выступал Анри К. «Я выбираю свободу, ту свободу, что я нашел и пережил в Москве!» – заявил он.

– Не правда ли, Nicolas, звучит двусмысленно? – спросила меня Агата, повторив слова Анри К.

Много лет спустя, в разговоре с сыном, Анри утверждал: не выступи он на стороне еженедельника, могла бы пострадать Агата, ее родители и, в конечном счете, Андрей. Он ссылался на судьбу Кравченко, который, несмотря ни на что, выиграл процесс в Париже, но позднее, уже в Нью-Йорке, покончил с собой, – так, во всяком случае, это выглядело, говорил Анри.

– Поверь, мне посоветовали поступить именно так, и объяснили,

почему будет умнее последовать этому совету. Боюсь, что у меня не было выбора, – завершил он, посмотрев Андрею в глаза.

2

Однажды в конце пятидесятых Агата появилась в «театре Клары Анцишкиной», где в тот вечер шел спектакль по переведенной ею пьесе.

В этом же театре в главных женских ролях драматического репертуара блистала моя мать, в то время как Анцишкина, собственно говоря, блистала просто, как это случается с женщинами того типа, что притягивают наше внимание независимо от того, какие, собственно, слова они произносят, ибо одно их появление меняет все вокруг.

Агата пришла в театр не одна, а вместе с автором пьесы, довольно известным в те годы французским драматургом, приехавшим на несколько дней в Ленинград. Все первое действие автор молчал, уставившись на сцену. Молчание его было легко объяснимо. Согласно Агате, гротескная комедия француза поставлена была в театре как социальная драма. В антракте Агату и драматурга пригласил к себе в кабинет директор театра. К ним присоединились художественный руководитель театра, очередной режиссер и завлит.

На столе стояли бокалы для холодного крымского шампанского, рюмки для «Столичной» и армянского коньяка, господствовала икра и светло-желтые ломтики лимона на блюдцах, рыба холодного копчения, сырокопченые колбасы, пошехонский и швейцарский сыры и, наконец, нарезанные на дольки апельсины. Художественный руководитель театра, поставивший спектакль, с помощью переводившей Агаты произнес первый тост за автора.

Когда прозвенел звонок, автор, директор и создатели спектакля расстались, с тем чтобы вновь встретиться после его окончания.

В конце второго действия дали, наконец, занавес, и актеры несколько раз выходили на поклон. Публика аплодировала стоя. Со сцены сообщили, что на спектакле присутствует и автор пьесы. Исполнитель роли брачного афериста с добрым сердцем широким жестом простер руку с букетом цветов в сторону ложи бенуара. Автор поклонился, выбежал на авансцену и поцеловал руку Кларе Анцишкиной, исполнявшей роль «роковой женщины» с чуткой, отзывчивой душой. Часть зрителей повернулись к ложе, где также находились директор театра и Агата, которым в свою очередь пришлось подняться на сцену и присоединиться к уже находившимся там служителям Мельпомены. После окончания спектакля директор театра, художественный руководитель, очередной режиссер, автор

пьесы, Клара Анцишкина и Агата вернулись в кабинет директора. Все взоры устремились на автора пьесы, и, подняв бокал шампанского, француз, не отрывая взгляда от Клары, объявил несколько взволнованной Агате, что он и не подозревал о возможностях подобной интерпретации своей пьесы. «Это доказывает полную свободу творчества в вашей великой стране СССР», – добавил он.

3

Лет с шести Андрей посещал изостудию при Русском музее, благо тот расположен совсем недалеко от дома, и, перерисовав огромное количество гипсовых голов, увлекся писанием натюрмортов. Считалось, что рисовать обнаженную натуру ему пока рано. Более того, он часто выходил на пленэр в сопровождении Агаты или своего деда. Особенно нравились ему Летний сад и Инженерный замок в весеннюю и летнюю пору, наступление же снега его огорчало, он мерз и простужался, не помогали ни шапки, ни шарфы, ни валенки, ни надетые друг на друга свитера.

Иногда он писал стихи. Одно из его стихотворений, описывающее Летний сад зимой, Агата включила в текст письма без перевода, полагая, что ее французский корреспондент все еще помнит русские слова, которым она не переставала учить его даже во время последнего приезда Анри в Ленинград в 1947 году.

Вот что писала Агата: «Мой маленький молчун иногда приносит мне стихотворения. Вот одно из них, оцени его простоту. И, вместе с тем, какая ясность...» Далее следовали строки: «Засыпан снегом Летний сад, / Скульптуры в ящиках стоят».

За глаза Агата называла своего сына «орленком», отталкиваясь, возможно, от персонажа известной пьесы Эдмона Ростана. Другое стихотворение, приведенное в письме, Андрей сочинил для выступления в школе, где его принимали в ряды октябрят:«Мы на параде: / Знамена, жара... / Красная Армия, / Ура! Ура!»

4

Во второй половине пятидесятых годов Андрей вновь встретился со своим отцом. Тот прибыл в Ленинград на теплоходе, совершавшем круизный рейс по Балтийскому морю с туристами из Западной Европы.

Примерно за год до этого французский драматург, тот самый, что приезжал однажды в Ленинград и с изумлением наблюдал спектакль, поставленный по его пьесе, переведенной Агатой, вернувшись в Париж, отыскал Анри К. и передал ему письмо, в котором Агата рассказывала об Андрее и его замечательной способности к рисованию. До своего появления в Ленинграде туристом Анри не единожды

пытался получить разрешение на въезд в СССР в качестве аккредитованного корреспондента агентства Франс-Пресс. Попытки эти оказались безуспешными, возможно оттого, что после «падения идола» он окончательно порвал с коммунистами и стал склоняться к поддержке социалистов.

– Правда, произошло это не сразу. Скорее всего, он продолжал колебаться еще какое-то время после «падения», – сказал мне Андрей в первый мой приезд в Париж, – он просто принадлежит к такому типу людей, на которых власть действует гипнотически, и потому они боятся потерять ее расположение. И поверь, Nicolas, – так, вслед за бабкой, называли меня Агата и Андрей, – такие люди не редкость, их большинство, и от этого не убежишь.

Как бы то ни было, осознав, что сочетание его имени с профессией автоматически приводит к получению отказа, Анри сумел получить чистый, без каких-либо ненужных визовых отметок паспорт и присоединился в Швеции к круизу «мира и дружбы», указав в графе со сведениями о своих профессиональных занятиях «коммерцию» и на всякий случай положительно ответив на вопрос другой графы о том, бывал ли он в СССР.

5

Встреча Андрея с отцом произошла светлым летним вечером, в середине июня, когда жужжание звонка в прихожей большой старинной квартиры на Большой Конюшенной донеслось до его комнаты. Андрей, ему в тот год исполнилось тринадцать, подошел к двери, открыл ее и увидел невысокого стройного мужчину лет пятидесяти, в объемном светлом плаще с приподнятым воротником, седым хохолком на голове и слегка прищуренными глазами за стеклами оптических очков. Мужчина кого-то ему напоминал, и через мгновение, когда незнакомец заговорил по-французски, Андрей понял, что перед ним Анри. О его существовании он узнал от Агаты совсем недавно, вскоре после отъезда деда и бабки в Сестрорецк, на дачу.

– Твой отец живет во Франции, в Париже, – сказала Агата, – это самый красивый город мира. Но только об этом не стоит никому рассказывать, тебе будут завидовать, да и вообще, не нужно, чтобы об этом знали посторонние. До поры, до времени, – добавила она. – Пусть это будет нашей маленькой тайной, обещай мне хранить ее.

– Но почему он не с нами? – спросил у нее Андрей.

– Ах, это все политика, – ответила Агата, – ему пришлось уехать отсюда, а нас с тобой не выпустили...

– Он был шпион? – спросил мальчик.

– Нет, вовсе нет. Он просто честный и искренний человек, кото-

рый не любит врать, – объяснила она, – ну, он, конечно, не святой, но старался быть честным.

Теперь этот человек стоял перед ним. К тому же на странном русском языке он спрашивал, можно ли ему войти. Андрей ответил по-французски. Гость оглянулся, чтобы понять, не слышит ли кто их разговор, сообразил Андрей, но на площадке никого не было, и он пропустил мужчину в квартиру, провел его в гостиную и теперь уже по-русски позвал мать, которая курила на кухне, разговаривая при этом по телефону с моим отцом.

– Мама, к нам пришли! – сообщил он Агате.

Агата, сославшись на визит соседки, закончила разговор с братом, прошла в гостиную и протянула руки навстречу гостю. Он прикоснулся губами к ее щекам, улыбнулся мальчику, и тут старавшаяся сохранить спокойствие Агата предложила всем выпить чаю, после чего направилась на кухню, на секунду задержавшись перед большим зеркалом.

– Отчего ты в таком большом плаще, совсем тебе не по размеру? – спросила Агата.

– Я купил его в Швеции с определенной целью, – пояснил гость.

Оказалось, что готовясь сойти на берег, Анри разместил под плащом несколько пакетов, для чего заранее вшил в подкладку плаща специальные крючки, на которые накидывалась бечевка. Рассказав об этом, он скинул с себя плащ, повесил его на вешалку в прихожей и извлек из него два перевязанных бечевкой бумажных пакета, прикрепленных под мышками с обеих сторон. Затем гость прошел вместе с Андреем в гостиную, где положил пакеты на стол, достал карманный нож, разрезал бечевку и развернул толстую оберточную бумагу. В пакетах оказались альбомы с репродукциями картин из Люксембургского дворца и фотографиями Парижа. Альбомы Андре протянул мальчику, сказав:

– Я слышал, ты неплохо рисуешь да еще и пишешь стихи.

– Стихи я уже не пишу, но я рисую, – подтвердил Андрей, принимая альбомы.

– Давай я покажу тебе то, что мне нравится, – предложил ему Анри.

– А тебе нравится не все? – удивленно спросил его мальчик.

– А разве бывает так, чтобы все нравилось? – переспросил в свою очередь Анри.

– Не знаю, может быть.

– Ну да, все может быть, только так бывает крайне редко, – со вздохом заметил мужчина.

Появилась Агата, и гость протянул ей темную сафьяновую коробочку с серьгами, достав ее из внутреннего кармана темно-серого пиджака. Агата примерила серьги у зеркала, и, воскликнув «C'est magnifique!»*, поцеловала Анри, вернее, слегка коснулась губами его щеки, после чего позвала Анри и сына на кухню, где уже был сервирован стол к чаю.

На кухне они разговорились. Анри хотелось расспросить ее о слишком многом, и он спрашивал, выслушивал Агату, бросал взгляд на Андрея и снова спрашивал ее о том, что было ему не очень понятным. Пока она пыталась ответить на вопрос Анри, может ли она переписываться с ним открыто, не прибегая к помощи случайных курьеров, Андрей встал из-за стола и отправился к себе в комнату, откуда вернулся с картоном, бумагой, кохиноровскими карандашами и ластиками.

В тот вечер он сделал несколько пастельных набросков для тех портретов своего отца, которые он написал маслом лет через десять. Позднее, уезжая в Париж, он увез большую их часть с собой.

Четыре портрета из этой серии сохранились у Агаты, теперь они висят у меня в кабинете. Это не очень большие по размеру работы, запечатлевшие голову и лицо Анри в различных ракурсах. Лица Анри на портретах серии выражают различные эмоции – от недоумения до радостного оживления. Исходные зарисовки были выполнены пастелью почти беззаботно, и каждый картон предлагал свое цветовое решение. Характерная их черта – ясная и уверенная линия, как будто художник давно знаком со своей моделью.

Когда накануне отъезда Андрея во Францию я спросил у него, отчего серия портретов его отца написана на грунтованных охрой холстах, он сказал, что ему хотелось сохранить и передать те свои ощущения, что возникли в тот момент, когда Анри разворачивал шершавые бумажные пакеты с альбомами.

МОЙ ОТЕЦ

1

Рассказ Агаты о том, как и при каких обстоятельствах познакомились мои родители, я выслушал, сидя в мягком, обитом усыпанной цветочками плотной тканью кресле; такие кресла, обитые тканью с флоральными узорами, я особенно люблю. Мне всегда нравилось слушать рассказы Агаты: был у нее и литературный дар, и вполне определенные литературные вкусы, и возможно, оттого, что она мно-

* Это красиво! (*фр.*)

го работала для театра, Агата привыкла к совершенно специфической манере повествования, достаточно ясной и четкой, такой, словно бы все, о чем она рассказывала, было увидено ею из темноты театрального зала, в то время как описываемые события происходили на освещенной сцене.

Обычно я усаживался в глубокое кресло под работой ван де Вельде; в нем, заглянув к Агате, любила сидеть моя мать. Агата же, сервировав чай с печеньем на старом, с гнутыми бронзовыми ножками столике, устраивалась в кресле напротив. Пила она, по обыкновению, чай с бергамотом, добавив в него молоко. Появлялся на столике и темно-желтый, нарезанный на дольки кекс с изюмом, и присыпанное сладкой пудрой печенье с орехами. Чай с бергамотом я никогда не любил. Мне всегда нравился черный индийский байховый чай, его я люблю пить из белой с тонкими стенками фарфоровой чашки на белом же фарфоровом блюдце, добавив сахар и тонкий ломтик лимона.

В одну из наших бесед за чаем я уяснил для себя, отчего Агата никогда не любила первую жену моего отца. «Это был мезальянс. Ему нужна была совсем другая женщина, – сказала она как-то раз и добавила, – что самое удивительное, Саше повезло...»

Ему было тридцать с небольшим в ту пору, он был майор медицинской службы и проходил ее в окружном военном госпитале, где начал работать после возвращения в Ленинград с войны в Корее, стране в ту пору желтой и ужасно пыльной. «Корейцы с удовольствием ели собак и нередко нападали на госпитали. Они старались перерезать горло. Каждому. Больным, раненым, медсестрам, врачам – точь в точь как своим собакам. Человеческая жизнь в Корее просто ничего не стоит, это была большая резня, множество людей просто сошло с ума», – рассказывал отец Агате.

Майор медицинской службы Стэн участвовал в войне с Японией в 1945 году, а затем воевал в Корее с июня 1950 г. по июль 1953 г., причем реальность войны в Корее, согласно его рассказам, обладала вполне явственным психиатрическим измерением. Агата запомнила его рассказ о Желтом море и осьминогах, утаскивавших под воду лодки с корейцами. Военнослужащие, случалось, стреляли в своих товарищей или занимались самострелом, и разбираться во всем этом хаосе следовало армейским психиатрам. Задача, которую приходилось решать Александру Стэну, состояла в том, чтобы отличить военнослужащих, переживших нервный срыв или действительно сошедших с ума, от попросту «косивших», а уже после этого принимать решения об отдыхе, лечении, разжаловании, суде или демобилизации.

Вернулся он с войны не один, а с женой или «фронтовой подругой», как называла ее Агата. Отец и его жена прослужили в одном

военном госпитале несколько лет. «Жена его была членом партии, это был типичный мезальянс, было в ней что-то деревенское, – сокрушалась Агата, – она всегда возвращалась со своих партсобраний навеселе, с ярко накрашенными губами. Короче говоря, попросту вульгарная особа, и, вернувшись домой, в Ленинград, твой отец осознал, что она просто не в его вкусе.»

Как-то Агата сказала: «Поразительно, до какой степени непоследовательны мужчины, а впрочем, все мы, – и после некоторого раздумья добавила, – кто бы мог подумать, что Саша женится на такой женщине. Вот еще один результат войны – институт ‘фронтовых подруг’, мужчины и женщины сближаются или попросту сходятся перед лицом смерти, а затем кончается война, страх, несвобода – и все уходит». Мне пришло в голову, что, возможно, она примеряет свое суждение к событиям своей биографии.

Брак отца вскоре распался, и его бывшая жена уехала в Москву.

2

После ее отъезда Александр Стэн, брат Агаты и сын профессора А. А. Стэна, продолжал жить в небольшой квартирке на четвертом этаже дома в Митавском переулке, неподалеку от Московского вокзала. Лифта в доме не было. Хозяин квартиры, коллега-невропатолог, командирован был на несколько лет в Китай для изучения теории и техники иглоукалывания.

Прошел год, жизнь Александра Стэна вошла, казалось, в нормальное русло, он привыкал жить один, и однажды, в пятницу вечером, навестил родителей и сестру Агату. Андрею в ту пору было лет десять.

– Агата, ты должна мне помочь, – неожиданно попросил он сестру, – я думаю, она актриса, мне кажется, я где-то видел ее, но не помню, в каком это было театре, – рассказал он Агате о молодой женщине, встреченной им в больничном коридоре, о светлом, почти матовом ее лице и скользнувшем по нему взгляде, – она приходила навестить больного отца, в руках у нее был букет ирисов на длинных стеблях, отец ее – контр-адмирал Толли-Толле, – добавил он.

Агата засмеялась и сказала, что знает, о ком он говорит, она даже знала, кто вручил этой актрисе букет цветов, который она решила отнести в больницу, где приходил в себя после операции ее отец.

– Сходи на «Коварство и любовь», театр недалеко от Литейного, – посоветовала она, – представься, и она догадается, что ты мой брат. Правда, на брата ты не слишком похож... Разве что взгляд, но никак не глаза...

Агата, как я понимаю, имела в виду то, что во внешности отца превалировало северное, унаследованное от Стэнов, начало.

3

На следующий день была суббота. После окончания рабочего дня его приятели, супружеская пара, с которыми он дружил со студенческих лет и с кем часто проводил свои выходные после развода, уехали в этот день на дачу копать картошку, а он решил направиться в театр, где, как оказалось, вечером шел спекталь, о котором говорила Агата. К тому же он просто не знал, как еще скоротать предстоящий вечер. Правда, название пьесы и какие-то смутные воспоминания о временах, когда он рылся в отцовской библиотеке, подсказывали ему, что увидеть придется что-то напыщенное и никак не соответствовавшее времени, в котором он жил. К тому же несколько критическое отношение к собственным эмоциям и переживаниям, казалось, предостерегало его от осуществления нелепой, как ему теперь представлялось, идеи познакомиться с актрисой, которая к тому же оказалась еще и дочерью контр-адмирала Толли-Толле, но спектакль по пьесе Фридриха Шиллера назначен был именно на этот вечер, и он решил испытать судьбу.

После непродолжительных переговоров с кассиршей в узеньком окошечке театральной кассы он приобрел билет на спектакль и, миновав билетеров, направился в буфет, где заказал бокал шампанского и бутерброд, поданный на блюдце с голубой каемкой, что заставило его улыбнуться. Бутерброд состоял из полусухого ломтика батона с маленькой розеткой масла и полупрозрачного кусочка бледно-желтого голландского сыра.

У соседнего столика разговаривала пара; похоже, работали они на одном заводе, в конструкторском бюро, ибо сначала разговор шел о чертежах и синьках. Мужчина средних лет, довольно высокого роста, светловолосый с пролысинами, в очках, внешне несколько напоминал композитора Сергея Прокофьева. На лацкане его пиджака красовался институтский значок. Женщина выглядела моложе его лет на десять, темные волосы ее были завиты и аккуратно уложены, глаза за стеклами очков блестели, одета она была в скромное темное платье. Перед ними на столике стояли два бокала шампанского и тарелка с двумя бутербродами с бледно-желтым голландским сыром.

Александр Стэн прислушался. Женщина рассказывала своему спутнику о том, какой самостоятельный мальчик ее сын, она уже успела ему позвонить, и он, как оказалось, сделал уроки и уже поужинал. На ней были легкие, не соответствовавшие погоде туфли, – скорее всего, она оставила боты в раздевалке. Судя по всему, этот поход в театр был давно задуман и вот теперь осуществлен. В театре в тот день действительно давали спектакль по пьесе Шиллера «Коварство и любовь». До начала спектакля оставалось еще какое-то время, и публика постепенно заполняла фойе театра.

Затем Александр Стэн подошел к огромному стенду в холле театра с фотографиями актеров, актрис, директора театра, завлита, главного художника и всех остальных сотрудников. Вначале он увидел фотографию запомнившегося ему женского лица среди фотографий актеров и сотрудников театра в только что приобретенном буклете с репертуаром театров Ленинграда на сезон 1954–1955 года. Правда, фотография была невелика, и он не был уверен, что это именно та молодая женщина, которую он видел в коридоре клиники с букетом ирисов в руках. Затем он открыл приобретенный в кассе буклет с фотографиями актеров и перечнем спектаклей. Через мгновение он понял, что не ошибся, на обеих фотографиях было именно то лицо, которое он запомнил. Фамилия под фотографией окончательно рассеяла его сомнения. Контр-адмирал Толли-Толле был видной фигурой в области морской радиосвязи, и имя его иногда упоминалось в печати и по радио, неустанно вещавшем об освоении Арктики, льдах, торосах и айсбергах.

Тогда он направился к администратору и представился. Его интересовало, сможет ли он отнести цветы за кулисы по окончании спектакля. К сожалению, это было против правил.

Но передать цветы с запиской брался сам администратор.

– В нашем театре ее все очень любят, – сказал, поглядев на него, лысый и чем-то похожий на известного в ту пору гроссмейстера Бронштейна администратор. – А передать цветы, конечно же, можно, я сам передам ваши цветы, – добавил он, предложив при этом: – А вы напишите записочку, – тут он улыбнулся и кивнул, давая, очевидно, понять, что аудиенция закончена.

До начала спектакля оставалось еще около получаса, и после того, как администратор одним росчерком пера своей авторучки оставил на его билете знак Z, Александр Стэн вышел из театра на улицу. Букет ему удалось приобрести тут же, неподалеку. Был сентябрь, и у ближайшей остановки трамвая он увидел моложавую женщину в стоптанных туфлях и с папироской в зубах. Левой рукой она прижимала охапку астр к серому просторному плащу с темными от воды пятнами на груди. Стэн подошел к женщине и посмотрел на цветы. Она, по-видимому, только что вытащила их из ведра, капли воды падали со стеблей на теплый асфальт. Ясно было, что она живет где-то неподалеку.

– Цветочки хотите? – спросила женщина, вынимая папироску изо рта.

– Да, конечно, – ответил он.

– Так вот они, выбирайте сами, – сказала женщина.

– Давайте пройдем, где посветлее, – предложил Стэн.

Они подошли к витрине магазина, из дверей которого выходили женщины в серых и коричневых пальто, шляпках и туфлях на толстых каблуках, а также мужчины в шляпах и кепках, серых и синих двубортных костюмах и габардиновых плащах, с кошелками и авоськами с продуктами и консервами, стеклянными банками с подсолнечным маслом и с торчащими горлышками бутылок шампанского в серебрянной, прикрывавшей пробки фольге, и бутылок с водкой и дешевым портвейном с запечатанными тонкими жестяными шапочками горлышками.

Он принялся разглядывать цветы, выбрал те, что ему приглянулись, расплатился, женщина быстро отряхнула воду со стеблей, перевязала их ниткой и обернула бумагой.

Вернувшись в театр по билету с размашисто начертанной Z, Александр Стэн вытащил из нагрудного кармана пиджака авторучку, набросал несколько слов на листочке бумаги из блокнота и, свернув его, сунул в букет. Затем он отнес цветы администратору. Тот вновь заверил его в том, что все будет сделано как полагается, то есть, согласно правилам, столь же незыблемым, как правила шахматной игры, и на всякий случай попросил у доктора Стэна номер телефона, после чего тот облегченно вздохнул и направился в зал.

Все, о чем рассказывал спектакль, не имело ничего общего с тем, что волновало в ту пору майора медицинской службы Александра Стэна. События на сцене происходили почти за два столетия до его возвращения из Кореи.

Майор Фердинанд фон Вальтер, влюбленный в Луизу, дочь честного музыканта Миллера, фаворитка герцога, леди Мильфорд, влюбленная в майора, коварство отца майора, президент фон Вальтер и его бесцветный секретарь Вурм, домогающийся руки Луизы, хитросплетение интриг и под конец смерть возлюбленных от растворенного в лимонаде яда.

Пьеса эта, скорее, соответствовала типу здания, в котором размещался театр, его интерьеру, креслам с красной, траченой временем бархатной обивкой, ну а любовь давно уже казалась ему невозможной; однако по мере развития заданных на сцене обстоятельств он начал догадываться о том, что именно то чувство, что Шиллер называл любовью, существовало, несмотря ни на что и вопреки всему. Она существовала хотя бы как возможность и не могла перестать существовать в этой модальности. Это была одна из тех его догадок, которые он не собирался обсуждать с кем бы то ни было. Он также отдавал себе отчет в том, что эта идея возникла в его сознании уже после того, как он посмотрел спектакль, где все его внимание было отдано исполнительнице роли леди Мильфорд. По окончании спектакля он направился к служебному выходу.

– А вот о чем они говорили, я не знаю, – сказала Агата, заканчивая свой рассказ.

– Ах, о многом, – сказала мне мать через несколько лет, рассказывая о том, как познакомилась с отцом. Выслушав ее, я понял, что пускаться в дальнейшие расспросы не следует, да, в сущности, и бессмысленно. Достаточно было и того, что в записке говорилось о том, что отец чувствовал себя не вправе подойти к ней в коридоре больницы, когда увидел ее в халате с чужого плеча и с букетом ирисов в руках. – Я сразу поняла, что он человек военный, по астрам, – добавила моя мать, – в нем читалась сила.

К тому времени я уже понимал, что интонация, голос и облик человека порою бывает важнее того, что он говорит.

НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

1

Жили мы на Петроградской, в квартире, доставшейся будущему контр-адмиралу Толли-Толле вскоре после выхода из заключения. При этом флотоводцем мой дед со стороны матери никогда не был, а был специалистом в радиосвязи, шифрах, радиолокации, самоуправляющихся сложных системах и еще неведомо в чем. Родом он был из Риги, и по отцовской линии происходил из дальних родственников Барклая де Толли. После 1918 года отец его стал одним из командиров латышских стрелков, позднее перешел на работу в ЧК и вскоре после убийства Кирова и последовавших перемещений в руководстве ГПУ застрелился у себя в кабинете. В те годы его сын, будущий контр-адмирал Толли-Толле, постоянно задерживался допоздна в своей радиотехнической лаборатории. О смерти отца ему сообщили по телефону и, появившись дома, он, по свидетельству моей бабки Аустры Яновны, сказал что-то вроде: «Он слишком много знал. Добром такие вещи не кончаются».

Собственно говоря, это могло означать, что угодно, в том числе и *устранение*, как выражался дед много позднее в беседах с моей матерью. Пожалуй, он любил мудреные термины. Позднее, уже на моей памяти, дед охотно пользовался понятиями *негэнтропия*, *информация* и *логарифм*. Все три термина соединялись в одно неясное для меня высказывание, которое дед любил использовать в качестве комментария к тем чужим высказываниям, которые он явно не одобрял. Характерными чертами его была какая-то непроясненность и даже скрытность, да еще, пожалуй, нордическое методичное упорство, проявившееся поначалу в разработке разнообразных, в том числе и умещавшихся в фибровые чемоданы, передатчиков. Исполь-

зуя эти передатчики, он участвовал в спасении летчиков и затертых льдами ледоколов и в свое время провел несколько месяцев на дрейфовавшей у Северного полюса льдине. Именно тогда, в период долгого сидения у радиопередатчика во льдах в ходе арктической полярной экспедиции его имя впервые попало на страницы газет. Через год после смерти Кирова будущий контр-адмирал побывал в Италии. Ездил он туда вместе с другими специалистами принимать субмарину, построенную на верфях компании «Фиат» в Генуе.

По завершении ходовых испытаний был устроен прием, на который прибыл Муссолини. Посол Потемкин встретил дуче на ступенях у входа в палаццо. Затем Муссолини и его сопровождение проследовали внутрь здания и поднялись по устланной красным ковром мраморной лестнице на второй этаж. Проходя мимо невысокого мраморного постамента с бюстом вождя революции, Муссолини внезапно остановился. Вслед за ним остановился и посол, остановились и следовавшие за ними люди. Некоторое время дуче созерцал скульптуру, а затем спросил:

– Кто скульптор?

– Фамилия скульптора Кац, – сообщил посол, присмотревшийся к табличке на постаменте.

– Ну что ж, – усмехнулся дуче и сказал: – Для скульптора с такой фамилией это совсем неплохая работа.

На лицах итальянцев появились улыбки, и Муссолини, весьма довольный собой, проследовал в зал. Улыбки же объяснялись тем, что для итальянского уха звукосочетание «кац» означает то же, что и слово из трех букв, украшающее русские заборы.

Рассказывая эту историю, дед посмеивался. Ему она нравилась, подозреваю, как образец искусного манипулирования информацией. Бабка, а она была много моложе его, обращалась к нему по имени-отчеству, что никого никогда не удивляло.

Аустра Яновна, как и дед, происходила из оказавшейся в Питере латышской обрусевшей семьи. Мать ее преподавала в школе немецкий, отец занимался гидромелиорацией малых водоемов и славно потрудился на ниве благоустройства городских каналов и водозаборных систем. И в облике Аустры Яновны, и в ее поведении преобладала прибалтийская сдержанность, составлявшая ее главное внешнее отличие от окружавших ее уроженцев Питера. Правда, сдержанность ее была не просто чертой уроженки Прибалтики, а качеством, еще и присущим обычно людям, живущим не в своей стране, «сдержанностью», так сказать, второго порядка, чертой, которую мать моя никак от нее не унаследовала. Впрочем, сдержанность эта граничила еще и с некоторой надменностью, тень которой изредка пробегала по

ее бледному лицу, выдавая себя прохладным неморгающим взглядом серо-голубых глаз и чуть опущенными кончиками ясно очерченных губ. Нельзя не отметить и то, что именно бабка привила моей матери любовь к театру и позднее поддержала ее намерение стать актрисой.

– Красота и достоинство не должны исчезнуть, хотя бы и только на сцене, – сказала она мужу объясняя свое решение поддержать намерение дочери.

Контр-адмирал же полагал, что театр есть ничто иное, как вертеп.

– Или Голгофа, – возразила Аустра Яновна; ее тетка работала когда-то в латышском драматическом театре в Москве и была расстреляна вместе со всеми остальными актерами и актрисами в 1937 году.

Самого деда арестовали через два года после возвращения из поездки в Италию, когда приобретенная у итальянцев подводная лодка попала в ледовый плен во время перехода из Белого моря в Баренцово. Поход лодки в Баренцово море связан был с модной в то время идеей освоения Северного морского пути. Выполняя спущенный сверху приказ, лодки, двигаясь подо льдами, должны были закладывать огромные заряды взрывчатки в местах критического скопления льдов. Первоначальную разведку и оценку положения льдов должна была предоставить полярная авиация.

– По сути своей, – рассуждал контр-адмирал в поздние годы, – это была попытка повторить успехи Метростроя и создать надежную трассу для движения во льдах. Идея несколько опережала время и его возможности, в частности, в вопросе поддержания радиосвязи с подводными лодками, плывущими подо льдом.

– Кого-то должны были посадить, и выбор пал на меня, – сказал он однажды, незадолго до смерти.

Деда обвинили в неоправданных расходах на исследования, разработку и создание новой техники для осуществления связи с подводными лодками. Вскоре после его ареста арестовали и бабку, Аустру Яновну, а мою мать забрала к себе ее тетка, проживавшая в Пушкине. Однако будущий контр-адмирал выдержал и побои, и запугивание, и ничего не подписал, и поскольку другого такого специалиста по радиосвязи в стране не было, ему создали условия для продолжения его работы за колючей проволокой: возглавляемое им специальное конструкторское бюро направляло работу института, которым он руководил до посадки. Прошло несколько лет, и после успешных испытаний разработанного им оборудования дед был освобожден, а позднее еще и восстановлен в своей прежней должности.

После освобождения из-под стражи мой дед, его жена и дочь,

которая все это время прожила у тетки, оказались во временно предоставленной им комнате в коммунальной квартире на Садовой.

Первые несколько недель к ним почти каждый вечер приходил участковый и проверял документы об освобождении. Соседи глядели на них со смесью страха, уважения, зависти и презрения. Когда мой дед, не мудрствуя лукаво, избил соседа, выходившего подымить на кухню и каждый раз не упускавшего случая сказать какую-нибудь гадость в адрес моей бабки, презрение навсегда исчезло из этого небогатого набора чувствований.

Вскоре, в одно прекрасное утро, за бабкой приехали молчаливые товарищи со шпалами в петлицах. Приехали они еще до того, как она должна была, как обычно, направиться на работу в Пединститут. Ее усадили в автомобиль и после недолгой поездки показали ей огромную пустую квартиру на Петроградской стороне, напротив зоопарка, объяснив, что завтра ее муж получит ордер на проживание в этой квартире. Затем ее отвезли в огромный ангар в аэропорту Пулково, где ей было предложено выбрать подходящую для указанной квартиры мебель. Ангар был огромен, заполнен самой разной изъятой при арестах и выселениях мебелью, но все попытки отыскать мебель, конфискованную после ареста контр-адмирала и его жены, оказались тщетными, и после пары часов поисков Аустра Яновна подписала составленный сопровождающими ее лицами список понравившихся ей предметов обстановки из хранившейся в ангаре мебели, доставленной на следующий день в обширную, с высокими потолками квартиру.

2

Прямые солнечные лучи нечасто попадали в контр-адмиральскую квартиру. По утрам солнечный свет касался стен и темных деревянных панелей в гостиной, а самым светлым помещением в квартире была просторная с эркером комната, примыкавшая к столовой и выходившая окнами в сад.

Мебель, отобранная Аустрой Яновной во время посещения ангара, была разностильная, темная и громоздкая; кровати и платяные шкафы, обширные диваны, секретер, письменный стол и книжные шкафы соседствовали с уютными креслами, столиками и старыми лампами начала века с желтыми сплетенными проводами, пожелтевшими абажурами и тронутыми патиной медными трубками и рычажками переключателей.

Именно в этой квартире я и вырос, вернее, даже и не во всей квартире, а преимущественно в комнате с эркером и полукруглым диваном, обитым серебристым бархатом, с журнальным столиком и несколькими креслами и темными, с золотым тиснением, слегка

поблескивавшими корешками переплетов в книжных шкафах у дальней стены.

3

Через несколько лет после выхода из тюрьмы, уже после окончания войны моему деду присвоено было звание контр-адмирала. Доносчики, однако, из числа его лучших учеников, продолжали свою деятельность, о чем дед, естественно, догадывался. Смотрел он на эту сторону жизни вполне философски, поясняя это следующим образом:

– Радиоприемник, по существу своему и устройству, весьма похож на передатчик, а передатчик, – продолжал он, – в свою очередь, очень близок по устройству к приемнику... В одном случае вы получаете радиосигналы из эфира, – он очень любил это слово, – и сигнал этот несет информацию о звуке, который в вашем приемнике восстанавливается по наложенным на электромагнитные волны очертаниям звуковых колебаний... С другой стороны, передающая станция при посредстве электромагнитных волн передает все характеристики, ну, скажем, вашего голоса в эфир, так что процессы эти приема и передачи внутренне взаимосвязаны... И если вы что-то сообщаете окружающим вас людям, то, естественно, должны ожидать, что они будут передавать эту информацию дальше... Поскольку человек не слишком уж сильно отличается от приемно-передающего устройства, – говорил он, с удовольствием замечая ужас в глазах Аустры Яновны, – всевозможные обещания, клятвы и прочие попытки провести в жизнь идею сохранения тайны почти всегда бессмысленны и тщетны и могут задержать естественные процессы передачи информации лишь на какое-то время. Чем, впрочем, и занимаются всевозможные службы, определяя сроки засекречивания той или иной информации и пытаясь спланировать обеспечивающие эти сроки засекречивания меры.

Назовем вещи своими именами: похоже было на то, что люди для моего деда были ничем иным, как источниками и передатчиками информации, хотя, следует сказать, не отрицал он и того, что предлагаемые им схемы понимания человеческого поведения ужасно примитивны. Лишь позднее мне пришло в голову, что философия деда выросла из его опыта: огромное количество технической информации, используемой в его разработках, поступало к нему в институт, благодаря работе разведчиков-нелегалов в странах Запада.

– Что ж поделаешь, коли мы живем в такое время, – говорил он.

– Но театр, искусство, творчество – ведь это все другое, – возра-

жала ему бабка, не осмеливавшаяся даже и упоминать о вере и вечной жизни души.

– Люди должны иметь возможность ошибаться, какие-то области надо оставлять не до конца отрегулированными, тогда из ошибок, из просчетов или срывов может возникнуть нечто новое. Нельзя не учитывать и случай: взять для примера хотя бы те обстоятельства, при которых наша дочь встретила своего будущего мужа, – продолжал дед свои рассуждения, демонстрируя то же необъяснимое стоическое упорство, с которым он переносил допросы и побои.

Из чего ясно, я думаю, и то, отчего отец мой предпочитал по возможности меньше общаться с контр-адмиралом. Тем не менее моим родителям пришлось переехать в эту квартиру вскоре после моего рождения. Причина этого была проста: моя мать собиралась вернуться на сцену еще до того, как мне исполнится год, и она сумела уговорить отца согласиться на переезд, что было, как я понимаю, совсем непросто, ибо отец хорошо знал тот тип людей, к которому принадлежал контр-адмирал Толли-Толле.

О себе скажу лишь, что с раннего детства мне нравилось бывать у Стэнов, иногда я оставался ночевать у них; любимицей же контр-адмирала и его жены была Нора, и с нею они чувствовали себя гораздо удобней и естественней, чем со мной.

4

В тот год, когда Нора окончила первый класс, адмирал с супругой направился в длительную, на несколько лет, командировку в Севастополь, а Тасю, выдрессированную Аустрой Яновной и давно уже ставшую неотъемлимой частью дома, адмирал и его супруга оставляли в полное распоряжение мой матери. Жила Тася в небольшой, примыкавшей к кухне, комнате, водила Нору в детский сад, неплохо готовила и любила при случае приложиться к бутылке. Норе было лет десять, когда у нее обнаружили затемнение в правом легком, и мать с отцом отвезли ее на Черное море, в Севастополь, где контр-адмирал Толли-Толле занимался обновлением радиолокационной службы черноморского флота.

5

На юг мы не ездили – мать не переносила южное солнце, она, как и отец, чувствовала себя вполне комфортно на даче у Стэнов в Сестрорецке, где сохранилось немалое количество старых, изданных еще в двадцатые-тридцатые годы книг. Дом был двухэтажный, деревянный, окруженный соснами. Особенно хорошо запомнились мне темные осенние ночи и опадающий за горизонт Млечный Путь. Отец

рассказал мне о звездных скоплениях еще в детстве. Тогда же услышал я имя Камиля Фламмариона – отец читал его книги. Помню, как со свечой в руке я поднимался в комнату на втором этаже, где отчего-то не горела лампочка. Окно наверху было открыто, и свечу задуло, стало темно, но во тьме, за серым зыбким контуром оконной рамы, светилась уходившая в никуда россыпь бледных огней.

В то лето я заболел. Сидя у моей постели, мать читала мне «Робинзона Крузо»; книга в суперобложке была проиллюстрирована гравюрами Гюстава Доре. Запомнил я и описание потаенной лимонной рощи. Расположена она была под горой, в лощине, и герой Дефо бывал там крайне редко, так как боялся пропустить проплывающий мимо острова парус. Лимонная роща, синее море и белый парус – все это виделось необычайно ярко, смешавшись с ароматом лимона, меда и чая, которым меня поили.

Когда я наконец выздоровел, мы с матерью пошли на полупустой базар, где приобрели несколько пучков моркови и зеленые кислые яблочки. По ночам я разглядывал Млечный Путь, и отец пообещал свозить меня в обсерваторию в Пулково, где, как он сказал, наблюдают звезды.

6

Каждое лето, в августе, направлялись мы путешествовать: выезжали на озера Карельского перешейка и в Прибалтику, не раз бывали на Рижском взморье и в самой Риге, где в первый же наш приезд в город я увидел постамент памятника маршалу Барклаю де Толли. Никакой фигуры, однако, на постаменте не было.

– Это наш дальний предок, – сказала мне мать; мы стояли у постамента с именем полководца на краю Александровского сада, скорее даже на бульваре, что завершался у здания Главпочтамта.

Рядом в саду, прогуливаясь по дорожкам, беззаботно клевали хлебные крошки голуби.

– Этот постамент? – спросил я.

– Нет-нет, сам Барклай, – пояснила она смеясь.

– А где же он? – спросил я.

– Он пропал, – объяснила мать, – сошел с постамента и удалился...

– Куда?

– Наверное на взморье, подышать свежим воздухом, – ответила мать.

Медный Барклай, гуляющий по взморью, меня поразил.

Через несколько лет, по дороге в бывший Кенигсберг заехали мы на мызу в Восточной Пруссии, где в 1818 году Барклай де Толли умер

от сердечного приступа в возрасте пятидесяти четырех лет. Я запомнил сверкающую змейку реки, холмы и голубые леса на горизонте.

– Они его затравили, –сказала мать о Барклае, – а все, что написано о нем в «Войне и мире», – это бредни Толстого, его туманная философия.

Роман Толстого я прочитал сразу после окончания учебного года в школе, незадолго до нашего отъезда. Лето для меня всегда было временем запойного чтения.

Возвращаясь из бывшего Кенигсберга, мы заехали в Вильнюс, где когда-то жила Ада.

Я увидел Гедиминову гору, красные, тронутые ржавчиной крыши, убегающие вниз улицы в мягком и рассеянном, влажном солнечном свете, узкие, желтеющие в переулке дома, костел Святой Анны, ворота городской стены с мрачной часовней по имени Острая Брама и старую Ратушную площадь.

В кафе на площади родители заказали карбонад с брусникой, салаты и картофельный цеппелин с мясом для меня.

– Раньше здесь все было иначе, – сказала мать, когда мы сидели за деревянным столом в зале, стилизованном под корчму на литовской границе, – а теперь появились новые районы, совершенно безобразные, но все-таки не такие страшные, как у нас в Ленинграде. Так выпьем же чарочку за шинкарочку! – провозгласила она, подняв бокал с местным фруктовым вином.

Зимой она репетировала роль Марины Мнишек, но спектакль закрыли. «Они сочли его слишком вольнодумным, – пояснила тогда мать, – бедный Пушкин! А он всего-навсего подражал Шекспиру. На бедного Алексея Николаевича жалко было смотреть, а впрочем, поделом ему!» – сказала она о главном режиссере того театра, где служила искусству.

Отец внимательно ее слушал. Он всегда слушал ее со вниманием, он вообще никогда и никого не перебивал, напоминая этим свою мать. Моя же мать обычно высказывала какое-либо суждение, затем развивала свою мысль, порой уводя в сторону; вот и сейчас она вспомнила об уже пошитом для нее костюме Марины Мнишек, скорее даже «облачении», уточнила она. А потом умолкла и посмотрела в сторону отца, и тогда он сказал что-то легкое, с тем чтобы разрядить обстановку.

Я навел на нее объектив отцовского фотоаппарата «Зоркий» и щелкнул. В эту поездку я получил первые знания о том, что такое выдержка, диафрагма и резкость. Фото это сохранилось.

Что на самом деле имела в виду мать, о чем думала, заметив, что

когда-то здесь все было иначе? Позднее, познакомившись с понятием «подтекст», я не нашел его ни новым, ни непонятным, подтекст всегда присутствовал в наших домашних разговорах. Вот и тогда, сидя за столом, я вдруг вспомнил, что, согласно рассказу Агаты, во времена молодости моей бабки Ады город этот часто называли Иерусалимом Литвы. Наверное, мать просто вспомнила первую свою встречу с Адой, подумал я, ведь они были такие разные. И кто это утверждал, что мужчины выбирают женщин, похожих на свою мать? Пожалуй, это утверждение не имело ровно никакого отношения к выбору моего отца.

ЖИВОЙ ТРУП

1

С годами я открыл, что переживание прошлого бывает порой не менее насыщенным и интенсивным, чем переживание настоящего; более того, прошлое живет где-то рядом с настоящим, иногда переступая отделяющую их грань. И оно до невозможности живое, никак не в меньшей мере чем то, что мы называем настоящим.

Мне было года три-четыре, когда одной из самых загадочных вещей в доме мне представлялся радиоприемник – не очень большой темный деревянный ящик, из которого однажды вдруг зазвучал человеческий голос. Произошло это через некоторое время после того, как на панели ящика вдруг засиял, медленно разгоревшись, зеленый глаз, мерцавший в ощутимом согласии с голосом.

«Живой труп», – слова эти донеслись из темного деревянного ящика, стоявшего на круглом столике в углу комнаты. Помню еще и потертый край обитого зеленым плюшем кресла у столика. Все остальное тонет в некоем тумане, внезапно прорезанном словами «живой труп». Поначалу мне подумалось, что человек, чей голос я услышал, прячется где-то за ящиком или за креслом, но там никого не было. Тем не менее, я готов был допустить, что он существует, но просто невидим. Оставалось лишь дождаться того момента, когда взрослые принесут ему что-нибудь поесть, скорее всего, в жестяной миске, подобной той, из которой ел наш пес по кличке Вурм, названный так в честь одного из персонажей пьесы Шиллера «Коварство и любовь», на представление которой однажды зашел мой отец. Однако ожидания мои оказались тщетными, а загадка осталась, и *живой труп* постоянно возникал в моих размышлениях. Не оставляла меня и мысль о том, на каком языке изъяснялась отрезанная от тела голова, и теперь я понимаю, что хотел узнать, на каком языке разговаривают мертвые, – к тому времени я уже видел мертвеца в доме у Агаты. Наверное, *на мертвых*

языках, внезапно пронзила меня догадка, когда я вспомнил это слышанное не раз в доме выражение. Да, конечно, именно на *мертвых*, но принадлежат ли они *язычникам*? И кто такие эти *язычники*? Злые ли они? И сколько их? Все эти вопросы меня мучали, и я молчал, слушая разговоры старших и зачастую не понимая их. Однажды я спросил у матери, на скольких языках изъяснялся *живой труп*.

Мать ответила не задумываясь: о да, она уверена, что тот человек, о ком я говорил, знал и французский, и немецкий, что было вполне естественно для людей того круга в то время. «Во всяком случае, – сказала она, ссылаясь на уже знакомое мне по рассказу «Филиппок» имя автора, – сам Лев Николаевич Толстой прекрасно говорил на английском, французском и немецком языках. Более того, на склоне лет Толстой взялся за изучение древнееврейского языка. Кстати, пора мне поговорить с Агатой о твоем образовании», – добавила мать.

Как-то мать рассказала, что моя бабушка, арестованная в свое время вслед за дедом, выжила благодаря тому, что обучала французскому языку свою сокамерницу в следственной тюрьме. Соседка моей бабки по нарам была молода, хороша собой и после окончания следствия стала женой начальника следственного отдела. Вскоре после выхода из тюрьмы она добилась освобождения моей бабки, у которой начала брать уроки французского и хороших манер, и так продолжалось до самого начала войны. «Ты представляешь, что стало бы с твоей бабушкой, не знай она французского?» – спросила тогда мать.

Так Мельпомена и Клио, управлявшие жизнью моей матери, не оставляли мне никакой возможности уклониться от изучения иностранных языков.

Принял я этот «приговор» со стоическим смирением. Существовала некая «улица», как видно, несколько отличная от тех, по которым я ходил, направляясь в школу, и родители мои считали, что чем больше я буду заниматься языками или чем-то «дельным», тем меньше у меня останется времени для «улицы» и ее влияния. Дельным же могли быть занятия в кружках, изучение языков с теткой, занятия спортом и детская драматическая студия при Дворце пионеров.

В то время я уже догадывался, неясно и неотчетливо поначалу, что провидение готовит мне судьбу *живого трупа*. Слова эти нашли меня, и я на них откликнулся с обреченностью тайновидца, узревшего одному ему ведомые знаки на стене. Речь идет о том метафизическом смысле, который предполагает соединение этих слов, если забыть о содержании пьесы и ее персонажах, и попытаться вглядеться в проступающее за хаосом обрисованной действительности содержание так, словно разглядываешь ущербный, затемненный диск солнца через зачерненный копотью свечи кусок стекла.

Жизнь моя к тому времени полна была неопределенности. Во-первых – и даже в последних – в том, что звали меня Николай. Отец мой утверждал, что так звали бойца, дотащившего его, раненного, с ничейной земли до наших окопов и исчезнувшего потом из его жизни. Я же подозревал, что связано мое имя с домашним именем моего деда, Nicolas, но сказать этого никому не мог, не желая хотя бы и косвенно оспаривать версию отца. При этом, однако, услышанные на кухне звуки песни со словами «*Коля, Коля, Николай, сиди дома не гуляй...*», доносившиеся из приемника в комнате у Таси, обычно заставляли меня в недоумении глядеть на себя в зеркало и размышлять, отчего мне досталось это имя. Валенок у меня в отличие от упоминаемого в песне Николая никогда не было, к тому же «валенком» окружавшие меня старшие называли обычно людей неловких. Признаюсь окончательно, имя свое я терпеть не мог, пожалуй, даже ненавидел. Казалось мне, что подходит оно более всего *живому трупу*.

БЕСЕДЫ С ОТЦОМ

1

Со временем, однако, стало мне казаться, что услышанный по радио голос связан каким-то образом с вещающей с тарелки головой, увиденной на странице книги, лежавшей на столе в комнате, именуемой библиотекой. Рядом с книгой стояла хорошо знакомая мне белая фарфоровая чашка с недопитым матерью кофе. Помимо небольшого количества старых романов и изданий, посвященных искусству, библиотечное собрание включало множество книг о географических открытиях, плаваниях и поисков проливов, учебников по математике и радиосвязи, а также принадлежавшие отцу книги по физиологии, психологии и терапии нервных заболеваний.

На рисунке или, вернее, репродукции, о которой идет речь, изображено было белое фарфоровое блюдо, стоящее на покрытом красным бархатом столе. На блюде находилась мужская голова. При полном отсутствии туловища, что было очевидно, ибо бархатная накидка не доставала до пола, и разделенные пустым и слегка запыленным пространством ножки стола видны были совершенно ясно, она казалась живой. Впрочем, должен уточнить, что объект, показавшийся мне головой живого человека, все же больше походил на ожившую гипсовую голову. Запомнил я этот рисунок чрезвычайно хорошо, а книгу с рисунком, как я понял, читала в то время моя мать.

2

Отец, к которому я все-таки обратился за разъяснениями, откинул назад голову и рассказал мне об увиденной им на представлении

в театре живой, говорившей с блюда на столике, голове. В его рассказе фигурировали бархат, столики, голова на блюде, зеркала, шахматные автоматы барона Кемпелена и обман зрения. Упоминал он и операции доктора Демихова, и написанный примерно тогда же роман Александра Беляева «Голова профессора Доуэля».

К тому времени я постепенно привык, что приемник в кабинете отца, который ранее был кабинетом деда, был просто дополнением к креслам, книжным полкам и старому письменному столу с черной настольной лампой. На темной ткани передней панели приемника имелось узенькое оконце с именами городов и длиной соответствующих волн, массивным переключателем диапазонов и вращающейся в поисках станции ручкой. Точность настройки указывал большой и мерцающий на передней панели зеленый глаз. Звук доносился из круга, чуть более затемненного, чем остальная поверхность ткани.

Слушая иногда передачи зарубежных радиостанций, отец приглушал звук, если только это не была музыка. У него скопилась довольно большая коллекция грампластинок. Время от времени он усаживался за фортепьяно и пытался *привести в порядок свою память и руки*, как описывал он свои занятия музыкой. Список его предпочтений состоял из нескольких наиболее простых в техническом отношении сонат Гайдна и Моцарта. Занятия музыкой, по его словам, были для него чем-то вроде необходимого отдыха, отвлекавшего внимание от занимавших его вопросов. Первые свои уроки музыки он живо помнил и иногда рассказывал о том, какого рода надежды возлагала на него Ада, благодаря настойчивости которой он достиг определенного, хотя и не слишком высокого уровня исполнения. Думаю, отец мог бы добиться и большего музыкального мастерства, но в силу определенных причин, связанных в том числе и с обстоятельствами времени, в котором он жил, некоторые сознательно принятые решения не способствовали этому: он выбрал другую, лишь отдаленно связанную с музыкой карьеру.

Отец не любил Бетховена – так, во всяком случае, он говорил, полагая его слишком эмоциональным, слишком навязывающим свое уникальное прочтение мира. Гораздо больше устраивала его меланхолическая созерцательность, она не вносила возмущений в его мир, подчиняя его чужим переживаниям и страстям. В этом его отношении присутствовала нотка горечи, свидетельство прошедшего и канувшего в Лету увлечения. Музыку мой отец предпочитал слушать в одиночестве. Иногда он мог поставить полюбившуюся ему запись для одного из немногочисленных своих друзей. Порой он казался мне опытным игроком в карты, тщательно скрывавшим не только свое лицо, но и количество карт, которые были у него на руках.

В зимнюю пору отец был бледен, а летом лицо его легко покрывалось загаром, и тогда в глазах его отчетливо появлялся зеленоватый проблеск. При этом он всегда был монументально спокоен, словно часовых дел мастер или осторожный энтомолог, старающийся не сдуть салатную пыльцу с легких крыльев бабочки. Помню его высокий лоб и большие серые с прозеленью глаза, наводящие на мысль о филине. Носил он в основном черное: черные туфли, черная морская форма и желтоватого оттенка рубашки. Его готовность медленно докапываться до мельчайших деталей заставила мать как-то раз сказать ему, что жизнь – это отнюдь не шахматная партия, после чего отец рассмеялся и попросил ее объяснить, как она пришла к подобной идее. Он хотел объяснения, досконального и точного, как запись в судовом журнале или морской лоции.

К тому времени я уже видел рисунки в его книгах по физиологии, где фигурировали собаки, лампочки и слюнные железы, и слышал школьные разговоры о нервных рефлексах, проверяемых ударами молотка по колену, анатомии, прозекторской и опытах с использованием электрических разрядов, опытами над лягушками и мертвецами. Разговоры обо всем этом шли и в пионерлагере во время школьных каникул. Там, после того как в палатах выключали свет, неизменно говорили о временах блокады, найденных в холодце детских пальчиках и людоедстве. Возвращаясь же к обсуждению с отцом вопроса о *живом трупе*, вспоминаю, что когда после блужданий мы вышли, наконец, к источнику этой странной, по мнению отца, идеи, засевшей у меня в голове, и он объяснил мне, что волновавшее меня словосочетание есть ничто иное, как название пьесы о человеке, который ушел из семьи, общества, а затем и из жизни, я, несмотря на эти объяснения, принять его догадку всерьез никак не мог.

3

Все то, о чем говорил он, почти совпадало с тем, что я услышал от матери, и тогда я пришел к выводу, что от «толстóго» просто некуда деться, и вообразил его чем-то вроде *Соловья-разбойника*, сидящего на ветке дуба, растущего где-то на *ясной поляне*.

Выслушав меня, отец понял, что меня взволновал скорее визуальный образ, образ надреальный, сюрреалистический, сочетавший несочетаемое и входивший в конфликт и с ежедневным опытом, и со здравым смыслом, и для того, чтобы я смог обойти эту проблему моего восприятия со стороны, ибо удалить ее из моего сознания было, по-видимому, невозможно, он предложил мне постараться понять, как такие образы создаются, для чего мне следовало пойти в изостудию.

Его совет я принял, но поверить всерьез и полностью в объяснение, отсылавшее к разысканию принципа построения метафоры, я не смог – мне хотелось понять, скрывается ли за этой метафорой что-то еще. Казалось, то был какого-то рода атавизм, вера в магическое, колдовское сочетание слов, способное изменить окружающую нас реальность враз, мгновенно, изменить, если угодно, до состояния абсолютно невероятного. Или вытащить эту скрытую в реальности возможность.

Вскоре я начал ходить в изостудию, где нас учили рисовать гипсы, драпировки и сидящие на табуретках фигуры, писать акварелью этюды на основе сделанных ранее рисунков. Но что-то в возникших на бумаге изображениях меня не устраивало и достичь памятного мне с детства леденящего ощущения не удавалось. В последующие же годы ощущение, пережитое мною при встрече с *живым трупом*, время от времени возвращалось ко мне, возвращалось под той или иной маской, и я, осознав, что толком о нем почти никому не расскажешь, ибо толком тебя почти никто не поймет, научился молчать о его проявлениях, и постепенно мне стало окончательно ясно, что некоторыми своими ощущениями с окружающими делиться не стоит или, если уж делиться, то отнюдь не со всеми.

В конце концов отец посоветовал мне начать вести дневник, где мне следовало день за днем описывать события своей жизни, свои ощущения и давать оценку происшедшему.

– Время от времени ты будешь его перечитывать, – сказал он, – и постепенно, по мере накопления опыта, заметишь, как меняется твое отношение к тем или иным событиям и как меняется твоя жизненная позиция. Но запомни, – добавил он, – дневник этот ты должен писать только для себя, читать его будешь ты сам, а кто-нибудь другой сможет с ним ознакомиться, только если ты сам этого захочешь. Так что будь откровенен сам с собой и запомни: слова изживаются словами.

АГАТА

1

Моя мать всегда была рада возможности забежать к Агате на Большую Конюшенную и в свое время не допускала даже и мысли о том, что я буду заниматься французским с каким-нибудь другим педагогом. Так, собственно говоря, и произошло. Позднее с Агатой начала заниматься французским и моя подросшая к тому времени сестра, названная Норой в честь героини пьесы Ибсена. Излишне говорить, что роль Норы была одной из самых интересных ролей, когда-либо сыгранных моей матерью. Так она во всяком случае всегда говорила. При этом она ни секунды не сомневалась, что никакого отношения к

тому, что мы называем «нормальной человеческой жизнью», ни пьеса, ни изображенная в ней Нора, не имеют. Однажды я слышал, как мать обсуждала эту тему с Агатой.

– Ходули, – сказала Агата, – сегодня это совсем дико, но героические примеры нужны, моя милая, хотя бы для того, чтобы входя в квартиру, люди вытирали ноги. Вчера к нам приходил дворник с какой-то бумагой, ты и представить себе не можешь, сколько грязи было на его сапогах...

– Они их специально грязью заляпают, а потом направляются по квартирам, сами-то в полуподвалах живут, и уж поверь мне, к нам на спектакли они не приходят, все больше у рюмочных толкутся, – ответила ей мать, и обе захохотали.

Ведьмы, подумал я, а Нора, должно быть, их ученица и помощница, и, кстати говоря, моя мать иногда называла Агату «шамаханскою царицей». Так было и в тот день, когда мать рассказывала, как Агата на одном из заседаний худсовета театра обольщала приглашенного туда завреперткома. Речь шла о той очередной французской пьесе, которую Агата собиралась перевести по просьбе Алексея Николаевича, главрежа, оставалось лишь сочинить заявку с обоснованием необходимости постановки именно этой пьесы. И сделать это следовало так, чтобы завреперткома без колебаний утвердил репертуар театра на следующий сезон.

Позднее, когда я и сам начал писать для театра, Агата рассказала мне об этом эпизоде подробней.

– Да, пьесу эту отыскала я, и готова была перевести ее, но ведь по его же, Алексея Николаевича, просьбе. И никто, никто даже не посмел заикнуться о том, что главреж хочет поставить эту пьесу для Клары, та ведь мечтала о роли Грушеньки, вот так ей хотелось: из постели – и прямо на сцену в роли Грушеньки; а наш Алексей Николаевич хоть и любит коньяк, но пропил еще не все, и понимал, что мечта ее может так мечтой и остаться, и дай-то бог, чтоб так оно и было. Но ведь обещал же он ей, а она грозила ему скандалом, да еще каким! И это при его положении депутата и совершенно безумной жене. Вскоре возникла у него идея поставить пьесу о Грушеньке французской, которая крутит всей семейкой – и папой, и его сыновьями. При этом он умудрился внушить своей пассии, что ведь и сам Федор Михайлович писал примерно о том же. Ну а главное, говоря о реперткоме, утверждал, что спектакль этот поможет нам понять причины кризиса института брака там, на растленном Западе. Так, собственно, и сказано было в нашей заявке, и в реперткоме с этим были как будто готовы согласиться. И вот представь, Nicolas, собрались мы все на заседание худсовета, на стол подали чай и закуски

в связи с присутствием человека из реперткома, ну, слегка выпили, и вот тут-то наш милейший завлит и пустился в самые нелепые рассуждения о Достоевском и половом вопросе. Боже, до чего распустились люди в ту пору! Дай им глоток свободы, и они лоб себе разобьют, лишь бы доказать, какие они дураки. И наш Борис Вениаминович туда же. Да, да, – продолжала она, – и представь себе, он начал говорить о том, что и сам Федор Михайлович половой вопрос никак не отменял, ну а преемник его по отношениям с Сусловой вопрос этот чуть ли не в центр всего своего творчества поставил. Его – и евреев, кстати, с которыми он тоже так и не смог справиться, и оттого придумал, что возлюбил. Да разве же с ним, с нашим Борисом Вениаминовичем справишься? В него надо литр коньяка влить, прежде чем он остановится. Что же мне оставалось делать? Конечно, я попыталась обольстить этого человека из реперткома, надо было спасать Алексея Николаевича, театр, да и себя тоже…

2

У нас в доме Агата появлялась, когда она «уставала от беготни», и ей «хотелось продышаться и пообщаться с нормальными людьми», – так, во всяком случае, она говорила. «У Агаты легкий язык и живой ум, – считала моя мать, – и с ее текстами легко работать...»

Более того, моя мать любила посплетничать с Агатой, благо, и тем, и поводов для сплетен было предостаточно, ибо в театре моей матери в силу ее внешности и голоса приходилось обычно играть роли трагических героинь. Возможно именно поэтому многие актрисы любили общаться с ней и в качестве интересного материала для обсуждения не могли предложить ничего большего, чем свои собственные треволнения и чужие судьбы.

Сплетничали мать с Агатой обычно за кофе, разливая его по чашкам из большого итальянского кофейника, привезенного когда-то из Генуи контр-адмиралом Толли-Толле, покуривая удлиненные, кофейного цвета сигареты Фемина, которые приносила Агата. Кстати говоря, моя мать не курила, но появление Агаты изменяло тональность, настроение и даже сервировку, начиная со скатерти и заканчивая салфетками в старых серебрянных кольцах. Льняная с латвийской вышивкой скатерть и салфетки заменялись на накрахмаленные и белоснежные, на столе появлялись предметы кофейного сервиза, печенье, коробка с шоколадными конфетами и специальные рюмки для ликеров; нарезался прозрачными дольками лимон.

Позднее Агата говорила, что в такие моменты она вспоминала ушедшие времена комфорта и уюта жизни в родительском доме, воскресные послеобеденные чаепития с рассматриванием репродук-

ций французских мастеров, беседы за бутылкой вина и легкими закусками.

– Впрочем, – как-то сказала она, – возможно, комфорт и уют родительского дома существовали лишь потому, что мы, дети, не знали, о чем говорили родители за закрытыми дверьми. Скорее, это тоже был своего рода театр.

Что имела в виду Агата? Какие темы могли быть предметом обсуждений за закрытыми от детей дверьми? Тут речь, вероятно, шла о «непролетарском происхождении» старого Стэна, о нем ему напоминали не единожды, и только его неоспоримые достижения в сочетании с прирожденным умением молчать позволили ему удержаться на плаву; притом что сам он никогда не претендовал на первые роли, отчего всегда был кому-то нужен и удобен. Так, во всяком случае, говорила Агата. Особенно опасным могло быть упоминание имен Троцкого и Зиновьева в связи с подписанной Старокопытиным «охранной грамотой». Замалчивались и всевозможные вопросы, связанные с прошлым бабки, которая официально именовалась Адой Аркадьевной Стэн.

Дед, правда, сказал однажды, что поскольку отца ее звали Арье, то логичнее было бы воспользоваться переводом этого имени с иврита, и тогда бабку следовало бы называть Адой Львовной, но отнюдь не Аркадьевной, что совершенно неоправданным образом привносит оттенок счастливого пастушеского существования во все происходящее. Впрочем, оставим это высказывание на его совести. Итак, все менялось, и со временем даже налет польско-еврейского акцента в речи моей бабки почти исчез, нивелировался, ведь у нее был прекрасных слух, она продолжала играть на фортепьяно как во времена своей молодости и часто ходила с дедом на концерты в филармонию. Зная ее прямой и несколько взбалмошный характер, объяснявший, с точки зрения деда, весь ряд событий, предшествовавших ее появлению в Петрограде, он полагал, что ей никак нельзя работать вследствие решительно изменившейся с первых послереволюционных лет атмосферы во всех государственных и общественнных учреждениях.

– Она погибнет, но не одна, а вместе со всеми нами, пусть лучше сидит дома, – сказал он как-то раз Агате.

В конце концов бабка начала давать уроки музыки, просто для того, чтобы общаться с любящими музыку детьми; такая форма общения ее вдохновляла. Что касается Агаты, которая сильно ее напоминала, то стоит отметить, что тетка моя была гораздо гибче бабки в суждениях и менее предсказуема в поступках, не раз нарушая те или иные писаные или неписаные законы. Ей нравилось плести интриги и реализовывать планы, что для нее было практически одним и тем же.

Переводы и работу в театре воспринимала она как единственную данную ей возможность побега от удручавшего ее окружения, которое нуждалось в театре как в средстве общественной терапии.

– Я не могу сидеть на этих собраниях, где они бесконечно что-то поддерживают: Кубу в ее борьбе с империализмом, танки, которые помогают строить социализм в Чехословакии, и даже общественников, которые по субботам добровольно подметают улицы или делятся своей кровью с нашими арабскими друзьями. Но после смерти этого чудовища мы все-таки повернули в сторону какой-то нормальной жизни, – говорила она, – достаточно посмотреть на наш репертуар. Конечно, все происходит медленно, но нам и не стоит спешить после такого безумного начала. Мы серьезно больны, милая, – говорила она матери, – вот и Саша так же считает, но если мы не можем отправлять всех подряд к психиатрам, так пусть хотя бы ходят в театр. У нас люди смеяться вообще не умеют, – сожалела она, – впрочем, есть от чего... Им просто необходимо кого-то ненавидеть.

– И тянется это с незапамятных времен, – поддержала ее моя мать, – а Толстой об этом или почти ничего не пишет, или объявляет это правильным и естественным, а ведь когда князь Багратион заявил, что в генштабе кругом одни немцы, так что русскому человеку и жить невозможно, Барклай ответил ему: «А ты – дурак, хоть и считаешь себя русским». Ты же это помнишь, Агата? – и она, отставив чашку, посмотрела на нее.

– Ну конечно, милая, – ответила Агата и засмеялась.

Надо отметить, что несмотря на полную абсурдность вопроса, прозвучал он вполне натурально, так, словно мать действительно интересовало, помнит ли Агата сей эпизод русской военной истории. Мать моя любила разыгрывать подобные сценки, происходившие от естественного для нее желания быть в центре внимания. Следует также признать, что мать никогда особенно не жаловала людей per se, и мне всегда казалось, что ее уход в театр был, в сущности, выражением именно этой стороны ее отношения к жизни.

В их отношениях с Агатой присутствовал, как мне иногда казалось, элемент влюбленности, смешанный с толикой радости, проистекавшей от ощущения стабильности и комфорта общения. А иногда, помню, я думал о том, что Агата и мои родители представляют из себя некое странное сообщество, неполную, но стабильную конфигурацию близких и любящих друг друга людей. Иных подруг Агаты я не припоминаю, хотя они у нее и были, но женщины вообще ее мало интересовали. Замужем Агата никогда не была – ей нравилось быть независимой. Она пользовалась вниманием мужчин, но не пыталась женить их на себе. Она была умна и никогда не злоупо-

требляла своими успехами. Она была кошкой, гуляющей сама по себе. Возможно потому, что она снисходительно относилась к мужчинам. «Они бесконечно заняты своими мужскими играми, – говорила она, – меряются, у кого длиннее...»

К институту семьи Агата относилась с почтением. «Семья – это нечто святое, – говорила она, добавляя: – но семейная жизнь – это то, к чему я, наверное, просто не предрасположена.» Следует признать и то, что Агата никогда не была злой. Мне иногда казалось, что ее «легкомыслие» было ничем иным, как проявлением мудрости. Оттого, наверное, у Агаты было немного друзей, еще меньше подруг и ее, в отличие от многих других преподавателей, любили студенты. Самые интересные студенты удостаивались приглашения к ней домой. Именно там, в квартире на Большой Конюшенной, познакомился с Андреем ее бывший студент Сергей Лец-Орлецов.

ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ

1

То обстоятельство, что в свое время ни я, ни моя младшая сестра не блистали на академическом поприще, каким-то образом подготовило моих родителей к той ситуации, которая обозначилась вполне ясно и окончательно, когда я заявил, что интереснее истории и географии в школе предметов нет и не может быть. Нравилась мне и литература, но я любил ее какой-то иной любовью, не той, что нам пытались вбить в голову в посвященные этому предмету школьные часы. Я много и без разбора читал, а еще учился писать и думать, заполняя страницы своего дневника взахлеб нахлынувшими соображениями, но об этом я умолчал и долгое время никому ничего не говорил, следуя укреплявшейся с годами привычке додумывать свои мысли в одиночестве.

То, что алгебра и тригонометрия не давались моей сестре, принималось как нечто совершенно не нарушающее порядок вещей, мой же случай воспринимался как нечто из ряда вон выходящее. Но, как это было установлено позднее усилиями школьных педагогов и парой репетиторов, не то чтобы я был никак не способен к освоению этих премудростей, нет, они меня просто абсолютно не интересовали, и вот это отсутствие интереса к ним я никак не мог преодолеть. Мне, в сущности, было решительно все равно, пересекаются ли параллельные прямые или нет, или, говоря иначе, сколько прямых, параллельных данной, можно провести через точку на плоскости вне лежащей на ней прямой.

После школы я начинал безнадежные битвы с домашними заданиями по алгебре, тригонометрии и геометрии. Вел я их за письмен-

ным столом в своей спальне. Мало интересовали меня и другие науки, скорее притягивали мое внимание какие-то практические вещи, такие, как фонарики, «динамка» на велосипеде, заставлявшая фонарик светиться, и стрелка компаса. Все эти предметы казались мне объектами весьма интригующими и таинственными. И когда лет в четырнадцать-пятнадцать я заинтересовался возможностью поступить в мореходку, а произошло это после нашей поездки в Севастополь, отец посоветовал мне не делать этого: «Это не для тебя, – сказал он, – лазить по вантам и по реям – это одно, а заставят тебя изучать геометрию, чистить картошку и мыть пол в казарме, и тогда ты все возненавидишь. Коллектив и служба, а главное, дисциплина – это не для тебя, – сказал он. – ‘Не можешь – научим, не хочешь – заставим’. Как тебе такая формула?», – спросил он.

Таким было его окончательное суждение, внутренне соглашаясь с которым, я, тем не менее, не готов был принять в качестве руководящего принципа.

– Проблема не в том, что ты чего-то не можешь, – говорил отец, – просто у тебя понижен интерес к достижению цели в коллективе. Ты выбираешь тех людей, которые тебе интересны, остальные тебе безразличны или даже антипатичны. Ты – индивидуалист. И это ничем не изменишь.

Разговор наш проходил в комнате с эркером. Располагалась она на отшибе, между столовой и просторной адмиральской спальней, позднее превращенной в малую гостиную, и именно в этой примыкавшей к столовой комнате проводил я большую часть дня в те годы, туда устремлялся немедленно по завершению своих битв с означенными предметами.

Однажды, еще на подходе к малой гостиной, услышал я голос матери.

– Его девушки интересуют, – сказала моя мать, что явилось для меня полной неожиданностью, – да и женщины тоже. Он думает, я не заметила, как он рассматривал Клару Анцишкину на прошлой неделе? Она ко мне забежала попить кофе и поболтать, – сообщила она отцу, – мы с ней усаживаемся, кофейник на плите, а я собираю пирожные на мой любимый мейсенский поднос, чтобы поставить его вот на этот столик, вместе с кувшинчиком для молока и чашками, и тут появляется этот, – клянусь, она хотела сказать «увалень», это слово она часто употребляла, но в последнее мгновение заменила его на «добрый молодец», – так вот, появляется этот добрый молодец, смотрит на Клару, а она все еще хороша собой, и, поверь мне, Саша, с места сойти не может, – и мать засмеялась, – как быстро растут дети.

ЕЛЕНА ТОЛЛИ-ТОЛЛЕ

1

Ни в церковь, ни в кирху, ни в костел моя мать никогда не ходила, по вопросам веры не высказывалась, хотя и говорила не раз, что следует уважать чувства людей, относя таким образом самые главные и «самые последние» вопросы, как говорил один писатель, к сфере чувств.

Иногда, впрочем, какие-то высказывания открывали совершенно неожиданные для меня стороны ее мировосприятия, происходило это чаще всего в процессе ее общения со знакомыми – с нами, детьми, она была достаточно предсказуема. Другой она становилась и во время бесед с отцом, заметил я это еще в детстве и не переставал этому удивляться, всякий раз заново открывая для себя то объединявшее их таинственное чувство, что никуда и никогда не исчезало из их жизни. Впрочем, по общим вопросам у родителей моих не было противоречий. Более того, они не спорили вообще, во всяком случае при нас, и ни моя сестра, ни я ничего подобного спору или скандалу припомнить не можем.

Иногда, помню, я заставал их погруженными в беседу; беседовали они обычно у отца в кабинете, сидя в глубоких кожаных креслах под старым торшером, тускло поблескивающим медным стволом на имперских ножках. В такие мгновения лица их казались мне изменившимися, иными, какие-то маски словно отлетали с них, то были лица не для всех – они предназначались друг для друга. В них было меньше озабоченности и отблеска внимания посторонних или просто других людей; может быть, в случае матери расхождение это между ликом и личиной проявлялось даже более заметно, чем в случае отца, хотя бы и потому, что множество ее личин всегда несло в себе какую-то легкую тень, отпечаток или неисчезающее послевкусие, привносимое ее профессией.

Отчего-то вспоминаю я контр-адмирала, отъезд его в Севастополь и ремонт в квартире на Петроградской, начавшийся чуть ли не на следующий день после нашего возвращения с вокзала. Ремонтом мать руководила сама и превратила наш дом в светлое, просторное и удобное жилище, потребовав убрать первым же делом массивные темные деревянные панели, прикрывавшие стены в высоту человеческого роста.

«Мать бежала от него к отцу», – подумал я, очертив фигуру контр-адмирала темным, как дубовые панели, и неопределенным местоимением. Она умела быть неожиданной, могла и промолчать, а при необходимости – сглаживать острые углы. Ее молчание было выразительным, то были люфт-паузы – театральный термин, который

я знал еще с юности. Мир ее чувствований оставался для меня тайной. Постепенно, однако, привык я к тому, что объяснений каждому событию с ее участием может быть несколько, что вовсе не означало непоследовательность или причуды, напротив, она была последовательна и предсказуема, как перемены погоды.

В школьные годы один из ее одноклассников, позднее ставший известным актером, придумал шутливые строчки:

Толли – дождик, Толле – снег,
То ли будет, то ли нет...

Узнал я об этом случайно, разглядывая выпускную фотографию класса, в котором она училась.

– А вот этого человека ты узнаешь? – спросила она, указав на стоявшего во втором ряду юношу, глядевшего не в объектив фотокамеры, а несколько поверх его. Мне показалось, что я видел обладателя этого взгляда в кино, в роли офицера русского флота. Мать подтвердила мою догадку, я не ошибся, это был известный актер. Отчего-то показалось мне, что мать была в него влюблена в юности, а возможно и позднее, когда они работали в одном театре. Спросить ее об этом прямо я так и не решился.

Наверняка об этой стороне жизни матери моя сестра знала больше, чем я; ее отношения с матерью были более близкими и доверительными. Когда сестра подросла, мать иногда советовалась с нею и только после этого объявляла нам, мужчинам, о том или ином своем предложении. Оттого, возможно, я называл сестру «министром без портфеля». Выражение это мне ужасно нравилось еще с тех пор, когда я учился в школе, и мне приходилось таскать с собой портфель с учебниками, пеналом, завтраком и спортивной формой. Портфель был обременителен, он осложнял путешествия в трамваях и автобусах, он пропадал, рвался порой, да и вообще был обузой. Именно поэтому, я полагаю, выражение это и звучало столь прельстительно для моего уха. Мир «министра без портфеля» был очерчен понятно и ясно. Итак, ты министр, но носить с собой портфель не надо, – прекрасно, не правда ли?

Теперь я думаю, что стать «министром без портфеля» сестре помогло то обстоятельство, что после трех проведенных в Крыму лет она выросла в достаточно крупную, уверенную в себе и в важности своего нахождения в этом мире девицу. Разговаривая, она любила использовать выражения типа «когда я болела», «когда я лечилась» и тому подобное, добавляя при этом следующие обороты: «я была так невыносимо одинока», «мне казалось, что я никогда не вернусь

домой» и «ты мне снилась по ночам», – и все это, конечно же, обращено было к матери, и моя мать, игравшая обычно роли сильных и незаурядных женщин, невольно сжималась и становилась ощутимо меньше на вид, при том, что теперь, по возвращении из Крыма, Нора хотела следовать ей во всем.

Кстати сказать, Крым, куда я ездил вместе с родителями, чтобы навестить Нору и деда с бабкой, подействовал на меня неожиданным образом – я начал сочинять стихи, это была первая моя встреча с южными ночами над темным мерцающим морем.

НЮРНБЕРГСКИЕ ЗАКОНЫ

1

Следует признать, что отношения между представителями разных поколений Стэнов и Толли-Толле никогда не были простыми. Что же стояло за ними? «Ах, многое…», – сказала бы моя мать, она всегда использовала именно этот оборот, когда ей не хотелось разбираться в деталях какой-либо проблемы и анализировать ее, словно все это было так же далеко, как, скажем, Северный морской путь с его льдами и торосами.

«Как? Стейн?» – спросил в свое время контр-адмирал Толли-Толле, выдав свою всегдашнюю настороженность. Указание на то, что фамилия моего отца Стэн, а не Стейн, его не успокоило, и, узнав о еврейском прооисхождении Ады, матери моего отца, он сказал: «Ну, я же говорил…» Однако в защиту выбора дочери выступила ее мать, Аустра Яновна, заявившая своему мужу, что с его взглядами следовало бы жить где-нибудь на далеком хуторе в Латгалии, а не в Ленинграде. Не выдержав противостояния с ней и дочерью, контр-адмирал сдал свои позиции.

С отцом я эти вопросы не обсуждал, что до Андрея, то он контр-адмирала не просто недолюбливал, а третировал как-то по особенному, припомнив однажды известные слова Черчилля о тех, кто точит штыки во мраке арктической ночи, механически повторяя слова философии ненависти и насилия. Иногда мне казалось, что мой дед с материнской стороны был бы, в принципе, не против последовательного применения нюрнбергских законов для определения расовой чистоты. «Андрей – внутренний еврей, – не раз говорил он уже после отъезда Андрея за границу, – но это естественно, ведь его мать еврейка.»

Старого Стэна, с точки зрения контр-адмирала, как бы и не было, он не существовал и ни в какие уравнения никак не входил. Отец мой, следуя его воззрениям, был криптоевреем, в то время как я был просто не пойми чем, ибо в моем случае немецко-латышская

кровь моей матери была смешана с криптоеврейской. Впрочем, скорее всего, и адмирал, и его жена меня любили, но любили как-то сдержанно и осторожно. Они меня внимательно разглядывали, так мне всегда казалось. А вот к Норе они были расположены самым искренним образом. Возможно, отношение их ко мне предопределено было тем, что я был старшим ребенком их дочери, появившимся на свет вскоре после вступления ее в брачный союз, никак не соответствовавший их ожиданиям. Ко времени рождения Норы они несколько смягчились, им пришлось примириться с выбором единственной дочери, у которой к тому же родилась ее собственная дщерь.

Надо ли дальше объяснять причины того, что мне нравилось бывать на Большой Конюшенной?

2

Когда пришла пора получать паспорт, я, естественно, уже привык к тому, что из-за непривычно звучащей фамилии меня порой принимают за еврея. Правда, как мне объяснили однажды, вопрос о моем происхождении возникал в сознании слушателей, стоило мне только открыть рот и заговорить. Не то чтобы я картавил или говорил с какой-то особенной интонацией, или, например, неправильно говорил по-русски, нет, я, по-видимому, увлекшись, бывал недостаточно молчалив для уроженца северных широт. С годами, впрочем, я стал больше ценить прелесть пауз и выгоду молчания.

Изредка мне приходилось вежливо объяснять интересующимся, что я, разумеется, русский, правда, из тех русских, предки которых попали в Россию из Западной Европы, но объяснения мои звучали, по-видимому, не столь убедительно. Иногда мне просто говорили, что есть во мне что-то от еврея, и тогда я, естественно, рассказывал о том, что мать моего отца, моя бабка Ада, была еврейка. Должен сказать, что я, как и мой отец, выгляжу в большей мере арийцем, чем евреем, у меня крупные и правильные черты лица, прямой неширокий нос, и я достаточно высокого роста. Более того, я действительно ощущаю себя русским, пусть и с некоторым вывихом, просто потому, что живу в России и не знаю, кем иным я мог бы себя вообразить; я считал и считаю эту страну своей хотя бы по той причине, что никакого желания изменить место своего проживания никогда не испытывал.

3

И в облике, и в характере отца моего всегда присутствовала одна трудноопределяемая черта, скорее, импульс, какое-то несформированное, но готовое проявиться движение или элемент эмоционально-

сти, который, я полагаю, в моем облике отсутствует. Однако, несмотря на порой приписываемую мне инертность, я могу и взорваться, то есть уложить выброс энергии в чрезвычайно короткий интервал времени. Этому научили меня занятия спортом. Начались они с того, что еще в ранней юности я приобрел черные тяжелые гантели и занялся длительными и тяжелыми упражнениями. Вскоре отец отвел меня к известному в то время тренеру по плаванию.

– Тебе следует развить длинное дыхание, – объяснил отец, – и ничто не поможет лучше, чем плавание... Жизнь наша устроена так, что без длинного дыхания не обойтись... Без него ты не достигнешь никакой цели...

Позднее мне пришлось расплатиться за успехи в плавании – мое личное дело оказалось в отдельной стопке папок на столе, за которым сидели члены призывной комиссии. Составлена была стопка из папок с документами спортсменов-разрядников. Как ни странно это звучит, я подумал, что мне повезло, – меня не направили служить на флот, где срок службы был на год больше. Задним числом я думаю, что так получилось из-за сочетания непривычной русскому слуху фамилии и разряда по плаванию.

– А ты, Стэн – немец? – спросила меня после одного из занятий в бассейне Ната Стрелкова; она мне нравилась, да и я, как видно, чем-то заинтересовал ее, и через некоторое время, после того как я проводил ее домой, там же, у нее дома, состоялось мое первое серьезное знакомство с карнальными аспектами познания мира. В ту пору, когда я занимался плаванием, считалось, что из Наты выйдет выдающаяся спортсменка, тогда она действительно подавала большие надежды, но спорти́вная карьера ее не сложилась и ко времени моего возвращения из армии она превратилась в довольно известную валютную проститутку.

4

С годами я понял, что мои отец и мать принадлежали к той особой породе людей, осознанно вошедших в жизнь уже после войны, совпавшей с их молодостью. Люди эти принимали жизнь непосредственно, так, как она происходила, как была задана; скорее всего, это было следствием военных лет, того тотального неустранимого опыта и переживаний, которые не вмещались в какие-либо известные и привычные рамки. Так же они жили и в послевоенные годы. Именно на этих ощущениях и переживаниях возникли и выросли питавшие их чувства. Они, пожалуй, всегда ощущали и осознавали себя частью некой общности. Даже в поздние свои годы мать моя любила вспоминать, что служила в известном русском театре, а отец, я думаю,

гордился своей причастностью к военно-морскому флоту, – однажды в качестве судового врача ему довелось принять участие в одном из кругосветных плаваний базировавшейся в Мурманске подводной лодки. Материалы психологических обследований, предпринятых им в ходе плавания, легли позднее в основу его кандидатской диссертации, которую он защищал перед закрытым ученым советом Военно-медицинского института.

Конечно, нельзя сказать, что он не видел того, что происходило вокруг, но жил он под явным впечатлением от той неизмеримой мощи, которой служил, оттого, возможно, и в поведении его, и в стиле общения присутствовала примесь этакой военно-морской бравады, вызывавшей у меня легкую зависть и восхищение. Возможно, что и сама эта почти юношеская по характеру бравада связана была с ощущением выхода в открытые воды, в пространства, недостижимые для рядовых обитателей нашей закрытой страны.

Вскоре после окончания корейской войны ему пришлось заниматься критериями отбора моряков для долгих подводных плаваний. Типы подводных лодок менялись, менялось их оснащение, менялись боевые задачи и сроки, на которые уходили они в море. Однажды отец рассказал мне, что в свое время были в нашем подводном флоте и субмарины, которые наши мариманы называли «Ваня Вашингтон» по ассоциации с американским аналогом, и вот с этим-то типом лодок, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками, и связан был вопрос об употреблении плавсоставом красного молдавского каберне. Считалось, что оно помогает организму преодолеть негативные последствия радиационного фона, создаваемого ядерными боеголовками и двигателями лодок, лежащих в ходе боевого дежурства под водной толщей у берегов враждебных нам государств.

Морякам, долгое время находившимся под водой, полагалось по триста граммов красного молдавского каберне в день, но пить свою порцию ежедневно за обедом они не хотели и потому объединялись в группы по пять человек, чтобы каждому раз в пять дней доставалось в пять раз больше вина. Счастливчик выпивал свои полтора литра и засыпал на койке. Пока лодка была в походе и каждый пятый на борту лежал на своей полке мертвецки пьяный, все было еще ничего, с этим можно было мириться, ибо активная, требующаяся в походе работа, отвлекала внимание остальных от питья. Однако с того момента, когда лодка добиралась до места назначения, начальство, естественно, старалось изыскивать для команды какие-то заполняющие время занятия, но делать мариманам, в сущности, было нечего, они должны были просто ждать того момента, когда лодке в силу исчерпанности ресурса приходилось сниматься с дежурства и плыть обратно на базу.

Существование в режиме ожидания было чревато превращением лодки в некое подобие занесенной снегом дежурки – ситуация, знакомая мне по тому времени, когда я попал служить во внутренние войска и сторожил заключенных. Режим потребления вина менялся, делать было особенно нечего, и накопившиеся за время подводного перехода озлобление и неприязнь начинали искать себе выход.

Понимание динамики существования коллектива, разбитого на небольшие группы, проблемы выявления подлинных лидеров и многое другое – вот вопросы, занимавшие в то время моего отца. Помню разнообразные, построенные по его идеям электрические схемы с поразному дрожащими стрелками приборов, установленных перед каждым участником проверочных испытаний. Каждому из них предлагалось привести колебания стрелок в определенный режим при помощи манипуляций с различными управляющими рычажками. Проблема состояла в том, что, начиная действовать, каждый пытался навязать системе взамосвязанных приборов свою собственную стратегию, навязывая ее попутно и всем остальным участникам, так что, в конце концов, после окончания стадии хаоса в коллективе появлялся лидер, диктующий всем остальным участникам свою стратегию управления неустойчивым состоянием стрелки. Более того, отца интересовали определенные, поставлявшие лидеров психологические типы участников подобных экспериментов.

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?

– вспомнил он однажды услышанные от одного из испытуемых строчки. Думаю, что в этих строчках и заключалась его, с позволения сказать, философия. Присутствовал в ней и своего рода медицинский фатализм, обусловленный всем его образованием и годами работы с плавсоставом. Более того, могу сказать, что отец мой был «человеком коллектива»; во всяком случае, в отличие от меня – а меня он определял как индивидуалиста, – он свою жизнь вне коллектива не мыслил, и, обладая сильным характером, никогда не проявлял анархистских наклонностей. «Я пью за военные астры...» – вот строчка, которая преследует меня, когда я начинаю о нем думать, при этом «военные астры» сплетаются в моем сознании с хризантемами из его корейского прошлого. Правда, однажды, рассуждая о прошедшей войне, он неожиданно процитировал известную строфу из десятой главы «Евгения Онегина»:

Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?

Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

Прозвучала она как признание того, что на некоторые вопросы ответа просто нет. Так думали не только он и мать, но и многие другие люди их возраста и круга.

Мы же с Норой, их дети, оказались людьми, рожденными как бы на выдохе умиравшего вместе со своей эпохой времени, и именно поэтому искали в жизни чего-то другого. Вспоминая многократно произнесенные моей матерью слова Станиславского о том, что «театр – это здесь и сейчас», я не мог не согласиться с тем, что для родителей наших мысль эта в применении ко всей жизни была совершенно неоспоримой частью их жизненной философии. Для нас, как и для Андрея, все, связанное со «здесь и сейчас», было подернуто маревом и дымкой сомнения.

В МАСТЕРСКОЙ АНДРЕЯ

1

Потом все уйдет, сотрется и исчезнет из памяти или окажется погребенным под ворохом многочисленных фактов, материалов и слов, и среди всего исчезнувшего окажутся, возможно, и те немногие живые детали и связи, без которых Андрей для меня немыслим, ибо он, в конце концов, был частью какого-то места, живого узла, человеческих связей и общей атмосферы времени, то есть всего того, что в первую очередь поглотят темные и холодные воды истории. При том, что картины его и графические работы останутся, и именно по ним, отталкиваясь от них, будут судить о нас люди новых времен.

Были ли его талант и дарование «камерными»? Был ли он «субъективным летописцем»? Визионером? Клоуном и пьяницей? Искусным имитатором? Или мастером? И по какой шкале следует измерять его достижения? В какое прокрустово ложе впихнуть? Иногда он представляется мне кем-то вроде художника далекой заморской экспедиции, из тех, что привозили зарисовки с неизвестных дотоле новых земель. Иногда я ощущаю, что предан ему больше, чем всем остальным своим близким, но кем он был? Пассионарием? Или безумцем? Какова, в сущности, изначальная природа той эльфической, воистину нездешней энергии, что была присуща ему? О чем думал он, глядя из окна своей мастерской, выходившей в глухой двор? Что рисовалось ему, какие образы возникали в потеках облупленных сырых стен? В дрожащих от холода неоновых рекламах той поры? В выписанных бледным неоновым огнем вензелях «Рюмочной» и «Телеателье»?

В годы моей молодости кое-кто считал Андрея Стэна сумасшедшим, но таковым, по моему мнению, Андрей никогда не был. Городским сумасшедшим, безумцем – отчасти да, может быть, но безумцем клиническим – вовсе нет. К тому же время от времени он слегка приоткрывал разные стороны своей личности; пожалуй, то был случай многоликости, какой-то редкой способности к перевоплощению, одарившей его возможностью вдохновляться самыми различными событиями и литературными произведениями, в эту широкую категорию я включаю и написанные для театра пьесы. Источником же недоразумения и поспешных суждений были его искренность и почти детская непосредственность в сочетании с умением нашего героя раздуваться, причем метаморфоза сия происходила обычно практически на глазах у его собеседников.

Не раз знакомые говорили мне, что стоило им начать не соглашаться, возражать или хотя бы усомниться в справедливости того, о чем увлеченно и порою даже вдохновенно рассказывал Андрей, как он практически на глазах у собеседника раздувался в огромную лягушку, квакал, краснел, потел и улыбался...

Мне же казалось, что это, в основном, вопрос восприятия. Обидевшись, Андрей просто надувал свои губы так, что они становились пунцовыми, притягивая взгляд собеседника, и в этот момент в нем проступало что-то от клоуна; облик его при этом становился и загадочней, и значительней, провоцируя людей неискушенных на наивные, в сущности, замечания о его способности раздуваться.

С виду Андрей был маленький, испуганного вида, стремительно располневший после тридцати человек с синими глазками, с остатками некогда пепельной шевелюры и большими залысинами, время от времени рассказывавший знакомым и товарищам те или иные забавные сведения или просто анекдоты из истории живописи. Маленькие глазки его становились при этом ослепительно синими, белки приобретали желтоватый оттенок по странному закону дополнительных цветов, взгляд метал молнии, и Андрей начинал преображаться в описываемых персонажей, а они при этом, оставаясь узнаваемыми, приобретали странные, необычные характеристики. Он принадлежал к тому типу людей, которые всегда окружены группой заинтересованных слушателей. Одним из них был я, выделенный его покровительственным отношением, включавшим, по-видимому, и принятие факта нашего родства. Меня при этом знакомые всегда называли по фамилии – Стэн, редко добавляя после этого мое имя «Коля»; его же всегда называли полным именем – Андрей Стэн.

Мне мой брат всегда напоминал волчонка с тяжелым характером. Озлобленный на всех и на все, он всегда готов был к отпору,

была в нем определенная сумасшедшинка. Нашего деда он недолюбливал. «Провел всю жизнь в страхе, – сказал он однажды, – да еще и помогал продавать картины из Эрмитажа.»

Сблизились мы постепенно. Лет семнадцати, уже окончив школу, я начал заходить к нему в мастерскую. Ему было чуть больше тридцати в ту пору, до этого мы не раз встречались у Агаты, но он обычно куда-то спешил – не любил присутствовать на семейных торжествах. Иногда я встречал его на выставках, в музеях и на лекциях.

Однажды он спросил у меня,

– Ну хоть стихи-то ты пишешь?

– Пишу иногда, – признался я, – когда мы на даче или в отъезде. А как придет мысль, что пора возвращаться в Питер,

К знакомым лицам в потеках и сырости,
К зеркалу тусклому и калошам.

– отчего-то начинаю писать стихи…

– Ну, может быть, прочтешь что-нибудь еще, – предложил Андрей.

– Хорошо, – согласился я.

Из написанного мною в Крыму стихотворения о саде, – привожу его ниже, – понравилась ему последняя строфа.

Гора сырой ступенью сада
Спустилась в моря синий гул.
Пятнистые кусты раздвинув,
Соленый воздух сад вдохнул.

Где лестница к земле клонится
И бредит листьями ограда,
Вдыхает солнечные блики
Сырая туча винограда...

Помню, он посмотрел в окно на глухую стену напротив, а затем обернулся ко мне и заключил:

– Оказывается, ты настоящий романтик.

– Ну, не знаю, – ответил я.

– А ты не огорчайся, – сказал он с удовольствием, – эта порода людей никогда не исчезнет.

2

Однажды я застал Андрея у нас дома. Приход его, как оказалось, был связан с его театральными планами. Начинал он в Мухинском

училище, занимался книжной графикой, но затем продолжил свое обучение в классе великого Н. П. Акимова и стал театральным художником. Он сделал несколько успешных спектаклей, но отношения с людьми театра у него не складывались – так, по крайней мере, говорила моя мать, возможно из-за его характера, возможно из-за того, что он слишком серьезно относился к своей работе.

Итак, вернувшись однажды домой после занятий в институте, я застал Андрея, оживленно беседовавшего с моей матерью. В то время она уже принялась искать подходы к роли Гертруды; работа над спектаклем началась задолго до выхода приказа по театру; художника на эту постановку хотели пригласить со стороны, и сама мысль о возможности подобной работы Андрея весьма вдохновила.

Надо сказать, в ту пору я уже интересовался театром, жизнь на сцене представлялась мне единственно подлинной, а изо всех пьес более всего волновал меня «Гамлет», оттого, возможно, что внутри самой пьесы появлялись бредущие по берегу моря актеры – Боже, как все это напоминало наше взморье, сосны, дюны и зависшее над горизонтом северное солнце.

Как-то, помню это отчетливо, дело было летом, довольно плотная туча, хоть и не объемная, заслонила солнце, небо под тронутым желтизной краем тучи стало фиолетовым, и из-за нее опускались на воду лучи, потоки света, перемешивая желтые и фиолетовые полосы.

Надо ли объяснять, с каким интересом прислушивался я к разговору матери с Андреем. Похоже было, что Андрей воспринимал пьесу так, словно навеяна она была всей нашей питерской жизнью. Ему казалось, что Гамлет, в сущности, борется с собственной скукой и пошлостью жизни.

Из пояснений матери, последовавших за уходом Андрея, получалось, что он представлял себе весь спектакль как разворачивающиеся на морском берегу сцены. Виделся ему песок, бредущие вдоль воды актеры, коридоры и залы Эльсинора, пустые черные камины и могильщики.

– Это должен быть спектакль о мировой скуке, – заявил он через несколько дней у себя в мастерской, – той скуке, в которой мы живем. В конце концов, пьеса эта разыгрывается почти в каждом доме, каждый день. И еще, в сущности, это пьеса о театре, – продолжал он, – о том, что одни и те же пьесы разыгрываются вновь и вновь, достаточно поменять лишь несколько строк, как в той вставной пьесе, которую разыгрывают актеры по просьбе Гамлета.

Мысль эта меня захватила, но я и виду не подал. Была у меня такая привычка: молчать о том, что по-настоящему волнует, внимательно слушать то, о чем говорят другие.

– В этом безумии есть своя система. Он мог бы стать могильщиком этой постановки, – заявила моя мать после ухода Андрея. – Может быть даже хорошо, что ему не дадут делать этот спектакль. Это был бы крах его театральной карьеры. Он сосредоточился на тюрьме и скуке. Никто на это не пойдет, – призналась она.

Я понял, что моя мать была несколько озадачена и даже слегка напугана его идеями по поводу декораций для постановки «Гамлета», – это стало ясно, когда она объяснила мне, что спектакль этот делается для актеров, а не ради какого-либо нового прочтения.

– Наш Алексей Николаевич уже в том возрасте, когда необходимо браться за Шекспира, – говорила она медленно, – иначе получается, что он как бы и не сложился, и не созрел, и театр под его руководством еще и не вырос достаточно, – продолжала она с усмешкой, – ведь мы, в конце-то концов, обслуживаем его интересы, и так оно всегда и было, потому-то и Клара, оглядевшись, прыгнула к нему в постель. И тут появляется Андрей со своей идеей о том, что жизнь наша – тюрьма и скука, которая хуже, чем тюрьма, но, собственно, ее и составляет. Кому же, ты думаешь, нужно это? Нашему Алексею Николаевичу? Или реперткому? Или еще кому-то? Никому! – ответила она на свой же вопрос, не ожидая какой-либо реплики ни от меня, ни от Агаты. – Вот если бы Андрей был режиссером, имел свой театр, дожил до седин и получил награды и премии, вот тогда он смог бы начать играть в свои игры, да и то осторожно… А так, – она внимательно посмотрела на меня и неожиданно произнесла, усмехнувшись, причем в глазах ее промелькнуло что-то малознакомое, – я ведь тоже не прочь сыграть Гамлета, но сейчас такие эксперименты не в моде, хотя Саре Бернар это дозволялось.

Итак, Андрей бунтовал и оттого выглядел странным, даже инфантильным, отказываясь играть в принятые его окружением игры по правилам, понятным всем, а моя мать, готовившая роль Гертруды, принадлежала к тем, кто эти правила игры осознал и принял.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

1

В армию я попал вскоре после того, как меня исключили из пединститута. Чем мне на самом деле хотелось бы заниматься в свои студенческие годы, я представлял себе неясно и оттого посещал лекции и занятия на отделении иностранных языков в одном из располагавшихся вблизи от набережной Мойки корпусов пединститута. Поступил я туда для того, чтобы избежать призыва в армию – в пединституте имелась военная кафедра. С товарищами тех лет

встречались мы у памятника Бецкому во дворе, перед зданием бывшего Воспитательного дома.

Один из них, работая позднее истопником, стал поэтом, другой со временем превратился в фарцовщика, а третий, Саша Картузов, известный множеству крутившихся в центре людей под кличкой Картуз, собирался стать театральным режиссером. С ним мы время от времени устраивали «разгрузочные дни», то есть направлялись в Эрмитаж на очередную выставку или просто слонялись по залам в поисках чего-то незамеченного или непонятого ранее: неожиданных выражений лиц на портретах, странных жестов, необычных пейзажей и тому подобных явлений. Картуз, например, любил разглядывать мумии в нижнем этаже музея и утверждал, что одна из них, алтайская, является мумией его предка.

История эта стала широко известна в нашем кругу особенно после того, как он ввел обычай «пить за мумию», – многим из этого отнюдь не формального сообщества это напоминало о московской, лежавшей в мавзолее мумии. Обычно Картуз предлагал этот тост и в случае необходимости пускался в объяснение легенд, связанных с его родословной и созданием археологической коллекции Эрмитажа.

Дед его был известный археолог, много копавший в Сибири, и Картуз любил рассказывать, как однажды во сне его деду явился человек с длинными, заплетенными в косы рыжеватыми волосами, живший в Сибири за почти четыре тысячелетия до нашего времени. Человек этот поведал деду о том, что, нарушая покой своего предка, тот обрекает своих потомков на страшные страдания.

– Оттого и пью, – пояснял Картуз, поблескивая разбойничьими глазами, – что не вижу в будущем ничего хорошего. Но вы ведь не откажетесь выпить со мной за мумию? Здоровья мы ей пожелать не можем, но выразить свое уважение должны! – восклицал он, вставая.

На девушек, которых мы водили пить пиво, это порой производило сильное впечатление. Если же рассказ о мумии не достигал нужного эффекта, Картуз обычно менял свою манеру и тон повествования на более меланхолический и через некоторое время предлагал честной компании выслушать мое стихотворение о Гамлете:

Облезлой львицей с гобелена
Спустилась Англия ко мне
И на Офельины колени
Я голову склонил во сне.

И снова старый сон приснится,
И тень отца предстанет мне,

На колеснице
Я понесусь на взморье...

Пыль садится
В камине, углями пустом,
И Фортинбраса барабаном
Трамвай грохочет за мостом...

Читал он его, нажимая на последнюю строфу стихотворения. Меня это забавляло, своих стихов я несколько стеснялся.

2

Отчислили меня из института за драку, вернее сказать, я «оскорбил действием» – ударил ногой по заду – освобожденного секретаря нашей комсомольской организации; ударил внутренней стороной ступни точно таким же образом, как бьют ногой по мячу, стараясь аккуратно паснуть товарищу по команде. Произошло это в пивном баре на Невском, где секретарь комсомольской организации нашего института появился вместе с народными дружинниками. В тот день мы с Картузом пришли в бар с двумя девушками-студентками финансово-экономического института, находящегося неподалеку.

Пока его спутники говорили с кем-то из администрации заведения, комсомольский секретарь, оглядев зал, подошел к нашему столику.

– Ну что, Стэн, – обратившись ко мне, сказал он, – говорят, ты тут чаще бываешь, чем на лекциях, а?

Честно сказать, никаких симпатий мы друг к другу не испытывали. Фамилия его была Самарин, был он аккуратный парень, весьма средний студент, настроенный на то, чтобы сделать карьеру. Он уже отслужил три года в армии, был старше нас и считался хорошим лыжником. Лицо у него было широкое, нос курносый, глаза неопределенного холодного оттенка, светлые волосы зачесаны назад.

Мне он не нравился как представитель определенного социального типа, да и я, похоже, не нравился ему по той же причине.

– А ты чего здесь делаешь? – спросил я в ответ.

– Мы тут с дружинниками следим за порядком в местах общественного пользования, – ответил он.

– Ну и шел бы к общественному туалету, там работы много будет, – предложил я.

– Ты не хами, Стэн, мы здесь представители власти, – гордо заявил он.

– Ну и вали отсюда пока цел, – сказал я.

Разговор наш на этом не закончился, и спустя примерно минуту после интенсивного словесного обмена с использованием нецензурных выражений, он повернулся и пошел к телефону, а я к словесному добавил упомянутое «оскорбление действием», после чего был задержан и доставлен в участок. Там я отказался подписывать протокол задержания, и меня отвели в «холодную».

Помимо обычных для КПЗ бродяг, хулиганов и пьяниц в обширной камере находились и мужики, оказавшиеся там по заявлениям своих жен. Те вызывали милицию, жалуясь на избиения и изнасилования со стороны собственных мужей, – это был самый простой способ завладеть жилплощадью мужа и отделаться от него. Тот, как рассказал мне дежурный, обычно получал срок, отбывал его, возвращался и обнаруживал, что у него уже нет ни жены, ни квартиры. Несколько таких историй произошло и с милиционерами. Это был мир лимитчиков, строителей, дешевых и пьяных баб, алкоголиков, шпаны и пригородов с их длинными очередями к пивным ларькам, где в зимнее время пиво продавали подогретым.

Спали мы на голом деревянном полу. Утром, перед поездкой в суд, разговорился я с ментами при КПЗ, простыми ребятами, покинувшими родную деревню или маленький город и пришедшими в милицию после армии. Жили они в общежитиях, некоторые были женаты и надеялись вселиться в ведомственные квартиры. Службу свою в ленинградской милиции они воспринимали как удачу.

Меня повезли в суд, поскольку в отделении милиции решили рассматривать все произошедшее не как хулиганство, чего требовал Самарин, а как незначительное нарушение общественного порядка. Случилось это после того, как Картуз связался с моей матерью, а та позвонила начальнику гормилиции. Генерал, разумеется, любил театр и был поклонником ее таланта.

В итоге я предстал перед народным судьей Субботиной А. И., подвергся административному наказанию, получил десять суток, был обстрижен наголо и вместе с другими нарушителями общественного порядка транспортирован в тюрьму на Шпалерной, откуда вышел после указанного срока, проведенного в камере на четверых и работы на чулочной фабрике, где паковал в коробки нитяные изделия. Я запомнил соседей по камере, хряпу, суп из корюшки, кипяток и жестяные кружки, ежедневный шмон перед отъездом на работу и по возвращении в тюрьму, а также истории, рассказанные товарищами по камере.

На следующий же день после возвращения домой оказалось, что у меня начались неприятности в институте. Посадить меня, как этого ему хотелось, Самарин не смог – все-таки я был уроженец Питера, из

семьи со связями, а он, хоть и комсомольский секретарь института, – уроженец далекого Ярославля, да еще и подвергшийся «оскорблению действием», что в те времена звучало забавно, учитывая, что именно с ним произошло. Но он сумел взять реванш за свое унижение в институте, откуда я, в конечном счете, был отчислен с правом восстановления на курсе после предъявления положительной характеристики с места работы, где должен был проработать не менее двух лет, или после прохождения службы в армии, куда в итоге я и попал, поскольку мне не хотелось просить отца о содействии.

Я знал, что когда Андрея призвали в армию, Агата обращалась к моему отцу за помощью, но он не смог предложить ничего лучшего, чем устроить племянника в одну из расположенных под Питером, в Луге, частей, пообещав, что после прохождения «учебки» Андрей станет там художником, будет оформлять «ленинскую комнату», стенды отличников боевой и политической подготовки и руководить покраской выгоревшей травы зеленой краской накануне приезда инспекторов из округа.

Дорожки на территории части посыпались битым кирпичем и, в сочетании с зеленой травой и выкрашенными зеленой краской стендами с портретами отличников боевой и политической подготовки под красными знаменами, успокаивали инспекторов. «А небо в синий цвет красить придется?» – спросил Андрей у отца и попросил у него книги по военной психиатрии. Судя по всему, книги эти ему пригодились. Его эскиз оформления «ленинской комнаты» был рассмотрен медицинской комиссией с участием психиатра из военного госпиталя, и вскоре Андрей был досрочно освобожден от необходимости прохождения воинской службы.

Ну, а меня отец предупреждал не раз, что не сможет помочь избежать службы в армии, но помочь мне пройти службу в более-менее нормальных условиях он мог. Однако меня никак не привлекала возможность службы при госпитале – думаю, это был предел того, что мог предложить отец, – и потому я решил: будь что будет. К тому же после глупой истории с Самариным мне не хотелось просить отца о помощи.

Давили на меня и мои впечатления от споров отца с контр-адмиралом после бунта на большом противолодочном корабле «Сторожевой» в ноябре 1975 года. Тогда, снявшись с якоря, «Сторожевой» неожиданно вышел из парадного строя кораблей на Даугаве, чудом развернулся в узкой реке и, набирая скорость, двинулся в Рижский залив. Вскоре с корабля понеслись радиограммы, в которых замполит Саблин объявлял, что берет курс на Ленинград, идет в Неву к стоянке «Авроры» и требует предоставить возможность одному из

членов команды выступить по Центральному телевидению, чтобы сообщить народу, чего добивается экипаж.

Приверженец идеи восстановления чистоты принципов марксизма-ленинизма, Саблин следовал словам Бердяева: «Человек может и часто должен жертвовать своей жизнью, но не личностью». Его расстреляли через полгода после подавления мятежа. Отец называл его «новым лейтенантом Шмидтом». Контр-адмирал считал Саблина безумцем. Помню, как, завершая разговор, дед сказал моему отцу: «Как бы то ни было, а делаем мы с вами одно дело».

3

Итак, институт мне пришлось оставить, и я оказался в армии, где меня часто спрашивали, не латыш ли я, адресуясь, очевидно, к таившемуся в глубинах массового сознания образу латышских стрелков. В первый раз случилось это во время прохождения призывной комиссии.

– Так, Стэн Николай, латыш, что ли? – спросил майор в военкомате, просматривая мою папку.

– Нет, я русский, – ответил я.

– Ладно, неважно, разряд по плаванию – это хорошо, пойдешь во внутренние войска, – заключил он.

Несколько раз повторил я в уме наш диалог, и вскоре мне стало ясно, что говорить с армейскими людьми надо коротко, просто и лишь по необходимости. И от этого будет зависеть, как меня будут воспринимать и как станут ко мне относиться. Мне предстояло выработать свою линию поведения, как в свое время Андрею, но тот «косил», а я на это был неспособен. Следовательно, мне необходимо было играть роль «тупого латыша»: переспрашивать и уточнять по-возможности – так, чтобы ко мне обращались в последнюю очередь, или же исполнять просто и точно обращенные ко мне команды; никому не рассказывать о своей семье, отец и мать – служащие, живем в коммуналке, соседка Тася да еще дед с бабкой; учился в педе, отчислили за драку. Внешние данные и мой естественный темперамент позволяли мне изображать медлительного парня с не очень развитым интеллектом. Услышав как-то относившиеся ко мне слова старшины «ряху-то наел, а с мозгами не очень», я понял, что нахожусь на верном пути.

4

После окончания занятий в учебной части под Ленинградом, я провел полгода в конвойном подразделении, участвовал в перевозке заключенных и насмотрелся всякого. Затем меня перевели на службу

в караульный взвод стрелков в лагере, неподалеку от Камышлова, на Урале, в полутора сотне километров от Свердловска.

Выполняли мы задачи достаточно ординарные: конвоировали заключенных на работу, охраняли лагеря по периметру, сопровождали эшелоны и ловили беглецов.

В первое же увольнение отправился я в город на попутке. День был летний, но нежаркий. Побродив по пыльному деревянному городу, зашел я в пивную у городских бань, съел тарелку серых пельменей, выпил жидкого пива, вышел на улицу, купил сливочное мороженое в вафельном стаканчике и отправился от нечего делать в музей.

Экскурсовод, симпатичная девушка с чуть вздернутым носом и карими, слегка раскосыми глазами, одетая как типичная учительница – светлая блузка, темная юбка, туфли на низком каблуке, – обрадовалась моему появлению: согласно служебной инструкции группа должна насчитывать не менее пяти человек, и повела собравшихся посетителей на экскурсию. Звали ее Татьяна, и из ее рассказа я узнал, что начинался Камышлов как острог. Было это еще до Петра. В середине восемнадцатого века через выросшую у острога слободу прошел Сибирский тракт, а в начале двадцатого века Камышлов стал купеческим городом с деревянными строениями, каменным Покровским собором, зданием мужской гимназии, городскими банями, резиденцией градоначальника и полицейским управлением. В ту пору в городе насчитывалось более двух сотен лавок, где торговали хлебом из Зауралья и степей Западной Сибири.

Слушали Татьяну и две пары, отдыхавшие в Обухово, бальнеологическом курорте, который располагался в сосновой роще.

– Ну что, служишь? – обратился ко мне стоявший рядом мужчина.

– Служу, – ответил я, – вот приехал город посмотреть. А вы местные?

– Да нет, в санатории отдыхаем, – сказал мужчина.

Приехали они в Камышлов, чтобы подкупить съестных припасов и спиртного. Припасы, привезенные из дому в санаторий, уже закончились.

– Воздух там, понимаешь, в Обухово, хороший, кормят неплохо, но вот выпить и закусить нечего, – объяснил мне коротко стриженный загорелый мужик средних лет в сером костюме.

Жена его одета была тоже во что-то серо-зеленое, пошитое, видимо, у портнихи, на голове у нее была зеленая фетровая шляпка с пером, губы ярко накрашены. Она чем-то походила на своего мужа, выглядела его ровесницей, но взгляд его татарских с прищуром глаз был поживее. Все то время, что Татьяна рассказывала нам об истории

города, женщина в шляпке не переставала бросать по сторонам взгляды из-под темных густых бровей.

Между тем мужчина рассказал мне, что они из Ирбита, где он руководит мясокомбинатом, и что приехали с женой лечить остеохондроз. Мне показалось, что несмотря на ранний час он уже изрядно выпил.

– А их, – он мотнул головой в сторону другой пары, которая была одета поскромней, – мы с собой взяли, чтобы не скучать, они у меня на комбинате работают, технологи, – пояснил мужчина. – Комбинат у нас классный, еще с войны для правительства колбасы производим – и полукопченые, и сырокопченые, и сыровяленые. Есть у нас и отдельный сорт, «вюртембергский» называется, пробовал? Добавляем конины, ну и коньяка, само собой.

Он вытащил из кармана пиджака серебряную фляжку и сделал глоток. Тут только я понял, что аромат коньяка мне не почудился.

– Хочешь? – спросил он протягивая фляжку.

– Мне не положено, – сказал я на всякий случай.

Сунув фляжку в карман, он хмыкнул,

– Молодец, – и продолжал рассказывать: – Дом у меня деревянный, двухэтажный, три дочери, малинник есть, в общем, полная чаша, да, еще корова имеется, Сиренью зовут. Понял? Вот приезжай в Ирбит, я тебе все покажу, – пообещал он мне уходя.

Жена тащила его за локоть, а пара технологов, мужчина и женщина, последовали за ними, внимательно прислушиваясь к репликам его жены.

– Ну а культурная жизнь? Как с ней обстоят дела? – спросил я у Татьяны.

– Есть у нас кинотеатры и клуб. Ближайший театр в Ирбите, с середины девятнадцатого века, – сказала Татьяна, – у них еще и ярмарка знаменитая, о ней и Герцен писал, и Салтыков-Щедрин. А в Свердловске – я там пединститут закончила, – так там театры не хуже, чем в Москве и Ленинграде.

– Да вот и я в пединституте учился, в Питере, – признался я.

– А сюда как попали? – спросила Татьяна.

– Пришлось уйти в академический, – сказал я, – вот меня и загребли. Ну, мне пора идти, грузовик пропущу. Так вы здесь когда будете?

– Я здесь бываю по выходным, – ответила она, – а так почти весь день в школе, а потом домой.

– Ну, я в следующий раз зайду. Как только увольнение выпишут. Вы не против? – спросил я.

– Так это ж музей, – сказала она, – приходите, когда захотите, – и пожала плечами.

Позднее я узнал, что она преподавала в школе историю, жила с родителями и сыном, был у нее когда-то муж, который выпивал и все не мог отыскать себе работу по душе, а потом уехал куда-то на заработки и исчез.

5

На второй год службы случилось мне застрелить заключенного. Было это зимой, в конце февраля, под вечер, темнело. Он набросил одеяло на проволоку, перелез через «колючку» и скатился вниз к реке по крутому заснеженному склону. Неширокая река замерзла, была подо льдом, другой берег был пологий, беглец почти уже добежал до середины реки, а на другой стороне ее подступал к берегу лес, сосны, ели, словом – тайга. Его заметили, по нему стреляли, но вышло так, что я был в самой удобной для стрельбы по нему позиции – на вышке.

– Стреляй, Стэн, стреляй! – услышал я команду старшины.

Выполняя приказ, я прицелился и выстрелил, беглец дернулся и упал, по снегу потекла кровь.

Я думал, что ранил его, но, оказалось, убил. Потом мне рассказали, что убитый был совсем молодым парнем, а преступником неопытным. Попал он в лагерь за драку, в которой по глупости убил человека. За три дня до побега получил он письмо от своей подружки, которая обещала ждать его возвращения из мест заключения, а теперь писала, что выходит замуж за его товарища. Этим, очевидно, и объяснялось его решение бежать. Побег свой он никак не продумал и никак к нему не готовился. Что-то, по-видимому, на него накатило, какое-то ощущение того, что не бежать нельзя и что побег ему удастся… А может, он просто был на взводе и решил рискнуть. Я знал по себе, бывают такие моменты, когда действуешь словно в бреду… Обо всем этом думал я уже позднее, по дороге домой.

– Тебя, Стэн, надо поощрить, – сказал начальник по режиму, – мы тебя в партию примем, я сам тебе рекомендацию дам, а вторую даст начальник караульного взвода.

Мое мнение его совершенно не интересовало.

Меня наградили часами и десятидневным отпуском, который я использовал, чтобы съездить домой. В плацкартном вагоне я оказался среди людей из той же среды, к которой принадлежал убитый мною человек. Поездка эта запомнилась мне надолго, отчего-то даже сильнее, чем все, связанное с лагерем. День и ночь, проведенные в поезде, несущемся по рельсам в сторону Питера сквозь снег и холод, многое объяснили мне в поведении дотоле не очень понятных товарищей, сослуживцев, выходцев из деревень и малых городов России.

Вокруг меня были именно те люди, в которых мои нынешние сослуживцы превращались, вернувшись со службы. Зачем все они ехали в Ленинград? Ведь их, пожалуй, больше тянуло в места, где они выросли. Такие города, как Москва или Ленинград, представлялись им чужими и враждебными. И все же они зачем-то стремились туда.

6

Мой отец прореагировал на случившееся философски, то есть вполне предсказуемым образом.

– Собственно, служба во внутренних войсках и означает лицензию на убийство, но не врага, а гражданина, коль скоро ты становишься частью карательной системы, – сказал он, – а застрелил ты его, выполняя приказ и свой долг, так что тебе нечего стыдиться.

Так всегда и было с отцом, никогда я и не ожидал от него ничего другого, именно в таком стиле рассуждал он обычно. В то же время, неожиданным для меня образом моя мать не пожелала вникать в детали отцовских рассуждений и обратилась к своему отцу. Она полагала, что меня нужно куда-то перевести из этого «проклятого места», как она называла ИТЛ*, в караульной команде которого я служил.

– Это твой внук, – заявила она деду, – и если ты любишь его сестру, то должен любить и его.

Она, пожалуй, не учитывала, что контр-адмирал Толли-Толле обычно любил людей вопреки, более того, ему нравилось любить вопреки требованиям здравого смысла.

– Почему мой сын должен кого-то убивать? – спросила она. – Почему он не может служить, как все остальные солдаты?

– Что ты имеешь в виду? – спросил у нее контр-адмирал. – Он должен продолжать служить в том же роде войск, куда его призвали. Эти войска подчиняются МВД. То есть, они охраняют общественный порядок, или кого-нибудь, или, наконец, что-нибудь.

– Что-нибудь, но не заключенных же! – воскликнула моя мать. – В конце концов, это твой внук, достаточно того, что уже сделал ты, и того, что сделали с тобою…

– Ну что ж, – сказал дед смягчившись, – может быть, и стоит похлопотать о нем, ведь служит-то он хорошо...

7

Десять дней прошли, я вернулся в Камышлов, доехал до лагеря. Отрапортовал о прибытии и лег на свою койку в казарме. К вечеру

* Исправительно-трудовой лагерь

там собрался народ, я открыл чемодан и достал несколько бутылок водки, «фауст-патроны» с портвейном, армянское вино, докторскую колбасу, консервы «Частик в томатном соусе» и желтую коробку с чаем черным байховым – все это я привез из Питера.

– Ну, ты, Стэн, – человек, хоть и прибалт, – произнес кто-то.

Я обернулся.

– Да ты не обижайся, он завидует, – сказал мой сменщик по дежурству на вышке, – он сам домой хотел съездить, но промазал, не попал.

– Ладно, – согласился я, – на этот раз промолчу, но ведь могу и ответить.

Назавтра мне предстояло идти в караул, все начиналось сначала. Татьяне о своем отъезде я не говорил, сказал, что был на учениях в Еланске.

8

В конце концов усилия моего деда привели к тому, что я начал охранять огромных размеров военно-морской объект в Питере, на Охте. Там же, на Большеохтинском проспекте находились и казармы. Вместе с таким же, как я, караульным и старшиной, мы, следуя инструкциям, регулярно обходили сей объект по вычерченному суриком на цементе периметру. Использование оружия предусматривалось как средство пресечения несанкционированных попыток проникновения посторонними вглубь периметра или объекта.

Все это привело меня к размышлениям о природе границ и их охране. Мое воззрение состояло в том, что тюрьма или торма, что по-татарски означает «темница», определяется наличием границы, а воля есть свет вне этой темницы, безграничная обитель света и вообще – весь свет. «Тюрьма и тьма, свет и воля» – так я это понимаю, такая вот связка. К ней я пришел, формулируя свою собственную жизненную философию, ибо философия, связанная с наукой, никак меня не интересовала, а философия какого-то религиозного извода или направления казалась мне всего лишь попыткой защиты и ухода от не устраивавшей нас реальности. Все это я понял еще в лагере, но не сразу, а постепенно; началось это как-то раз, когда, стоя на вышке, я разглядывал пасмурный заснеженный горизонт, а окончательно понял, когда застрелил пытавшегося бежать заключенного.

Иногда я думаю: кто знает, может быть, именно это происшествие и заставило меня считать себя русским. Казалось, что никакого особенного впечатления, надолго запавшего в душу, эпизод с побегом и смертью заключенного на меня не произвел, формула «тюрьма и тьма, воля и свет» представлялась мне гораздо более важной. Со вре-

менем стал я вспоминать о гибели заключенного как об эпизоде чьей-то чужой, но хорошо знакомой мне биографии. Размышлять об этом продолжал я и после армии, и в одно время даже пережил сильное увлечение дзэн-буддизмом.

9

Естественно, я вступил в партию – не мог же я спорить с лагерным парткомом и своим начальством. И кроме того, когда я приехал в отпуск, отец сказал мне:

– Чем больше в партии будет таких людей, как ты, тем скорее она изменится, перерастет в нечто иное, и вот тогда все и начнет меняться. Это как с людьми: если бы никто не умирал, то не было бы и перемен. Так же и с составом этой партии: чем больше будет в ней людей порядочных, тем больше шансов на перемены.

Мой отец никогда не был членом партии и никогда не пытался вступить в нее.

– Меня, к счастью, от членства в партии ограждали разные обстоятельства: фамилия, анкета с матерью-еврейкой и тому подобное. Никто и никогда не предлагал мне всерьез подумать о вступлении, хотя я часто слышал: «Эх, был бы ты членом партии, все пошло бы быстрее...» Но, честно говоря, меня в партию никогда не тянуло. Так что, наверное, что-то уже изменилось, – продолжал развивать свою мысль отец, – если человеку с твоей фамилией дают рекомендацию для вступления в этот «передовой отряд нашего общества», – процитировал он известный газетный штамп.

– Но это же не просто так, – сказал я в ответ, – это потому, что я человека застрелил.

– Не просто человека, а заключенного при попытке к бегству, и застрелил, выполняя приказ непосредственного начальника. Это армейская дисциплина, тут никуда не денешься, – ответил он, – ты принимал присягу и обязан ее выполнять. À la guerre comme à la guerre. На войне как на войне, Nicolas.

– Но ведь сейчас мирное время, – возразил я просто оттого, что мне хотелось возразить.

– Это иллюзия, – сказал отец, – война никогда не кончается, ее просто меньше или больше.

– Так что же мне делать, как ты думаешь? – спросил я у него.

– В конце концов, ты можешь вступить в партию в армии, а по окончании службы забыть об этом. Достаточно потерять партбилет, не платить членские взносы, – усмехнулся отец, – или просто не встать на учет...

– А если мне это как-то поможет после армии? – спросил я.

– В каком смысле?

– Ну, в смысле карьеры, ведь когда я вернусь, мне где-то придется учиться, а потом работать, – предположил я.

– Отрадно слышать, – сказал отец, – ты начинаешь задумываться о будущем. Ну что ж, вероятно и поможет, даже наверняка, но и обязательства какие-то наложит на тебя. Тебе придется ходить на собрания и голосовать за что-то. Похоже, ты будешь первым членом партии в нашей семье.

Тут я вспомнил рассказ Агаты о его первой жене, которая возвращалась с партийных собраний навеселе.

– Что ж, если надо, так проголосуем, одобрим, воздержимся, ну а если уж что-то совсем людоедское – проголосую против, и меня отовсюду выгонят, но ведь не посадят, верно? – с надеждой спросил я.

– Будем надеяться, что не посадят, – усмехнулся отец, – в крайнем случае, я докажу, что ты психически болен. Ты ведь и вправду не совсем обычный парень, а кстати, ты сам-то сравнивал себя с товарищам по службе? – поинтересовался он.

– Да, они какие-то другие, – согласился я, – есть, правда, неплохие ребята, но вообще-то живут они как во сне. Вспоминают свои дома, места, где жили, и больше ничего, впрочем, это, наверное, нормально… То есть живут по инерции, как будто все так и должно быть, просто и без сомнений.

– К сожалению, это не только о них можно сказать, – заметил отец, вновь усмехнувшись, – ну, а ты?

– Мне кажется, я там теряю какие-то ориентиры. Все без края, все куда-то тянется, уходит за горизонт. И я сам вроде как потерянный, но стараюсь этого не показывать. Прикидываюсь тупым. Но на Урале я бы жить не хотел, да и вообще, нигде, кроме Питера, мне жить не хочется.

– Ну что ж, – сказал отец, – не ты первый, не ты и последний.

Говорили мы с ним в том же кабинете, куда я когда-то пришел с мучившим меня вопросом о «живом трупе».

10

Через несколько месяцев после возвращения в Ленинград в жизни моей наметились некоторые перемены. В один из выходных, получив увольнительную, я приехал домой на Петроградскую. Родителей дома не было, пообедал я с дедом и бабкой – оба были в прекрасном расположении духа, придя, наконец, к совместному решению об устройстве своей жизни после выхода деда на пенсию. Найденное решение состояло в том, что дачу в Комарово следовало продать, а взамен купить домик в Майори, одном из самых известных

и популярных мест на Рижском взморье, где при желании можно было бы жить и зимой.

После обеда дед обратился ко мне со следующими словами:

– Послушай, Николай, – сказал он сурово, – ты ведь служишь во внутренних войсках, почему бы тебе не пойти на какие-нибудь курсы? Там у вас лучших солдат направляют на ускоренные курсы для будущих сотрудников МВД с присвоением младшего офицерского звания. Мне об этом рассказал один из тех людей, к кому я обращался по поводу твоего перевода в наш военный округ. Пойди, поучись. Иначе совсем отупеешь. Идти в милицию после окончания срока службы тебя никто заставить не сможет, но пойти на курсы и чему-то научиться, по-моему, стоит.

Вскоре я был направлен на курсы, где сотрудники милиции и прокуратуры обучали нас, солдат-срочников, отличников боевой и политической подготовки, основам криминалистики и сыскного дела. Учеба на курсах давалась мне легко, какие-то навыки со времен службы на Урале мне помогали, и я числился одним из лучших студентов.

Через месяц по предложению одного из наших преподавателей, подполковника Майгельдинова, тощего и слегка сутулого татарина с каким-то темным и мятым лицом, всегда появлявшегося на занятиях в таком же темном мятом костюме и черной сорочке, я принял участие в нескольких милицейских операциях по освобождению заложников и аресту вымогателей. Подобная работа меня никак не увлекала, хотя, как говорил все тот же Шамиль Гинеевич, из меня мог бы выйти неплохой оперативный работник. Наставник наш обычно был под шафе и слегка шмыгал носом, поглядывая из стороны в сторону и переминаясь с ноги на ногу. У него было замечательно развито «чувство улицы» – так называл он способность к ориентированию и безошибочному выходу к интересующему нас месту, быстрая реакция и продиктованное каким-то инстинктом умение ощутить, можно ли извлечь выгоду из той или иной ситуации.

– Браться за висяки вообще не стоит, – советовал он, имея в виду нераскрытые дела, – другое дело, если из-под него что-то всплывет…

11

Вскоре после выхода деда на пенсию ему и Аустре Яновне удалось осуществить свою давнюю мечту: они переехали жить на Рижское взморье.

С дачей в Комарово контр-адмирал и его супруга расстались, она была продана, и теперь дед, персональный пенсионер союзного значения, и бабка проводили много времени на даче в Майори. Каждую зиму они приезжали в Питер на Петроградскую, и каждой весной,

уезжая в Прибалтику, контр-адмирал говорил моей матери примерно одно и то же, при этом голос его напоминал скрип старых пружин: «Ну что ж, теперь ты просто должна приехать вместе с семьей к нам в Юрмалу в августе. В этом году море в августе будет теплей, чем обычно», – добавлял он с усмешкой.

На самом-то деле появлялись они не только зимой, так что в последовавшие его отставке годы виделись мы с ними довольно регулярно, благо расстояние между Ригой и Ленинградом поезд преодолевал за одну ночь.

Надо сказать, что, вступив в достаточно зрелый возраст, дед по-прежнему отличался завидным здоровьем. Ему нравилась жизнь в Латвии, благо Аустра Яновна свободно говорила по-латышски и отлично выполняла свои функции посредника между контр-адмиралом и соседями. Тут, наверное, следует пояснить: дед неплохо понимал свой родной язык, но изъяснялся на нем достаточно коряво вследствие того, что прожил всю свою жизнь в России и у себя дома говорил с женой и дочерью по-русски.

Ему нравился город, где родились его отец и мать, и, несмотря на то, что он впервые побывал в Риге уже после окончания войны, город казался ему знакомым, и подумав, он пришел к выводу, что помнит его по рассказам своей матери и черно-белым, времен детства, открыткам. Удивил его лишь осиротевший в 1915 году гранитный постамент памятника Барклаю де Толли на Александровском бульваре в самом центре города. Деду захотелось узнать, что же произошло на самом деле. Оказалось, что в свое время бронзовую фигуру полководца убрали, чтобы избежать возможных в ходе военных действий повреждений, однако после окончания Первой мировой войны найти ее не удалось.

Наличие пустовавшего уже много десятилетий постамента озадачило отставного контр-адмирала. По трезвому размышлению, однако, пришел он к выводу, что мраморный постамент с именем полководца, несмотря на отсутствие его отлитой из бронзы фигуры, означает как минимум признание важности его вклада в историю русского оружия. С другой стороны, отсутствие на постаменте какой-либо современной версии оригинальной фигуры полководца указывало на желание властей воздержаться от шагов, связанных с сохранением и поддержанием памяти о его предке.

Причину этого он увидел в нежелании властей замечать роль инородцев и их вклада в историю России. Более того, заключение это каким-то образом связалось в его сознании с тем фактом, что он толком не знает своего родного языка, на котором говорило множество людей, вполне свободно изъяснявшихся и на русском, что не раз заставило его испытать состояние неудобства и легкой потерянности.

Привело это к тому, что контр-адмирал начал заниматься улучшением своего латышского языка под руководством одной из новых знакомых Аустры Яновны, проживавшей на соседней даче. Делал он это и ради жизненного удобства, и для того, чтобы Аустра Яновна могла чувствовать себя более комфортно, имея в виду ее вновь образовавшийся круг знакомых, которые с некоторым недоумением воспринимали то, что контр-адмирал не говорил на языке, на котором говорили его родители, что означало проявление не особенно свойственной ему гибкости и даже чувствительности.

Вообще же, учитывая то обстоятельство, что отставной контр-адмирал принадлежал к тому типу людей, для которых пристрастие к черно-белой логике было более чем естественным выражением его способа видения мира, такие шаги, свидетельствуя о некоем смягчении его характера, означали в то же время нечто вроде тектонического сдвига в сторону либерализма. В подтверждение этого скажу лишь, что как-то раз Аустра Яновна рассказала матери о том, что после переезда в Майори характер ее мужа улучшился, что вызвало вопрошающее мерцание глаз у ее собеседницы. Более того, сообщила Аустра Яновна, контр-адмирал начал регулярно ходить с ней в известные хорошей выпечкой рижские кафе, а также на органные концерты в Домском соборе. После одного из таких концертов, рассказала бабка, контр-адмирал ударился в воспоминания и, упомянув в очередной раз об эпизоде в советском посольстве в Риме, отметил, что Муссолини, в отличие от «усатого», разбирался в скульптуре.

ЭММА ИЛИ СКИТАЛЬЦЫ

1

После возвращения из армии я отнес документы на факультет искусствоведения в институт культуры, куда меня приняли на третий курс. Помимо этого я решил серьезно заняться фотографией, что, казалось, должно было обеспечить мне возможность зарабатывать деньги. Фотографированием я увлекался давно, но мне следовало кое-чему подучиться, и я начал работать лаборантом в фотоателье на Литейном проспекте, где рядом с вешалкой у входа висели фотографии самых разных персон, связанных с миром театра. Был там и фотопортрет моей матери, были и фотографии актеров, которых я не знал и никогда прежде не видел.

Руководителем в располагавшейся в полуподвале фотостудии был известный в Питере фотограф, назовем его О. М. Раппапорт, который так же, как и его брат, театральный администратор, внешне чем-то напоминал гроссмейстера Бронштейна – человека невысоко-

го, лобастого, с густыми бровями. Правда, О. М. был выше своего брата, крупнее и, пожалуй, породистей. Со временем я пришел к заключению, что к той же породе чрезвычайно одаренных, невысоких и плотных евреев принадлежали запечатленные Оскаром Моисеевичем и актер С. М. Михоэлс, и физик Я. Б. Зельдович, один из создателей водородной бомбы и эволюционной космологии. Их фотографии, так же, как и фотографии известных генералов и маршалов, а позднее – фотопортреты актеров и черно-белые фотографии сцен из спектаклей, вывешенные на обтянутой черным бархатом стене в фойе театра, где служила моя мать, были сделаны принадлежавшей ему довоенной камерой Лейка. Во время войны он снимал фотографии для ТАСС и был фронтовым фотокорреспондентом. После войны он вернулся в Ленинград, потерял работу в газете во время начавшегося гонения на «космополитов» и, в конце концов, стал заведовать большим фотоателье. Работать для прессы он перестал. Его архив фотографий был огромен. Помимо работы на заказ он делал немало снимков «для истории». «Если фотография хорошая, то она выживет хотя бы как документ», – не раз повторял он.

Вскоре я впервые увидел Эмму, дочь Оскара Моисеевича. Она работала в ателье сменным фотографом. Это была высокая, молодая и смуглая женщина с карими, с зеленоватым проблеском глазами, веснушчатым лбом и беспокойными ресницами с засохшей тушью на них. У нее был чуть хрипловатый голос – она курила, легко передвигалась по студии, и, помимо спокойствия, в ее взгляде явственно читалось ожидание каких-то неизбежных событий. Но каких?

На работе она обычно накидывала темный сатиновый халат на серый брючный костюм и завязывала волосы в тугой пучок на затылке. Помню, как впервые увидел ее за работой, когда за мною закрылась полупрозрачная в верхней своей части, со старой надписью на стекле дверь. Эмма курила, наблюдая, как раздеваются и охорашиваются у зеркала пришедшие в ателье люди. Затем она перенесла в центр комнаты несколько стульев и начала усаживать пришедших сфотографироваться людей перед объективом старой камеры-обскуры.

Три женщины средних лет, коротко стриженые, довольно бесцветные, без каких-либо следов косметики на лице были одеты в аккуратные серые кофты с красными значками на левой стороне груди, черные юбки, темные толстые чулки и черные, довольно уродливые туфли на низком и толстом каблуке. Одинаковые белые блузки выглядывали из-под серых кофт, их веснушчатые руки с толстыми короткими пальцами явно были знакомы с ежедневным физическим трудом. Четвертым участником группы был плотный, с румянцем, все еще чернобровый мужчина не первой молодости, аккуратно и даже с элементом

щегольства одетый, и с тем же красным значком на лацкане пиджака. «Старший повар и три подчиненные ему поварихи из рабочей столовой весьма крупного предприятия на Литейном проспекте пришли сфотографироваться для Доски почета», – объяснила Эмма позднее.

В то время я упоенно фотографировал гипсы – меня они почти преследовали. Считалось, что именно со съемок гипсовых слепков – шаров, цилиндров и кубов, носов, ушей, глаз и, наконец, гипсовых голов – следует начинать работу над фотоэтюдами. Особенно увлекал меня процесс установки освещения. Это был своего рода театр – со сценой, темным бархатом занавеса, – на фоне которого я устанавливал гипс или гипсы и отражавшие свет экраны. Далее мне надлежало перейти к фотографированию мрамора, колонн, кариатид и ваз, для того чтобы овладеть техникой передачи фактуры, тяжести, которая должна была предшествовать попытке передать более сложные и тонкие реалии: ускользающие движения воды, облаков, игру света и оттенки настроений в марширующих колоннах. «Людей, изображенных на фото, можно представить сделанными из чего угодно: мрамора, стали, ветра и света», – объяснил мне однажды Оскар Моисеевич.

В конце этого длинного, вымеренного и пройденного когда-то самим Оскаром Моисеевичем пути, располагались пейзажи и человеческая натура, изменчивая, как питерское освещение.

Одним из главных и любимых объектов внимания Оскара Моисеевича был театр. Он любил театр и не раз приходил на уже виденные и отснятые им спектакли, для того чтобы сделать новые фотографии. Он полагал, что, зная развитие спектакля наперед, сумеет отыскать и нужный для съемки той или иной мизансцены угол, ее режим и свое положение в зале. Фотография, по его мнению, способна была при удаче передать дух и тот особый нерв, что присущ спектаклю, следовало только поработать так, чтобы заставить удачу послужить себе. То было суждение глубоко театрального человека, не раз убеждавшегося в том, сколь нелепо выглядели на экране перенесенные на пленку театральные спектакли. То есть ни о каких попытках рабского, дежурного воссоздания образа речь тут не шла. Скорее подразумевался некий момент встречи, запечатленный на черно-белой фотографии, когда драматичность обязана своим происхождением восприятию и эмоциям зрителя, вызванным происходящим на сцене.

Итак, я искал тишины, сосредоточенности и защиты в изучении искусства фотографии и возможностей сопутствующей техники – ФЭДа и «Лейки».

Возможно, все это связано было со смертью убитого мной

заключенного; история эта продолжала тяготить меня, хотя и по тем, да и по нынешним временам не была чем-то особенным. Люди совершали преступления, сидели в лагерях, сходили с ума и убивали друг друга – что же здесь необычного?

2

Постепенно я осознал, что влюбился в Эмму; чувство это овладело мной постепенно, ведь мы долго дружили, и жизни наши проходили друг у друга на глазах, я знал о ее поклонниках, романах, она – то же самое обо мне, но все изменилось, когда она оказалась моей первой настоящей обнаженной натурой. Она же, собственно, сама и предложила позировать мне, догадавшись о моем не высказанном напрямую пожелании.

– Ты так же одинок, как и я, – обронила она однажды.

Мы пили кофе на Литейном, когда я сказал ей, что ищу модель.

– Но я не хочу снимать, кого попало, – признался я, – модель должна понимать, что, собственно, происходит.

– Ты хочешь, чтобы я тебе позировала? – спросила она, чуть наклонив голову, – я готова.

– Когда и где? – спросил я.

– После работы, в ателье, – ответила она, – я попрошу у папы ключи.

Фотографировал я ее вечерами, когда ателье закрывалось; там же занимался проявлением пленок и печатанием фотографий. Красная лампа в студии, растворители, проявители и закрепители, красный свет, вытягивание образа, ручная доводка, промывка готовых фотографий, сушка, вентиляторы, электрические радиаторы с нагревавшимися докрасна спиралями, темно-красный диван, столик, за которым мы пили кофе, шторы и экраны, бархатные занавеси – вот детали сцены, на которой мы актерствовали и жили...

– Ты красивый, – сказала она мне в наш первый вечер.

Обнаженная Эмма, лежащая на диване, закинув руку под голову. Эмма, глядящая на себя в зеркале, сидящая на стуле у занавешенного окна. Обнаженная Эмма, лежащая на диване, повернувшись ко мне спиной. Поясной портрет Эммы, ее портреты, фрагменты ее лица, ее руки, ноги, живот, ступни и лодыжки...

Иногда мы уезжали на дачу в Сестрорецк. На даче я фотографировал ее в комнатах и на веранде, во дворе, на прогулке.

Связь наша тянулась несколько лет. Поначалу знакомых или друзей Эммы я не знал – думаю, из-за возраста, ведь она была старше меня на несколько лет, а может, дело было в чем-то ином. Да и она не

спешила с новыми знакомствами. Мы бродили по городу, заходили в кафе, иногда кого-то встречали, кто-то окликал нас, но никакого сближения между кругами, в которых мы вращались, не наблюдалось. Мы были словно пара, попавшая в этот город из какого-то другого.

3

Время от времени мы уезжали из Ленинграда – ездили и на Север, в Кижи, на Соловки, в Архангельск и другие места.

Иногда я думал о том, что и нам бессознательно хотелось бежать, так же, как бежал когда-то застреленный мной заключенный. Позднее я вспоминал этот случай в одном ряду с эпизодом, свидетелем которому стал на Онежском озере, куда мы с Эммой попали в конце семидесятых годов.

Случилось это примерно через неделю после нашего приезда в Кижи, где мы остановились на пришвартованном к старому причалу дебаркадере, к которому подходили катера из Петрозаводска.

В сельпо на другом берегу озера, где продавалась крупа, резиновые сапоги и малиновая настойка, и в плавучий, устроенный на другом дебаркадере ресторан, где можно было пообедать, добирались мы на лодке, а молоко покупали в деревне на берегу. Деревня, куда я по утрам отправлялся за молоком для каши, которую варила Эмма, состояла из довольно беспорядочно разбросанных черных деревянных домов; запомнились мне и дети в ярких вязаных носках и свитерах под серыми куртками на взлетавших в небо деревянных качелях.

За селом лежало кладбище с крестами, чуть дальше от него простиралось поле, стояли черные старые сараи и домик, где располагались пожарники, охранявшие погост, куда ходили мы не раз. Подвыпившие пожарники приглядывали за возведенными из дерева церквами и колокольней на погосте, окруженном единой оградой. Пили они, наверное, еще и оттого, что заниматься им на дежурствах было абсолютно нечем.

У одного из них, бессемейного, была довольно злая собака, сидевшая обычно в будке на цепи, в то время как хозяин ее был на дежурстве. В иное же время она бегала по двору или грелась на солнце, устроившись на ступенях дома. Сосед его и сослуживец, собутыльник и такой же бобыль, как и хозяин собаки, заглянул однажды к нему, чтобы одолжить то ли топор, то ли рубанок. Хозяина не оказалось дома, и, уходя, сосед чертыхнулся в сторону собаки, а та подскочила к нему и сильно укусила его за ногу.

Отбившись от собаки, он сбегал за ружьем и, вернувшись, застрелил ее, после чего ушел домой.

На следующий день, после смены, сосед взял из дому бутылку

водки и вареной картошки и отправился вместе с хозяином собаки на край погоста, чтобы похоронить собаку и помянуть ее. Могилу, как оказалось, хозяин собаки, возвратившийся в то утро из Петрозаводска, уже вырыл. После того, как они засыпали могилу и выпили водки, хозяин собаки встал и отошел до ветру. Вернулся он с ружьем, заранее припрятанным за кустом, застрелил своего собутыльника, допил водку, закусил и отправился на пожарную станцию звонить в милицию.

Часа через два прилетел из Петрозаводска самолет на поплавках, приводнившийся у церкви. Навстречу самолету выехала моторка пожарной охраны. Прибывшие на берег милиционеры связали мужика и отвезли на моторке к самолету. Затем моторка вернулась к берегу, а самолет вскоре затрепетал, помчался по воде, разбрызгивая голубые брызги, взлетел и вскоре исчез из виду.

Произосшедшее никак не изменило ни нашу, ни чью-либо иную жизнь на дебаркадере. То был тихий край, где люди говорили медленно и спокойно. Запомнил я и глаза людей в этом краю, где мы гуляли, ходили в другой край острова к старым церквам, ездили на близлежащие островки, иногда в жаркий день плавали или сидели, свесив ноги с борта дебаркадера.

4

Затем мы уехали в Кондопогу, откуда добрались на поезде до Кеми, а из Кеми отплыли на Соловки, где я фотографировал огромные камни, из которых сложены были окружавшие монастырь стены.

До этого мы несколько часов плыли по морю под довольно низким серым небом, но стоило нам оказаться на острове, как небо ушло куда-то вверх, растворяясь над монастырскими строениями и башнями, к которым подходили стены, сложенные из огромных валунов.

Помимо нас и еще нескольких туристов теплоход доставил на остров чью-то мебель и цистерну пива, в ожидании которой на берегу скопилась очередь. Его увозили в канистрах, кадках, кто-то умудрился увезти на телеге заполненную пивом эмалированную ванну. Мы спустились на причал, прошли мимо очереди и направились в сторону монастыря.

Жили мы в монастырских палатах, приспособленных под общежития, мужское и женское, каждое утро завтракали в столовой, а потом ездили по островам на автобусе и попутках.

Стояло лето, на холмах кудряво зеленел дикий виноград, в низинах голубели озерца. На вершину довольно крутой Секирной горы, место массовых расстрелов и захоронений, вела земляная дорожка, с утопленными в землю остатками деревянных брусов. Оттуда виден был зеленый лес, голубое пятно озера и синяя полоска моря.

По вечерам на монастырском дворе возникали группки из приехавших на остров молодых людей. Кто-то играл на гитаре, остальные выпивали и закусывали. Стояли длинные теплые вечера.

В Архангельск улетели мы на «кукурузнике», биплане; он стартовал с зеленого поля перед зданием школы, где находилась радиостанция. Полет длился недолго, внизу остались острова, церкви, колокольни и строения монастыря, затем мы пролетели над морем, а далее открылось ровное голубое с отблесками света зеркало залива и широкое русло Северной Двины, после чего мы приземлились и, выйдя на летное поле, ощутили, что погода в Архангельске прохладней, чем на Соловках.

Из аэропорта мы направились в город, где отыскали гостиницу. Свободных номеров не было, нашлось лишь одно место для Эммы, мне же предстояло провести ночь в кресле в вестибюле гостиницы. Я натянул на себя свитер, сверху накинул пиджак, а остальные вещи Эмма отнесла в номер, где познакомилась с соседкой и переоделась в теплую одежду. Затем мы вышли на улицу и отыскали столовую. Выбор был не особенно богат, но жаловаться не приходилось, аппетит у нас был отменный. Был конец рабочего дня, люди расходились по домам по деревянным тротуарам, покупали газеты и сигареты в лотках, соображали портвешок на троих у магазинов. Я купил бутылку армянского вина, пачку болгарских сигарет «Вега», и мы направились в сторону набережной, где внезапно пришли мне на ум пушкинские строки...

Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.

5

Вернувшись в Питер, тем же вечером на душном Загородном проспекте мы встретили одного моего знакомого поэта, как всегда полупьяного. В руке у него была бутылка итальянского вермута «Чинзано». Он приветствовал меня обычным своим восклицанием:

Дайте мне девушку синюю-синюю,
Так чтобы груди висели до пят,
Я проведу по ней красную линию,
Пусть ласкает мой взгляд.

Поэт позвал нас к себе – жил он у Пяти Углов. Все начиналось заново, возвращалось на круги своя, и как бы огромна ни была земля, где мы жили, мы всегда возвращались в Питер.

6

Когда Эмма сообщила мне, что вместе со всей своей семьей уезжает за границу, вернее, собирается уезжать, я был поражен: Оскар Моисеевич, его фотографии, ателье, наконец, Эмма, казались мне естественной частью нашей жизни. Я этого не ожидал, хотя и знал, что довольно много людей уезжает или пытается уехать из страны.

Все это никогда не кончится, убеждала она меня. Но жизнь меняется, говорил ей я. Правда, я не был уверен в том, что меняется она достаточно быстро, но после армии и службы в лагерной охране, после поездок по стране я и сам не был уверен в том, следует ли так уж спешить с переменами, иногда я думал о возможности каких-то изменений в Питере, но сама страна казалась мне совершенно иной по своей природе, да и жила она совсем по-другому.

Слушая Эмму и пытаясь понять то, о чем она говорила, я не верил ей до конца, она тоже ощущала все это иначе, я бы сказал, гораздо драматичнее и даже с элементом пассионарности. Она была одержима этой новой, поселившейся в ее сознании идеей, была у нее такая способность загореться идеей, поверить в нее и идти до конца, и вот теперь она готова была бросить все, чтобы уехать. Иногда мне казалось, Эмма просто искушает меня, зовет, манит, играет...

– А чем же ты будешь там заниматься? – спросил я у нее. Когда-то она закончила пединститут, не захотела преподавать математику в школе и начала работать в фотоателье у отца.

– Попробую заниматься фотографией, – ответила она, – вместе с отцом.

Так я узнал, что Оскар Моисеевич собирается уехать в Америку вместе с семьей и фотоархивом. Позднее его архив приобрел Стэнфордский университет в Калифорнии.

– Ты не знаешь, что такое быть евреем или еврейкой, – сказала Эмма в другой раз. – Но ты можешь поехать с нами, если захочешь, – предложила она. – Мы доедем до Вены, а затем улетим в Штаты. Я хочу жить с любимым человеком и иметь от него детей. Может быть, у меня все получится в новой стране. Здесь же у нас с тобой нет будущего. Я старше тебя, да и еще много чего стоит между нами.

– Ну да, я ведь член партии, – сказал я ни к селу ни к городу.

– Когда ты успел? – спросила Эмма.

– Еще в армии, – сказал я.

– И что ты там делаешь? – продолжала она.

– Плачу взносы, – честно ответил я.

– И все? – усомнилась она.

– Все.

– Ну а еще? – настаивала Эмма.

– Участвовал в заседаниях штаба народной дружины, – признался я чистосердечно, – я ведь служил во внутренних войсках, отвертеться не удалось.

– В штабе заседал, – несколько загадочно протянула она, и я на мгновение почувствовал себя чем-то вроде *живого трупа*. Затем она усмехнулась и больше никогда не возвращалась к вопросу о моей партийной и общественной деятельности.

Ощущение, о котором я упомянул, возвращается ко мне время от времени и по сию пору. Связано оно обычно с тем, что я вдруг ощущаю себя лишним, ненужным и чуждым тому, что происходит вокруг. То есть в большей мере мертвым, чем живым, являя странный, но присутствующий в мире тип человека. Насколько это связано с оригинальным выражением Л. Н. Толстого, я не знаю. С одной стороны – никак, и в то же время… Отчего услышанный по радио голос объединился в моем сознании с моим переживанием *живого трупа*? Просто ли в силу случайной ассоциации или оттого, что в пьесе сказано было и подразумевалось нечто невероятно существенное?

7

Итак, они собирались уезжать. Я же, в конце концов, после непродолжительных раздумий отказался от этой идеи. В здешней жизни, частью которой мы были, Эмму, как и меня, очень многое не устраивало. Ну а если я ничего не мог понять в происходящем вокруг, где уж мне было надеяться найти себя где-нибудь там, в чужих краях? Я не хотел начинать свою жизнь сначала. Не было у меня и страшной, настоятельной причины, которая не позволяла бы мне оставаться здесь, которая требовала бы моего отъезда, не давала бы мне покоя, жгла и преследовала меня. Получалось, что здесь, в Питере, я был у себя дома, она же чувствовала себя как незваный или пересидевший за столом гость. Да, таким людям, как Эмма, приходится уезжать, думал я, уезжают и другие, ну а я, очевидно, принадлежу к тем, кто должен остаться и строить свою жизнь здесь.

В последний раз, почти перед самым отъездом Эммы из страны, мы направились с ней в Грузию. Хотелось оказаться за пределами всего нам дотоле известного, к тому же с детства Эмма мечтала побывать в горах. В Тбилиси мы остановились в доме одной театральной, связанной с Питером семьи, хорошо знакомой моей матери. Она, по-моему, была рада нашему расставанию с Эммой, однако открыто не высказывалась по этому поводу и, узнав о моем желании съездить в Грузию, лишь поинтересовалась, один ли я туда поеду.

– Так ли это важно, мама? – ответил я.

– Ну конечно, Коля, – ответила она, – я ведь должна предупредить моих друзей, что ты приедешь не один, а с девушкой. И чтобы вас приняли соответствующим образом.

Из Тбилиси ездили мы во Мцхета, провели несколько дней в Кахетии, побывали и в Гори с его старой крепостью и театром, где служил один из родственников принимавшей нас семьи, а затем уехали на море, в Сухуми, где жили на третьем этаже большой белой гостиницы, в номере с выходящими в сторону моря окнами и балконом. Был в номере и белый, почти новый холодильник, что в тогдашних условиях юга казалось роскошью. Разумеется, обо всем этом позаботились наши гостеприимные тбилисские хозяева.

Знакомясь с городом, мы побывали в местном историческом музее, погуляли в ботаническом саду, соседствовавшем с обезьяним питомником, добрались и до высокогорного озера Рица.

Большинство же дней наполнены были тем, что Стендаль называл dolce far niente, сладостным ничегонеделанием. Привожу эти слова оттого, что итальянский был в те годы естественным символом иной, порой и всамделишной «сладкой жизни». «La dolce vita» было выражением всем хорошо известным, расхожим, при том что мало кто видел оригинальный фильм.

Итак, по утрам мы завтракали и пили турецкий кофе в кафе, выстроенном на развалинах старой турецкой приморской крепости. Там мы облюбовали столик в защищенном побегами винограда от солнца углу. Затем мы шли по набережной к остановке катера, который доставлял нас на другую сторону залива, где под зеленой горой с дендропарком и голубым альпийским шале на одном из ее склонов тянулся вдоль берега песчаный пляж.

Город с его строениями лежал под горой Трапеция и под венчавшими соседнюю гору Баграта серо-зелеными стенами средневековой крепости, рядом с которыми росли четыре кипариса; профили их четко читались в голубом, наполненном светом воздухе.

На пляже мы проводили время на аэрарии, где Эмма, время от времени заглядывая в словарь, дочитывала второй том рассказов Сомерсета Моэма, так она пыталась улучшить свой английский, а я в это время читал «Луну и грош», роман того же автора. Время от времени мы спускались к морю, при этом нам приходилось договариваться с соседями, которых мы просили присмотреть за оставленными на лежаках вещами. Карманников и воров в тех местах хватало. Ближе к вечеру мы возвращались в город на катере, и, выйдя на покачивавшийся настил причала, шли в сторону вечерней набереж-

ной с ее толпой, запахами и звуками музыки из самых разнообразных ресторанов и «гадючников», так называли местные жители заведения, где народ закусывал и выпивал стоя. В этой «летней», иной, совсем не питерской, жизни Эмму несколько раз принимали за уроженку юга, правда, она была несколько выше ростом, чем местные женщины, но ни цветом волос, ни прической от них не отличалась, к тому же естественная бледность ее лица, как это часто бывает со смуглыми людьми, никак и ничему не противоречила: местные жительницы избегали солнца.

Эмме не нравились шумные места, не притягивали они и меня, и несколько раз мы пытались отыскать для ужина место потише. Нам удалось найти его за одним из столиков, вынесенных на песок между фрагментами стены старой турецкой крепости. В одной из сохранившихся башен ее был открыт ресторан, названный именем античной Диоскурии, основанной за две с половиной тысячи лет до нас участниками экспедиции за золотым руном. Античный же город погиб из-за гигантского оползня и лежал на дне сухумской бухты. Об этом рассказывали поднятые со дна амфоры и погребальная стела в местном музее.

Теперь на этих берегах шумела иная жизнь. Русские сменили здесь турок, турки когда-то пришли на смену византийцам и, ранее, римлянам, подчинявшим себе местные племена и царства.

Несколько вечеров играл в ресторане на дудуке Артур, невысокий, но очень уж ладный парень, недавно «откинувшийся», как доверительно сообщил нам официант. Иногда Артур пел, и ему акомпанировали двое товарищей – один из них играл на флейте, другой на саксафоне. Отсидел он несколько лет, как выяснилось, за организацию вывоза мандаринов из Абхазии в Россию. Одни его родственники в населенных армянами селениях выращивали мандарины, другие работали в милиции и автоинспекции, Артур же был естественным связующим звеном между ними. Продолжалось это несколько лет и к тому времени, как его взяли, Артур уже успел возвести стены будущего дома вблизи от маяка, на замыкающем бухту мысу. Вернувшись, наконец, из мест заключения в родные края, он снова играл на дудуке, извлекая из него томительно печальные мелодии, легко пролетавшие над столиками, фрагментами старой крепости и, казалось, засыпавшему во тьме морю.

С Артуром я как-то раз разговорился, подойдя к нему узнать, о чем, собственно, он пел, – меня попросила об этом Эмма. Подошел я к нему с парой рюмок коньяка и для начала спросил, можно ли с ним выпить.

– Ты, брат, я вижу – правильный парень, – ответил он, – выкупа-

ешь картину. Об Арарате пою. Откуда вся жизнь пошла, Библию читал, да? Арарат в Турции сейчас находится, понимаешь? Если бы русские один свой танк через границу пустили, мы бы за ним с ножами пошли, но, понимаешь, брат... Ничего пока не получается. Но мы будем ждать, мы привыкли. Вот евреи ждали и дождались своего государства. И мы подождем, – закончил он и выпил рюмку коньяка.

Ближе к концу недели, однако, шумно стало и за столиками на песке, и, сходив на местный базар за вином, сыром и фруктами, мы несколько раз встретили наступление вечера на балконе.

Накануне нашего возвращения в Питер, сложились у меня строки:

Мне лижет ухо
Тоска по морю,
Прощай, под крепостью
Уснувший Гори...

Итак, мы провели несколько лет вместе, а затем расстались. Теперь, оглядываясь, я вижу, что отъезд ее предвещал то, что случилось потом и с Норой, и с Андреем, и не только с ними.

АНДРЕЙ

1

Подрабатывал Андрей реставрацией старой живописи, а все свободное время отдавал главному своему увлечению – графике. Своей мастерской у него не было, вместе с товарищем они снимали квартиру неподалеку от Пяти Углов, где и работали. Дома работать Андрей не мог: то звонил телефон, то приходили к Агате студенты. «Да и вообще, надо уходить из дому», – говорил он.

Однажды, вскоре после возвращения из армии, зашел я к нему в мастерскую. Пока поднимался на четвертый этаж – а дом был старый, с чердаком, откуда открывался вид на ржавые крыши с голубями, – пришла мне в голову простая и ясная мысль: как же хорошо вернуться в свой город и жить в нем своей обыденной жизнью, почти ни о чем не задумываясь. Такого рода мысли в том или ином варианте иногда посещали меня после возвращения из армии.

Длинный коридор мастерской соединял прихожую и замызганную кухню с помещением, где работали Андрей и его товарищ, и еще одной комнатой – чем-то вроде салона со старым диваном и креслами. Там же я обнаружил собрание старых карт, лоций и других книг, принадлежавших, судя по экслибрису, контр-адмиралу. Запомнились мне желтые, с сероватым пыльным налетом шторы и свет из выходя-

щего в колодец окна. Все это было созвучно графике Андрея того времени – серии листов, сочетавших фрагменты старых карт и гравюр с изображениями льдов и оптических приборов, потоками света, освещавшего лица русских исследователей Антарктиды, мореплавателей Беллинсгаузена и Лазарева. Делал он эту серию для Военно-морского музея.

– Ну, как тебе эти красавцы? – спросил Андрей. – Отчего нас всегда тянет в сторону ледников и Севера, даже если они на юге?

– Но ведь необыкновенная же красота – все эти льды, – возразил я.

– Считаешь, что это красота нас пленяет? – саркастически произнес Андрей. – А красота – это как? Соленой пеной по губам?

Вопросы такого рода, обычно роняемые походя, постепенно стали казаться мне предвестниками чего-то готовящегося, вехами того, что оставалось вне моего сознания и к чему я невольно, но с интересом прикасался, приходя в его мастерскую. Наверное, так оно и было, и происходило это оттого, что, даже выполняя заказ, Андрей, как всякий художник-визионер, не мог не выйти за пределы принятого или дозволенного в искусстве той поры. Присутствие второго, внутреннего, плана всегда угадывалось в его работах вместе с неполнотой, фрагментарностью и даже отрывочностью того, что следовало бы называть планом первым. В сущности, он зачастую просто отталкивался от первого, натуралистического, визуально-повествовательного плана, трансформируя его в угоду второму, навеянному его видением или переживанием какого-либо мотива. Пожалуй, он внутренне тяготел к какой-то разновидности экспрессионизма с уклоном в гротеск и часто вдохновлялся литературными источниками, чего никогда не отрицал. Скорее он даже гордился этим, пускаясь время от времени в рассуждения об источниках вдохновения старых художников – итальянцев, испанцев и голландцев.

Именно как следствие очередного увлечения определенной идеей и сопутствующими ей образами воспринял я и его работу над серией «Петербургские наводнения» – вариацией на тему текущей через все воды, полузатопленного или даже почти затопленного города, монотонных сырых пространств, оживленных лишь безумным росчерком тушью, отмечающим полузатонувшую колонну или возвышающийся над водными просторами столп.

Идея этой серии явилась Андрею во время чтения новеллы Жерара де Нерваля «Аврелия». Тогда, много лет тому назад, он медленно, нарочито растягивая слова, зачитал мне несколько строк из новеллы. Книга теперь у меня, а слова эти подчеркнуты тонкой волнистой линией его карандаша на полях страницы. «Облака стали прозрачны, и я различал теперь перед собою глубокую бездну, куда

шумно низвергались волны оледенелого Балтийского моря. Казалось, что вся река Нева со своими голубыми водами должна уйти в эту трещину земного шара. Корабли Кронштадта и Санкт-Петербурга задвигались на якорях, готовые сорваться и исчезнуть в пучине, как вдруг божественный свет воссиял сверху над этим зрелищем гибели».

Прочитав эти строки, он перевел дыхание, посмотрел на меня и продолжил:

– Неплохо, да? Наводит на мысль о самоубийстве реки и города; есть, знаешь ли, такие слова: «река артерией сонной дышит», – добавил он, – это Нева подо льдом и пар над прорубью.

…Влияние Агаты, следы ее увлечений, подумал я, она постоянно привлекала его к обсуждению того, чем занималась или только собиралась заняться, будь то перевод книги или очередной пьесы. «В конце концов, – говорила она, – ведь главное не формальное образование, главное – это любить то, чем занимаешься, а образованность возникнет в процессе работы. Если, конечно, у человека достаточно способностей», – добавляла она с улыбкой.

2

– Ну, так как дела с наводнениями? – спросил я у него примерно через месяц.

В ответ он принялся раскладывать передо мною листы завершенной уже графической серии.

– Что скажешь? – спросил он после паузы.

– Весьма профессионально, маэстро, поднимаю руки, – ответил я,

– Профессионально, да... Но?.. – спросил он.

– Никаких «но», – сказал я и решил уточнить: – А это для выставки?

– Эх, старичок, это вовсе не для выставки, это частный заказ, – ответил он. – Давай пойдем-ка лучше на кухню, сварю кофе. Тут, понимаешь, приезжала Эльза Руссо, она хочет купить у меня графическую серию. Русские вариации с этакой французской подкладкой.

Приготовив эспрессо, он принялся смешивать свой излюбленный напиток из кубинского рома Бакарди Супериор с лимонным соком и мятой. Когда напиток был готов, он указал мне на стакан, разлил кофе по чашкам и, затянувшись сигаретой, спросил:

– Ну, а что у тебя нового ?

– Да ничего, буду искать работу, хочу заняться фотографией, – ответил я.

– А театр? – спросил он. – Нет ли у тебя каких-либо идей касательно театра? Ведь это у нас семейное дело, можно сказать, а? Почему бы и не попробовать?

Я немного помолчал, скривил физиономию и пробурчал что-то невнятно, мол, пока не знаю, надо подумать…По его тону было ясно, что вопрос этот – дань вежливости, но не без некоей толики ревности. Театр, как однажды, уже после несостоявшейся работы над «Разбойниками», объявил он, его более не интересовал, хотя он и продолжал оформлять проходные спектакли время от времени, когда его приглашал кто-либо из знакомых режиссеров, людей одного с ним поколения. Впрочем, случалось это нечасто, да и работал он над современными пьесами, к работе над классикой его не допускали.

В свое время, когда весь период работы над эскизами сценографии к «Разбойникам» и бесед с режиссером подошел к концу и стало ясно, что несмотря на все надежды и гору эскизов спектакль этот Андрей делать не будет, он спросил меня все в той же мастерской: «Известна ли тебе фраза Толстого: ‘Мне начинало казаться, что я схожу с ума, и я уехал на кумыс к башкирам’? Так вот, у меня то же самое. Господи, до чего же мне все это опостылело».

3

В те годы Андрей продолжал свои эксперименты с алкоголем: абсент, настойки, вермут.

– Настоящий ром всегда бесцветный и прозрачный, точь в точь как мыслящий тростник, – сказал он однажды по поводу кубинского рома, а затем добавил в высокие прозрачные с голубым отблеском на свету стаканы с утолщенным, почти непрозрачным дном, сухой итальянский вермут и сок грейпфрута, привезенный знакомыми из Финляндии.

Переход от тростника сахарного к мыслящему меня слегка озадачил, но со временем я привык к подобным его замечаниям. Наверное перечитывает Паскаля, подумал я, когда, вернувшись домой, вспомнил старую в сером переплете книгу на столе в его мастерской.

В те годы он предпочитал краткие и насыщенные мыслью тексты всему остальному. Чтение обычно служило ему поводом для размышлений, болтовни или грез – в зависимости от ситуации. Но читать ради того, чтобы читать, ради самого процесса чтения, то есть поглощения текста и связанного с этим удовольствия, – подобного рода занятие никогда его не увлекало, скорее, давало шанс исцелиться. Так оказавшийся за бортом матрос цепляется за плывущий по волнам обломок мачты. В случае с Андреем обломок мачты мог надолго заменить собой твердую землю, к которой его обычно в конце концов прибивали ветер и волны. Запомнил я и слова, связанные с убежденностью его в том, что я сплю, вернее, живу в полусне, так он во всяком случае говорил мне не раз. Что ж, различие наших темпераментов

было очевидно: я медленно впитываю в себя впечатления, предпочитая избегать поспешных реакций.

– Коля, вот ты говоришь со мною и спишь одновременно, – однажды сказал он, – а что-то ведь нарождается в твоем сознании и что-то из этого потом родится; кажется, ты и сам понимаешь это и оттого-то приходишь сюда, приходишь за провокацией, чувствуешь, что здесь что-то происходит, а ведь многим только кажется, что они бодрствуют, хотя живут они во сне. Ты, кстати, помнишь эти строки у Ходасевича?

– Какие? – спросил я.

Он взглянул на меня как бы с сожалением и прочитал любимые свои строки из почти столетней давности стихотворения:

Но и во сне душе покоя нет:
Ей снится явь, тревожная, земная,
И собственный сквозь сон я слышу бред,
Дневную жизнь с трудом припоминая.

Я в ту пору увлекался пивом и особенного интереса к более крепким напиткам не испытывал. Мы по-прежнему ходили с Картузом в пивбар на Невском, где обсуждали его планы и свершения. Вскоре после скандала в пивной он ушел из педагогического вуза в театральный и, закончив институт, начал служить помрежем в одном из известных питерских театров, надеясь начать свою режиссерскую карьеру то ли с «Визита старой дамы» Фридриха Дюрренматта, то ли с постановки пьесы Карела Чапека «Из жизни насекомых», но дебютировал в качестве второго режиссера спектакля, поставленного в университетском театре по пьесе Александра Володина «Пять вечеров». Всегда экстравагантно одетый и небритый, Картуз любил порассуждать в ту пору о «театре жестокости» Антонена Арто и его спектаклях с разрубаемыми на сцене говяжьими тушами.

НОРА

1

В школьные годы Нора и я часто бывали на воскресных утренних спектаклях Кировского театра, куда проходили по принесенным матерью контрамаркам. В выходные дни мать была обычно занята в спектаклях, и оттого отец предпочитал проводить утреннее дежурство в своем госпитале при академии, получая затем отгулы на неделе; так сложился у нас в доме особый ритм и особое мое переживание выходных дней.

В театре всегда было прохладно, зал набирался наполовину, музыканты постепенно заполняли оркестровую яму, дирижер занимал место за пультом, взмахивал палочкой, и начиналась увертюра. Медленно открывался занавес, и на освещенной сцене появлялись балерины в пачках и танцоры в трико. А однажды, попав на утреннее представление оперы «Русалка», я увидел поющих людей на погруженной в голубой свет сцене и догадался, что этих людей и живую голову на блюде объединяет стоящая за ними интуиция и воля художника, не признающего границы реальности. Мне было интересно, понимает ли это Нора, но я у нее ничего не спросил.

2

Прошло несколько лет, и у Норы появились другие занятия и интересы: она начала заниматься в драмкружке, надеясь, как я полагал, пойти по стопам матери. Я стал приходить на утренние спектакли один; мне нравилось сидеть в полупустом зале, смотреть на сцену, а потом, выйдя из театра, бродить по городу. Нора успешно продвигалась от исполнения одной роли к другой, и, наконец, в тот год, когда я перестал сторожить заключенных и начал охранять чудовищных размеров военно-морской объект на Охте, она завершила учебу на актерском отделении в театральном институте и была принята в труппу театра, где в главных женских ролях драматического репертуара блистала наша мать.

Просматривая однажды программку спектакля, в котором должны были участвовать и мать, и Нора, я обнаружил, что сестра моя фигурирует в ней под той же фамилией, что и мать. Оказалось, что, готовясь к сценической карьере, она предпочла сменить фамилию Стэн на Толли-Толле.

Как-то раз она сказала мне, что «Нора Стэн» звучит слишком уж броско. Несколько эстрадно что ли, и оттого она предпочла выбрать фамилию матери – в конце концов, кто знает, может быть речь пойдет о новой театральной династии? Отец против этого не возражал, да и в театре тоже никто не был против. Я Нору поддержал, сказав, что «норастэн» звучит, скорее, как название лекарства .

Однако актрисой Нора так и не стала – она ушла со сцены и стала суфлером в том же театре, где начинала свою театральную карьеру. Произошло это вследствие приступов панического страха перед сценой и голосовых спазмов. Связано это, возможно, было с тем, что однажды во время репетиции за ее спиной обрушилась незакрепленная кем-то из рабочих сцены часть декорации – подъемный мостик средневекового замка. Мостик упал с ней рядом, чуть было не зашибив Нору насмерть.

Несколько врачей пытались разобраться в ее нежелании появляться на сцене, кое-кто из них даже пытался провести с Норой сеанс гипноза, но тщетно – она не хотела выходить на сцену и, воспользовавшись подвернувшейся вакансией, стала суфлером, что моя мать воспринимала как постоянный упрек и указание на неадекватное исполнение ею одной из самых главных ролей ее жизни, роли матери. При этом Нора оставалась верной и преданной дочерью, но мать она, казалось, не любила, во всяком случае, никогда не любила ее так, как любила отца.

– Папа, объясни же мне, отчего все в жизни идет не так, как должно быть? – со вздохом говорила она, усаживаясь рядом с отцом на диване. При этом ей удавалось создать у окружающих впечатление, что именно мнение отца имеет для нее решающее значение и, более того, без его совета она просто потеряет ориентацию в серых водах житейского моря, – что всегда заставляло остальных, то есть меня и мать, ощущать себя если не лишними или посторонними, то по крайней мере второстепенными персонажами развертывавшейся на наших глазах драмы.

– Ну, дочка, – говорил отец обычно, – давай-ка подумаем о том, что же, в сущности, происходит…

Так начинал он свои рассуждения, исполненные сострадания и логики, слегка склонив голову в знак признания ею, логикой, собственного несовершенства. И действительно, какая логика могла объяснить этот мир, ведь логика, согласно словам моего отца, была лишь чем-то вроде удобной страховочной сетки, накинутой на наш мир, – сложный, непредсказуемый и, в сущности, весьма печальный. Но, Боже, сколько же дыр было в этой страховочной сетке!..

То обстоятельство, что, беседуя с Норой, отец выступал в роли утешителя, вносило новое для меня измерение в нашу сложившуюся за годы систему общения с ним, которая становилась не более чем проявлением одной из возможных модальностей его поведения, в чем, собственно, не было ничего необычного и странного. Естественно, что с разными людьми отец общался по-разному, но когда он говорил с Норой, в самой манере разговора присутствовало какое-то неясное признание того, что сила может быть каким-то неожиданным образом связана со слабостью.

При этом он не мог не понимать происходящего, но некое неявное признание вины за то, что дочь оказалась не столь одаренной, как его увиденная когда-то в коридоре больницы жена, казалось очевидным.

Как бы то ни было, дома меня всегда преследовало ощущение, что главным драматическим персонажем в семье является моя сестра Нора, и мысль о том, что в настоящем театре она сидит в будке суф-

лера, это ощущение только усиливало. Пожалуй, то был ее реванш за всю неудачно сложившуюся историю ее прихода в театр и за тот безусловный успех у зрителей, которым пользовалась моя мать.

Ко всему сказанному следует добавить, что сестра моя никогда не переставала мечтать о любви. Несколько ее попыток обретения любви оказались неудачными, обычно за ними следовали слезы, долгие беседы с матерью, разочарование, приступы депрессии и старание расстаться с напоминавшими о тщетных усилиях предметами. Так, однажды Нора предложила мне прочитать любимые свои книги о музыке; среди них была книга А. Швейцера «И. С. Бах – поэт-музыкант», а также книга бесед с виолончелистом Пабло Казальсом, записанных его секретарем. Помню решительное, с оттенком самопожертвования выражение на ее лице: «Возьми их, читай, тебе будет интересно. А мне… – тут она сделала паузу, – мне эти книги слишком о многом напоминают».

Скорее всего, она вспоминала о времени своего увлечения музыкой и музыкантами, когда вместе с подругами она ходила на концерты и порой даже в сильную метель неслась в Капеллу или вела с неизвестным мне собеседником длинные беседы по телефону об исполнении моцартовского «Реквиема».

Программки всех без исключения концертов и спектаклей, которые Нора посетила, хранились в образцовом порядке. Она вообще поддерживала у себя в комнате идеальную чистоту и порядок. Особенно заботилась она о предметах зимнего туалета: дубленках, шубах, сапогах, варежках, вязаных шарфах и теплых шляпках; и как будто осознавая, что зима особенно шла ей, Нора тщательно ухаживала за зимними туалетами и обувью. Весной привлекали ее небольшие букетики ландышей. В переходный между зимой и весной период особенно трогала ее идея нескольких прикрепленных к меху белых полуоткрытых бутонов.

Было в ее лице и какое-то нордическое, смешанное с требовательностью молчание. Нора, пожалуй, могла бы послужить неплохой моделью для скульптора, и, кстати говоря, она любила небольшие статуэтки – на книжной полке в ее комнате стояли в казалось навсегда зафиксированной последовательности и медный всадник, и его закинувший голову бронзовый автор с пером в руке у столика с отлитыми из металла листами бумаги, книгами и чернильницей, и мраморное повторение египетского сфинкса со стрелки Васильевского острова. Порой она долго и с восторгом говорила о Пушкине, лишний раз заставив меня заподозрить, что пиит в конце концов превратился для нее и многих моих соотечественниц в не что иное, как глубоко упрятанный в отечественной культуре эротический адрес.

Иногда высказывания ее звучали несколько театрально – недаром же она собиралась стать актрисой, правда, в отличие от матери, во внешности и манерах Норы не хватало живости, напротив, скорее бросалась в глаза некоторая медлительность – невольно на ум приходило сравнение с ожившей фарфоровой статуэткой. Впрочем, черты эти появились в ее поведении с тех пор, как она пришла в себя после случившегося и приняла решение покинуть сцену, оставаясь при этом в театре.

Сестра мастерски пользовалась косметикой, и потому лицо ее всегда выглядело свежим и превлекательным; она выгодно отличалась плавной речью от некоторых своих подруг. Нора всегда хорошо одевалась, что стоило немалых денег, и она готова была трудиться ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы их заработать. Подрабатывала она проведением экскурсий для немецких туристов по Эрмитажу. Экскурсии она вела обычно с утра, затем пила кофе с подругами, а к вечеру бежала в театр, где усаживалась в суфлерскую будку.

ПОЛОТНО ВАН ГОЙЕНА

1

Со своим будущим мужем Нора познакомилась в Эрмитаже. Так она, во всяком случае, утверждала, объявив матери, что собирается привести к нам в дом Дитера, достаточно молодого еще служащего крупного немецкого банка, сотрудничавшего с немецкой же компанией, спроектировавшей и построившей международный аэропорт в Шереметьево и осуществлявшей тогда же аналогичный проект в Ленинграде. Дитер фон Ляйтнер завершал свою работу с московским представительством компании и собирался в ближайшее время начать работу с ее ленинградским представительством. Для этого он должен был переехать из Москвы в Ленинград, где ему предлагали более высокую должность и более высокий оклад. Приняв решение исследовать вопрос о проживании в Ленинграде досконально, Дитер, как он впоследствии рассказывал, запланировал несколько предварительных визитов в наш город и в первый же свой приезд решил посетить Эрмитаж.

Когда мать поинтересовалась, из какой, собственно, Германии к нам прибыл Дитер, Нора не без гордости ответила: «Разумеется, из ‘бундесов’». Заметив недоумение в глазах матери, она пояснила: «Ну конечно из Западной, мама». Прозвучавшая в ее голосе гордость свидетельствовала о том, что Нора начала ощущать себя женщиной на пути к исполнению своего предназначения.

В Эрмитаже она проводила экскурсии на немецком, которым, как и мать, владела весьма прилично, поскольку в юности Нора делала все, чтобы быть похожей на нее. Возможно, именно владение немецким в сочетании с другими достоинствами Норы и привлекло к ней внимание Дитера. Или, по крайней мере, так было в самом начале их знакомства. Теперь я уж и не знаю, на каком языке ей легче говорить после стольких прожитых в Германии лет.

2

Вспоминая Дитера, следует отметить его пунктуальность, работоспособность, настойчивость и неустанность в стремлении к достижению того идеала, что по-немецки описывается как grundlich und richtig, то есть словами, определяющими данного человека как основательного и правильного.

Происходил он из достаточно обеспеченной буржуазной семьи. Родители его начали работать на студии «Бавария-фильм» еще с конца тридцатых годов: отец – художником-постановщиком музыкальных фильмов, позднее он занимался вопросами рекламы кинопродукции, а мать всегда оставалась художником по костюмам.

Сразу после окончания факультета экономики и управления Дитер начал работать в банке, где занимался вопросами финансирования различных внешнеэкономических проектов. Он неплохо говорил по-русски, у него была хорошая память, и фамилия Толли-Толле произвела на него особое впечатление. Дитер хотел улучшить свой русский, разговаривая с Норой и ее друзьями. «У нашего бизнеса в этой стране большое будущее», – говорил он.

Дитер был строен, глаза у него были серые, с зеленой искрой, и на лоб падала легкая светлая, но уже с проседью, прядь. Отношения сестры моей с Дитером развивались стремительно. Бывал он и у нас дома, побывал и на Большой Конюшенной, у Агаты с Андреем, где особое впечатление произвел на него «Морской пейзаж».

3

Андрей в то время работал над копией «Пейзажа с дюнами и баркой на водах залива» кисти Яна ван Гойена, голландского художника первой половины семнадцатого века. Писал он копию у себя дома, на Большой Конюшенной. «В мастерской у меня бывают и случайные люди, – пояснил он, – мало ли что, ведь вещь дорогая.»

Принадлежало полотно Сергею Лец-Орлецову, приятелю Андрея. Тот приобрел пейзаж ван Гойена у вдовы генерала Сухорукова, который после окончания войны привез эту картину и множество иного добра из Германии. После смерти генерала вдова его время от време-

ни продавала что-то из картин и из привезенного генералом антиквариата.

Мне нравилось приходить на Большую Конюшенную и наблюдать Андрея за работой. То был волнующий процесс, чувственный, как акт любви. Работу ван Гойена я помню по сию пору – это был великолепный образчик старой живописи, от которого, казалось, веяло соленым и свежим морским воздухом. «Он писал большей частью спокойные водные пейзажи с милыми его сердцу торговыми и рыболовецкими судами, церковью или какой-либо деревней на заднем плане, которые он большей частью зарисовывал на природе.» Так отозвался о нем голландский историк живописи Арнольд Хоубракен. Сведения же о технике письма и других приемах ван Гойена почерпнуты из книги Эжена Фромантена «Старые мастера», написанной в 1875 году. В свое время я получил от Андрея дореволюционное издание этой книги с наказом не выносить ее из дому.

Вообще же для ван Гойена характерны выдержанные в коричневато-серых тонах виды окутанных влажным воздухом, медленно текущих рек и каналов, с городами и селениями на низких берегах, под бескрайним, в две трети картины небом. Художник делал свои наброски пером, используя чернила из зеленой шелухи, покрывающей ядра грецких орехов. Такие легко сделанные рисунки просвечивают в тонко написанных частях его работ. Подмалевок был, как правило, окрашен в светло-коричневые, иногда розоватые, а иногда и охряные тона. Обычно художник смешивал на своей палитре серые пигменты и охру, умбрию и земляные зеленые пигменты с лаком и маслом. Писал он тонкими слоями, оставляя темные зоны почти прозрачными, так, чтобы они поглощали падавший на поверхность холста свет. Светлые зоны предполагали использование более плотных и непрозрачных красок, смешанных со значительным количеством свинцовых белил. Свет, падающий на освещенные зоны картины, отражался от ее поверхности, которая напоминала обычно жидкий податливый мусс, мастерски взбитый и смоделированный кистью художника. Эта техника приводила к ощущению достоверности и глубины изображения. Импрессионисты, утверждал Андрей, считали ван Гойена одним из крупнейших голландских пейзажистов.

В последующие годы Андрей выполнил для Лец-Орлецова еще несколько копий с работ различных голландских художников. Иногда по просьбе Лец-Орлецова он писал на старых, натянутых на такие же старые подрамники холстах.

Кому они предназначались, Андрей не знал, да это его и не интересовало. Над копиями он работал для заработка; к тому же, говорил он, это помогало понять, как работали старые мастера.

4

С Леокадией Андреевной Лец-Орлецовой, теткой Сергея, Агата познакомилась вскоре после возвращения в послевоенный Ленинград, где та работала редактором в филиале издательства «Иностранная литература». «Я сразу поняла, что она стучит, – сказала Агата, – и решила не отвергать ее, а подружиться с нею. Работа на радио сделала меня умнее.»

Когда-то Леокадия Андреевна закончила Бестужевские курсы, увлеклась французской поэзией и стала писать стихи. Инженер Сергей Сергеевич Лец-Орлецов познакомился с ней за границей, в одной из своих командировок в Берлин в середине тридцатых годов. Сначала он влюбился в ее стихи, опубликованные в чахлом берлинском сборнике на сиреневой бумаге, а затем, после их венчания в Берлине, убедил ее вернуться в Россию. Жили они с сыном, сестрой и теткой неподалеку от акимовского театра комедии в одной из просторных квартир дома, спроектированного инженером С. С. Лец-Орлецовым в его молодые годы.

Вскоре после возвращения в Ленинград Леокадия Андреевна начала работать в издательстве Academia, перейдя позднее в издательство «Искусство», а инженера С. С. Лец-Орлецова через несколько лет расстреляли, обвинив в саботаже и подготовке диверсий на стройке крупной, им же и спроектированной тепловой электростанции севернее Ленинграда, турбины для которой он заказывал в Германии.

Всю войну Леокадия Андреевна оставалась в Ленинграде вместе с семьей сестры инженера С. С. Лец-Орлецова. Через три года после окончания войны она усыновила своего потерявшего родителей племянника и его старшую сестру. Отец детей, брат С. С. Лец-Орлецова, занимавший крупный пост в банковском управлении, умер от истощения сердечной мышцы, а мать убили в день выдачи продовольственных карточек.

– Это удивительная женщина, – говорила Агата о Леокадии Андреевне, – посмотрите, как она держится. И это после всего того, что она перенесла.

Да и племянник ее, Сергей Лец-Орлецов, выделялся в любом окружении, был заметен в любой толпе. В пору своего знакомства с моим кузеном это был высокий, достаточно молодой еще мужчина с крупными выразительными чертами лица и густыми темными бровями, нависавшими над глядевшими сквозь собеседника темно-серыми глазами. Его манера общения свидетельствовала о внутренней силе и холодном ясном уме. Кое-кто из общих с Андреем знакомых истолковывал его неспешную манеру говорить как проявление замешан-

ной на эгоизме индивидуальности. Иногда казалось, что отвлеченный невесть откуда пришедшими мыслями, он внезапно переставал слушать своего собеседника. Впечатление это, если оно и возникало, было ложным, что он обычно и демонстрировал, отвечая ясно и по существу. Мне всегда казалось – а познакомился я с Лец-Орлецовым несколько позже, чем Андрей, – что Лец-Орлецов умеет каким-то, не совсем ясным для меня, образом обдумывать несколько мыслей одновременно, подобно, скажем, эстрадным артистам, жонглирующим несколькими совершенно не напоминающими друг друга предметами.

В студенческую пору Лец-Орлецов довольно успешно занимался боксом, но мысль о спортивной карьере никогда всерьез его не занимала. Скорее, его волновала идея достижения определенной степени независимости от общества, в котором он жил. После возвращения из лагеря, куда он попал вскоре после окончания пединститута за спекуляцию иконами и антиквариатом, круг его интересов расширился, распространившись и на современную живопись.

Большую часть времени проводил он в мастерской на Загородном проспекте, оформленной на имя одного из старых своих друзей, любителя антиквариата и специалиста по изготовлению и реставрации театрального реквизита. Последнее направление деятельности понималось достаточно широко и включало в том числе реставрацию икон и тех или иных произведений живописи, появлявшихся в поле зрения друзей или, вернее, компаньонов. Сведения о текущих ценах на антиквариат, иконы и живопись на Западе узнавались им из каталогов, доставляемых из европейских столиц выезжавшими в Европу спортсменами.

ХУДОЖНИК И ЕГО МОДЕЛЬ

В один из вечеров у Лец-Орлецова, где наряду с другими знакомыми и приятелями хозяина присутствовали и Нора с Дитером, пили мы вернувшийся в ту зиму из небытия и сразу же вошедший в моду глинтвейн – смесь подогретого красного вина с корицей; в сырые дни напиток этот скрашивал жизнь и поднимал настроение.

Один из присутствовавших, несколько одутловатый мужчина с круглыми печальными глазами за толстыми стеклами очков, упомянул в разговоре, что приобрел бронзовый бюст императора в комиссионке на Невском. Причем цена этого бюста в комиссионке оказалась ниже, чем цена аналогичного бюста в антикварном магазине.

Каждое утро, без пяти минут одиннадцать, с точностью человека, являющегося на службу, этот мужчина стоял на ступеньках антикварного магазина. Приходил он сюда с Литейного – букинистические

магазины тогда открывались на час раньше. «Не разобрались должно быть, или что-то стряслось и не успели проверить, сколько это в антиквариате стоит», – изложил он свою догадку. После этих слов разговор перешел на Наполеона и декабристов, его неумелых последователей. За окном уходили во тьму желтоватые проблески декабрьского дня.

– Он был обречен, как и декабристы, да и как можно воевать с пустым холодным пространством, – заметил Андрей по поводу русской компании императора, после чего разговор перешел на живопись, и вот тут-то, вспомнив об известной работе Мейссонье «Наполеон. 1814», Андрей объявил историю ее создания поучительным и незабываемым уроком того, как выстраиваются отношения художника и его натуры.

На этом, одном из самых знаменитых полотен Мейссонье изображена разбитая дорога с угрюмым императором на серой кобыле в сопровождении следующих за ним всадников. На императоре серая шинель и черная треуголка. Атмосфера безнадежной подавленности передана с ужасающей силой.

Первая попытка Мейссонье воссоздать снег в своем парижском ателье, засыпав пол огромным количеством сахарного песка, привлекла в помещение тучи мух, выживших оттуда не только художника, но и обитателей соседних квартир. И ателье, и квартиры соседей оставались пустыми в течение нескольких лет, пока потерявшие всякую надежду на освобождение от насекомых владельцы наконец решили снести заполненные мухами строения. Сменявшие друг друга поколения мух не поддавались никаким попыткам выжить их оттуда.

Эта неудача, однако, не смогла остановить художника и для того, чтобы написать разбитую дорогу с конным отрядом и императором на серой кобыле во главе его, Мейссонье выбрал угол в обширном саду, прилегавшем к его дому, угол, истоптанный затем вдоль и поперек людьми, лошадьми, колясками и повозками. Месиво, созданное по его указаниям, посыпано было затем мукой и опрыскано водой для того, чтобы создать впечатление тающего снега.

Серая шинель императора и его треуголка предоставлены были в распоряжение художника. Следует сказать и об огромном объеме подготовительной работы, проделанной художником, – невероятное количество зарисовок солдат, их вооружения и лошадей, в которых художник не упустил ни одной детали, воистину уникально. Над некоторыми из своих картин Мейссонье работал не просто годами, а десятилетиями. При этом он был абсолютно искренен, когда говорил, что мечтает о картине, которая будет ничем иным, как сочетанием зарисовок, фрагментов и разрозненных событий, подобно «Мыслям»

Блеза Паскаля, создавая в то же время ощущение единой и непрекращающейся жизни.

Обо всем этом рассказывал Андрей медленно, обстоятельно, с отступлениями; и постепенно передо мною возникала заснеженная дорога и понурый, погруженный в раздумья император верхом на своей кобыле во главе потрепанной колонны всадников. Странность же состояла в том, что глаза у императора были синие. Более того, Андрей полагал, что побочным продуктом этой замечательной попытки Мейссонье воссоздать натуру стали преследующие Ореста мухи из известной пьесы Сартра. Мухи символизируют неумолкающий голос долга, повелевающего Оресту отомстить убийце своего отца и его пособнице, матери Ореста.

Подобный ассоциативно-метафорический подход оставался характерным и для суждений Андрея; собственно, прослеживается он и в стилистике его работ, в приемах, связанных с композицией картин, написанных им на разных этапах его жизни. Он никогда не хотел изменений ради изменений, всему на свете предпочитал он естественность и тому, что именуется elan, доверял безоговорочно.

«Его ожидает необыкновенное будущее», – подумал я в тот вечер.

Тель-Авив

Геннадий Кацов

Просыпаясь из детства

РАННИМ ВЕЧЕРОМ

По железной дороге игрушечный поезд летит,
подает беспокойный сигнал, чтоб усилить забаву –
впереди переезд, опускается бодро шлагбаум.
На вокзальных часах подбирается стрелка к шести.

Монотонно колеса о тонкие рельсы стучат,
и качаются вправо и влево три спальных вагона –
с полминуты пути весь отрезок ж/д перегона,
от всего игрового маршрута четвертая часть.

На окне нарисован сегодня осенний пленэр:
в отдалении лес, на ближайшем пригорке – селенье,
облака, погруженные в студень лазуревой лени,
как и тот, кто за ними следит из окна, например.

Этот в спальном купе средних лет рядовой пассажир
свою книгу сейчас раскрывает, листая страницы, –
мимо станции поезд проходит опять, веселится
детвора, и крутые составу грозят виражи.

ШЕСТИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ. ОТЦУ

Он говорит: «Основное – порядок снов.
Здесь все молчат, и за столько прошедших дней
мы не сказали с соседом и пары слов.
Чем беспробудней здесь сон – результат верней».
То есть сон в радость ему, ну и в руку – мне.

Он говорит: «Надо только успеть в сюжет
вставить конкретные месяц, и день, и час,
и перечислить в родительном падеже
мне как родителю тех, кто покинут, – вас».
Он мне сказал, это делал уже не раз.

Он говорит, что у них, неизвестно где,
есть все возможности нам подавать сигнал,
и сообщать – то приметой, что быть беде,
то «я в окошко снежок ночь назад бросал».
Я это слушал во сне и, смеясь, кивал.

СНОВИДЕНИЕ

В прозрачной посудине утлой
вплывая под парусом ветхим,
мое сновидение утром
качает осенние ветки.

Незримое глазу иному,
знакомое с раннего детства,
оконному дарит проему
всё то, от чего мне не деться,

годами не спрятаться в спальнях,
и как ни задергивай шторы,
тот луч сновидения дальний
однажды настигнет повторно.

В нем мальчик по краю оврага
бежит, и, как в фильме Феллини,
вокруг образуется влагой
пространство из смазанных линий,

в забытых обрывках мелодий,
в тональностях смеха и плача, –
и это случается, вроде,
всегда на родительской даче.

Он мчится, и я это знаю:
всесильная черная маска
за ним наблюдает – за краем,
где жуткая вечная масса

клубится, как близкое небо,
как знамение непогоды –
и здесь обязательно мне бы
проснуться, чтоб дальше на годы

покинуть кошмар бесполезный
с деталями пота и бега,
но мальчик по краю над бездной,
похоже, не в силах не бегать.

Он там, на краю, замирает
всем сердцем и остановиться,
остаться на равных с мирами
спешит перед тем, как разбиться.

Ему так безумен и страшен
прыжок, где теперь одинокий,
руками он яростно машет,
пока тянет пропасть за ноги.

Когда-нибудь, может в секунду
всегда неожиданной смерти,
я руку, в сознанье покуда,
ему протяну – и, доверчив,

мое, опаленное солнцем,
он схватит навечно запястье –
и, может, мы вместе спасемся.
И, может быть, вместе пропасть нам.

УРАГАН С УТРА НА МАНХЭТТЕНЕ

Ветер – из мелких деталей внутри механизма:
цепких бумажек, колесиков листьев, машин у обочин
и пешехода, что в поисках верха и низа
с воплем мгновенно взлетает, тем самым сейчас озабочен.

Сам механизм совершенен, хоть выглядит просто:
ряд небоскребов в червячной беззвучно скребут передаче,
сверху (куда пешеход улетит) – это остров,
сбоку – как если бы кто-то бутылки без счету заначил,

снизу – машинного масла цветные разводы,
гул поездов по артериям, звук, уходящий по венам,
и охлаждения рядом система, чьи воды
весь механизм омывают, породы его и каверны.

А надо всем – робкий голос высокий, невнятный,
словно игру обсуждают за тучами скрытые дети:
«Он ведь летит!» – слышен голос. «Но мне непонятно, –
слышен другой, – не такой уже сильный мы вызвали ветер.»

* * *

От желания жить появляются дети, идея
о бессмертии, книга о вкусной здоровой пище,
мысль о том, чтобы плыть за руном золотым в Колхиду;
одинокая, на берегу исчезая из виду,
не вдова, чья планида теперь верить в чудо, надеясь,
что живым возвратится домой – пусть калекой, пусть нищим.

От желания жить опускаются звезды в колодцы
и в простор океана, чтоб сразу теплеть в отражениях,
выпадая из черного в небе квадрата без рамы –
и растет под луной очертанье небесного храма,
ослепительный контур в ночи проплывает без лоций,
как оружие массового, для всех душ, притяжения.

Оттого этот глобус вращается, чтоб возвращаться
и когда-то во время уйти, ведь ты узами брака
или тленным бессмертием связан с десятой музой –
безнадежно безносой, как и тот человеческий мусор,
что и шанкром сражен, и как вирус другим домочадцам.
Хоть Сивиллы вещали о том, хоть дельфийский оракул.

Нью-Йорк

Анна Гальберштадт

МИНУТА В МИНУТУ

Орфею не оглянуться
Эвридика следует за ним
в темноте
шаги ее легки почти бесшумны.
Он прислушивается к ее
сладким вздохам за спиною
ее выдох скользит меж его лопаток
щекочет спину
запах ее волос
жасминовый и коричный
голову кружит
позвякивание браслетов на тонких ее кистях
и щиколотках стройных в ритме танца
кровь волнует
ноги сами начинают
двигаться в танце.
Но от внезапной мысли
о том что милая вновь
исчезнет в мраке Аида
голова кружится
как от темного почти черного
колхидского вина
в конце многочасового пира.
Горький запах полыни
опережает вой шакалов
и лай химер
в темнеющих у дороги зарослях
Орфей заводит песнь
о неразделенной любви
госпожи к несчастному молодому рабу
тонколицому и стройному
как кипарис вечнозеленый
с белозубой улыбкой
который прислуживает
за трапезой
стоя за креслом ее ревнивого
деспота мужа

Мальчик опускает янтарные глаза
когда госпожа томно
улыбается и просит его
собрать коралловые бусины
скатившиеся на пол
из внезапного лопнувшего
старинного ожерелья
привезенного из Сарматии мужем.
Зачарованные шакалы в такт подвывают
химеры вздыхают
испуская серный запах.
Не слышно больше шагов Эвридики
дыхание ее
легкое как шум морских волн
июльской ночью
затихло
Орфей зубы сжимает
чтобы не оглянуться
слышит только стук собственного сердца
и шелест листьев
на деревьях придорожных
еще стрекот цикады
Наигрывает любимую мелодию Эвридики
которую напевал ей на ложе
в дни счастья
она все не отзывается
только вдали шакалы снова завыли
вот сейчас обернется несчастный

* * *

Ты – лис хитро путающий следы
а я глупый кролик
у которого хвост торчит из-за куста
легкая добыча
ты – иезуит
привыкший к иносказательному
красивому письму
левым мизинцем
к правому уху
заплечных дел балетмейстер
дамский брадобрей

Ив Сен-Лоран для бедных
а я фабричная девчонка
по выбору
любящая спускаться в клоаку города
вместе с народом
с пиплами.
Ты – любитель сексуального разнообразия
и эмоциональной упрощенности
секса, как отшелушивания,
отлетания
как невозможности близости.
Я – дура протягивающая себя
на подносе – на!
Чуда-юда.
Вдруг ты почувствуешь
как мое голое сердце бьется
под серебряным колпаком блюда
подденешь на вилку
в рот положишь?

* * *

Эвридика в царстве Аида
уже пятую зиму.
Землю льдом сковало
и звук летящего снега
как тихий свист змеи,
ужалившей Эвридику,
заглушает все остальные.
Орфей погружен в тоску
кифара его
завернутая в платок
который любимая расшила маками
как те, что покрывали
склоны гор во Фракии
в мае,
как будто
перестроилась лишь
на печальные песни
или вовсе безмолвствует.
Не смотрит он в сторону
прекрасных женщин

нимфы и друиды
тоже вспоминают
Эвридику
и слезу роняют по весне
вспоминая как она с ними
плясала и плела венки.
Орфей и рад бы встряхнуться
выпить вина со старыми друзьями
попеть на пирушке
но летаргия, как холод,
сковала его члены
еда на лучших пиршествах
кажется горькой как полынь
вино на вкус как уксус
девушки все как будто
на одно лицо
улыбки их кажутся неискренними
ужимки жалкими.
Кроме Сафо
не может он и двух слов сказать
ни одной.
Вакханки возненавидели его
за гордость
думают что презирает он прекрасный пол
лишившись Эвридики.
Орфей же смерти больше не боится
вакханкам не возражает
надеется на встречу
с той единственной
что его жалела
когда его кифара
отказывалась петь.

* * *

Я капля в потном бульоне нью-йоркского лета
Плыву в несознанку в толпе в то время
Как черная птица воспаряет в воздух
Между домов с мавританскими арками и колоннами
Голубые гортензии никнут в жару на фермерском рынке
Там снуют дети меж ног родителей и детских колясок
Два толстых бульдога на прогулке с хозяйкой

Нагло виляют мускулистыми задами
А я скучаю по своему месту на твоем
Слегка потном левом плече
Это там и тогда когда
Все бильярдные шары дружно запрыгивают в лузы
Поезд приходит на вокзальную станцию минута в минуту
Красный амариллис на подоконнике моей мамы
Который цветет только единожды в год
Расцветает «в аккурат» перед Новым Годом
И пятилетний мальчик выигрывает рубль
На свой заветный лотерейный билет.

* * *

Ты говорил
что любил слушать
когда я рассказывала
как прошел мой день
на работе. Просто
слушал меня
не перебивая
с добродушным интересом.
Просто вставал мыть посуду
после приготовленного мной обеда.
Просто не тормошил меня
когда мы смотрели
фильм Лины Вертмюллер
в постели.
Просто я засыпала
у тебя на коленях
и ты продолжал
смотреть тихонько
меня не будя
с сигаретой в одной руке
гладя меня по голове
свободной.
Просто мне этой
тишины
этого покоя
так не доставало
как бегущему марафон
передышки.

Я и сейчас вспоминаю
эти паузы
в музыке
эту остановку в пустыне
этот глоток
родниковой воды чистой
перед тем
как снова седлать коня
перед дальней дорогой
пыльной и каменистой.

Нью-Йорк

Виктор Санчук

Мой Господи, скажи мне, что со мною:
негаданно, как будто бы во сне,
забытое, ничтожное, святое
нежданно отзывается во мне.
Кто нищий, тот не может пробросаться.
Зачем же вечно у меня в крови,
как золото, растворено богатство
чужой, во мне очнувшейся любви.

Как медленно плывут под ливнем люди.
Мне странный страх покоя не дает,
что срок придет, но ничего не будет, –
и минет день, и обновится год.
Как циферки, имен не переставить.
Теперь, теперь, пришедшему сюда,
мне жутко так, как если бы представить
живую жизнь без страшного Суда.

Дрожит рука. Скользящей жизни звенья
никак цепочку фактов не замкнут, –
как будто это серые мгновенья
в просветах меж вагонами встают
и падают. Я глаз не поднимаю,
но знаю: мир приземист и безлик.
Забыл, забыл, забыл! – не понимаю, –
как будто птиц дробящийся язык.

Теперь уже совсем, совсем немного,
и мимо черных дачек и лесов
в ночь канторова железная дорога
по тысяче потащит адресов.
Тогда меня по крохам соберите.
Мне много лет. Нет времени шутить.
Я вас любил. Простите мне, простите:
Я всех любил. Мне больно говорить.

* * *

Он под Гончими Псами летит, словно во поле волк, –
долгий призрак, гонимый укушенной насмерть державой,
бьют жестянки подков – Святополк – Святополк – Святополк –
по серебряной с чернью весне, да по осени ржавой.

Двух отцов непутевый, от блуда заблудивший сын,
Потьмы князь без престола, в отечестве – братоубийца.
Там, где вышли Карпаты к столу азиатских равнин,
ночь возьмет под крыло, как большая двуглавая птица.

Или полднем морозным белесую ленту снегов
он наложит на узкую полосу низкого неба,
развернет вдоль по зимнику – флагами двух берегов
и подпачкает смешанной кровью Бориса и Глеба.

И не этой ли красною жижей, зрачком налитым,
никуда не прикаянный он, ниоткуда не званный,
вдруг провидит татарскую лютость в родстве Калиты
и опричную гордость падучей безумца Ивана.

Бьется сердце в груди, словно в бредне холодный осетр,
там, где рек кутерьма, и бессрочна тюрьма небосвода.
И на круп осадив, будто вместе он с пащенком, Петр
давит медную желчь из покуда незрячего года.

А еще: это Павловский ополоумевший полк
заведет скакунов – ни присяги, ни брата, ни стяга;
только долгий галоп – Святополк – Святополк – Святополк –
вечный призрак, летящий по бледному следу варяга.

Да старик-крестьянин, на какой-нибудь к дому версте
завернув на большак, отшатнется ни мертвый, ни пьяный
и, полжизни убогой едва ли пребыв во Христе,
тычет в князя перстом и крестится, шепча: окаянный!

* * *

Когда ты уходишь, так просто, так просто,
как дней между пальцев минутное просо,
улыбка моя тогда в полупоклоне
еще в белом небе, как пыль на ладони.
Когда ты уходишь, когда ты уходишь,

как вдруг наконец нужный адрес находишь,
когда ты уходишь, как даты, когда ты –
как взявшие город чужие солдаты,
кругом зависает твой абрис, твой голос,
как будто на белом манжете тот волос,
как в комнатах – звук незапитого тоста.
Когда ты уходишь так просто.
Так просто.
Вот лесенкой рифмы и тропкой строки,
блаженством и болью, – ах, нежно так, трудно,
как те, кого любим себе вопреки,
вернутся стихи, нагулявшись под утро.
Кто был здесь? Как будто бы сбыться могло –
не ты издалека, не прошлый товарищ.
Но шторками окон, но ветром в стекло –
почудится, кто-то шепнет мне:
«Там, знаешь,
округой шатается голос хмельной, –
он в рыке косматом, он в выстрелах пульса.
И мир, пусть не мертвый, но полубольной
в постельном снегу, бедный, весь распахнулся».
Виденья довлеют уму моему.
Ни веры, ни правды. Неважно отныне:
я завтра с похмелья и в койке пойму,
кто как умирает от жажды в пустыне,
кто плакал впотьмах, и как пальцы мороз
рвет белой капустной железною теркой.
Не трогай мой «Паркер»!
Мне друг мой привез
Его из Нью-Йорка.
А осень все суше, и ветер все резче.
И, слушай, здесь явные вечера вещи:
и крапинки фар, и витрины в неоне,
и пульсом больного – гудки в телефоне.
И как ни крути, разметет центробежной –
дома, буквы улиц в снегу, и на снежной
бумаге потом еще – в недрах почтовых.
И даже сам снег этот – в водах грунтовых.
И все возвратится к началу, как «Волга» –
в гараж под мостом, или в море. Но только
лишь лица сотрутся, увидишь воочью
кристаллики бликов графитовой ночью.

Морозно. И высчитан, высмотрен точно –
тот вечный из сказочки дальневосточной.
И самое-самое вспомнишь. И стоя
перед этим стеклом пробормочешь: «пустое...»
Когда ты уходишь.

* * *

В двухэтажном, как шкаф, – неприметна, как мышь, –
в этом старом дому остывает эпоха.
Здесь на простынях зимников, как когда спишь, –
в снежном крошеве будто бы прошлого кроха.

А найти не успеть, да уйти не посметь,
словно снегу – не справиться с веткой железной.
И в лесах за рекою не бродит медведь.
И сухие слова, как слега, бесполезны.

Им для сказок оставит плохой Беломор
пять морей. Прорастет возле самого дома
вечность в точках белесых, как гриб мухомор.
И прольется луна, как шаманская сома.

И когда кто-то спросит: кто в доме живет? –
лишь спросонья, как прежде, протянет невольно –
среди плесени бревен зевающий кот –
лапу к сердцу печному. А лапе – не больно.

* * *

05.16.09. 05:48 am. Park Av. & 93 St, NY, NY, USA

Перспектива:
Парк авеню –
Вниз, к океану.
Будто бы вместе с майским ветром
Высоко над Нью-Йорком
Пробежал кто-то
Большой и неслышный,
Роняя на бегу
Среди зеленой листвы деревьев
Красные капли светофоров.

Уходил, видать, раненным –
С давних, неведомых мне разборок,
С места забытого боя –
С англичанами,
Ирокезами.
От полиции,
От братвы,
От ревнивого мужа подружки.
О, как хорошо,
Что об этом, обо всем
Уж точно никогда не узнаю.

Ничего не мог бы сказать.
Не думаю.

И не спросят.

Не должен.

Все это, все –
До моей – тут – как это, – ре-ин-кар-на-ции
…….

Только зелень листвы
В красных крапинках светофоров.

Еще пара секунд,
И также – по очереди –
Сами перебегут в зеленое.

Свобода
Америка

Нью-Йорк

Владимир Батшев

Свидание в июне

1

– Откуда я вас знаю? – снова спросила она. – У меня неплохая память на лица.

Ну что я мог сказать? Что защитил кандидатскую диссертацию по ее творчеству? Выпустил книжку, знал ее биографию назубок, а теперь вдруг заразился неизвестно откуда появившимся желанием – разузнать, кому она надписала книгу – «Моему случайному спутнику». Кто это? Адресаты ее стихов известны исследователям. А книги…

Да мало ли какому поклоннику она могла сделать такую надпись.

Смущала дата.

Дата!

4 июня 1939 года.

И еще смущало, что я полюбил ее.

– Вы мне начинаете нравиться, – покачала она головой. – Нет. Честное слово! Вы – странный человек. И мне нравитесь.

Душа моя пела.

Не могу только сказать – какую песню.

В кафе было немноголюдно. Через час, когда наступит время обеда, – здесь не продохнуть.

Я показал официанту два пальца, он принес бокалы.

– Вы выпьете, что-нибудь легкое? Бургундское? Или белое, шабли подойдет?

– Я не люблю белых вин.

– Я тоже. Медок? Сант-Эмильон?

Она кивнула неопределенно.

– Хорошо, остановимся на нем.

– Откуда я вас знаю? – удивлялась она. – Где я вас видела прежде?

Официант открыл бутылку, дал понюхать пробку, я кивнул – годится.

– Года три назад, на балу эмигрантской прессы. Нас познакомила Вера Николаевна Бунина.

Ее лицо расплылось в догадках.

– Простите, а вы случайно не были любовником Веры Николаевны?

– Нет, – равнодушно ответил я, наблюдая, как официант разливает вино. – Спасибо. Вера Николаевна не в моем вкусе. Да и как можно быть любовником Веры Николаевны? Иван Алексеевич голову бы мне оторвал.

– Ну, Вера Николаевна не оторвала ему голову за Кузнецову.

– Так это же она, а не он! Я навещал их в Грассе, это под Каннами. Вы были там? – зная отрицательный ответ, все же спросил. – Зря. Прекрасное место. А Вера Николаевна – святая женщина, – повторил я. – Кстати, Бунин к вам, если не ошибаюсь, хорошо относится. Даже одарил вас деньгами из своей Нобелевской премии. Весь Париж знает...

Она повела плечами.

– Подарить две тысячи не значит хорошо относиться.

– Уверен, хорошо относится.

– Вам, конечно, лучше знать, – съязвила она. – Нет, что-то хорошее связано с вами…

Она ушла в воспоминания.

А мне некуда было идти.

2

31 октября прошлого года в Русской католической церкви на улице Франсуа Жерар служили панихиду по князю Волконскому. В церкви помимо родственников присутствовал весь русский Париж.

Моя любимая тоже была здесь, стояла заплаканная, – к ней никто не подходил, наоборот, все шарахались от нее.

Вышла Берберова, я поклонился ей, она кивнула мне.

– Нина! – окликнул ее. – Вы бы поздоровались, – я указал на мою любимую.

Лицо Берберовой исказилось то ли страхом, то ли ненавистью – не понял, – глаза расширились, она подняла голову и убежала. Через метров пятьдесят оглянулась, вероятно вспоминая – кого она поприветствовала, и пошла дальше.

Я вынул из кармана платок и протянул женщине с заплаканными глазами.

Она молча кивнула и стала вытирать глаза.

3

Взмахом руки она отогнала дым сигареты и крепко ухватила меня за локоть.

– Я вспомнила! Вспомнила!

Я ждал.

– Платок, – произнесла она. – Вы отдали мне платок. Я стояла в слезах, вы подарили мне платок…

Она выпила вино.

– Пойдемте ко мне в отель, – удивленный своей наглостью, предложил я.

Она согласно кивнула

– Угу. Предполагала, чем подобное может закончиться. – И все же спросила: – Вы меня за проститутку принимаете?

– Почему за проститутку?

Она пожала плечами. Раздумывала. Неужели согласится? Сигарета догорала. Она потушила ее.

– А мой сын?

– Ваш сын? – удивился я.

– Он дома один.

– Это же взрослый мальчик. В конце концов, вы можете послать ему пневматичку.

Она усмехнулась и достала из сумочки сигареты. Сумка была далеко не новой.

– Дайте спички. Сразу видно, вы давно не были в Париже. Пневматичек теперь нет.

Спичек у меня тоже не было, я не курю, пришлось звать официанта.

– Давно? – подосадовал на свою оплошность.

– Года два-три, – она затянулась сигаретой. Рассматривала меня через дым.

– Хорошо. Давайте напишем ему письмо и пошлем с рассыльным.

– Э нет, вы начинаете сорить деньгами. Лучше я зайду и скажу, что сегодня не вернусь ночевать.

Я состроил гримасу.

– Зайдите. – А сам подумал: – И не вернется.

На удивление, она вернулась. И очень быстро.

– Его не оказалось дома. Я оставила записку, что поехала на пару дней к подруге. И положила на стол вместе с десятью франками. Пусть себе что-нибудь позволит.

Наверно, так было правильно.

4

Мы сидели у фонтана Медичи.

В фонтане плавали рыбы – красные, желтые и другие – с красными плавниками, а в стороне между утками мелькал то ли судак, то ли осетр. Впрочем, это был не совсем фонтан, а скорее пруд, куда скатывалась вода из чаш фонтана, и вот там, где она скапливалась, плавали эти большие рыбины, а утки здесь же вылавливали что-то среди опавших листьев.

– Интересно, листья убирают? Чистят этот пруд? – почему-то спросил я.

Она пожала плечами, всматриваясь в меня.

Что значат эти символические статуи? И главное – фонтан за стеной, откуда вода течет в чашу.

– Вам не хочется погладить этих рыб? – спросил я и прикоснулся к ее руке.

– Едва ли их можно погладить, – ответила моя любимая. – Они плавают в глубине – моя рука не дотянется, точно.

– Они похожи на подводные лодки.

Я достал из своего портфеля книгу и протянул ей.

Она даже не удивилась.

– Не уезжай…не уезжайте…

Она закачала головой, я подал ей авторучку. Она была близорука. Рассмотрев ручку, сняла колпачок.

– Вам нужны очки, – сказал я. – Давайте, я закажу у окулиста?

Она отрицательно покачала головой и написала: «Моему случайному спутнику за неделю до отъезда в Никуда».

Я ошарашенно смотрел на знакомые строчки.

– Почему в никуда? Да что вы…

– А, бросьте! – она махнула ладонью. – Будто не понимаете, куда я еду.

Я вздохнул.

– А можно не ехать?

– Нельзя.

– Почему? Я вам помогу. Деньги? Вы задолжали этим… этим… нелюдям деньги? Много? Скажите, сколько – я погашу ваш долг…

Я вынул бумажник, денег в нем оказалось много для того времени – несколько тысяч франков.

Она встала, молча посмотрела вокруг, словно прощалась.

Потом повернулась ко мне.

– Дело не в деньгах. Я должна ехать. Там моя дочь. Там мой муж. Им сейчас плохо без меня.

Я скривился.

– Кто вам внушил такую чепуху?

Она покачала головой.

– Мне ничего нельзя внушить. Я знаю. Я чувствую.

5

В августе сорок первого начальство меня не отпустило.

– Виктор, пусть история развивается так, как уже развивается.

– Но я попробую…

– Нет, – голос начальника стал жестче. И почему друзья, как только выходят в начальники, перестают тебя понимать? – Я знаю, что ты придумал – привезешь ей мешок продуктов, так? С фальшивым удостоверением сотрудника НКВД поедешь в Чистополь и договоришься, чтобы о ней позаботились. И каким будет отношение к ней после этого? Ты подумал? А дальше? Путь в Ташкент?..

– Я предусмотрел и этот вариант…

Но друг возразил.

– Но сына все равно заберут в армию, понимаешь? Призывной возраст. И он погибнет. А потом еще… Смерть парня запрограммирована, и если этого не произойдет, не случится многое, что нарушит ход истории.

На приведенные мною доводы он с гневом набросился.

– Его убьют! – чуть не закричал друг. – Он твою любимую в петлю засунул! Эгоист до мозга костей! Избалованный инфантил! Его все равно убьют, что бы ты ни придумывал, – или шпана в запасном полку, или в первом бою выстрелят в спину – таков расклад. И нельзя иначе.

Я снова подал голос, и он снова пытался меня отрезвить.

– Ты считаешь, что я не проверял все варианты на компьютере? Ты не хуже меня знаешь, что существуют причинно-временные связи. Смерть сына станет для нее шоком. Она сойдет с ума.

– А если сказать, что он в плену?

– Ты еще придумай – у Власова…

– А гипнопедия?

– Я тебе покажу гипнопедию! Наложение искусственной памяти на сознание! Кто тебе позволит? Я – нет.

Я пожал плечами.

– Но это – зацепка выжить, перебраться в Западную зону…

Он прервал меня – равнодушно, словно знал, что я буду возражать.

– Хорошо. Пусть у Андрея Андреевича. Его ты не хочешь спасти? А? Нет? Почему же нет? Твой любимый герой! Я все помню, Виктор! Ага, ты прекрасно знаешь, что полетит вся историческая цепь… Ладно, ее сын – в РОА, в редакции газеты, интеллигентный мальчик, сын известной поэтессы… А потом – выдачи. И его выдают вместе с власовцами и казаками кремлевскому людоеду. И что? Привозят в Одессу. – Почему в Одессу? – А потому что так получилось – их везли на кораблях. И прямо в порту. В порту! Только отвели за стенку… Всех, кого привезли… Всех, дурак! Слушай, если забыл! Всех из пулеметов! Всех! Думаешь, она переживет?

Но у меня был готов другой, совсем другой вариант ее судьбы. Я могу себе позволить.

6

Начальник отдела НКВД в этом городишке показался знакомым. Ну, да, конечно, когда меня посылали для вживания в образ, я стал слушателем курсов повышения квалификации. Мы с ним оказались в одной группе, выпивали, волочились за девицами с наших курсов… И он меня узнал (ох, не очень это хорошо!), к счастью, мы в одинаковых званиях.

– Ба, привет, товарищ лейтенант государственной безопасности! А я думаю, кто из центрального аппарата по мою душу… Со шпалой в петлице! Мы же с тобой на курсах вместе… О, помню, ох помню! – он засмеялся. – Ты меня не перепил, но девку ту, чернобровую с голубыми глазами, упустил!

Я сделал смущенное лицо и развел руками.

– Куда мне до асов…

– Что за ас? – не понял он.

– Так американцы называют специалистов высшего класса, – подмигнул я ему.

Он махнул рукой.

– Ладно, ты с проверкой, наверно, по эвакуированным? – подозрительно поинтересовался он.

– Нет, у меня спецзадание, – я подал ему пакет с наркоматовской печатью.

Он вскрыл, прочитал, бросил пакет на стол, сморщился.

– Делов-то…(Хотел, наверно, добавить: делать вам в Москве нечего, – но промолчал.) Я сейчас вызову сержанта Миронова, он на этом «сидит»… Молодой, но исполнительный… Боря его зовут…

Он позвонил. Потом положил трубку и серьезно посмотрел на меня.

– А как там в Москве?

– Ты о чем?

– Об эвакуации.

Я засмеялся.

– Товарищ Сталин сказал, что из Москвы не уедет.

– Это понятно, а вообще?..

Тут я понял, что у него достаточно оперативных сводок о настроении в его городе, в области, да и копии сводок из Москвы он тоже получает…

Я сел к нему на край стола, чтобы казаться полностью своим, понизил голос, спросил:

– У тебя выпить есть?

Он не удивился и открыл дверцу.

– Ты что пьешь?

– Коньяк. От водки у меня изжога.

Он поставил на стол «Бисквит».

Давно я не пил такого коньяка.

– Это что за напиток?

Начальник обрадовался – есть чем удивить московского проверяльщика (он был уверен, что я проверяю его работу!).

– Французский. Две недели назад изъяли у контрабандистов.

Я зажмурился.

– Погоди, погоди, откуда у тебя здесь, в центре страны, контрабандисты?

Тут уже он рассмеялся.

– Кого надо – того и найдем, дорогой товарищ! – он показал на сервант.– Выбери, из каких будем пить? – я замотал головой. – Он показал водочные рюмки – я в ответ покачал головой. – На тебя не угодишь. А те, ниже?

Я кивнул.

Он вынул из того же стола лимон.

– Лимон? – удивился я.

– Это ты брось, – доставая из стола перочинный нож, заявил начальник, – Николашка, последний царь, закусывал лимоном…

– Ты что, монархист? – улыбнулся я.

Он сплюнул.

– Я – советский монархист. Мой монарх, что и твой монарх, – товарищ Сталин.

Я кивнул.

Бокалы были чистые, но я достал платок и протер свой.

– Ну и чистюля, – покачал головой напарник.

Я блеснул знакомствами.

– Замнаркома товарищ Серов Иван Александрович в таких случаях говорит: «Ну ты и эстет!»

– Эстет? А что это такое? – брови полезли на лоб начальника.

– Хрен его знает, – отмахнулся я. – Наверно, то же, что и чистюля. Наливай!

7

Я спустился к сержанту Миронову, который ждал меня.

– Как тут у вас в городе смертность? А? Да не пузырься, не пузырься, сержант! Правда лучше всякой красивой полуправды.

– Есть, товарищ лейтенант, как без жмуриков… Эвакуированные чаще помирают, чем местные…

Я кивнул.

– Товарищ…– начал он, но я махнул рукой.

– Мне надо несколько женских трупов. Свежих. Одно-двухдневной давности, понял, сержант? Или у вас в морге нет своего человека?

Тот надул обиженные губы.

– Обижаете, как не быть, мой агент. Сейчас позвоню... Хотя, нет, у них телефон только на проходной… Я сам сейчас туда смотаюсь, и через полчаса назад… Мой стукачок как раз там будет, он нам поможет…

– Стой, – я поднял руку и полез в карман гимнастерки, доставая фотографии. – Вот тебе четыре фото, покойницы должны быть похожи, – я сделал паузу, – ну хотя бы немного… не старухи… Да, и пошли какую-нибудь женщину, найди из сотрудниц… чтобы в дверь постучала, поинтересовалась, не продадут ли одежду. Понятно? Лучше всего – платье… и пусть не скупится…

Позднее мы ехали в фургоне, и я гримировал труп, внимательно смотрел на фотографию – нос был очень похож, глаза того же цвета (повезло!).

На скамейке рядом сидел худой тип в брезентовом плаще, он часто потирал руки и не выговаривал многих гласных в словах… Это и есть, наверно, «стукачок», догадался я.

8

Фургон стоял на соседней улице. В кабине курила сотрудница горотдела, которую вчера я послал на поиски одежды у эвакуированных. То, на что я надеялся, произошло – она купила у моей любимой ее платье и туфли. На деньги не поскупилась. Это платье и туфли мы с ней надели на труп женщины из морга.

Стукачок подбежал к нам.

– Что там? – спросил сержант Боря.

– Пишет, – доложил тот, отдуваясь. – Написала один лист, вырвала из тетрадки другой, и снова калякает.

Сержант посмотрел на меня.

– Пора, – сказал я.

Мы подошли к дому Брадельниковых.

Стукачок отбежал за угол, прильнул к дырке и тут же замахал нам рукой.

Я открыл портфель, вынул флакон, сержант помогал.

Стукачок подошел.

– Она с веревкой в сени вышла…

Я смочил вату раствором и кивнул ему на дверь.

– Давай, – скомандовал сержанту.

– Ты – помогай, – сержант подтолкнул стукачонка.

Она не должна меня видеть. Особенно в ненавистной ей форме.

– Гтва! – донеслось из дома. – Тврищ лтнант, гтова, как мленькая…

Я повернулся к машине и махнул шоферу. Заработал мотор.

9

Потом мы ехали на машине, затем чекисты перенесли мой бесценный груз на пароход, потом остался только сержант Боря, и мы сняли полотно и положили ее на койку, я вколол ей лекарство, она застонала и открыла глаза.

– Что это? – спросила она, глядя на мою руку.

– Это ваши очки, – ответил я, протягивая футляр.

– Очки? Я не ношу очков, – пробормотала она.

Я переглянулся с сержантом.

– Вы забыли. У вас близорукость, вы носите очки.

Она заснула.

Пароход замедлил ход. Я снова стал начальником из Москвы.

– Твоя остановка, сержант. Поклон товарищу начальнику. Доложишь, что задание выполнено.

Когда он вышел, я достал из сумки гипнопедический шлем. Теперь – самое важное.

10

Мы давно живем в Чили.

С тех пор, как из Европы перебрались в Южную Америку, подобно многим эмигрантам второй волны.

Иногда по ночам моя жена кричит и просыпается от страшного сна. Она не может вспомнить, кто она и где находится.

Тогда я успокаиваю ее, даю валерьянку и поясняю, что ее зовут Анна Николаевна Ковригина, что мы оба из Орла, где нас застала война, что были в оккупации, оба работали в местной газете, что ее родители и наши дети – мальчик и девочка – погибли при бомбежке города советской авиацией.

Она успокаивается и засыпает, сжав мою ладонь. И так почти каждый день.

Жена моя, Анна Ковригина, известная под псевдонимом «Анна Грасс», много публикуется в русской зарубежной прессе. У нее вышли три книги стихов и книга рассказов.

Недавно в НРС Юрий Павлович Иваск написал статью о ее последней книге. Очень хвалил Аню. Пишет, что стихи замечательные, но сильное влияние Цветаевой.

Франкфурт-на-Майне
2013, 2017, февраль

Сергей Шестаков

* * *

говори, говори со мною,
говори, даже если свет
обернется такою тьмою,
из которой возврата нет,

говори, даже если губы
лубяная сведет тоска,
полоумные лесорубы
ждут безумного лесника,

говори, говори дыханьем,
криком, шепотом, немотой,
яблонь розовым полыханьем,
горем, радостью, всей собой,

чтобы время не шло, а пело –
до предела, до той поры,
как вонзятся в глухое тело
милосердные топоры…

ДВА ПИСЬМА

Лене Элтанг

1

пишет молочнику булочник: знаешь, анри,
жизнь обветшала, не просит и малой краюшки,
сил на полушку уже, и, куда ни сверни,
всюду зима да земных сторожей колотушки,
видно, обнимемся скоро и, как ни крути,
вновь попируем у кленов под сплетни сороки,
ты же, наверное, главный на млечном пути –
вот и подумай о булочной рядом дороге...

2

пишет молочник: мой добрый, мой славный рене,
дружба прочней естества и устойчивей к порче,
как же я рад прилетевшей сегодня ко мне
весточке этой по телепатической почте,

булочный домик с пекарней закончат вот-вот,
здешние клены тенистей земных и просторней,
будем смотреть на течение медленных вод
и наблюдать за одной из всемирных историй...

* * *

мне не снится больше тот край, на тебя похожий,
перелески, хляби,
облака, овраги, озера в гусиной коже
набежавшей ряби,
отчужденность чуда, и дождь, и, грубей рогожи,
панибратство яви,

неуклюжий, нежный, нескладный, простоволосый,
утонувший в буче
оголтелых птиц, по весне захлестнувших плёсы,
берега и кручи,
где под вечер слякоть да волглый туман белёсый,
а наутро – тучи,

где чем свет навек прикипаешь к нещедрым глинам
и теряешь имя,
и седому зеркалу видишься андрогином
в несусветном гриме,
где, дробимый снами, становится мир единым,
породнившись с ними…

СТИХИ О СИЛЛАБОТОНИКЕ

штопала, гнула, кроила, чинила,
пела, шептала, молчала, ждала,
в склянке окна молодые чернила,
перышко-ялик, пустыня стола,

что тебе мертвые губы мамая,
черные степи, немецкий прищур,
там, где бродил сумароков, хромая,
тихо бездомный скулит убещур,

дни выцветают, как ситцы линяя,
прошлое не различимо почти,
что тебе эта печаль проливная,
лампу зажги, кантемира прочти,

тайные буквы небесного брайля
все до единой зачтутся сполна,
смерть – это курская баба рябая,
грамоте не разумеет она,

крестик на ордере в синем конверте,
метрика прожита вся, до крупиц,
осень, ухабы силлабики, ветер,
полоцкий, тредиаковский, капнист…

Москва

Елена Малишевская

* * *

Подай мне знак, душа моя,
Сиротство – свечка восковая
Или купель, где ты оставлен
Один, и множится струя,
Все прибывая? Сорван вентиль.
Синее всякой синевы,
Днепра, темнеющей Невы
И Леты лента мимо петель
Продета через край, и уже
Щемит дверями слабый свет.
Да полно, знаю – вас тут нет.
Прибудет в Тибре или в луже,
Проточно, перекатом, узко,
Водой прочистится, дыша
Хоть жабрами, моя душа,
Забытой где-то в междуустье.
Подай мне знак: в трубу не слей
Все кубометры и парсеки,
Скреби по дну, стучи в отсеках,
Барахтайся, но не мелей.

* * *

был пир, объявленный заране.
тянула скатерть угол, сканью,
до ножки перегруженной стола,
тут вышивка изящна и стройна.
плечо до локтя в долгих рукавах,
отметины на коже терпких трав.
не поцелуй, так крепкое словцо...
так льнет к щеке горящее лицо,
и в глубину манящую, за взглядом
глубиномер свинцовый. ухом прядал
прислужник, выносящий голубей.
овес – начинка, взбухших отрубей
от плевел отделяющая чинка,
et tandem*, вот и вся причина,
от красных ягод красные кресты.
ах, не пора ли всем уже – на ты?

черника и клубничный клей
окрасит губы в вяжущий елей.
так кубки выдували: эта пряность
на дне окажется, стекла румяность
на скатерти, по грубой складке,
игристое вино с виною сладкой.
что музыкант играет, торопыга?
пиры всегда оканчивают книгой,
счет пишет служка расторопный,
едок за ширмой – как не лопнет?
но дышит тишина, и в ней –
ладья выносит пару лебедей,
скользящую по ягодной поляне,
по вышивке, по глади, мимо скани.

---

* et tandem – и наконец (*лат.*)

* * *

Кипя движеньем тесным, щиплет пена,
Прохлада после жара непременно
Под розоватый спустится покров,
Распрыскивая стайками мальков.
За отраженьем щетки – рыжей гривки
Кувшина с пленкой уксусной поливки,
Где детским пальцем выведено сердце,
Та женщина с прогретым полотенцем
Появится, прикинется сердитой:
– Простудишься, вылазь! Улыбкой скрытой
В распаренном пространстве заметая
Свой след, как акварелью запятая.
По коридору, там, где луч не сломлен
Всей темнотой соседских экономий,
Пройдет пружинисто, струясь по сгибам
Халатом и игрой китайских рыбок
На черном шелке, стоптанно-балетно
Всем тем путем, забытым и заветным,
Как ртутное рассыплется драже
До комнаты, которой нет уже.

Киев

Ирина Рувинская

почему не сказали что он звонил?
мама ты почему не сказала?
теперь вот он пришел за своими книгами
а у нас такое творится

папа ты почему не сказал?
я бы к джинсам вместо черной майки
надела ту светло-зеленую
от которой он выпадал в осадок

он молодой
я еще моложе
почему вы не сказали мне что он звонил?
потому что вас давно нет
и его уже нет
и меня тоже

НО

Б. И.

я но в длинном открытом платье черного цвета
из коллекции Dezis* или Orke
в туфлях на каблуке от Fuetto
с сумочкой «clutch» в руке
я но мне тридцать два
часики от Rumalli
от Chenson кулон в двенадцать карат
прохожу
и в софитами залитом зале
за спиной о моей красоте говорят

ты но в сером таком элегантном костюме от Shalli
галстук строгий (ты ведь не франт)
туфли
ладно модные но чтоб не жали
ты проходишь
и за спиной говорят про твой успех и талант
ты но тебе сорок три
твой новый роман на книжных прилавках Европы

права на него недавно купил у тебя Голливуд
кстати старшую нашу дочь уже приглашают на пробы
мы в Лас-Вегас поедем на Крит на Тайвань
ну куда бы еще бы?
и в Бейт-Шемеш (но только дня на три)
ведь папа и мама твои там живут (но уже не живут)

* Названия фирм вымышленные

СОСЕД ПО КОЙКЕ

у отца новый сосед по койке
слева от раненого солдата из Газы
он седобородый с веселыми глазами
и мы начинаем по-английски болтать

что я в разводе он выясняет быстро
и говорит могу познакомить
приятель мой хочет женщину из России
только мне нужен твой телефон

опоздал отвечаю твой приятель
но смеюсь чуть громче обычного
и думаю как было бы забавно
дать сейчас ему свой телефон

у отца в глазах изумленье
он не помнит чтобы я так смеялась
а о чем это вы говорите?
да ни о чем папа совсем ни о чем

каждый твой день будет полон счастья
говорит уверенный низкий голос
вот что возьми-ка мою визитку
пусть у тебя будет мой телефон

на желтоватой шершавой бумаге
рядом с контуром Старого города
тонкими буквами по-английски
написано «Abu Ahmad»

* * *

Кушнерам

этот дом скоро не будет существовать
и надо не горевать
слезы лить
и без толку взад-вперед сновать
а книги раздавать
ящики паковать
соседей (не всех) целовать
и напоследок цветы у входа полить

но пока этот дом будет существовать
надо картошку варить
тараканов морить
гостей звать
вино дешевое пить
о ерунде говорить
петь-завывать
подарки дарить
и длить до последнего
длить

Иерусалим

Елена Литинская

По сокрытому временем следу...

* * *

Сколько, не помню, лет
подушкой – Бруклина брюхо.
Старится Новый Свет.
Скоро и ты – старуха.
В царстве Кривых Зеркал –
неузнаваемы лица.
Ты во дворце – ЗеКа.
С царем в голове царица.
Выкинь его прочь,
пусти корабликом в воду.
Все зеркала спрячь.
И обретешь свободу…

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Декабрьские ночи всё темней.
И не спасают огоньки фасадов.
Настало время запрягать коней,
то бишь оленей. Просыпайся, Санта!

Ты бесконечно утомлен и стар.
Не освежила спячка годовая.
Валюта – на войну. Казна пуста.
А на подарки? В тумбочке? Едва ли…

Тулуп тяжел, пудовы сапоги.
Так быть или не быть? Сомненья гложут.
Мороз. Страшит звериный вой пурги.
На пенсию тебе пора, быть может…

Соблазн велик. Но ты кряхтя встаешь.
Без скорби скарб – в мешок. Аж стены голы.
Полозья – воском. Сказочная ложь,
лети легко. И колокольчик в голос.

* * *

Лица растекаются во времени,
словно по воде круги.
Прошу тебя: согрей меня
символом твоей руки.
Глаза закрою. В лабиринте портретов
к тебе тяну Ариадны нить.
Картинка не в фокусе. Неисправность эту
я не в силах уже починить.
Как ни подкручивай памяти линзы,
хоть до отказу,
хоть стекла до блеска вылизывай,
не сложится пазл.
Лица расплываются во времени.
Щедро принимает всех оно.
In nomine Domini
так заведено.

* * *

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать…
Иосиф Бродский

Три страны, три погоста.
Так сложилось, родня…
Далеко ехать в гости.
Вы простите меня!

Там у вашей обители –
ни молитвы, ни слез.
За разлуку обидели.
Кто б цветочки принес!

Время надписи стерло.
Ни звезды, ни креста.
И хватает за горло
пустота…

Нью-Йорк

Анатолий Николин

Предчувствие Астрид Брандт

«...кое-какие вещи, существование которых нельзя ни доказать, ни счесть вероятным, но которые именно благодаря тому, что благочестивые и добросовестные люди относятся к ним, как к чему-то действительно существующему, чуть-чуть приближаются к возможности существовать и рождаться.»

Г. Гессе, «Игра в бисер»

I

– На самом деле было не так, – улыбнулся Александр Чернов, поднося к губам сигарету без фильтра.

Дешевые сигареты, когда мы познакомились и сошлись ближе, были одной из смутивших меня странностей его характера и привычек. Я полагал, что коллекционирование предметов искусства исключает бытовую неприхотливость.

«Все-таки, не старуха же он процентщица, тупица и скряга, – подумал я. – Современный человек. С запросами не только духовного, но и материального порядка... Нет, – покачал я головой. – На сигаретах такие люди не экономят. И картины здесь не при чем...»

Новый знакомый мне нравился. Одет он был просто, но со вкусом: легкая летняя рубашка, галстук. Красивые итальянские туфли... По обуви, с улыбкой припомнил я, англичане, знатоки и ценители ритуала, определяют подлинного джентльмена.

В облике Чернова не было ничего дешевого – кроме сигарет, которые он непрестанно курил. Все в нем выдавало человека высокой культуры и большого достоинства. Когда он говорил о художниках Кватроченто, их картинах и личной судьбе, я и вовсе бывал очарован.

– Я читал, что основоположником маньеризма считается Донателло, – сказал я, когда мы заговорили об эволюции красоты. В живописи эта тема сложна, как и в философии, ведь представления о красоте постоянно меняются.

– Элементы маньеризма можно обнаружить уже в работах Тициана. В искусстве, как и в жизни, ничто не возникает из ничего.

И, помедлив, он удовлетворенно кивнул:

– В известном смысле, красота сама по себе является преувеличением...

Едкий табачный дым и привычка курить крепкие сигареты были единственным, что отталкивало меня от этого человека. Они создавали видимость ущербности этого во многих отношениях гармоничного и не тщеславного человека.

«Но может быть, – мелькнула догадка, – дело как раз в этом? В отсутствии тщеславия. Но это привычка нищих!»

А бедным и нищим Александра Чернова назвать было нельзя. У него была хоть и небольшая, но дорогая коллекция антиквариата и живописи. Собирал он работы провинциальных живописцев, и некоторые картины были подлинными шедеврами. У него я впервые увидел две работы «украинского Матисса» Виктора Глущенко. «Вид Сены» и «Натюрморт» по сей день остаются не известными русским и европейским ценителям искусства.

Отвратительные сигареты Чернова и грубая манера курить заставляли усомниться в его эстетическом вкусе, несмотря на эту превосходную живопись. Точно ли он настоящий искусствовед, как мне его рекомендовали? Ценитель и собиратель предметов искусства, знаток и меценат...

Это был высокий, худощавый и довольно молодой человек с маленькими, аккуратными усиками, всегда улыбающийся и, как мне казалось, терпеливый и добродушный. Он не протестовал, когда я, абсолютный дилетант, изрекал какую-нибудь глупость. На мои развязные суждения он мягко улыбался, показывая мелкие, некрасивые зубы.

Я добился с ним встречи через общего знакомого. Меня заинтересовала безымянная гравюра с видом Петербурга конца XVIII века. Я увидел ее в магазине-салоне давнего приятеля, искусствоведа и художника-любителя Вартана Григорьевича Вартанянца.

Это был темноликий, сухощавый обрусевший армянин, проводивший среди своих картин и запаха сырости дни напролет. Время в художественном подвальчике Вартан Григорьевич коротал за созерцанием предметов искусства и питьем крепкого, по-восточному заваренного кофе. Иногда – за приятной беседой со случайным знакомцем или же любопытствующим прохожим.

Лиц, по-настоящему интересующихся искусством, в городе – меньшинство, и рабочее время Вартана Григорьевича текло медленно и уныло. Когда-то Вартанянц намеревался устроить в магазинчике клуб, где могли бы встречаться и обмениваться мыслями художники и поэты, журналисты и музыканты. Покупатели и продавцы всего хрупкого и нежного, что именуется искусством. Вроде книжного магазина Синани в Ялте начала позапрошлого века.

В первые годы горбачевской перестройки Вартанянц выхлопо-

тал в мэрии старый, запущенный особняк и основал филиал Советского Фонда культуры. Стал выписывать дорогой, красиво оформленный журнал литературы и искусства «Слово», выходивший под патронатом первой дамы страны Раисы Горбачевой. В журнале публиковались произведения забытых русских писателей и печатались репродукции картин крамольных советских художников.

Вартанянц устраивал в особняке выставки авангардной живописи и творческие встречи с поэтами. Организовывал камерные концерты и лектории.

Но помещение Фонда с четырьмя или пятью просторными комнатами с высокими потолками и крепкими, александровской постройки, стенами, выгодно расположенное в центре города, приглянулось местному подпольному, исподволь выходившему на свет миллионеру. Он вознамерился устроить в бывших купеческих хоромах экспортно-импортный «Эксим-банк».

Отечественные нувориши не отличаются фантазией и утонченным вкусом. Но деловым напором и наглостью превосходят отпетых зарубежных дельцов. В Фонд к Вартанянцу зачастили угрюмые типы в малиновых пиджаках, с золотыми цепями на мясистой шее и суровыми лицами ветеранов Колымы. Не стесняясь, они настойчиво предлагали Вартанянцу за особняк большие деньги.

«Зачем тебе такой большой и красивый дом, дарагой. Играй на балалайке у себя дома. Балалайке не нужно так много места...»

Вартанянц от их простодушных речей приходил в неописуемую ярость. С проклятиями бесцеремонно выталкивал из Фонда незваных гостей. Угрожал подать заявление в милицию. Написать статью в газету. Его любимому детищу, «очагу высокой культуры», как называли его учреждение в городской газете, радостно приветствовавшей «позитивные перемены», – грозила участь быть проглоченным Молохом пробудившегося капитализма.

«Зачем милиция, дарагой, – флегматично пожимали плечами гости. – Разве нельзя договориться? Сколько ты хочешь за... – следовал пренебрежительный кивок головой – ...эту избушку на куриных ножках?»

Нервы у Вартанянца не выдержали. Выпроводив очередную делегацию, он сел за стол и настрочил заявление в райотдел милиции.

У миссионеров тоже терпение лопнуло. Средь бела дня в Фонд ввалились толстомордые мужики. Бесцеремонно подхватили Вартанянца под руки и затолкали в джип. За городом, в безлюдной лесополосе его долго и старательно били. До потери сознания. И на первый случай отпустили.

На следующий день, с синяками под глазами и весь покрытый гематомами, Вартанянц принял от навестивших его вчерашних гостей предложенные деньги. Сумма была небольшая. «Предлагали деньги за особняк, – удрученно рассказывал Вартанянц, – а заплатили за охотничий домик.» Но он был рад и этому...

Вырученных от продажи помещения денег с трудом хватило, чтобы выкупить заброшенный подвал в тихом доме на тенистой улице. И там его никто уже не трогал...

Бурная культурная и общественная жизнь начала перестройки сменилась полным застоем. О лекториях, вернисажах и творческих вечерах можно было надолго или навсегда забыть. Осталась надежда на одиночек, тихих ценителей живописи и антиквариата.

Магазин Вартанянца существовал три года, но никто туда по-настоящему не наведывался. Не считая клиентов из числа моряков иностранных судов. Они заходили в порт один-два раза в месяц, долго стояли под разгрузкой и погрузкой, и от скуки скупали в городских магазинах всё, что попадалось им на глаза. От сантехники и предметов быта до икон и картин местных художников.

Изредка к «Деду» – так прозвали Вартанянца в художественных кругах – заскакивал кто-нибудь из молодых живописцев. Если требовалось перехватить двадцатку на важный и не терпящий отлагательства пропой. Общаться, как у Синани, деятели культуры упорно не желали…

Вартан Григорьевич не скрывал своего разочарования. Время в пустом салоне тянулось медленно и скучно...

– Я не знаток графики, – сказал Вартанянц, разглядывая висевшую рядом с двумя акварелями, изображавшими осенний сад – сад утром и тот же сад вечером, на закате солнца, – злополучную гравюру. – Думаю, это подделка под старину. Уж очень свежо выглядит работа. Как будто исполнена три-пять лет назад.

– Почему три-пять? – усомнился я. – А не десять или двадцать?

– Ну, ты хватил, – засмеялся Вартан Григорьевич. – Может, объяснишь, чем она тебя приворожила? А я пока кофеек приготовлю? – заискивающе улыбнулся он. Бедняге хотелось салонного общения, и он готов был бесконечно обсуждать достоинства и недостатки любого попавшегося ему на глаза произведения искусства. В том числе и безымянной гравюры...

«Дед» долго звякал посудой в подсобке за стеклярусом – стеклярус задумчиво и нежно вызванивал китайские ноты, а я разглядывал выставленные в салоне раритеты.

Картин на стенах и на полу было много, и все они были разве-

шены в очаровательном беспорядке. Да так густо, что сливались в одну безымянную композицию.

Почти все работы были выполнены в условной манере. Стены от этого казались расписанными странным, причудливым орнаментом, лишенным не только смысла, но и подобия художественной стройности. Как у поздних импрессионистов. Или у ранних абстракционистов... Я ведь признался, что ничего в этом не смыслю...

– У тебя глаза не привыкли, – снисходительно объяснил Вартан Григорьевич.

Он протянул чашку дымящегося кофе и, прищурившись, оглядел свои сокровища.

– Нет, – словно продолжая спорить, подтвердил он. – Картины расположены так, как нужно. Любой художник подтвердит...

Я не возражал. В конце концов, Вартан окончил Академию художеств. В Петербурге. Искусствоведческий факультет... Или как это у них называется, где готовят теоретиков. Ему виднее. В таких вещах он разбирается лучше. Его ценят художники. Вон, сколько картин натаскали... И еще разные штучки-дрючки, какие увидишь не каждый день.

В витринах были разложены серебряные чайные ложки с монограммой «КР», толстый учебник немецкой литературы на русском языке издания 1887 года, несколько золотых вещиц – кольца, кулоны, ажурные православные крестики с цепочкой; мельхиоровая табакерка с цветным портретом Николая II... Вместе с авангардной живописью всё производило несколько винегретное впечатление. Исключение составляла спорная гравюра с видом Петербурга. Небольшая работа была выполнена в стиле всего того, что выставлено под стеклом.

– Ее принесла немолодая женщина, – уловив мой любопытный взгляд, поведал Вартан Григорьевич. – Я не хотел ее брать, потому что гравюры никто не покупает. Простой народ любит краски. И обнаженную натуру.

– Я ее где-то видел, – сказал я. – Но не могу вспомнить.

– Все может быть, – философски пожал плечами Вартанянц. – Может, тебе показалось? – покосился он. – Мало ли похожих сюжетов? В тебе говорит опыт твоей жизни в Питере. И твои воспоминания. Ностальгия…

На привлекшей мое внимание гравюре была изображена набережная Зимней канавки. В том месте, где узкая речушка, одна из многих, пересекающих Петербург, впадает в Неву. Как раз под овальным кирпичным переходом, отделяющим Эрмитаж от Зимнего дворца. В этом месте расположены лоджии Рафаэля. Иной раз, оторвавшись от лицезрения картин, я любовался из окна видом на Неву и Петропав-

ловскую крепость. Но в сторону Зимней канавки так ни разу и не взглянул. И вот теперь гравюра заставила меня восполнить визуальный пробел...

– И все-таки, – повторил я. – Натура натурой, но где-то я эту картину видел.

И с сожалением покачал головой, как будто при покупке произведений искусства память имела значение.

Впрочем, я не решил, буду я покупать эту гравюру или откажусь. Узнаваемость – плохой спутник интереса. Стоит мне купить работу, как я тотчас ее вспомню. И что это за гравюра, и каким художником выполнена, и где я мог ее видеть. «То есть – заключил я, – гравюра в ту же минуту потеряет свою загадочность и ценность. Даже не высидев в новом обиталище положенного срока. Срока необходимой для наслаждения живописью таинственности...»

– Могу посоветовать хорошего специалиста, – предложил Вартан Григорьевич. – Он человек опытный и талантливый. Собрал хорошую коллекцию. Много видел и знает. Поговори с ним, ты ничего не теряешь. А гравюрку я пока придержу. До выяснения обстоятельств, – улыбнулся он. – Запиши телефон...

Александр Чернов сразу согласился на встречу. И, не откладывая в долгий ящик, пригласил к себе.

– Приходите вечером. Часам к пяти. Солнце еще высоко, осмо́трите коллекцию....

– Да, я помню эту работу, – сказал он, когда я уселся в кресле в его большой квартире на Николаевской улице и вкратце рассказал о заинтересовавшей меня работе. – Это небольшая гравюра, – стал вспоминать Чернов, – размером двадцать на двадцать сантиметров. Вместе с рамой выходит сорок на сорок.

Улыбка у него была спокойная и немного равнодушная. Сквозь нее проглядывал человек, относящийся к жизни без особого интереса. Но и злобы на нее у него тоже не было. Было умиротворенное спокойствие человека, добившегося поставленной цели. Все прочее не вызывало у него эмоций – ни хороших, ни плохих...

– Рама узкая, из рифленого дерева, – скрупулезно описывал Чернов по памяти висевшую в салоне Вартанянца гравюру. – Выкрашена в белый цвет. Паспарту довольно свежего белого тона, бумага не успела пожелтеть. Гравюра изображает вид Невы и Зимней канавки... Вы чай пьете? – прервал он подробные описания. – Могу предложить хороший индийский. Или лучше кофе?

Я сказал, что мне безразлично. С одинаковым удовольствием пью самые разные напитки.

– И коньяк?

– Коньяк тоже.

– В таком случае придется немного поскучать. Жены у меня нет, я все делаю сам.

И он опять улыбнулся. На этот раз улыбка была извиняющаяся, словно он просил прощения за то, что ему все приходится делать самому.

– Когда занимаешься искусством, личная жизнь отходит на второй план. Обычная жизнь кажется пресной.

Я почувствовал, как он одобрительно улыбнулся сам себе.

– Неплохой коньяк, – сказал Чернов, когда мы сделали по глотку.

Окно комнаты, где мы расположились, было распахнуто в сад. Сквозь зеленые ветви просачивался теплый вечерний свет. Свежо пахло зеленью и – из соседнего дома – жареной картошкой.

К коньяку Чернов принес глазурованную чашку с вишнями из своего сада. Мы пили коньяк и заедали кисловатыми ягодами. Чтобы смыть накопившуюся во рту горечь, потягивали густой чай, – он взывал к бесчисленным индуистским богам, Махатме Ганди и прочим чужеземным ценностям.

Чернов зарабатывал на жизнь и искусство собственным трудом. Возле дома был большой участок ничейной земли, он его приватизировал и выращивал всякую всячину. Это был его «первоначальный капитал». Потом он купил землю за городом. Нанимал сезонных рабочих, покупал семена и гербициды. На огромном пустыре разбил фруктовый сад. Имелись у него плантации редиски, картофеля и капусты. Работали у него преимущественно корейцы, желтолицые, молчаливые и выносливые: «Они неприхотливы и добросовестны. Трудятся не покладая рук и хозяйство держат в образцовом порядке...»

Все выращенное Чернов продавал на оптовом рынке. Занимался он и розничной торговлей. На вырученные деньги приобретал картины, антиквариат и старинные книги. Любовь к искусству избавляла его от трех вещей – душевного огрубления, умственной скудости и склонности к невнятному чувствованию. Чернов был тонок в оценках и предпочтениях, математически точен в определениях. Говорил негромко и как будто виновато, и слушать его хотелось долго. Взгляд у него был спокойный и внимательный, улыбка смущенная и детская, она свидетельствовала о человеке тихом, ироничном и безвредном. Он словно стеснялся своей любви к искусству. Собирательство было смыслом его жизни, как для некоторых – накопление денег.

– Я сообразил, что этот процесс имеет начало, но не имеет конца, – рассказывал Чернов. – Приобретенная вещь быстро надоедает.

Смотришь на нее день, другой. Любуешься красками, оцениваешь композицию и заложенную в картине мысль – настоящее произведение искусства обязательно имеет глубокий смысл. И, оценив и насладившись, испытываешь скуку. Тяготишься только что приобретенным. Уже не так тянет полюбоваться новой картиной. Посмотреть на нее издали, под другим углом зрения, при ином освещении – иногда художник закладывает в картину визуальную или световую тайну, ее бывает трудно обнаружить сразу.

– Вы, конечно, знаете легенду о красках Куинджи, – взглянул на меня Чернов. – На его картинах, если внимательно присмотреться, краски странно фосфоресцируют. Отливают ярким, не свойственным обычным краскам блеском. Сейчас это не так заметно, слишком много времени прошло. Но полтора столетия назад, когда краски были свежи, они производили на посетителей магическое впечатление. Поговаривали, что их секрет – в особой химической формуле, изобретенной Менделеевым. Оттого, что тайна красок Куинджи не разгадана, его картины редко вывозят из Петербурга. При малейшем перемещении краски ведут себя непредсказуемо. Меняют тон или цвет. Или начинают течь, словно мирроточат, как древние иконы. Или же быстро и резко тускнеют, как будто картина написана не в девятнадцатом веке, а в четырнадцатом... Загадок в живописи много, – продолжал Чернов, задумчиво, как медиум, вертя пальцами опустевшую рюмку. – Но ей-богу, главное все-таки не в этом. Угнетает непомерно большое количество прекрасного. Прекрасного, становящегося обыденностью. Я не могу думать об этом спокойно. Даже когда прогуливаюсь по музеям, меня не покидает ощущение профанации.

– Хорошей живописью у меня заполнены три небольшие комнаты – я вам обязательно их покажу, – пообещал он. – И я теряюсь. Не знаю, что с ней делать. Каждая картина насытила меня до краев. И надоела. Хочется новых ощущений. Приходится покупать и покупать, словно бежишь по замкнутому кругу.

– Вместе с картинами, – налил вторую порцию коньяку Чернов. – словно обитаешь в иных сферах. Иногда это знакомая среда, иногда – подразумеваемая. Она тоже надоедает, как не меняющийся на протяжении жизни пейзаж. «Железная Маска» видел в окне крепости, где он томился в заключении, один и тот же вид. Этот вид и был для него Вселенной. Местом, не требующим расширения, поскольку это физически невозможно. Однообразие утомляет, и ты принимаешься искать его продолжение в себе...

– Вот тот же ваш петербургский пейзаж, – усмехнулся Чернов – Да вы пейте! Употребление коньяка не терпит суеты. Но и чрезмерной вальяжности не выносит.

Он плеснул мне в рюмку и восхищенно поднял ее на свет. – Смотрите, как переливается на солнце. Чем не картина Куинджи?

Картина действительно была прекрасная. «Почему я не замечал этого раньше?» – подумал я. Жидкость в тонком сосуде переливалась и вспыхивала на в упор бившем в окно вечернем солнце. Теплилась мягким ореховым светом, поблескивала мелкими рубинами и загоралась серебристо-шафрановым сиянием. Коньяк словно повторял судьбу цветовых интерпретаций Куинджи – загадочных и неестественно ярких.

– На гравюрах вы никогда не увидите солнца, – вернулись мы к загадочной петербургской работе. – Это специфика жанра. Не так особенность, как аксиоматичность. Есть вещи, где солнце не требуется. Его там попросту не может быть. Солнце не является обязательным атрибутом красоты. Его роль выполняет ваша собственная глубина. Позвольте процитировать. – Александр Чернов поднялся из кресла и подошел к вишневого цвета застекленному шкафу. На его полировке играло заходящее солнце, а внутри тускло поблескивали золотые корешки книг. – Вот, послушайте, – достал он толстый, увесистый том и раскрыл на нужной странице. Очевидно, это место в книге он хорошо знал и часто туда заглядывал.

Я бросил взгляд на его толстые, негнущиеся пальцы. На секунду меня передернуло от отвращения. Внутренний аристократизм и вдруг – тяжелые, мясистые руки. Руки не то кентавра, не то еще какого-то грубого, давно исчезнувшего первобытного животного.

Отведя взгляд, я стал внимательно следить за ходом его мысли.

«Прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным, – стоя у раскрытой дверцы книжного шкафа, глуховато читал вслух Чернов. – Так будет вернее даже в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизнь...»* Прошлое и глубина, говорит Томас Манн, суть вещи одного порядка, – захлопывая книжку, продолжал Чернов; его глаза блестели ярко и молодо, как волшебный напиток в бокале. Но в отличие от коньяка, их цвет был черно-блестящий, как городской асфальт после весеннего ливня. Было видно, что тема глубины жизни и искусства его волнует и тревожит, и он неоднократно над нею задумывался.

«Но какое отношение имеют его рассуждения к гравюре с видом Петербурга? – подумал я. – И не чересчур ли мудрствует мой собеседник, ведь тема скромного, безымянного произведения не требовала столь глубоких размышлений.»

---

* Т. Манн, «Иосиф и его братья».

Чернов быстро и легко опроверг мои опасения. При наличии воображения самая мелкая и ничтожная тема обретает свойства манновского колодца.

– Место возле Эрмитажа, – сказал Чернов, возвращаясь к столу и наливая остывший чай, – одно из самых прекрасных и удивительных в Петербурге.

– Что же в нем особенного? – пожал плечами я; мне не хотелось, чтобы его воспоминания и ощущения приняли характер обобщения. – Место как место. Красивое, это правда. Но не более...

– Здесь покончила с собой, бросившись в реку, пушкинская Лиза из «Пиковой дамы». После того, как она узнала историю Германа. Здесь же назначил последнее свидание своей возлюбленной Вале Шульгиной юноша Владимир Набоков. Зимой, в мороз и метель семнадцатого года. В первые месяцы большевистской революции, накануне отъезда из страны – навсегда, безвозвратно... Это место словно создано для трагедий. Поэтому оно так волнует и притягивает. Помните загадочное бытие Манна, в которое входит наша собственная жизнь? Не удивляйтесь, если заказчиком гравюры окажется человек, которого давно нет в живых. Он ушел из жизни, потому что тема Зимней канавки висела над ним, как дамоклов меч. Как пророчество или предупреждение.

– Чтобы вычислить заказчика, нужно знать, кто исполнил гравюру. Но можно и наоборот. Смотря что вас интересует, – заметил я. Еще чего доброго, мой новый приятель заподозрит меня в злом умысле. Или в корыстных побуждениях. Для людей, связанных с искусством, это почти смертный грех. Ничего загадочного и сверхъестественного в истории с гравюрой мне не представлялось. Какой-нибудь художник-дилетант – откуда в нашей глуши взяться подлинным мастерам? – изобразил первое, что его поразило в Петербурге. В этот город он попал, вероятно, впервые в жизни и находился под сильным впечатлением от увиденного.

– С исполнителем, как вы выражаетесь, – улыбнулся Чернов, – дело обстоит довольно просто. Это не профессиональный гравер, а любитель. Точнее – человек иной художественной профессии. Вспомните, – поморщился он, припоминая: – Штриховка на гравюре выполнена грубо и местами неровно. Линии в правом нижнем углу и слева словно прерываются. Интервалы неравномерны, в старину таких ошибок хороший мастер позволить себе не мог. Полукруг кирпичного свода между Эрмитажем и Зимним дворцом выполнен неаккуратно, у гравера дрожала рука. Он сильно волновался или же у мастера отсутствовали навыки работы с иглой.

– Эта работа – оригинал? – спросил я.

– Разумеется, нет, – пожал плечами Чернов. – Копия. Внизу изображена лодка с лодочником. Таких сейчас в Петербурге днем с огнем не сыщешь. Я знаю, какой это век и кто автор, – горделиво улыбнулся Чернов. – И вообще – всю предысторию копии.

– Вы меня удивляете. Неужели все так просто?

– А кто вам сказал, что «просто»? В истории человеческих отношений не бывает ничего простого. Эта гравюра родилась из сложных взаимоотношений двух людей, мужчины и женщины. Художника и художницы... Но сначала перейдем в картинную галерею, – поднялся он. – Там и продолжим. Рюмки и бутылку возьмем с собой. Мы с вами не в Эрмитаже, и запретов на распитие спиртных напитков у нас нет. Хозяин разрешает, – засмеялся он.

В соседней комнате на стенах висели картины. Выпивку Чернов поставил на журнальный столик с книгой отзывов, которую он завел, как в настоящем музее.

– Посторонних здесь почти не бывает. Иногда приходят друзья или приезжают коллеги. Они и записывают впечатления. Чаще всего они повторяются. Но, бывает, и разнятся. Я не придаю этим записям большого значения. И редко заглядываю в книгу. Она существует сама по себе. Как неизбежный атрибут музея...

Первая комната с картинами была небольшая и без окон. Галерею она почти совсем не напоминала. Скорее, каземат, где томились осужденные на пожизненное заключение. Полотна, надо сказать, были недурные. Я разглядел несколько работ выдающегося достоинства. Под потолком горели белые неоновые лампы, ровно освещая заполненное картинами пространство. Здесь были, по преимуществу, акварели и сепия.

– Масло и графика в других комнатах, – обьяснил Чернов, по-хозяйски расхаживая по наглухо изолированной комнате. – Там, – неопределенно махнул он рукой, – комнаты немного больше. Масло требует некоторого… удаления.

– Вот, прошу любить и жаловать, – удовлетворенно кивнул он, остановившись перед портретом мужчины в старомодном французском берете. Жесткие, грубоватые черты его лица были словно вылеплены из красно-коричневой глины. Лица некрасивого, с длинным прямым носом и неестественно выпуклыми глазами, как на византийских фресках.

Но главным был характер изображенного на картине человека. Недобрый, угрюмый и властный. Как у древнегреческих царей и тиранов – Агамемнона, Агафокла из Сиракуз или фессалийского царя Асклепия...

– Художник Валентин Константинов, – с любопытством разглядывая висевший перед ним автопортрет, сообщил Чернов. – Тот самый – изобразивший Зимнюю канавку. Его стихия – масло и акварель, график он неважный. Да вы и сами убедились.

– Зачем же было за нее браться?

– Обстоятельства, – развел руками Чернов. – Они сложились так, что он был вынужден взяться за эту работу.

За столом с остатками коньяка и вишен мой новый приятель рассказал историю художника Константинова и его странной, трагической любви…

II

Благоухать цветы акации начинали на закате. Окна домов горели нездоровым кирпичным светом, зеркальным и ослепительно ярким. В блёклой синеве неба с оглушительным писком проносились юркие, жизнерадостные ласточки, оживавшие после душного и жаркого летнего дня. Днем они отсиживались в своих известковых жилищах, а по вечерам оглашали ликующим криком небесное пространство. Все, что не было занято раскаленными от дневного зноя домами, пыльной зеленью, тенистыми булыжными улицами и – на бесцветном горизонте – лазурной чашей далекого, безмятежного моря...

В душные летние вечера художник Валентин Константинов откладывал кисть очень поздно. На город опускались глубокие сумерки. Дневное освещение таяло и гасло, и все вокруг – вещи, предметы, смутные силуэты деревьев и близлежащих зданий – наполнялось таинственным полумраком. Продолжать дальше работу было бессмысленно.

Днем Константинов работал с большим трудом. Изнуряющая жара обессиливала, он впадал в зыбкую сонливость и машинально, почти не думая, водил кистью по полотну. Планы, созревавшие в голове в течение вечера и ночи, днем серели, тускнели. Они таяли, как случайная лужа на жарком июльском солнце. И он тоже вяло изнемогал и таял, как купленное у взопревшей лоточницы сладкое и липкое мороженое. Постоянно забывая, что собирался писать сегодня, а что – в следующий раз. Каждый день с утра и до вечера его преследовало одно и то же: нескончаемое, ленивое манипулирование кистью, тяжелое и бессмысленное.

Он писал теперь пейзаж. Пейзаж, который начал еще зимой. Пейзаж тоже был зимний, с инеем и морозным туманом, окутавшим старые деревья, с двумя-тремя заваленными снегом избушками, так что чернели одни только печные трубы, и над ними вился редкий, безжизненный дымок.

И дымок, и горемычные избушки выражали некую смутную мысль, не дававшую ему покоя. Временами она его покидала, и тогда он писал словно наощупь, робко и безнадежно.

В иные минуты в уме светлело, и тогда он работал весело и уверенно, как человек, хорошо знающий, чего он хочет. Но летом, в нескончаемо жаркие, томительные дни, он терял путеводную нить.

Он просыпался, точнее – пробуждался от тяжкого ночного забытья, глотал чашку холодного чая и становился к мольберту – скорее по привычке, чем по настоятельной необходимости. Писалось ему в это лето с огромным трудом и невероятными усилиями.

Дождавшись вечера, он откладывал кисть, не продвинувшись ни на сантиметр.

День был безветренный и жаркий. Стоя у настежь распахнутого окна, художник работал в одних трусах, покрываясь жаркой, нездоровой испариной. Она приходила толчками – обдаст тело внезапным жаром, отступит и снова обдаст... Константинов с раздражением думал, что он чересчур обдумывает создаваемое им произведение, много размышляет о композиции. Корил себя за рационализм и усилием воли пытался вытряхнуть из себя излишний скепсис.

Но, как он ни старался работать легко и весело, ничего у него не получалось. Старания наталкивались на тупую лень и равнодушие. Дурное настроение взывало к разуму, а он-то все и портил...

Валентин Николаевич откидывал кисть и обессиленно бросался на диван. Обливаясь потом, часами тоскливо глядел в отворенное окно.

Там просматривалась все та же пыльная, чахлая зелень, испепеляюще синее небо. Тишина. Царственно-безжизненная и мертвая. За этой неподвижностью не угадывалось ничего, кроме ожидания. И Константинов – ему недавно исполнилось пятьдесят лет – с тоской подумал, что это его последний день рождения, и скоро он умрет.

Как и многие люди, перевалившие полувековой рубеж, Константинов полагал, что его жизнь прошла, остановилась в своем тихом, незаметном течении окончательно и бесповоротно. Уже не будет в ней ничего нового и волнующего. Одна лишь ровная, унылая пустыня. Как этот летний день в горячем и неподвижном, декоративно-безмолвном саду. Осталось дождаться, когда она, жизнь, угаснет сама по себе. Как изразцовая печь в гостиной зимою, под утро. Давно сгорел засыпанный на ночь уголь, и утром просыпаешься от неприятного чувства холода и одиночества…

Одиночество и холод сопровождали унылую и однообразную жизнь Константинова в зимние месяцы. Одиночество и знойная духота пытали его летом. Но в целом и холод, и жара в чем-то суще-

ственном совпадали. Это были два лика всесильного языческого божества, безжалостного и неумолимого. Константинову казалось, что его жизнь подошла к пределу. А сознание предела и есть смерть. Исчезновение в молчании и неподвижности, которыми и так была переполнена его нелегкая, безрадостная жизнь. Ему хотелось изобразить свои смутные ощущения на холсте. Но в памяти снова всплывал зимний вид из окна. Пейзаж, открывавшийся перед ним каждое утро. Точнее сказать, впечатление от двух зимних пейзажей. Фрагмент одного составлял вид из окна – что-то неуловимое и неясное, часть мутного серого небосвода с заснеженной веткой гледичии, зябко подрагивающей на ветру. Часть другого позаимствована у иной натуры…

Во время каждодневных прогулок, которые он совершал после работы, Константинов останавливался у старинного, запущенного особняка на Садовой улице. Судя по его ветхости и неухоженности, здесь давно никто не жил. До революции дом принадлежал уехавшему в эмиграцию городскому архитектору Нильсену. Затем здесь был устроен детский садик артели водопроводчиков. А во время немецкой оккупации в доме проживал высокий вражеский чин, не то генерал, не то фельдмаршал. После освобождения о доме на Садовой улице забыли, как будто его не существовало. Двор зарос травой и бурьяном, и только серые лики безглазых, как на античных статуях, нимф равнодушно и зловеще (все слепцы выглядят зловеще, как дельфийская пифия) взирали на случайных прохожих.

Было в этих двух пейзажах что-то общее, что вытекало одно из другого. Константинов чувствовал связь между ними, но, как ни старался, не мог ее объяснить. Как всегда, когда не хватало понимания, он брался за кисть – и объяснение приходило само по себе.

По этой несложной причине Константинов не любил пленэр. Скучно было зимой писать зиму, летом – лето, скрупулезно добиваясь надоевшего правдоподобия.

Обычно желание писать приходило к нему случайно, независимо от планов и предписаний. Но сейчас все было иначе. Зимний пейзаж не хотел получаться, как он ни старался побыстрее завершить работу. Константинов понимал, что время прошло. Исчезло незаметно. Растаяло, как легкая дымка на горизонте. А вместе со временем устранилась и побудительная причина, потянувшая его к теме зимы. Такого в его многолетней художественной практике не было. Он всегда завершал начатое, не позволяя наитию исчезнуть просто так, без объяснения причин...

Нехотя он поднялся и побрел в ванную.

После холодного душа стало легче. Не вытираясь, Константинов достал из холодильника бутылку нарзана и осушил половину.

Над холодильником, пытаясь пробиться к спрятанной в его пахучих недрах банке с вишневым компотом, угрожающе жужжала большая, сердитая муха. Во рту у художника после нарзана пересохло, однако увлажнять его горячим чаем или кофе было бы еще хуже.

С отвращением – во рту полыхал невидимый Везувий – он закурил сигарету и поморщился: курить в такую жару тоже не хотелось...

На фронте Константинов привык к простому табаку и не считал нужным менять его на дорогие сорта. На дорогой табак не было ни денег, ни терпения. Он с раздражением – отсутствие денег это чувство великолепно стимулировало – побрел на балкон, стараясь не смотреть на мольберт с неоконченным пейзажем – понимая, что больше к нему не вернется...

Солнце тяжело и неловко поворачивало на запад. Густая тяжелая тень лежала на раскаленном полу. Было невыносимо душно, как в пекле.

Сквозь тяжелую зелень сада просматривалось тихое оживление. За густыми акациями белел знакомый марлевый паланкин. Похоронные дроги были запряжены понурой гнедой лошадью. Пыхтели и суетились рослые санитары в белых халатах. Они притащили, негромко переговариваясь, что-то тяжелое и, сдержанно покрикивая: «Давай-давай! Полегче, не урони!», водрузили под навес паланкина.

«Опять покойника вынесли», – с привычным равнодушием подумал Константинов. Напротив дома, где он жил с довоенных времен, находился городской туберкулезный диспансер. Два раза в неделю, как по расписанию, крепкие, деловитые санитары выносили из настежь распахнутых ворот очередного усопшего. Возница брал в руки вожжи, хмуро чмокал и сердито приговаривал: «Нно, пошла, подлая!..»

Лошаденка покорно трогала, возница угрюмо брел рядом, а за паланкином не было никого, если не считать двух-трех согбенных старушек в белых платочках. Это были профессиональные плакальщицы, приходившие на похороны как на работу. Они-то и сопровождали покойного до могилы вместо родственников и друзей.

Кто были эти умершие и почему у них не было ни жен, ни детей, Константинов старался не думать; он и сам после войны оказался один на свете. Остававшаяся в оккупации жена с двухлетним сыном Ваней исчезла, как в воду канула. Никто о ней ничего не мог рассказать, ни верного, ни неверного. Сосед, хромой ветеран Первой мировой войны, Петрович, худющий и черный, как печеный картофель, на все вопросы пожимал плечами.

«Первый год под немцами Валька в доме была. Ходила в степь с

Ванькой. Колоски горелые собирала... Потом немцы объявили набор на работу. Твоя устроилась мотористкой на сетевязальную фабрику. А потом, перед самым освобождением, рраз – и зныкла. Може, кудысь подалась – рыба ищет де глубже, а человек де лучче. А може немцы в Германию захомутали. Мы того не знаем», – авторитетно заявил Петрович. И доверительно «изложил просьбу»: «Закрыть не будя?» Что на лаконичном и выразительном его языке означало: «Не найдется ли, солдат, закурить»...

Они курили фронтовую махорку. В вещевом мешке завалялось несколько пачек трофейных сигарет, Константинов держал их для дома. Но Петровича угощать немецкой дрянью постеснялся, а сам передумал. Немецким табаком только горло дразнить. (Он их потом выбросил в мусорное ведро. Вместе с ними улетела, смешалась с житейским мусором первых послевоенных лет и вся его фронтовая жизнь...)

В первый вечер дома он выпил в одиночестве водки за свое возвращение. Оно, возвращение, не принесло ему ни радости, ни облегчения. Лишь смутное и горькое чувство ушедшей жизни. Странно: он всегда жил так, будто жизни осталось на один-два дня. Как перед смертью. Или на фронте перед атакой...

За четыре года войны он поднимал свою роту в атаку бесчисленное количество раз. И всякий раз его охватывало ощущение оставлявшей его жизни. Каждое мгновение, каждая прожитая секунда были прощанием и покаянием. Неизвестно за что и перед кем...

«Так и сейчас, – вернулся Константинов к мыслям о выпитой водке и постоянных похоронах под окном – без слез и без раздражающе-печальной музыки духового оркестра... – Будто меня самого хоронят. Каждую неделю. Как собаку. Вот уже шестнадцать лет...»

Жену и сына Константинов так и не нашел. На все запросы в милицию получал один и тот же казенный ответ: «Ваша супруга Валентина Александровна Константинова и сын Константинов Иван Валентинович, прописанные (следовало точное наименование города, улицы, района и области, а также место и год рождения жены и сына), после освобождения города от немецко-фашистской оккупации выбыли в неизвестном направлении. Начальник паспортного стола капитан милиции Черноусенко». Запросы в вышестоящие органы внутренних дел неизменно заканчивались той же уважительно-равнодушной отпиской ставшего ему родным капитана...

Больше Валентин Николаевич никуда не обращался и о своей пропавшей семье ничего не выяснял. Воевать с судьбой бессмысленно, решил он. Как она распорядится, так и будет. Сопротивляться и негодовать – только сотрясать воздух...

И постепенно Константинов привык к унылой жизни холостяка и затворника. Тихой и однообразной...

III

– Вы антибиотики переносите?

– Да.

За белой марлевой повязкой строго и пристально смотрели серые неженские глаза.

– А йод?

Доктор Визенков, молодой, молчаливый человек, протирал руки спиртом. Вид у него был сердитый и отрешенный.

Константинов вздохнул:

– Йод тоже. Я переношу все, кроме пива.

Доктор хмыкнул и с интересом взглянул на пациента.

– Давно так шутите?

– После войны…

Сестра сделала укол обезболивающего.

Боль в руке мешала ему работать. «Я и проклятый зимний пейзаж не могу закончить из-за чертовой руки», – решил он, прислушиваясь к толчкам пульсировавшей в больном месте крови.

Так сильно рука не досаждала ему с войны. Это ныл старый, великодушно оставленный в раненой руке полевым хирургом осколок немецкой гранаты. Не доковырявшись до осколка в игравшем под пинцетом кровавом мясном месиве, торопившийся к тяжелораненым, доктор обработал кровоточащую рану и наложил повязку. «Ничего страшного. Осколок небольшой. Люди с пулей в сердце живут...» Хирург, маленький, толстенький живчик, велел подняться, налил для бодрости полстакана спирту и покровительственно похлопал по плечу: «Удачи, солдат...»

– Вам не больно? – спросила медсестра, когда доктор Визенков наложил последний шов и стал снимать хирургические перчатки.

Она тщательно обработала прооперированную руку и наложила повязку с заживляющей мазью. В раскрытое окно слышался птичий щебет и заглядывали ветки распустившегося клена.

– Нет, совсем не больно. Я свободен?

– Конечно.

Любовь Ивановна тщательно вымыла руки и сняла марлевую маску.

Молодая, круглолицая женщина дружелюбно улыбалась одними глазами. Они были светло-серые, с синевой.

– Вот, – взяла она маленький предмет, лежавший на стеклянной полочке. – Возьмите – ваш осколок...

Небольшой кусочек металла холодно поблескивал у нее в руке. Ладонь у нее была маленькая и узкая. И Константинов подумал, что все люди связаны между собой крепкими, невидимыми узами.

– Можно вас подождать?

От руки Любовь Ивановны осколок стал теплым, почти родным. Если она не откажет, он на ней женится.

– Конечно. Подождите в коридоре.

Улыбка у нее была чудесная: теплая и ясная.

IV

– Я его хорошо знал, – продолжал Александр Чернов в комнате с картинами.

Комната была ярко освещенная и словно перенасыщенная живописью.

– Человек он был молчаливый и немногословный. И большой трудяга. Знал одно занятие, одну цель в жизни – живопись. Ко всему остальному был равнодушен. Но женщины в его жизни играли исключительную роль. Половину его работ – а их насчитывается около трехсот – составляют женские портреты. Женщины молодые и старые, простые работницы и актрисы, обнаженные и разодетые в пух и прах; женщины анфас и в профиль, спиной и напротив, – они словно преследовали его. Словно он стремился и не мог приблизиться к какому-то заложенному в них глубокому смыслу. Проще говоря, ему было мало обладать телом, он стремился овладеть душой женщины

– Не берусь судить, насколько ему это удалось, – продолжал Чернов. – Мне вообще кажется, что главное в искусстве не угадать, а привнести что-то свое. Он наделял женщин такой притягательной силой, что знатоки замирали перед его женскими портретами, как вкопанные. У него замечательная женская серия, выполненная сухой кистью. Целиком – все семь работ – после его смерти была куплена флорентийской галереей Уффици. Семь портретов, по числу дней Творения. Позировала одна и та же женщина, его жена. Я видел эти работы. В альбоме, выпущенном итальянским издательством «Arte nuovo». В серии изображена женщина-Флора, женщина-Фауна, женщина-Хлябь, женщина-Птица небесная, женщина-Твердь земная, женщина-Небо и женщина-Отдых Господень...

Трудно рассказать, как это сделано. На картинах царит обнаженная натура. Одна и та же. Женщина узнаваемая и – совершенно незнакомая. Валентин Николаевич хотел сказать, что фундаментально – женщина вечна. Всегда одна и та же. В ней, как Океан в капле морской воды, содержится неисчислимое количество форм и сюже-

тов. Ведь женщина, в конечном счете, не то, чем она является, а что мы сами о ней думаем... Пейте коньяк, – засмеялся Чернов, глядя на мое, должно быть изумленное, лицо. – Он действительно очень хороший. И не обращайте на меня внимания. Когда я выпью, становлюсь разговорчивым.

– Знаете что, – поднялся он. – Пойдемте в другую комнату. Я вам кое-что покажу...

– Здесь выставлены работы Константинова, написанные маслом. Фактура крупная, полотна большие, композиция сложная. Но опять же, – засмеялся Чернов, – женщины преобладают.

В комнате так же бесстрастно и холодно горел белый неоновый свет. Комната была большая, вытянутой прямоугольной формы, похожая на белый, безлюдный коридор. Висевшие по стенам картины напоминали застывшие сценки из жизни живших когда-то людей.

С рюмкой в руке я прошел из конца в конец, вглядываясь в лица и позы.

Да, на каждом полотне были изображены женщины.

– А вот и то, ради чего я вас пригласил. – Он остановился перед небольшой картиной, написанной маслом.

Картина, как было начертано на медной табличке, была написана в 1954 году. Называлась «Портрет Астрид Брандт». Обрамлено полотно было в тяжелую раму цвета старого золота.

На картине, опять же, была изображена женщина. В облике незнакомки угадывалась легкая смутность, как у Жанны Самари Ренуара. И в то же время он подавлял тяжелой, угрюмой массивностью.

– Знаете, кто это? – спросил Александр Чернов.

– Некая Астрид Брандт.

– Она – заказчик вашей таинственной гравюры. Ее знала вся тогдашняя интеллигенция. О ее романе с Константиновым ходили самые невероятные слухи. Говорили, что она родственница Вилли Брандта, крупного деятеля социал-демократической партии Герма-нии. И что она будто бы уговаривала Константинова уехать с ней в Берлин.

С полотна смотрела молодая дама с круглым, не немецким лицом. Невысокая, полноватая, некрасивая... В ее облике, да и во всей фигуре, отсутствовало то, что древние называли *калокагатией* – единством прекрасного тела и прекрасного духа. То и другое даже не подразумевалось. Длинные черные волосы небрежно рассыпаны по плечам. На голове – черный берет, а на плечи наброшен широкий женский платок. Один из тех русских, оренбургских, платков, что были в моде у наших мам и бабушек в первые послевоенные годы. Из-под накинутого платка выглядывал воротничок белоснежной блузы.

В правой руке женщина держала потухшую папиросу, в стороне темнела бутылка вина… Бокал был опрокинут на белоснежную скатерть.

– Кто она ? – спросил я.

– Я и сам не знаю, – пожал плечамил Чернов. – Рассказывать о ней можно долго. Долго и неопределенно. Об их романе с Константиновым. И о странных словах и поступках...

V

– Вставай, уже полдень, – потрясла она его за здоровое плечо.

Они проснулась в одной постели спустя несколько дней после операции.

– Ты спишь как убитый. Тебе даже рана не мешает, – зарылась она рукой в его густые, вьющиеся волосы.

Он приходил в себя, стараясь вспомнить приснившийся ему сон.

Сон был неприятный, и он силился понять, в чем состояла его неприятность. Что-то, что имело отношение к нему и Любе...

Он потянулся и перевернулся на спину.

– Рана ничему не мешает.

Это были первый день и первая ночь, когда прооперированная рука не болела. После перевязки они с Любой пошли к ней домой. «Может, это знак, – подумал Константинов. – Знак, что эта женщина создана для меня. А я для нее. Иначе откуда у нее такая свобода и непринужденность? Мы же едва знакомы...»

Они лежали в маленькой комнатке с настежь распахнутыми окнами. Окна выходили на мощеную булыжником улицу. По улице непрерывно проезжали грузовики – неподалеку находилась большая овощная база.

– Они каждый день что-нибудь возят, – сказала она. – Картошку, ящики с помидорами, капусту... Капусту и картошку привозят кузовами. Прямо с полей...

В комнате пахло сырыми овощами и горячей уличной пылью. Лежать в постели было жарко, от каждого движения тело покрывалось горячей испариной. Но его все равно тянуло к этой немногословной, податливой женщине.

– Ну и пускай себе возят, – засмеялся он.

– Какой ты ненасытный. Тебе правда не больно?

– Теперь больно. Сначала не болело, а теперь болит.

– Так бывает.

– Ты была замужем?

– Да, – кивнула она.

За окном ревел и гудел очередной отъезжавший от базы грузовик. С базы развозили по городским магазинам свежие овощи, и Константинов терпеливо ждал, когда он отъедет.

Люба молчала. Как будто тоже ждала наступления тишины. Ему хотелось, чтобы слышны были только мухи, лениво жужжавшие под абажуром. Да сиплое, монотонное стрекотание кузнечика. Он обосновался у самого окна, в сухой, выгоревшей от зноя траве.

Тротуар от проезжей части улицы отделяла узкая полоска травяного газона. Чья-то трудолюбивая рука любовно высадила петунии и мальвы. Петунии, рассказывала Люба, отцвели давно, еще в мае. Остались бесполезные, пожелтевшие от зноя листья, загнутые и широкие, как лезвие самурайского меча. Мальвы за лето вымахали в человеческий рост. На их прямых и жестких палках-стволах краснели и желтели скромные, застенчивые цветы. Там и обосновался в сухих травяных и цветочных зарослях приблудный кузнечик. Целыми днями он сипел, а вечером его сменяли обитавшие в той же спутавшейся зелени ночные цикады. И уже не умолкали до утра...

Однообразная жизнь, которую вел Константинов, приучила его слушать и смотреть. Работать из-за больной руки он все еще не мог. «Придется потерпеть недельки две, – сказал доктор Визенков. – Раньше времени я вас не выпущу.» «Прощай, ‘Зимний пейзаж’», – мысленно вздохнул Константинов. Ему было жаль потраченного времени, но все же он испытывал облегчение. Надоевшая работа сама уходила от него, и он чувствовал, что больше к ней не вернется.

Целыми днями Константинов лежал на спине. Молча курил, прислушиваясь к звукам похорон, – то были единственные живые звуки, входившие в его жизнь.

Сначала доносилось робкое цоканье копыт. Потом грубые, нетерпеливые голоса санитаров, и, наконец, монотонное и трескучее ковыляние похоронных дрог.

А на закате в комнате Любы он слушал, прикрыв глаза, как гудят и ревут последние покидавшие овощную базу грузовики...

Грузовики, овощи и похороны были для него в это лето единственными проявлениями жизни. То необъятное и могучее, что рисовалось ему до встречи с Любой, оказалось тихим и скучным существованием. Оно поначалу нравилось; казалось, что он снова на фронте, – отдыхает во время кратковременной передышки. А потом вообще перестал что-либо ощущать и чувствовать. И это тоже было неплохо. Поскольку роль чувства выполняла совершенно безукоризненно память. Вся жизнь теперь представлялась Константинову одним воспоминанием. И в этом он тоже находил особенное, волнующее утешение.

Через три дня после первой ночи с Любой он пришел в поликлинику на очередную перевязку. Люба кипятила хирургические инструменты. Она была в белом медицинском колпачке, но без марлевой повязки. Ее лицо излучало доброту и спокойствие. И счастье, когда, вспыхнув от радости, она увидела его в дверях операционной. Он смотрел на нее, остановившись на пороге. Спокойствие было главным выражением ее никогда не менявшегося лица. Оно отражалось и в его лице, на его душевном состоянии. И оттого, что так легко и правдиво она смотрела на мир, он успокаивался, как море по вечерам, когда стихает дневной, нетерпеливый ветер...

– Ну-с, – шутливо нагнулся над его рукой доктор Визенков. – Показывайте вашу беду... Так-так, – бормотал он, разглядывая огрубевшую, омертвевшую руку. – Заживает неплохо. Завтра снимем швы.

«Вот видишь, – улыбнулась одними глазами Люба. – Я же говорила, что все будет хорошо.»

– После ночи с тобой, – пошутил Константинов, – рана заживает как на собаке.

– У тебя волосы пахнут морем.

– Я пропитался твоим йодом.

Она ласково взглянула и ничего не ответила.

«Ночью она любит гладить и ворошить мои волосы. Ей доставляет удовольствие приводить их в смятение. Сначала разворошит, а потом приводит в порядок. И так бесконечное число раз.»

Ночи в июле стояли сухие и жаркие. В комнате всю ночь ныл и зудел комар. Они спали нагие. Всегдашней своей наготой она словно что-то ему доказывала...

Уснуть от ночной духоты и жаркого присутствия Любы было невозможно. После приступов вожделения ими овладевала горячая ночная апатия. Тела источали влажный жар, и, прикрыв глаза, Люба дышала с трудом, как вытащенная на берег рыба. «Это и есть одиночество, – подумал он. – Для нее и для меня. Одиночество, выраженное в нашем присутствии...»

«Творчество – в любом случае одиночество, – думал Константинов, лежа с закрытыми глазами. – Мои одиночество и слабость хотят, чтобы не было массы, а были лица. Только лица. Во время операции Люба прятала свое лицо, разве я не имею права снять с нее маску? Снять, чтобы улыбнулось мягкое и человечное. Женское и всеобщее. Но когда она ее сняла, мне захотелось вернуть все, как было. Человек не в состоянии утолить жажду навсегда. Ему снова и снова нужно припадать к целебному источнику. Чтобы заново испытать мучительную сухость во рту...»

VI

– Видите ли... – начал он, помедлив. В том, как Чернов взглянул и замялся, чувствовалось нежелание рассказывать и обобщать. Но сама обстановка – коньяк, пейзажи и портреты на стенах, – хочешь не хочешь, понуждала к откровенности. Даже если откровенничать особенно не о чем. Жизнь этих двоих, таинственной Астрид и молчаливого, все время о чем-то размышлявшего Константинова, столь странна и нетипична, что представляет подлинную загадку.

– ...Видите ли, – поднял глаза Чернов. – Встреча Астрид Брандт и художника Константинова, начало их знакомства и близости – думаю, эти вещи произошли одновременно, хотя доподлинно ничего не известно, – состоялась около середины сентября 1954 года. Вы вправе спросить, каким образом эта женщина, немка, в разгар холодной войны оказалась в Советском Союзе? Отвечу прямо: не знаю.

– ...Не знаю, – повторил он, разминая неуклюжими пальцами новую сигарету.

Курил он много. Стоило ему выпить одну-две рюмки, как сигарета прилипала к его рту.

– О встрече и знакомстве Валентина и Астрид я знаю со слов его старого приятеля, художника Кузминского. Дело происходило приблизительно так, – прищурился от едкого дыма Чернов.

Шло заседание правления городского отделения Союза художников. Обсуждались текущие вопросы: выделение путевок в Дом творчества, предоставление мастерской ветерану Союза Махотину... Обычная рутина.

Было жарко. Вентилятор на столе президиума не работал, присутствующие обмахивались носовыми платками и шляпами и ждали, когда председатель, долговязый и тощий график Пономарев, объявит, что повестка дня исчерпана. И, с облегчением вздохнув, все наденут шляпы и отправятся пить пиво. Но Пономарев и не думал заканчивать. Помявшись и пригладив седой, влажный от испарины бобрик, он посмотрел в отворенное окно – там сонно шелестели старые, развесистые ивы – и растерянно кашлянул.

– Еще один вопрос. Внеочередной. Надо обсудить. В город приезжает немецкая художница. Точнее – фотохудожница, Астрид Брандт. Поскольку у нас нет организации фотохудожников, горком партии закрепил ее за нами. Надо подумать, как организовать встречу. Сегодня вечером. В горкоме ждут конкретных предложений...

– К нам она надолго? – нарушил возникшую паузу недавно принятый в члены Союза молодой художник Николай Шпак. Как всякий

новичок, он стремился выделиться, и к месту и не к месту сыпал вопросами и предложениями.

– Навсегда, – пожал плечами Пономарев. – Подробности ее переезда мне неизвестны. Думаю, она сама расскажет. Когда оформится...

– Она, наверное, антифашистка, – высказал предположение высокий и красивый, как писатель Фадеев, художник Никодимов.

У фронтовика Никодимова младший брат во время войны был узником Бухенвальда. Когда американцы освободили лагерь, полумертвого от голода и непосильной работы мальчишку вынес на руках заключенный-немец. Бывший социал-демократ...

– Не думаю, – неуверенно покачал стриженой, неровной формой напоминавшей дыню, головой Пономарев. Сценарий торжественной встречи злополучной немки, несмотря на его потуги, все еще не просматривался. А отвечать за плохо подготовленное мероприятие придется ему. «Ты председатель, – напомнят в горкоме, – и должен находить правильные решения...»

– У них теперь нет фашистов. И антифашистов… Из-за этого она уехать не могла.

– Наверное, она коммунистка, – подал голос пожилой художник Василий Бендрик.

Всю свою жизнь этот толстый, равнодушный человек изображал вождей российского пролетариата. На огромного размера холстах к юбилейным датам и на мозаичных панно на пригородных автобусных остановках.

Бендрик слыл лучшим портретистом Ленина и Сталина, и только ему поручалось оформлять изображениями вождей сцену городского театра к годовщине Великого Октября или к 1 Мая. Статус официального художника придавал Бендрику важный и неприступный вид. Он посвежел, поправился и приобрел вальяжность и осанистость, свойственные академикам и лауреатам Сталинских премий.

Да и сам он однажды стал лауреатом – скромной, но идеологически безупречной областной премии имени Артёма, соратника великого Сталина.

Специальным распоряжением обкома партии художнику Бендрику было воспрещено заниматься низкими видами ремесла, – только создавать помпезные композиции на автобусных остановках или стряпать гигантские портреты помолодевших и похорошевших членов Политбюро. Бендрика торжественно приняли в партию, и злые языки поговаривали, что дни Пономарева на посту председателя правления сочтены...

Сладкая жизнь для Бендрика, ничего такого не ожидавшего от

коварной и непредсказуемой судьбы и пребывавшего от собственных успехов в тихом ужасе, как рыбак из сказки Пушкина, кончилась так же неожиданно, как и началась. Горком партии поручил ему создать грандиозную фреску на тему Великого Октября, чтобы украсить фойе нового трехэтажного здания городского комитета. Величественную работу размером шесть на восемь метров принимали лично члены бюро.

На фреске был изображен внутренний вид Смольного в решающий час, когда Ленин отдал приказ о штурме Зимнего дворца. Огромная серая солдатская и черная матросская революционные массы в едином порыве устремились за вождем. В руках грозного знаменосца в кожанке развевалось красное знамя...

Этот лейтмотив – вождь, ведущий невзрачную и буйную народную массу – особенно понравился новому первому секретарю горкома Борису Васильевичу Качурину, видевшему себя в тайных мечтах на посту Первого секретаря ЦК партии.

– Молодец, Бендрик, – похвалил он. – Самую суть ухватил!

Но тут же вспомнил скандал, который учинила ему жена из-за новой любовницы, директрисы летнего ресторана «Юг», губастой и грудастой, как негритянка, и весьма искусной в любви.

– Не бросишь свою сучку – напишу жалобу в обком! – отрезала жена.

– А вот ботинки у тебя подкачали, – неодобрительно покачал головой товарищ Качурин. – Уловил мою мысль?

– Никак нет, – пробормотал ничего не понимавший художник.

– Плохо, Бендрик. Не улавливаешь сути. Какой из тебя коммунист? Посмотрите, товарищи, – обратился первый секретарь к окружившим его и настороженно прислушивавшимся к каждому его слову членам бюро горкома. – У Владимира Ильича на левой ноге изображен правый ботинок. Вы что же, товарищ художник, – прищурился он. – Хотите сказать, что вождь мирового пролетариата был правый уклонист?

Несчастный Бендрик побледнел, и его счастье, что от страха он ничего не успел вымолвить.

Так началась для него мучительная и позорная эра забвения.

Неожиданно ему снова представилась возможность заявить о себе.

– Товарищ Брандт не согласна с политикой реваншистского правительства ФРГ, – выкрикнул почувствовавший, что пришел его час, Бендрик. – Ей пригрозили расправой, вот она и решила покинуть родину.

– Думаю, именно так, – кивнул Пономарев на реплику исправ-

лявшего былые политические ошибки художника. – Как будем привечать политическую изгнанницу, товарищи? Денег у нас – кот наплакал. Только на текущие нужды, – отмел он возможные вопросы.

Воцарилась гробовая тишина. Никто не понимал, что означают «текущие нужды». Но то, что раскошелиться на прием иностранной гостьи придется из своего кармана, было очевидно.

– Ладно, – махнул рукой улыбавшийся черными, молодыми глазами художник Кузминский. – Я организую встречу. Вместе с Константиновым. Привозите немку ко мне. В мастерскую. Что-нибудь придумаем. Пропьем последние штаны, но русский флот не подведем!

– Ты это… брось – «пропьем», – нахмурился Пономарев. – Все-таки иностранка. Что она подумает о советских художниках?

– Не отдавайте им немку, – заплетающимся языком выкрикнул немолодой, с землистым лицом художник со странной фамилией Воды́. – Они ее чпокнут!

Воды́ был прекрасный пейзажист. Называл себя учеником Левитана и был неизлечимый алкоголик. В подпитии сыпал политическими шутками на грани дозволенного, а в женском обществе рассказывал один и тот же анекдот о вернувшемся из командировки муже. И хохотал громче всех над репликой жены о лежавшем у нее в постели любовнике: «Не бей его, Вася, он Ленина видел...»

В трезвом состоянии Леня глаза боялся поднять на женщин и докучал секретарю партийной организации, унылому медальеру Василенко, вопросами, не имеется ли у него случайно задолженности по членским взносам. Пока тот, тяжко вздохнув и сделав плачущий вид, не разражался многословной матерной руганью...

На непристойные выкрики Воды́ в зале засмеялись. Председатель кисло ухмыльнулся, а Кузминский весело тряхнул буйной шевелюрой:

– А хоть бы и так! Мы победители. А победителей не судят!

– Но-но! – помахал кулаком Пономарев.

Выдержав паузу, деловым тоном он поручил от имени правления Кузминскому и Константинову «организовать и провести мероприятие по встрече известной немецкой фотохудожницы Астрид Брандт» и объявил собрание закрытым.

Организовали встречу два приятеля действительно очень хорошо. В мастерской Кузминского неказистый стол в пятнах краски и клея, на котором валялись кисти, столовый нож и корка черствого хлеба, накрыли скатертью из белого шелка с желтой бахромой. Скатерть изготовила из списанного театрального задника жена Кузминского Ольга, работавшая в Театре драмы костюмером...

– Этот корявый стол, покрытый скатертью, изображен на портрете Астрид Брандт, – напомнил Чернов. – Ну – что еще...

Он рассказал, что в замысле встречи лежали фольклорные мотивы. Приятели отварили картошку в мундирах. Купили в овощном магазине бидончик квашеной капусты и малосольные огурцы. Жена Кузминского Ольга пожертвовала бутылочку постного масла, а Константинов притащил две зеленые бутылки водки с горлышком, оплавленным сургучом. Сургуч перед вскрытием надо было обстучать ножом, и, когда показалась пробка, Кузминский по фронтовой привычке вытащил ее зубами...

Все эти дикарские приготовления и приемы приятели простодушно продемонстрировали изумленной Астрид Брандт. С первых минут встречи ее глаза округлились и не сужались на протяжении всего вечера...

В мастерскую Кузминского немецкую фотохудожницу доставил на новенькой горкомовской «Победе» сам Пономарев. Он был потный и бледный от явной аполитичности встречи.

– Вот, – войдя в мастерскую, с нервной улыбкой сделал он широкий жест. – Знакомьтесь: наши лучшие художники. Фронтовики, – как будто этот факт мог доставить удовольствие представительнице побежденной страны.

– Честь имею представить...

Выпустив воздух из узкой чахоточной груди, как будто со свистом сдулся проколотый футбольный мяч, Пономарев назвал доброжелательно улыбавшейся гостье отнюдь не смущавшихся хозяев.

– О, – воскликнула она, когда они остались одни.

Пономарев быстренько сбежал, увидев готовую к употреблению водку.

– Я ньемного знаю русский. Язик Пушкин и Гоголь... Майн фатер жил Россия. В Петербурх...

– Вот и отлично! – засмеялся Кузминский. – Петербург так Петербург. Мы не возражаем!

– Чьто есть не *восрашаем?*

– Это значит – все хорошо! – вывернулся Кузминский, придвигая гостье шатающийся, с ободранной обивкой стул.

– Та, очьень карашо!.. – засмеялась Астрид, доставая из сумочки пачку папирос.

Кузминский поднес ей зажженную спичку. Если женщина курит, с улыбкой подумал он, вечеринка получится на славу...

– Мне кажется, я все же сочиняю, – виновато улыбнулся Алек-

сандр Чернов. – Одним штрихом создать многое не получается. Не потому что нет умения, – не достает исходного материала. А выдумывать я не хочу. Несмотря на то, что правда все равно обрастает вымыслом.

Из монолога Чернова следовало, что рассказывать, в сущности, было не о чем. О формальной стороне встречи он знал немного. Что же говорить о начале, развитии и конце любовного романа?

Константинов, человек молчаливый и замкнутый, был полной противоположностью общительному Кузминскому. Так думал я, так вытекало из рассказа Чернова. В начале этой истории он как будто выпал из сюжета. Ушел в тень, уступив место посторонним персонажам: председателю правления Пономареву, весельчаку и балагуру Кузминскому. Колоритному и непредсказуемому Леньке Воды́...

При наличии бытовых сведений кто может взять на себя смелость объяснить, истолковать начало и конец любовных отношений? Кому легкомысленно покажется, что любовь поддается объяснению, как снегопад или чередование дня и ночи?

Оставалось невыясненным, при каких обстоятельствах гражданка Федеративной Республики Германии оказалась в не самом любимом послевоенными немцами государстве на окраине Европы. Александр Чернов избегал что-либо предполагать. Он опасался неизведанных психологических глубин. Из ясно сознаваемого представления о ненужности, даже вредности чрезмерной глубины и сложности. Томас Манн справедливо отмечал, что психология оскорбительна для человека, а дар провидчества вовсе не комплиментарен. Чем тоньше психологические выводы, тем больнее они ранят и заставляют сожалеть о чрезмерной проницательности...

В зале, где мы пили коньяк и беседовали – наш разговор постепенно свелся к обмену ничего не значащей информацией, – я разглядел в углу, у сочащегося бледным солнечным светом окна небольшую картину, написанную маслом. Это было полотно Константинова «Бахчисарай на закате солнца». Картина была великолепна. Как и все, что исполнено грубыми, многослойными мазками, она превосходно смотрелась издалека – с белым нагромождением татарских хижин, освещенных заходящим солнцем, горными склонами, пропастями и ущельями, подернутыми вечерними тенями. Острые вершины гор дымились алым блеском, он лежал на саклях и минаретах, и казалось, этим светом была пронизана вся картина...

Закат солнца в Бахчисарае был началом, точкой отсчета психологического восхода, – зарождения, расцвета и трагического эпилога любви, выраженной в форме сна...

Возможно, я ошибаюсь, и все это придумал со временем. Мне ведь нужно было как-то оправдать линейность этой истории. Потому что в действительности она могла сложиться иначе, а не так, как явилась воображению.

VII

...Самым любопытным в знакомстве Константинова и Астрид, в их малопонятных, но вполне осознанных поступках были диалоги.

Кузминский провел Астрид Брандт по мастерской, останавливаясь перед каждой работой.

В мастерской был высокий потолок, дневной свет широко и вольно врывался в захламленное, неухоженное помещение, и развешенные и расставленные в беспорядке картины – некоторые держались на обоях с помощью канцелярских кнопок – производили странное, не от мира сего впечатление.

Астрид прилежно осматривала, признательно вздыхала и смущенно улыбалась. «Вот, взгляните – ‘Лесной ручей’. Написан с натуры в Мордовии... («Mordovia? Vas is das *Mordovia?*») А это – широким хозяйским жестом приглашал он подойти к следующей работе – Кижи. Место есть у нас такое... На русском севере. Деревянная церковь XV века. Национальная гордость...»

Астрид смотрела, молчала, улыбалась. Подходила к широкому окну – за ним неторопливо текла непохожая на то, что она видела в родном Stuttgart, патриархальная жизнь конного двора. А справа можно было увидеть, как за развалинами непонятного полуразрушенного строения начиналась степь, желтая и безлюдная.

Астрид думала об огромной пропасти, лежавшей между акварелями Кузминского и тоскливой, безысходной картиной, рисовавшейся из окна. Между живописью и странноватыми, полупьяными художниками. Степь за окном была неприглядна и равнодушна, и Астрид начинало казаться, что в этой стране никогда ничего не меняется, несмотря на все их революции и недавнюю войну. Крупные исторические события, трагедии, немыслимые перемены, падения и взлеты происходили сами по себе, а они жили сами по себе. Люди, с кем ей приходилось встречаться и беседовать на вокзалах и в учреждениях, словно исполняли безрадостный долг. В их словах и поступках не было ни любви, ни ненависти. Это была обычная рутинная работа. Их жизнь и их странная, дикая родина казались ей одним большим принуждением и бессмыслицей. И тогда ей приходило в голову, что, пожалуй, она не ошиблась, решив переехать в эту страну навсегда. Всюду, куда она ни обращала взгляд, не было того, из-за чего она поспешно и безоглядно бежала из Германии, – примет

уходящей, на глазах исчезающей жизни. А коль так, то не было нужды и в самой жизни – точнее, в ее нескончаемом, безысходном течении. И картина Константинова «Бахчисарай на закате солнца» казалась ей предвестием ее грядущего существования...

Взгляд Астрид то и дело возвращался к картине молчаливого приятеля Кузминского.

После прогулки по мастерской они опять выпили. Астрид много курила и плохо слушала. Кузминский, подвыпив, принялся за ней ухаживать, ей было и приятно, и смешно, так он был неуклюж. А угрюмый автор «Бахчисарая» молчал, думая о своем, и не обращал на них внимания. И от того, что ею пренебрегают, она почувствовала интерес, а потом и влечение к странному русскому.

«Расскажите о себе, – попросила она Константинова, когда Кузминский пошел за фруктовой водой. – Кто вы?»

«Эту улыбку, папиросу и черный берет Астрид, – подытожил Чернов, – он и увековечил на своем полотне... А Кузминский... Что Кузминский, – пролетел, как шальная пуля. Хотя бонвиван был еще тот, и Константинова поставить рядом с ним невозможно...»

Как и всякий художник, Кузминский испытывал два чувства – благодарность к немецкой гостье за внимание и зависть, что красивая, молодая женщина рассматривает, явно ею любуясь, чужую работу.

Астрид в считанные секунды объяла замысел Константинова. С замешательством и недоумением Астрид переводила взгляд с картины на понуро восседавшего на стуле и невнятно что-то бормотавшего немолодого, угрюмого человека с толстым, некрасивым носом и темным, будто обожженным, лицом. Этот ее новый знакомец жаждал безмолвия и ночи. Молча и устало курил, сидя на драном стуле, и временами с облегчением затихал. Ему не нужны зрители и свидетели, достаточно его собственного присутствия. В грязной комнате на пятом этаже, почти мансарде. В глухом, провинциальном русском городе. И в целом мире. Даже в неизмеримом, бесконечном Космосе, где нет ничего, кроме предположений...

Астрид безостановочно курила. Чем больше она разглядывала притянувшее ее, словно магнитом, полотно, тем сильнее казалось, что художник прощается с одним состоянием ради торжества другого. Она подумала, что она тоже переживает тяжелые чувства, сложные и непонятные. Или, по крайней мере, переживала совсем недавно. И закат солнца в Бахчисарае хорошо эти чувства символизировал. Он сулил что-то большее, чем изображено на картине и что она сама, Астрид Брандт, имела в виду.

Покидая Штутгарт, она была уверена, что хорошо себя понимает. Но в иные налетавшие на нее, как вихрь, минуты (как и Константинов) она теряла нить душевных порывов.

– Ты отдаешь себе отчет, зачем ты едешь в Россию? – спросил ее отец.

Пауль Брандт, высокий, сухощавый, похожий на одетую в скромный костюм с довоенным галстуком длинную, ломкую жердь, нервно курил, меряя шагами комнату.

Астрид только что объявила отцу о намерении покинуть Германию.

– Ты действительно понимаешь, зачем тебе это нужно? – внимательно взглянул он на дочь. – Я уехал в молодости, чтобы получить образование. Ты знаешь, дядя Альбрехт преподавал римское право. В университете в Петербурге... Больше обо мне позаботиться было некому. Твой дед погиб в Первую мировую войну. В Бельгии. Мать умерла, его не дождавшись... Я знал, что уезжаю ненадолго. А ты? Что знаешь о себе ты? – круто развернувшись на каблуках, посмотрел на нее отец. И Астрид показалось, что отец знает о ее порывах и устремлениях больше, чем она может предположить.

Ее сердце забилось, но она продолжала хранить молчание. Только машинально кивнула, чувствуя горечь во рту. И кроме горечи, разъедавшей ее изнутри, еще и болезненную слабость. Она хотела и не могла рассказать отцу всю правду. Боялась, что у нее не хватит слов. Все слова были лживыми. И говорила она совсем не то, что лежало у нее на сердце.

Еще утром, представляя неизбежное объяснение с отцом, Астрид подумала, что она в состоянии объяснить побудительные мотивы своего поступка. Пыталась вспомнить, восстановить в памяти их логику, но все уплывало, теряло свое значение. Она конструировала новую версию, стараясь убедить себя, что это и есть самое настоящее. Чувства сменялись сознанием долга – неким внутренним обетованием, судорожно и торопливо затверженным, только бы не потерять и это.

Отец во время войны был отстранен от службы в армии. У него были плохие легкие. Его вернули с медицинской комиссии, и всю войну они жили на папины адвокатские гонорары, весьма незначительные. Кто, скажите на милость, будет рассчитывать на защиту в суде во время тотальной войны? Войны всех против всех...

Когда не стало мамы, жить стало легче – одним едоком в доме поубавилось. Теперь, подумала Астрид, отцу станет совсем легко и беззаботно – уходит, уезжает и она, его единственная дочь. Именно

уходит. Потому что отъезд в Советский Союз был равнозначен маминому исчезновению из жизни – смерти от цирроза печени. Ее близящийся отъезд и был самой смертью, путешествием в пределы, откуда не бывает возврата...

Так она себя утешала, надеясь хоть чем-нибудь помочь остающемуся в одиночестве отцу. И оттого, что помощь была слишком мала, ей хотелось плакать.

Больше всего она боялась настойчивых расспросов о подлинных причинах отъезда. Отец деликатно помалкивал, выжидая, когда Астрид расскажет о своих проблемах сама. Как в детстве, когда она приносила домой из гимназии плохие отметки. Мама все о них знала и успевала рассказать о гимназических неудачах дочери отцу. Но тот ждал, когда любимая дочь сама исповедуется, как добропорядочная католичка. Он ждал, словно смотрел на нее издалека. Вот как сейчас она смотрит на картину с закатом солнца в Бахчисарае. Такая деликатность могла бы показаться цифрой с другим значением. Но тогда, вспомнила Астрид, все было очень серьезно. И близко ее сердцу, не привыкшему к решительным поступкам.

VIII

Чем ближе был день ее отъезда, тем меньше она себя понимала. Временами ее охватывал ужас: вдруг поездка в Россию и желание остаться в этой стране – не более чем помутнение рассудка? Фатальная ошибка, которую не поздно исправить. Если, конечно, не медлить и принять решительные меры. Положившись на мнение отца, что жизнь – это не порыв в безвоздушное пространство, а форма достижения материального благополучия.

Она не ребенок, ей исполнилось двадцать пять лет. По классификации Данте, мерившего человеческую жизнь четвертями, возраст окончания детства и вступления в бурную полосу юности. Она старалась забыть все прежде любимое и привычное. Уютный, старинный Stuttgart, тихую речку Nekkar. Центр города – Kessel. Неподалеку – готический фасад старого трехэтажного дома, где она родилась и провела первые – и самые счастливые, до смерти матери и начала войны – годы жизни.

Здесь, в Kessel, где летом жарче, чем в пригороде, а зимою на улицах лежит меньше снега, чем в центре, и даже морозы кажутся слабее, она окончила классическую гимназию. Легко и весело выучилась фотоделу – «овладей каким-нибудь ремеслом, если не хочешь оказаться побирушкой. Я не вечен, подумай о своем будущем», – твердил отец, не доверявший своему здоровью.

Выучилась она фотографированию у старенького, забавного

meister Schiller – с мягким белым пушком на впалых щеках вместо бороды и негнущейся правой ногой. Он неторопливо приволакивал ее и, посмеиваясь, называл свою неуклюжую, пораженную жесточайшим артрозом ногу «штативом». Или «дурацкой треногой», если суставы ныли на непогоду, и ему хотелось обругать плохо работающий «инструмент» обидным словцом.

Войну Астрид помнила плохо, хотя и была уже взрослой девочкой. Все дурное и тяжелое не задерживалось в ее памяти. В укромном месте, где прячутся воспоминания, образуется некое пустое пространство. Она пыталась его заполнить позитивными (и смутными) довоенными образами и ощущениями. Неясным обликом умершей мамы – как она с ней разговаривает, зовет маленькую Астрид обедать или усаживает себе на колени.

Но то ли оттого, что жизненный опыт у нее был невелик, то ли в силу легкомысленной забывчивости, Астрид не запомнила из четырех с половиной военных лет ровным счетом ничего. В памяти остались ночные авианалеты, неумолкающий вой сирены воздушной тревоги и большое количество военных на улицах. И еще – постоянное чувство голода. Войну и выпавшие на ее долю испытания она пережила легко, словно это происходило не с ней. Так же легко и просто устроилась, когда окончила гимназию, на работу в фотоателье, а затем ее пригласили фоторепортером в редакцию вечерней газеты «Zontag».

Редактор Майер, большой, толстый, потный человек, явился, пыхтя и недовольно брюзжа, в ателье, где работала Астрид, чтобы сделать срочный фотоснимок. Ему позарез требовалось оформить документы для федеральной службы занятости на случай безработицы. Времена были нелегкие, и в любую минуту мог случиться очередной обвал экономики, как бывало не раз.

Герр Майер все время откладывал процедуру постановки своей персоны на учет из-за большой загруженности в газете. Он любил свою неспокойную и нервную редакторскую работу; его, бывшего боксера-профессионала, она не на шутку увлекала.

Герр Майер относился к той разновидности трудоголиков, кто любит избранную профессию из глубочайшего презрения к прочим человеческим занятиям. Ему доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие копаться в мелких и крупных делах и делишках «этих свинских болванов», как добродушно и несколько преувеличенно выражался герр Майер. Управляемая им газета знала подноготную едва ли не каждого бюргера и членов их семей. Депутатов городского парламента и правительства земли Баден-Вюртемберг. Несколько высокопарное выражение «Правда и только правда» сделалось мно-

голетним девизом руководимой Майером газеты, вынесенным на главную страницу издания и выделенным крупным жирным курсивом. Правда выступала в роли палицы Геракла, безжалостно разившей любого, кто не нравился герру Майеру, – чиновника магистратуры или местного плутократа. У них имелось собственное представление о правде, не совпадавшее с точкой зрения господина Майера. И потому их правду не только можно, но и нужно было выдавать за неправду и всячески ее поносить. При такой нравственной щепетильности помещаемые в газете фотоиллюстрации должны были служить наглядным подтверждением вышеприведенной житейской максимы.

Должность фоторепортера в газете «Zontag» по случаю пустовала. Неделю назад разгневанный плохим качеством фотоснимка, сделанного предыдущим работником, Майер с треском выдворил того из газеты. Громко заявив на прощанье: «Мне не нужны фантазеры вроде вас, Генрих. Мой девиз – правда и только правда!»

Молоденькая Астрид (по сей день причины ее возвышения остаются невыясненными) с первого раза, с первого же сделанного ею щелчка большой, стационарной фотокамеры на массивной деревянной треноге, под темным покрывалом, прятавшим ее покрасневшее от смущения и робости лицо, приглянулась нестарому, но выглядевшему со своим огромным животом и тяжелым, сопящим дыханием на шестьдесят лет, Майеру. «Эта девочка любит точность. Правда привлекает ее больше всяких украшательств», – одобрительно кивнул он огромной, седой головой (она делала его похожим на поэта Шиллера, проживи он столько же лет).

«Ты мне подходишь, Астрид, – важно обратился он к онемевшей от изумления девушке. – Зачисляю тебя в штат газеты. Смотри, детка, не подведи старика…»

Спустя неделю после памятного разговора, перевернувшего жизнь Астрид в сторону от привычных путей и заставившего ее впервые в жизни задуматься о жизни как о неподвластном человеку течении времени, она стала любовницей толстого редактора. Произошло это столь же стремительно и с тем же напором (даже, кажется, с тем же малопонятным напутствием – «не подведи старика, детка!»), что и устройство на работу в газету «Zontag».

«Жизнь похожа на кино, детка, – снисходительно улыбнулся герр Майер, когда она пыталась объяснить ему смущавшие ее переживания. – Только успевай следить за мелькающими на экране кадрами. Надо все в жизни делать быстро, – озабоченно поучал он. – Работать, жить. Даже заниматься любовью. Хоть вы, женщины, в таких делах спешки не любите, – хохотнул он. – Обдумывать будешь потом. Чем больше думаешь, тем меньше живешь», – и Астрид чув-

ствовала, как далека она от житейской мудрости и неутолимой жажды новизны свого патрона. Он, кажется, и газету то и дело менял по форме и содержанию ради того, чтобы не заскучать. Чем приводил в невообразимое смятение холодноватых и неторопливых сотрудников редакции.

Астрид часто вспоминала прошлую жизнь, не переставая удивляться происшедшим с ней переменам. Сначала они вызывали у нее радостное чувство обновления. Потом – тихое, спокойное удовлетворение оттого, что она живет интересной и полнокровной жизнью. Пока однажды не поняла, что старый Майер больше ей не нужен. Своей неутомимой деятельностью и настырными, раздражающими ласками – вызов в постель мог последовать неожиданно и всегда в неудобное время: то она с подругой собралась в кино, то заболел вечно чихавший и кашлявший отец, – старый Майер так ей надоел, что она едва сдерживалась, чтобы ему не нагрубить. Ей мучительно хотелось чего-то юного и нового. Точнее – юного, но постоянного, «как застывшая новизна», – придумала она странную формулировку. Ей уже не так нравилось бегать с фотоапаратом по городу, чтобы заснять очередное не такое уж прекрасное мгновение жизни. Прекрасных мгновений, подсказывали ей ее маленький опыт и возникшее из ничего чувство непреходящей иронии, не бывает, они попросту – поэтический вымысел. Очередная причуда и прихоть великого национального поэта. Жившего, похоже, только для того, чтобы сочинять неправдивые и высокопарные речения. Бесконечная череда событий утомляла ее, к их смене она стала равнодушной, пока не почувствовала, что приступы безразличия требовали совсем другой жизни.

И она приняла решение уехать в Россию.

Отец долго не мог поверить в искренность ее намерений. Они представлялись ему надуманными и лишенными серьезных оснований. И потом – почему именно в Россию? Почему не в Саксонию? Или в Баварию. Во Францию, в конце концов, если позарез хочется уехать из Германии!

– Это каприз, дочка, – успокаивал, утешал он ее и себя, когда со слезами в голосе она пыталась растолковать свои переживания и устремления. – Это пройдет.

Он гладил ее мягкие, черные – материнские – волосы, не зная, какие слова следует употребить, чтобы дочь успокоилась и повеселела. Настолько бессильным было его замешанное на испуге сочувствие и холодное непонимание – его он старался отогнать, спрятать в глубинах отцовской жалости и сожаления. Его дочь, маленькая Астрид, выросла такой чужой и далекой!

Через год после того, как господин Майер взял ее на работу, Астрид почувствовала первые признаки настоящего, а не надуманного беспокойства.

Заболел, а потом умер отец. Последние месяцы зимы постаревший и превратившийся в подобие живого скелета Пауль Брандт чувствовал себя очень плохо. Он почти не вставал с постели, ел мало и нехотя и пил одну только воду. Говорил с трудом, хрипел и кашлял, глаза его стали большими, и в них горело и металось тяжкое безумие.

Отца положили в городскую клинику.

– Туберкулез, – пожал плечами толстый молодой доктор, сообщивший в один из ее визитов о смерти отца. – В запущенной форме. Ваш отец не любил лечиться. Он вообще ничего не любил, – добавил он. – Если бы вовремя обратился к врачам, возможно, его удалось бы спасти. А так приходится мириться с тем, что есть.

– Вы правы, – кивнула она, машинально закуривая сигарету прямо в ординаторской. – Все зависит от человека. Ничего уже не поправишь… Извините, мне пора.

Доктор пожал плечами, не зная, что сказать. Только колыхнулся всем своим крупным, расплывшимся телом – она еще некоторое время стояла на пороге словно в недоумении – и осторожно отошел…

После похорон – все прошло спокойно и быстро, она даже не успела себя разжалобить при отпевании – Астрид вернулась домой одна.

Майер на похоронах не присутствовал. «Ненавижу хоронить и самому быть похороненным», – с хрипловатым смешком, не выпуская изо рта вонючей сигары, пробурчал он. Астрид была рада: в душе она приняла решение порвать с Майером и уйти из газеты.

А через месяц с новенькими документами, выданными в магистратуре – чиновник, совсем молодой человек в круглых очках на тонком, вытянутом носу посмотрел на нее с любопытством: «Фройляйн действительно уезжает в Советский Союз?», – она уже собирала вещи, нетерпеливо поглядывая на часы: до отлета в Москву оставалось три часа.

IX

«Итак, вы – кто?» – спросила она, вглядываясь в собеседника. Она смотрела сквозь папиросный дым, он делал их размытыми, как на картинах, где много тумана и меркнущего света. Например, на полотнах Уильяма Тёрнера. Или у ван Гойена, живописавшего унылые равнины Голландии. Низко стелющийся влажный дым последних дней осени скрывал очертания ветряных мельниц и остроконечных хижин.

Но глубины не бывает без одиночества, и Астрид понимала, что нужно терпеть. Как она терпела больного, вечно кашлявшего отца. А потом тяжело дышавшего и сопящего редактора Майера с его сентенциями по увековечиванию того, что, собственно говоря, увековечиванию не подлежит. Это «что-то» нуждалось не в фотографировании и закреплении на бумаге, а в самом настоящем практическом применении.

Но практика, столь страстно ею желаемая, в Германии, с ее спешкой и каждодневным борением, была невозможна. Она чувствовала, что с каждым днем превращается в холодную, скользкую медузу, не отличавшуюся от среды своего обитания – такой же бесформенной и текучей...

И заданный ею вопрос: «кто вы?» не мог не вызвать у него улыбки. Но он только пожал плечами:

«Художник.»

«Что это значит?»

«Не знаю. Я об этом не думал. Мне кажется, художнику думать не обязательно.»

«Тогда что?»

«Это опросный лист? Анкета?»

«Мне не требуется анкета, вы меня неправильно поняли. Я смотрю на закат солнца в Бахчисарае, эта картина заменит любую анкету. Все сложенные стопкой человеческие жизнеописания. Биография – не анкета. А то, что человек чувствует. Например, сегодня и вчера.»

«А завтра?»

«‘Завтра’ не существует. Мы не можем знать, что будем чувствовать завтра.»

«Можно предположить. Например, тоска... Если знаешь причину, легко угадать следствие.»

«Возможно. Не знаю. Знание следствия не обязывает чувствовать.»

Под ее взглядом, немигающим и холодным, ему было неуютно. Но не хотелось, чтобы она умолкла и ушла. Пустоты он не вынесет. Пустота без нее была бы хуже пустоты с ней.

Астрид точно так же боялась душевного сиротства, как наказания. Она плохо говорила по-русски. Ее радовало, что они изъясняются с помощью жестов, гримас и примитивной лексики. Неясно выраженная информация не меняет сущности, даже если облечь ее в прекрасные и звучные слова.

«Но все так неверно. И неуловимо. Вас не смущает эфемерность того, что мы произносим?»

«Смущает. Я бы хотела замерзнуть. Чтобы остановить это течение...»

«Течение? Вы говорите о течении?»

«Ну да. Как еще объяснить желания. Точнее – одно желание, из которого вытекают остальные.»

«Мне кажется, я вас понимаю. Но не предполагал, что об этом думает кто-то еще. Меня это пугает.»

«Что принадлежит одному, является собственностью и другого.»

«В этом-то и беда», – усмехнулся он, словно высказанная мысль раздражала его своей обиходностью. Он подумал, что, слава Богу, в живописи не надо делить открытия с другими...

«В том-то и беда, что множество не гарантирует понимания, одно и то же люди обычно выражают по-своему.»

«Ну да, – кивнула она. – Иначе исчезает интерес друг к другу.»

«А у вас он есть»?

«Конечно, – чиркнула она спичкой. Ее папироса постоянно тухла, и она подумала, что никогда не привыкнет к русским сигаретам. – Я уже говорила. По поводу ‘Заката солнца в Бахчисарае’...»

«Возможно вы видите нечто иное. Совпадения редки.»

«Это неважно. Важно, что думает зритель. Мне кажется, я поняла, что вами двигало. И продолжает управлять.»

Но в эту минуту вернулся с бутылкой крем-соды – он только что сбегал за нею в ближайший продуктовый магазин – неугомонный и легкомысленный Кузминский.

– Думаю, – предположил Александр Чернов, – что первая искра между ними вспыхнула именно тогда. В те несколько коротких минут, пока Кузминский бегал в магазин, и Константинов и Астрид остались в мастерской одни. Когда я спрашивал, что между ними произошло, Кузминский только пожимал плечами...

А потом гостья поднялась и стала прощаться. Она заявила, что устала и ей необходимо отдохнуть. И привести в порядок впечатления сегодняшнего дня.

Они остались вдвоем. Тогда-то Кузминский и почувствовал всю странность своего, а потом и их, положения.

Они долго молчали в сразу опустевшей и померкшей мастерской.

– Жаль, что она ушла, – уныло изрек Константинов. – Ей-богу, славная девушка!

– Ты никак влюбился?!

– Что ты! Взаимная симпатия двух глухих...

– Ну и ладно, – Кузминский сделал вид, что поверил.

– Я пойду. Поздно уже. Вон и фонари зажгли…

– Когда они тебе мешали? Ладно, дело твое…

Константинов поднялся и смял в пепельнице недокуренную папиросу.

– Доложи начальству, что все в порядке. Немку приняли как следует. И больше ничего не рассказывай, ладно? – добавил он.

– Не волнуйся. Что надо – то и доложим...

– Ладно, будь здоров, – махнул рукой Константинов.

Идти домой к Любе ему не хотелось. Он все время думал о настырной, насмешливой немке. В ее глазах, светлых и пустых, виделось что-то такое, что не давало ему покоя. Это было влечение не телесное, а другое, не менее настойчивое и мучительное.

В колебаниях он провел весь вечер и всю ночь. До утра бродил по городу, ставшему тихим и безлюдным. Ночной город повторял все известные человеку состояния – от безудержного веселья и уверенности в себе до безразличия и угасающей энергии.

Константинов брел под порывами ночного ветра, он дышал летним зноем и раскаленным песком с морского побережья, в мерцании ясных – такими они бывают в пустыне во время самума – больших и малых звезд над головой.

…В городской сад Константинов забрел под утро. На лавке под фонарем дремал пьяный. У его ног стояла наполовину пустая бутылка дешевого вина.

От фонаря на листья каштана лился желтый свет, освещая, как в театре, силуэт ночного дерева. Оно раскачивалось и скрипело, и Константинов подумал, что ветер, пожалуй, не перестанет никогда. И оттого, что ночной ветер нагонял печальные мысли, Константинову хотелось поговорить.

Он присел на лавку. Немолодой одутловатый мужчина в расстегнутой рубашке и с выпяченной нижней губой сладко похрапывал рядом. Потом пьяный пошевелился и отпил из бутылки.

– Курить есть?

Константинов нащупал в кармане папиросу.

– Будешь? – протянул пьяный бутылку.

Его маленькие осоловевшие глазки тупо уставились на Константинова. В них не было вражды, но не было и любви. И Константинов подумал, что безразличие – единственное состояние, которое он в силах вынести.

«Любовь несет угрозу, – стал думать он, отпивая из предложенной бродягой бутылки. – Как и ненависть.»

Вино было дешевое, сладкое, пьяницы называют его «пуд-напуд», потому что в нем всего поровну – шестнадцать градусов крепости и столько же сахара.

Он сидел на лавке под театральным светом ночного фонаря, потягивал вино, плохо слушая, что лопочет бродяга. Вино смешалось с выпитой до этого водкой, и он думал, что людям не суждено понимать друг друга – и самих себя. Такие вещи хорошо осознаются в пьяном виде. И тогда человек принимает нелогичные решения вроде того, что пришло ему в голову.

Он встал и похлопал бродягу по плечу:

– Будь здоров, коллега. Мне пора.

– Аааа...мммм....– промычал пьяница.

– Да, именно так, дружище. Не унывай...

И побрел по утреннему, с трудом просыпавшемуся городу.

Шел он к Астрид Брандт, но потом передумал…

X

В августе дни и ночи особенно жарки и душны. Лето прощалось с городом и напоследок нещадно палило и томило. По прогнозам синоптиков, первые осадки выпадут только в октябре.

– Я больше не могу. Не могу жить в этом пекле, – жаловался Константинов. – Отсюда надо уезжать. Хотя бы на время. Даже асфальт под ногами плавится...

Константинов и Люба были женаты второй месяц. Свадьбу, тихую и скромную, отпраздновали в ресторане вместе с друзьями. Со стороны невесты на ужине была ее подруга, медсестра из лор-кабинета – маленькая, веснушчатая женщина с золотым пушком на руках и ногах. Был и доктор Визенков. Он раскинулся на стуле, словно выдавал замуж собственную дочь, и рассказывал еврейские анекдоты. По его мнению, отчасти справедливому, свадьба должна состоять из музыки, танцев и анекдотов.

– Чтобы жизнь была веселой...

Ему не возражали...

На регистрации в ЗАГСе и за столом распоряжался друг со стороны жениха, весельчак Кузминский. Он был страшно доволен женитьбой Константинова, которому прочил, если тот не обзаведется женой, мрачное алкогольное будущее.

– Без жены мужик скисает. И опускается. Такой судьбы я тебе не желаю.

Кузминский и хохотушка Валя весь вечер наперебой смеялись и шутили. Даже Люба и серьезный Константинов разражались хохотом.

Люба, пока шла регистрация и тянулся свадебный ужин, и потом, когда они остались одни, радостно и удивленно улыбалась. Она верила и не верила, что вышла замуж и ее одиночеству пришел

конец. Тысячу раз она представляла себе новое замужество. Оно рисовалось как череда счастливых, однообразных дней. В сущности, дело, конечно, не в однообразии. Само по себе однообразие не приносит ни счастья, ни несчастья. Вопрос в том, из каких деталей оно состоит. Ей нравилось, что у нее будет мужчина, муж. Больше не нужно соблюдать целомудрие, мучившее ее с тех пор, как ушел на фронт и не вернулся муж Алексей. Он работал управляющим городскими конюшнями. На фронт попал в кавалерийский полк и был убит в первом же бою зимой 1941 года. Она уже забыла, как Алексей выглядел, каким он был мужем и любовником.

Проблема была непростая, но все же не решающая. Мужчины в постели как будто достаточно для внутреннего спокойствия и благодушия. Но Люба чувствовала, что не только физической близостью должна полниться ее жизнь. Близость – видимая часть огромного айсберга. Нижняя его часть скрыта от изучения и понимания. И строилась на предчувствиях. Ощущении полноты или неполноты. Совершенства или ущербности. Иссохшей в одиночестве душой она хотела полноты, как будто это было единственной целью. Перебирала крохи воспоминаний об Алексее. Терпеливо восстанавливала день за днем их только начинавшуюся, молодую совместную жизнь. Утренний чай, неторопливые обеды, мелочные заботы... Уборка, готовка, стирка, покупки, походы на рынок или в магазин чередовались с завидным постоянством; одно сменялось другим, и не было конца этому мерному вращательному движению.

Но и это было не самым главным. Мелкие и крупные заботы составляли фон, грубую декорацию жизни. А главным было как раз то, чего она не видела и не понимала и что по прошествии лет представлялось оптимальным выражением счастья.

– Конечно, – сказал Александр Чернов, когда я спросил его о Любови Ивановне, – конечно, она заслуживает больше внимания, чем ей уделяют критики. Художник Константинов – необычный, и даже не любя его творчество, каждый опасается высказаться о нем и его жене дурно: «а вдруг он – гений?» Но вот что странно! Обсуждая замысел и художественные достоинства работ Константинова, где жена выступает обнаженной моделью, критики обходят молчанием личность Любови Ивановны. Как будто единственное ее предназначение – быть пассивной натурой. Смысл ей придает только кисть художника. Они как будто остерегались увидеть то, чего не усмотрел в ней живописец. Или что казалось ему малосущественным... Возможно, я неправильно употребляю слово «жена». В нашем контексте должно прозвучать нечто иное. Должно родиться слово,

исполненное общего, а не семейного значения. Но это всё – слова, – грустно покачал головой Чернов.

– Надо отдать должное критикам, – продолжал он. – Они небезуспешно интерпретировали полотна Константинова последней поры его творчества. Разумеется, без связи с личностью и судьбой Любови Ивановны. Да и самого Валентина Николаевича в их рассуждениях тоже оказалось маловато. Я уж не говорю об Астрид Брандт – ее роль в его творчестве вообще замалчивается и не понимается...

– Свой большой онтологический цикл, – после некоторой паузы продолжал Чернов, – Константинов писал за городом, на приморской даче жены. Это был небольшой домик с застекленной верандой и летней кухонькой, купленный Любовью Ивановной за бесценок у восьмидесятилетней старухи Васильевны. Любовь Ивановна давно подыскивала домик на лето, и знакомый пациент указал ей на собиравшуюся на постоянное жительство в город, к сыну, старуху...

Константинову домик и начинавшееся за его порогом море понравились сразу. Место было безлюдное и дикое. Утром он бродил по пустынному берегу под пронзительные крики чаек. Свежий ветер заунывно гудел в ушах. Ветер здесь царствовал всюду. Нескончаемым дуновением он смягчал тяжкий дневной зной. От его порывов на пересохших от солнца холмах трепетали заросли бурьяна и кустики серебристых маслин. Высокие травы, сухие и желтые, жались к земле, а волосы прилипали ко лбу, становясь невесомыми.

От ветра у Константинова слезились глаза, и он устраивал место для работы за сарайчиком, где было сравнительно тихо. Однако там было знойно и душно, как в бане. Полдневное удушье заливало тело липким, пахнувшим полынью потом.

Обычно он писал утром, до полудня.

Люба позировала ему нагая, не заботясь о правдоподобии совершаемого на полотне. Она была частью этой пересохшей земли, шумящего моря, неустанно катящего свои мелкие, зеленые волны. Они накатывались на плоский песчаный берег ровно и неутомимо... Это были ее, женщины по имени Любовь, многочисленные разновидности и ипостаси.

Время от времени Константинов откладывал кисть и в приступе вожделения накидывался на жену. Неистово обладал ею на сухой и жесткой траве, и ее потемневшая за лето кожа казалась выдубленной из глины, песка и чабреца.

За позированием Люба сидела, опираясь на руку, целомудренно и равнодушно поджав ноги. Она не выказывала удивления или недовольства, жажда тела казалась ей частью этого мира, бездушного и счастливого. Она не радовалась непрекращающемуся вожделению

мужа, как обычно радуются женщины мужской тяге к ним. Раз и навсегда взяла для себя роль слепой удовлетворительницы желаний. Его нескончаемое вожделение, непрекращающаяся попытка войти и остаться в ней навсегда были ей понятны. И... непонятны ему.

Творчество, думалось ему в эти тяжелые, исполненные влечения к женской плоти часы, не знает предела. Овладение ничего не дает. Только пробуждает еще более невыносимую тягу. От нее нет спасения ни в жизни, ни в искусстве.

Он не знал, сможет ли он жить и чувствовать иначе. На пустынном морском берегу, где, кажется, сама природа давала уроки безнадежности и вечности...

– Никто его не понимал, – сказал Александр Чернов. – Ни друзья, ни коллеги. Исследователи не могут взять в толк, почему так произошло. Почему картина, долгое время ему не удававшаяся, – «Зимний пейзаж» – была завершена здесь, в знойные августовские дни.

– Если хотите, могу продемонстрировать, – улыбаясь, предложил мой визави.

Очарованный коньяком и беседой – недомолвок в ней было больше, чем очевидностей, – я ничему уже не удивлялся.

Многого, впрочем, от меня и не требовалось. Достаточно пройти несколько не совсем твердых шагов по залу, напоминавшему длинный, безлюдный коридор, и остановиться по поданному хозяином знаку.

Он подошел к средних размеров полотну, висевшему в окружении трех-четырех натюрмортов. Это были работы в стиле ранних фовистов – мальвы, букеты летних цветов, подсолнухи...

– Я специально разместил его среди работ на летнюю тему, – признался Чернов. – Нарушая все правила музейной композиции. Во-первых, – принялся убеждать он, – «Зимний пейзаж» выполнен летом. Сразу после встречи с Астрид Брандт. Окончательный вариант оформился в августовские дни. Все сошлось, совместилось, как два луча в одном пучке, – мгновенно и сразу. Мне хотелось визуально подкрепить свершившийся факт. Связи между *тем* и *этим* нет, она пребывает в иных мирах и измерениях. Что-то же подтолкнуло художника летом, в небывалую жару, к мыслям о зиме?

– Зиму в Степном художник никогда не видел, – продолжал рассказывать Чернов. – Он в эту пору года сюда не приезжал. Но посмотрите, – повел он рукой, – как достоверно изображена заснеженная равнина! Это всё, что осталось от бесконечно подвижного и живого летнего моря. Пустота и холодное, ослепительное сияние.

– Справа, – все больше увлекаясь, объяснял Чернов, – видны три домика окраины под ветхой крышей, занесенной снегом. Но главное – не снежный дым и не пустота занесенной снегом равнины. Не злополучные хижины без признаков жизни. На первом плане – темное продолговатое пятно. Вертикальная размытость, напоминающая фигуру бредущего человека. Это и есть самое сакральное: человек, лишенный смысла...

– Я не видел чернового наброска этой работы, – вздохнул с сожалением он. – Эскиз остался в городе, а потом, вероятно, был уничтожен художником. Кузминский, оказавшийся случайным свидетелем, рассказывал, что написанное Константиновым в Степном было принципиально иным. Не продолжением начатой темы, а новой мыслью, новым ощущением жизни.

...Эта картина и явилась причиной возникшего между ними непонимания...

XI

«Да, безмолвие и ночь», – повторила она…

По приезде в Советский Союз Астрид Брандт охватила жажда кипучей деятельности. Она все время с кем-то встречалась, объяснялась, отвечала на сыпавшиеся на нее вопросы – настороженные и недоверчивые, иногда наивные и глупые. Улаживала серьезные и пустяковые – как выражались ее первые русские знакомые, «не стоившие выеденного яйца» – дела; занималась поисками жилья, устройством на работу. А потом свела дружбу, если можно так выразиться, с русскими художниками и фотографами.

К художникам она присмотрелась сразу: они были так себе – все на одно художественное лицо. Фотографы тоже не лучше. Ни выдумки, ни фантазии... Не художники, а ремесленники, таких и на родине хватает. Это было то, от чего она уехала, когда убедилась в невозможности что-либо изменить. И тоска отчаяния и сомнения в полуразрушенной, задыхающейся от новостроек, выплавок чугуна и стали России, ее охватила та же. Она гасила ее решением невероятных по немецким меркам бытовых проблем.

Поначалу крупные и не очень крупные житейские дела ее раздражали. Их безмерное количество сопровождалось полным неумением к ним подступиться. Не говоря уже о том, чтобы постепенно, шаг за шагом, развязывать житейские узелки. Она даже усомнилась: стоило ли уезжать из Германии, чтобы взвалить на себя этот груз? Но тут же принималась убеждать себя, что в России должно быть иначе, чем в западном мире, – по-другому. Новые люди, новые, пугавшие ее (но не отталкивавшие) привычки и традиции, суеверия и догмы. Они

поражали, вызывали недоумение, как первобытное кресало у современного воспитанного человека. В этой стране все было не похоже на привычный, с детства знакомый уклад жизни. Как и люди. Как и времена года, источавшие смутную, неопределенную печаль.

Шаг за шагом, день за днем Астрид осваивалась на новой родине. Пришло долгожданное одиночество, и оно было тоже иного рода, чем дома, в Германии. Там она была одинока в силу всеобщего стремления к движению и переменам. А здесь – в татаро-монгольском равнодушии огромной страны и обитавшего на ее грязных, неухоженных просторах народа к проявлениям творчества. Все последующие дни и месяцы ее не покидало чувство сиротства и, вместе с тем, блаженной радости. Как будто они и были целью ее бегства из Германии и полудремотного существования в новой, неприветливой стране.

В ЖЭКе № 5 ей выдали ключи от однокомнатной квартиры. Начальница, немолодая поджарая женщина с папироской во рту и в платье, сшитом из хлопчатобумажного солдатского сукна, Дина Васильевна, угрюмо буркнула:

– Захотите сделать ремонт, напишите заявление. Но думаю, вам ничего делать и не надо. Разве что побелить.

И, пожевав потухшую папиросу, добавила:

– Решайте сами. Там жил фронтовик, он недавно умер. Мы ему квартиру недавно отремонтировали. А там – как знаете, – повторила она, по-мужски чиркая спичкой.

«Вот и она тоже, – думала Астрид, шествуя на новую квартиру в центре города. – Ей самой от жизни ничего не нужно. И от людей. Она искренне сомневается, нуждаюсь ли я в том малом, что она может мне предложить.»

«Начальнице ЖЭКа ничего не требуется. Мне тоже ничего не нужно в жизни, – никому в этой стране ничего не нужно», – как заклинание, повторяла она. Однообразные слова дополняли ее ночь и одиночество, и все вместе казалось одной невыразимой сущностью – состоянием, в котором она хотела бы находиться всегда. Одежда, обувь, жилище, хворост для разведения костра, хлеб и мясо, молоко и вода. Мужчина на ночь и детская молитва утром; ночь и день, солнце и луна, мороз и пыльные суховеи – к ним она успела привыкнуть за несколько летних месяцев на юге России, – все возможное и невозможное, предполагаемое и явное вызывало тревогу и душевную тяжесть. Как в детстве, когда она просыпалась утром и думала о невыполненном гимназическом задании. Всю дорогу до гимназии ее мучил образ дамоклова меча, преобразовавшего ее будущее из теоремы в аксиому. В этой непостижимой, безутешной аксиоме не находи-

лось места для самого главного: понимания, для чего все-таки жить и что с нею, жизнью, следует делать?

Огромная совокупность предметов материального мира подавляла Астрид, не оставляла надежды на избавление. Она пришла к выводу, что в их безмерности кроется причина ее несвободы. По-настоящему свободен тот, кому ничего не требуется. Чем больше я желаю, тем несвободнее и зависимее становлюсь.

К этому выводу она пришла незадолго до встречи с художниками в мастерской чернокудрого Кузминского.

Оба они, как ей успели сообщить в Союзе художников, были фронтовиками, закончили войну в Германии.

Ей было безразлично, сколько ее сограждан, а значит и родственников-немцев, убили эти двое мужчин, превратившиеся из умелых, хладнокровных солдат в живописцев, – бывают же такие метаморфозы!

Она не испытывала к ним – не только к Кузминскому и Константинову, но и к тем, с кем ей ежедневно приходилось общаться, сталкиваться на улицах – «пересекаться», еще одно малопонятное русское словечко, – ни злобы, ни ненависти. Война с ее ужасами и зверствами ее не касалась. Она даже казалась себе не вполне нормальной. Разве не привыкла она, что ее чувства и побуждения выпадают из перечня общепринятых и всеми одобряемых?

На второй день они повторили встречу. Когда она выпила первую рюмку водки, она твердо знала, для чего находится в этой стране. Сразу и вдруг ей стало понятно всё. И теперь она ждала повода, чтобы рассказать о своем озарении.

Но за столом она помалкивала. Много курила и смущенно улыбалась. Кузминский смеялся и шутил; странный, немногословный Константинов мрачнел от водки и присутствия немецкой гостьи.

Астрид почти не пила. Боялась отпугнуть русских мужчин неуместным весельем и наивным простодушием. А потом все произошло само собой, словно снежный ком скатился с горы. Незаметно ушел пьяненький, ничего не соображавший Кузминский, и они остались одни. Константинов раздраженно молчал, потом грубо увлек ее за ширму. От него неприятно пахло водкой, и она думала со стыдом, что ее дыхание тоже не благовонно, и отворачивала голову, стараясь не дышать. Она бы предпочла, чтобы от нее пахло французскими духами и дорогим коньяком. Но тут же укоризненно улыбнулась: разве не от прекрасных излишеств убежала она из Германии? «Будь, как все русские», – твердила она себе, когда Константинов грубо овладевал ею на широком, засаленном топчане; ее преследовала неотвязная мысль, что на нем перебывало огромное количество грязных русских жен-

щин. И от сознания, что она такая же, как эти дикарки, она улыбалась, нетерпеливо морщилась и тихо негодовала на затянувшееся насилие...

– Константинов не отпускал ее два дня и две ночи. Спроси его – любил ли он в те смутные, пьяные дни Астрид, – с сомнением покачал головой Александр Чернов, – он вряд ли сумел бы ответить.

С одной стороны, конечно, любил. Если то, что произошло с ними, можно назвать любовью. Иначе не оставался бы с ней так долго, рискуя навлечь на себя гнев начальства.

Но с другой – нет, не любил. Его тяга к Астрид была разновидностью мщения. Не за войну, разумеется. Войну и связанные с нею несчастья Константинов давно позабыл. По крайней мере, перестал сводить с ней личные счеты. Он мстил этой странной молчаливой немке не за перенесенные испытания, а за то, что она не отличалась от Любови Ивановны. Этого он не мог ей простить. Рано или поздно благие намерения в области искусства и неясные жизненные установки сведутся к унылому, монотонному однообразию – к некой разновидности «Зимнего пейзажа». Он злился и – продолжал терзать несчастную Астрид. А когда они отдыхали, воздвигалась между ними незримая, но осязаемая стена. Вместо обычного у влюбленных доверительного общения проскальзывали короткие и загадочные, как птичий язык, слова.

– Тебе со мной хорошо? (Типичное женское беспокойство: угодила ли она мужчине?)

– Да. Мне с тобой хорошо.

– Что с нами будет дальше?

– Не знаю. Что такое – дальше? Куда *это* ведет?

– Не знаю. Разве нужно куда-то вести? Тебе не достаточно меня? Нашей комнаты, этого дня. Другого, третьего...

Он шокирован ее непривычным многословием, оно его утомляет. Ее волнением, пробивающимся сквозь усталость. Оно кажется излишним – он бы предпочел язык жестов. Или взглядов – они многое могли бы рассказать друг другу!

Он не знает. Не знает, что нужно сделать, чтобы она умолкла или перешла на другой язык. Он молчит и колеблется – стоит ли заговорить на волнующую его тему?

И пока он помалкивает – молчание так отдаляет их друг от друга! – она пытается восполнить возникший пробел потоком быстрых, невразумительных слов. Если она будет безостановочно говорить, ночь смягчит грубость и неоправданность его насилия и ее покорности.

– Ты довольна, что приехала?

– К тебе или вообще?

– Ко мне. И – вообще.

– Дай папиросу.

Он дает...

– Я не знаю. Не думала. Ни о тебе, ни «вообще». Об этом не думается. Думается о самом разном. Но, в принципе, контекст позитивный.

– Что такое «контекст»?

– Трудно объяснить. Объяснить по-русски. Вы не созрели до таких слов. У вас в ходу слова типа «картошка». «Жить». «Работать». «Умирать»... Вы не знаете слов, выражающих неконкретные вещи. Поэтому я и приехала в Россию...

– Ты говоришь непонятно.

– Знаю.

– И продолжаешь говорить?

– Так я лучше понимаю.

– Вот видишь! Ты такая же, как мы.

– Ну да. Потому и уехала из Германии... Подай, пожалуйста, пепельницу.

Кладет ее на топчан...

– Рассказывай дальше.

– Что ты хочешь услышать?

– Речь не обо мне. Рассказывай о себе.

– Ну, хорошо,– натягивает она простыню под самое горло. – Слушай...

– Ты похожа на медсестру из госпиталя, – усмехнулся он. – Когда я был ранен, она рассказывала сказки. Чтобы не так болело. И начинала точно так же: «Слушай...»

– Ну – слушай, – засмеялась она.

– Я была маленькая-маленькая девочка. Мне страшно не нравилось, когда в доме что-нибудь происходило. Обычные пустяки: мама собирается в магазин или папа на службу. Потом они возвращались, и жизнь поворачивала в обратную сторону. Сначала они одевались, пили кофе, курили и беседовали. Потом – вечером – раздевались, надевали домашнее платье, беседовали, курили, снова пили кофе и укладывались спать. В промежутках родители играли со мной. Проверяли гимназический дневник, спрашивали, как я выучила уроки. По праздникам всей семьей мы посещали храм. Мама устраивала праздничный обед с шоколадом и марципановым тортом.

По выходным и праздничным дням меня водили в зоопарк и три раза в неделю – в церковный хор. Мы разучивали Баха, и папа гово-

рил, что серьезная музыка способствует духовному развитию. Я не знала, что такое духовное развитие, но спросить стеснялась; я вообще боялась задавать отцу интересующие меня вопросы. О том, что такое Бог. Правда и ложь – я так и не научилась отделять одно от другого, – засмеялась Астрид, глядя в белый потолок. – Не потому, что боялась, нет. Папа был суровый и немногословный, но меня он любил и ни в чем не отказывал. Просто я не верила, что на мои вопросы можно дать правильный ответ. Как и сказать, зачем я появилась на свет...

Ну – вот и всё.

Она наотрез отказывалась рассказывать о себе – подробно, с мыслимыми и немыслимыми историями, случавшимися в детстве и молодости; это было, конечно, нелогично и невежливо. Но Константинову сказанного было достаточно, чтобы он почувствовал ставшую привычной тяжесть.

– И все же ты приехала. Не за мной ли?

– Ну да, – передернула она белыми, круглыми плечами. Плечами, вызывавшими у него тяжелое, непреходящее влечение. – Все мужчины одинаковы...

– Разве женщины не такие?

– В нас мало Фрейда. Мы *ксантиппы,* а не *пасифаи.*

– Что это? – не понял он. – Ты говоришь загадками.

– Вы, русские, отстали в развитии. Нельзя быть таким невежественным, – покачала она головой. – Хотя, с другой стороны, это, наверное, хорошо.

– Это неважно. После войны все стало неважно. Кроме ухода.

– Ухода – куда?

– Не знаю, – честно сказал он. – Я не задумывался.

– У меня значительно проще, – покачала она головой. – Проще, чем у тебя. Но тоже не особенно сладко.

– По крайней мере, ты знаешь, чего хочешь. А я – нет. Я даже не могу это объяснить. Вот ты – можешь?

– Я постараюсь, – пообещала она. – Я хочу постоянства. Поэтому и приехала в Россию. У вас такое скромное, статичное государство. Его отправления ничтожны. У вас не развился, как на Западе, вкус к мимолетным ценностям. Я устала быть хроникером мгновения. Поэтом случая. Если можно так сказать – творцом вечности. Ваш тоталитаризм благоприятствует искусству, вот я и подумала, что мне это и нужно. Римские папы, покровители скульпторов и живописцев, были такие же эгоисты, как ваши Первые секретари. Они душат вниманием и заботой. И, как римские папы, поощряют то, что нравится им самим... Но это, милый, a propos, – вздохнула она, пошевелившись

под простыней. – Важно, что тебя интересует уход, а меня – обыкновенная неподвижность. Что за чем должно последовать, как ты думаешь? – спросила она, глядя ему в глаза.

XII

– Разгадку ее странных, пророческих слов следует искать в последовавших за этим событиях, – сказал Александр Чернов.

Пересказав, в общих чертах, от знавшего все подробности этого дела Кузминского, слова и поступки героев, он тянул время перед финальной частью. Ему доставляло удовольствие мучить подлинными или мнимыми тайнами той давней истории. Я устал и ничего не хотел так сильно, как поскорее покончить с этой невнятицей. В уме путалось и двоилось, и смысл, ясный и логический, представлялся делом нереальным, надуманным.

От охватившей меня усталости я был готов на любые выводы, только бы освободиться от прилипчивых пут Чернова.

Мой искусствовед был уже в хорошем подпитии. К вечеру этого длинного и, положа руку на сердце, необыкновенно интересного дня он выглядел утомленным не меньше меня. Бутылка коньяка, которую мы вдвоем распили, сделала свое дело.

Я пил мало, пригубливая из рюмки. Чернов добросовестно опрокидывал рюмку за рюмкой и к концу совсем осовел. Налился нездоровым румянцем, и речь его стала бессвязной. Хотя здравый смысл его не покидал.

Солнце давно село. В галерее стало сумрачно и неуютно, развешенные на стенах полотна смотрелись зияющими темнóтами.

Судя по паузам, которые становились все более значительными, рассказываемая Александром Черновым история подходила к концу. Меня угнетало предчувствие леденящего душу финала, но все оказалось обыденно и просто.

– О связи Константинова и Астрид в конце концов узнали все – от молодого начинающего художника до первого секретаря горкома. И сделали вид... что ничего не происходит. А как иначе? Астрид Брандт иностранка, а Константинов – фронтовик, уважаемый художник. Право на личную жизнь сомнению не подвергалось. О Любови Ивановне, законной жене Константинова, старались не говорить, ее как бы не существовало. Но, напиши она возмущенное письмо в горком партии с жалобой на поведение мужа, меры, конечно, были бы приняты суровые. И к нему, и к Астрид.

Однако никаких заявлений в инстанции не поступало, и жизнь текла своим чередом. То Константинов заночует у Астрид, то она – у него в домике Любови Ивановны. Ставшая ненужной, жена без-

ропотно оставила загородный дом мужу, а сама перебралась в город.

В особенно ненастные дни – наступил октябрь, и море штормило – он изредка приезжал к себе, в холостяцкую квартиру.

Но Астрид уговорила его не покидать домик в Степном даже во время штормов. Она уверяла, что морское ненастье напоминает ей детство. Незадолго до войны Брандты всей семьей отправились на две недели на Балтийское взморье.

– Море там такое же, как здесь, мелкое и серое, – рассказывала Астрид. – Огромные черно-белые тучи низко и быстро проносились в неведомую даль. Ветер дул с такой же непрерывной силой – незатихающий, холодный осенний ветер, взвихривавший тучи песку.

– Не знаю, – добавила она. – Возможно, мы приехали на Рюген поздней осенью, и я была слишком мала, чтобы задавать вопросы, а папа после смерти мамы никогда не рассказывал о нашей жизни втроем. Когда все в семье были здоровы и счастливы, и не было ни смертей, ни войны. А может, все-таки тогда было лето, – предположила Астрид, и ему показалось, что внутренне она этого хотела, и невольная выдумка доставляла ей радость. – Однако погода к нашему приезду испортилась, и это было единственное, что осталось в памяти...

– В то далекое, безмятежное время – определение, конечно, гипотетическое, не уверен, что я понимаю события тех лет правильно, – заметил Чернов, – Константинов и написал знаменитый портрет Астрид Брандт. Довольно грузный по фактуре и двусмысленный – он как будто предчувствовал, что их любовь продлится недолго и приведет к трагическим последствиям. Но, может быть, я ошибочно приписываю ей определенный смысл, зная конец этой истории... И вашу гравюрку он тоже исполнил в это же время – время безудержного увлечения Астрид и поиска нового пути в жизни и искусстве.

– Ленинград был давней, нереализованной мечтой Константинова, к ней добавились рассказы-мечтания Астрид, и ему захотелось создать нечто достоверное, что могло бы заменить ему неосуществленную возможность...

Александр Чернов, судя по всему, прекрасно разбирался в метафизических особенностях той давней истории. Слушать его было интересно, и я подумал, что в рассказе наверняка присутствует щепотка вымысла, делающая его поэтичным. Мне не хотелось разрушать ее нежную, тонкую ткань настойчивым требованием правды. Творец, живущий искусством, понимает, насколько правда небез-

опасна. Как внешняя среда для слишком ярких и чистых красок на картинах Куинджи...

И все же один вопрос так и вертелся на языке.

– Как все-таки закончилась эта история? – спросил я моего нового приятеля. – Со знаком плюс или знаком минус?

– Знаки, знаки... – вздохнул Александр Чернов. – Если бы дело было только в них! Тогда и Астрид Брандт не приехала бы в Россию. И Константинов не влюбился бы в эту женщину, а перед этим – в Любовь Ивановну. А до нее – в свою живопись. И так далее... Словом, судьба этих людей – и нашей вместе с ними! – могла быть совсем иной. Но кто умеет читать пресловутые «знаки»? – воскликнул Чернов. – Вы, например, умеете?

– Нет, – честно признался я. – То есть, конечно, умею. Когда все позади. По поговорке – русский умен задним числом.

– Не только русский, – прикурил Чернов потухшую сигарету; он начинал трезветь, и лицо его приняло некрасивое, тяжелое выражение. – Так читать умеют все.

Я видел, как неприятна ему тема финала, однако мое любопытство не терпело отлагательства: у этой странной истории и конец должен быть не менее удивительный.

И я не ошибся.

Вот что поведал сквозь зубы не на шутку осведомленный «искусствовед».

Было начало ноября, наша пара уже переехала на зиму в город. Внезапно Астрид – так же внезапно, как и всё, что она говорила и предпринимала в последние недели их жизни, – предложила Константинову поехать в последний раз в Степное.

– Попрощаемся с морем. До следующего лета, – печально улыбнулась она.

– Ты ведь знаешь, я никогда особенно не любила перемен, – заговорила она несколько позже, – и мне кажется, в этом вопросе мы начинаем сходиться.

Она слабо улыбнулась, разглядывая Константинова, – внимательно, словно видела его впервые.

То ли она проверяла его на сообразительность, как делала с первых дней знакомства. То ли – что вероятнее всего – открыла в нем и себе что-то новое, что прежде было неведомо и, возможно, произвело в ней важные перемены.

На этот счет трудно высказаться определенно. Ведь что мы знаем друг о друге? – ничего. Кроме того очевидного, что не вызывает сомнений. Но есть ли это настоящая правда о человеке – неизвест-

но... Иной раз кажется, что нет, не является. Лишь вводит в заблуждение, искажает подлинный лик хорошо знакомого.

Константинов, всецело поглощенный новой работой – в эти дни он начал серию акварелей по мотивам чеховской «Степи», – не придал значения словам Астрид. Как не дал себе труда разобраться в причинах грустной интонации в ее голосе, во всем ее тихом, обреченном виде. И только откладывая лист с наброском очередного пейзажа – как правило, по вечерам, когда он не мог работать из-за плохого освещения, – он впадал в то же сумеречное состояние, что и Астрид. Он тяготился прожитым днем, хотя в нем не было ничего трагического и безнадежного. Мучился неясным стремлением куда-то и зачем-то, как будто день нынешний был не радостью, а досадной задержкой на пути к туманному упованию...

Особенно сильно его донимала похожесть проходивших с одной и той же скоростью и с тем же содержанием печальных дней конца ноября. Ему была непонятна тяга Астрид к покою и созерцанию. Но еще больше он недоумевал по поводу ее нового, сильно его смущавшего отношения к течению их дней. Казалось, она не столько верила в спасительную сущность статики, сколько уверила себя в ее необходимости. А в душе давно в ней разочаровалась, ведь постоянство так далеко от человеческих устремлений! Но что вырастало, созревало внутри этой ставшей вдруг тихой и грустной женщины – Константинов не мог знать. Он боялся подступиться к запретной теме, не доверяя своей проницательности и силе характера.

И все-таки, думал он, покуривая на крыльце и глядя, как заходит за черную тучу бледное осеннее солнце, без проникновения во внутреннюю жизнь Астрид ему не обойтись. Если, конечно, он хочет, чтобы из их отношений исчезли обидчивая молчаливость и недосказанность.

Со стороны моря дул сильный ветер, – с каждым днем он становился злее и беспощаднее. Сезон штормов медленно, но верно овладевал морем и холодным, пустынным побережьем. Всей этой сухой, потрескавшейся за жаркие летние месяцы каменистой сушей – безлюдной и безжизненной.

Астрид целыми днями просиживала в парусиновом шезлонге. На ней был теплый меховой жакет, делавший ее похожей на только что оправившуюся от тяжелой болезни моложавую старушку.

Однажды она засмеялась и сказала:

– Хочешь, я прочту тебе стихи? Я ведь учу русский язык по стихам, это самый верный способ выучить язык.

– Вот как? Ты раньше не говорила. О том, что читаешь стихи. Я и книг у тебя не видел.

– Ты слишком занят своими пейзажами. Тебе некогда обращать внимание на меня. Смотреть и писать – не одно и то же. Боюсь, и чувства эти занятия вызывают разные.

– Что за стихи? – уклончиво спросил он.

– Ваши, русские. Старые.

И принялась старательно выпевать незнакомые строфы:

Заря уже над кровлями взошла.
Пора. Пестрит узорами страница.
И синева усталости ложится
На влажный блеск оконного стекла.

Но жаль уснуть. Смущенная душа
Так непривычно вдруг помолодела,
Так просто рифма легкая задела
Медлительный клинок карандаша.

Я не творю. С улыбкой, в полусне,
Набрасываю на бумагу строки,
И свежий ветер трогает мне щеки
Сквозь занавес, раздутый на окне.

Как я люблю непрочный этот час
Полусознания, полудремоты.
Как пуст мой дом. Как дружелюбно кто-то
Касается моих усталых глаз.

О, это ты, последняя отрада –
В квадратном небе зреет синева,
Чуть-чуть шуршит незримая листва,
И никого, и никого не надо*.

– Больше всего мне нравится последняя строфа, – сказала Астрид: «О, это ты, последняя отрада...» – «...И никого, и никого не надо...»

– Тебе никогда не хотелось, чтобы твой дом был пуст, как и мой? – спросила она, помолчав. Константинов впервые за все месяцы их знакомства и любви почувствовал, как далека от него эта женщина. Или он далек от нее...

– Интересно, там, – кивнула она, – море такого же цвета, каким

* Стихотворение П. Корвин-Пиотровского

оно кажется отсюда? Или синее-синее, как весной и летом? Я ведь никогда не выходила в море ни на лодке, ни на корабле, ты мне поможешь? – взглянула она на Константинова. Но думала, конечно, не о нем. Не о нем, но о своей причуде, и ему ничего не оставалось, как ей пообещать.

– Хорошо. Это легко устроить.

– Я думала, сезон морских прогулок уже закончился.

– Сезон закончился, но это не имеет значения. Мы возьмем лодку у здешних рыбаков. Простую, резиновую лодку, легкую в управлении. Она устойчива и быстроходна.

– Хорошо, – вздохнула она. – Резиновую так резиновую. Пойдем в дом, майн либер. Я угощу тебя чаем, и ты продолжишь писать свои пустоши...

– Так они на следующий день и поступили, – откинулся на стуле Александр Чернов.

– На следующий день после завтрака Константинов одолжил у соседа-рыбака тяжелую, в резиновых заплатах, надувную лодку и поплевал на руки. Надевшая по случаю выхода в море белую шляпку Астрид выглядела чопорной немецкой дамой.

И они вышли в море.

Дул теплый бриз. Легкий ветер подгонял весело мчавшуюся лодчонку. Солнце слепило глаза, и на горизонте не было ни облачка.

Опустив ладонь в бурлившую зеленую воду, Астрид весело напевала немецкую песенку о старом рыбаке, который вместо рыбы поймал в сети зеленоглазую русалку, и подшучивала над Константиновым: «Если я превращусь в русалку, ты не откажешься от меня?» Константинов улыбался и помалкивал, делая вид, что с трудом управляет лодкой. Берег удалялся, покрывался тонкой сиреневой кисеей.

Когда они обогнули длинный, вытянутый острым клинком и уходивший далеко в море мыс, погода стала портиться. Подул сильный норд-вест, что означало приближение бури. Лодку с двумя путешественниками стало относить в море. Небо затянули сплошные тучи – все произошло так быстро, что они не успели опомниться и повернуть назад. Когда с тяжелым шумом грянул холодный ливень, путешественники были далеко от берега. Как потом рассказывали местные рыбаки, они, вероятно, потеряли ориентацию из-за густого тумана.

– Хотя я думаю, – сказал Александр Чернов, – шансов добраться до берега у них и так не было: уж очень силен был ураган, относивший их в море...

О странном исчезновении Константинова и Астрид в городе

узнали через несколько дней. Несколько раз к ним домой заезжал Кузминский, чтобы напомнить об уплате профсоюзных взносов. Не застав его и Астрид, он разволновался и поднял на ноги милицию и спасателей. Спасательная служба, как всегда осенью, работала плохо, а милиция не спешила с поисками, выжидая, пока пройдут положенные три дня после исчезновения.

Но Константинов и Астрид не появились ни на третий день, ни на десятый. Кузминский написал заявление о пропаже, милиция сбилась с ног, но зацепок никаких не было; никто в поселке их не видел и ничего об их судьбе не знал.

– Взяли у меня лодку, – покряхтывал дед Антон, тряся покрытым изморозью щетины тощим подбородком, – и – зникли. Если они не найдутся, хто мени лодку возвернёт?

– Какая лодка, дед, – вздыхал поселковый милиционер Афанасий Передерий, длинный, поджарый и хмурый человек, – ему надоело писать докладные и объяснительные записки начальству о пропаже людей во вверенном ему поселке; свое негодование он вымещал на каждом попавшем в поле его зрения жителе. – Люди пропали, а ты – лодка... Вот оштрафую тебя за соучастие!.. Показывай, где ты их провожал.

Дед Антон привел участкового на то место на берегу, откуда отплыли в последнее плавание Константинов и Астрид Брандт.

Дул сильный ветер. Старшина, придерживая рукой форменную фуражку, долго смотрел на мокрый песок, словно надеялся увидеть на нем следы отчалившей резиновой лодки. Но так ничего и не разглядел...

Волны с ненавистью накатывались на плоский, блестящий берег.

– Их тела так и не нашли, – заключил Александр Чернов. – А вскоре люди совсем о них забыли. Пока человек на виду, о нем помнят и спрашивают, но стоит исчезнуть – и ты уже никому не нужен... Вспомнили вы, да и то, я думаю, случайно, – слабо улыбнулся он, подавая на прощанье руку.

Я пожал ее, и больше мы с ним никогда не виделись.

Сентябрь, 2012
Мариуполь

Александр Беляев

* * *

В человеке есть походка
Жесты прочие фигуры
Как бы новостная сводка
Как бы описать с натуры
Непреклонную осанку
И смертельную усталость
Налицо и наизнанку
Это все меня касалось

* * *

Смотри вот дерево роняет
Лист осторожный и сухой
Оно тем самым отменяет
Слова «хороший» и «плохой»

Пусть бродят жизненные соки
Пусть ни на что не набредут
Оставим эти экивоки
И остановимся вот тут

Есть режиссерская задача
И есть актерская игра
Где вместо смеха или плача
Твердит древесная кора

* * *

Бутылка с водой в ожиданье цветка
Стекло зеленеет вода преломляет
Лучи проходящие в виде пучка
Сквозь воду и это меня вдохновляет
И сосны которые сходятся на
Участке на темной границе сознанья
И сна и сознанья и сна и созна-
Сосна за окном и вода в ожиданье

* * *

Яркий ночной фиолет фонаря
Ауры нимб или облако газа
Высветит зрению зрящему зря
Зримую область в окрестностях фразы
Мокрую яблоню куст бузины
Ржавую крышу понурой беседки
Звуки которые плохо слышны
Будку с собакой и в миске объедки
Прочие вещи и тени вещей
Не настоявшийся ненастоящий
Отсвет слепящий среди вообще
Неописуемой местности спящей

INVERTED FOREST
(по Сэлинджеру)

Приблизительное «Утро малодушия»,
А позднее – «Человек на карусели».
Он мяча боится, гениально слушает,
В ресторан вошли и у окна присели.
Непролазный, не проверенный, покинутый,
Не пойми во что ушедший с головой,
Не пустыня, но огромный, опрокинутый
Лес с подземною, пылающей листвой.

* * *

Меня пугала несоразмерность
Хранилищ книжности магазинной
Где я проваливался в безмерность
На полки с памятью мнемозинной

Меня устраивала укромность
Пространства личного кабинета
Где я исследовал монотонность
Конца зимы и начала лета

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Л. Ф. Краснова

Биографические данные о Войска Донского генерале от кавалерии Петре Николаевиче Краснове*

БИОГРАФИЯ П. Н. КРАСНОВА В СОБРАНИИ БАРОНЕССЫ М. Д. ВРАНГЕЛЬ

С конца 1920-х годов до начала 1930-х годов баронесса Мария Дмитриевна Врангель (1857–1944) собирала биографические данные о русской диаспоре по всему миру для альбома-сборника, который должен был запечатлеть достижения русской эмиграции во всех сферах жизни. Она обращалась ко всем видным деятелям науки, искусства, литературы и театра, а также к общественным и военным представителям эмиграции с просьбой, чтобы они присылали ей свои биографические данные[1]. Со временем этот архив перерос все воображаемые границы, и баронесса Врангель его передала в Гуверовский архив при Стэнфордском университете в Калифорнии, так ничего и не издав.

Среди тех, к кому она обращалась, был генерал Петр Николаевич Краснов (1869–1947) – видный военный командир дореволюционной России, участник Гражданской войны и талантливый писатель, чьи произведения пользовались огромной популярностью среди эмигрантских читателей. На просьбу баронессы написать «автобиографическое» письмо Краснов ответил: «Глубокоуважаемая Мария Дмитриевна, – Простите, что на этот раз так задержался с ответом на любезное Ваше письмо. Но поставили Вы мне такую задачу, что я с нею не справился. Вы хотите, чтобы я написал Вам свою краткую биографию, где изложил бы свою деятельность в прошлом и в настоящем. Прежде всего смутило меня, как это самому писать о себе, не такой уж я достопримечательный человек, чтобы кому бы то ни было преподносить свое маленькое ‘я’» (письмо от 4 октября 1932 года)[2].

К счастью, жена Краснова, Лидия Федоровна[3], написала биографию своего мужа для баронессы Врангель. Следующая записочка была приложена к биографии:

---

* Составлено 12 декабря 1932 года в Сантени департамента Сены-и-Уазы, Франция. (*Л. Ф. Краснова*)

Глубокоуважаемая Мария Дмитриевна,

Я узнала о Вашем желании иметь биографию моего мужа, основанную на его послужном списке. Я знаю, что он никогда не занимался этим делом, так как считает, что не так велика его личность, чтобы стоило ею заниматься. Может быть, я как жена его и могу быть пристрастной к его работе, протекшей все время на моих глазах, посему я и стараюсь передать только факты, не давая им никакого освещения. Воспользовавшись отсутствием мужа, я напечатала на машинке прилагаемую при сем биографию Петра Николаевича, основанную на послужном списке, на тех биографиях, которые он давал для иностранных изданий его сочинений, а также на том, что я знала о его детстве от его матери, с которою была очень дружна, и от его сестры. Я буду очень рада, если эта биография Вам пригодится.

Искренне уважающая Вас,

Л. Ф. Краснова.

Santeny

14 декабря 1932 г.

Эта биография примечательна тем, что в ней приводятся неизвестные факты и события из жизни Краснова, мимо которых ни один его биограф не должен пройти. Может быть, труд Лидии Федоровны сыграет свою роль в полемике вокруг репутации генерала Краснова и поможет определить его место в истории.

Биография и письма печатаются по новой орфографии с оригиналов, хранимых в Hoover Institution Archives, Maria Wrangel Collection, Box 14, file 15, с сохранением стилистических и языковых особенностей авторов. За техническую помощь благодарю А. Тюрина и А. Шмелева.

Ж. Шерон

---

1. Биографические сведения относительно некоторых литераторов эмиграции были опубликованы; см.: *Шевченко И.* Материалы о русской эмиграции 1920–1930-х гг. В собрании баронессы М. Д. Врангель (Архив Гуверского института в Стэнфорде). – Stanford Slavic Studies. Vol. 9. Stanford, 1995.

2. Но когда Краснов впервые попал в эмиграцию, он написал «автобиографическое» письмо для редакции журнала «Новая русская книга»; см, НЖ. №. 273. Сс. 238-243.

3. Краснова Лидия Федоровна (1870–1949) – жена Краснова с 1896 года. Выступала как камерная певица (меццо-сопрано). Чудом избежав ужасной участи своего мужа (насильственная репатриация и казнь в Москве), она скрывалась в американской зоне оккупации, в Мюнхене, где ей удалось сохранить эмигрантский архив Краснова, который ныне хранится в Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле (шт. Нью-Йорк).

Петр Николаевич Краснов родился 10 сентября 1869 года в Санкт-Петербурге, на Песках[1]. Крещен в греческом соборе там же[2].

Его отец[3], тогда подполковник Генерального штаба, служил в управлении Иррегулярных войск (впоследствии Главное управление Казачьих войск). Звали его Николай Иванович Краснов. Он был донским казаком Каргинской станицы (тогда Вешенской) и происходил из очень старой казачьей фамилии.

Дед, Иван Иванович Краснов[4], защитник Таганрога в Севастопольскую войну, георгиевский кавалер, генерал-лейтенант, в прошлом – командир лейб-гвардии казачьего полка, потом 3-ей Легкой Гвардейской кавалерийской дивизии, потом атаман Бугского казачьего войска, был известен своими литературными дарованиями, он отлично писал стихи и оставил после себя исторический труд «Оборона Таганрога в 1855 году», а также несколько сочинений по истории и бытовым очеркам донских казаков.

Прадед – генерал-лейтенант Иван Кузьмич[5] – был сподвижником Суворова, участником штурма Измаила[6] и Праги[7], был убит накануне Бородинского сражения в сражении авангарда Платова[8] у Колецкого монастыря[9]. Он был большим другом Платова. Прадед Петра Николаевича отчасти изображен Петром Николаевичем в его романе «С нами Бог»[10] под именем Ивана Минаева. Он был тоже Георгиевским кавалером и основателем красновской вотчины Краснополье, недалеко от Урюпинской станицы Хоперского округа Войска Донского.

Бабушка Петра Николаевича была рожденная фон Гантинг[11], дочь генерал-губернатора Западной Сибири, женщина большого ума, такта и громадной силы воли.

Отец был известен как ученый военный статистик[12], первый составивший «Историческое описание Войска Донского» и оставивший после себя много напечатанных больших исторических трудов, главным образом по истории Войска Донского[13]. Он скончался в 1900 году в чине генерал-лейтенанта. Почти всю службу он провел в Петербурге в Управлении казачьих войск, потом был депутатом от Войска Донского. Был участником Польской кампании 1863 года, Севастопольской кампании 1855 года и Русско-Турецкой войны 1877–78 годов. Имел боевые ордена до Св. Владимира 4-ой степени с мечами и бантом включительно.

Мать Петра Николаевича, Феодосья Ильинична Гаврилова, была дочерью управляющего Двором Великого князя Михаила Павловича[14] и детство свое провела в Петербурге, то в Михайловском дворце, то в Елагинском дворце. Она была весьма начитанна и прекрасно знала прошлое Петербурга.

Семья петербургских Красновых, как их называли в отличие от его дядей и теток Красновых краснопольских, была большая, кроме Петра Николаевича были сыновья:

Андрей[15], впоследствии известный профессор ботаники и геологии Харьковского университета, известный своими большими учеными трудами и многочисленными путешествиями, основатель батумского Ботанического сада, Чаквинской чайной плантации, первый насадивший культуру чая и бамбуков в Закавказье;

Платон[16], ученый-математик, известный своими переводами Сенеки, Тибула и других латинских поэтов и философов, сам поэт и художественный критик, бывший на крупном посту в Управлении казенных дорог;

Иван[17], младший [брат] Петра Николаевича, впоследствии инженер путей сообщения и

одна сестра Анна.

В семье Красновых росла и воспитывалась еще двоюродная сестра Петра Николаевича, Александра Ивановна Краснова, в замужестве Махонина, мать знаменитого инженера-изобретателя Ивана Ивановича Махонина[18].

Семья Красновых была очень большая, средства же на воспитание и содержание были невелики и все время уменьшались. Заложенное и перезаложенное, находившееся в аренде у бывших крепостных крестьян за ничтожную цену именье почти ничего не давало, жалованья не хватало, и отец Петра Николаевича должен был постепенно думать о заработке литературным трудом. Он писал во многих тогдашних газетах и журналах.

Таким образом Петр Николаевич с раннего детства рос в нужде и в уважении писательского труда. В их доме бывали многие писатели и журналисты, в том числе Григорович[19].

Первоначальное образование до 10-летнего возраста Петр Николаевич получал дома, для чего к детям была приглашена в дом гувернантка из *пепиньерок** Екатерининского института в Петербурге Вера Николаевна Малиновская. С нею Петр Николаевич занимался Законом Божьим, языками французским и немецким. Математику и русский язык преподавал Петру Николаевичу сам отец, по утрам, до отправления на службу. Он заставлял Петра Николаевича слагать и вычитать, а также писать под диктовку громадные, в 20-30 знаков, цифры. В отношении преподавания русского языка он ограничивался тем, что вместо диктовки заставлял переписывать – и помногу – из лучших русских авторов, преимущественно из Гоголя.

---

* Здесь: воспитанницы (*фр.*)

Куски давались такие большие, что Петр Николаевич, стараясь скорее выполнить работу, переписывал целыми большими фразами, часто перевирая текст и вставляя отсебятину. Эта система развила большую зрительную память у Петра Николаевича и выработала у него слог.

Семья была большая, средства ограниченные, потому детство Петра Николаевича было без больших радостей. Главными радостями были прогулки с матерью по Петербургу. Особенных игрушек, в конце концов, у Петра Николаевича не было. Он больше любил те, которые сам делал себе из подручного материала.

С самого раннего детства Петр Николаевич очень любил животных и особенно лошадей. Он был способен все отдать, чтобы погладить и приласкать любую – крестьянскую, извозчичью – лошадь. Мечты были одни и те же – быть военным, казаком, иметь лошадей, быть на войне и на ней прославиться как прадед, как дед, как отец. Это увеличивалось еще и тем, что жившая в их семье сестра его матери, старая дева Елена Ильинична Гаврилова, постоянно снабжала мальчика Петра Николаевича книгами о войне. Так еще до гимназии он прочел «Севастопольские рассказы» графа Л. Н. Толстого, биографию Суворова Милютина[20], зачитывался Немировичем-Данченко[21] и Каразиным[22]. Он мечтал поступить в корпус. Отец, разочарованный в военной службе, хотел раньше дать своим детям общее высшее образование и хотел, чтобы они все прошли через университет.

В 1879 году Петр Николаевич поступил в С.-Петербургскую I классическую гимназию[23], где уже были его братья: Платон – в 4-ом классе и Андрей – в 6-ом.

* * *

С.-Петербургская I классическая гимназия [была] на углу Ивановской и Кабинетной улиц. Родители Петра Николаевича для удобства детей жили поблизости – то в доме Лаврова, втором от угла Ивановской по Загородному, потом на Ивановской против гимназии.

Это было время сурового, узкого классицизма. Министром народного просвещения был сначала граф Толстой[24], потом Делянов[25]. Начиная с 1-го класса гимназисты имели 7 недельных уроков латыни, греческий язык начинали преподавать с 3-го класса и посвящали ему 6 недельных часов. Преподавание языков с 3-го класса заключалось в зазубривании грамматических правил, неправильностей языка и писания переводов как с латинского на русский, так и с русского на латинский (экстемпоралия).

Вместе с тем, это было время глухой борьбы народовольцев против правительства. Покушения на Императора Александра II следо-

вали одно за другим и завершились событием 1 марта 1881 года смертью мученика Государя. Все это отражалось и в самой гимназии. Среди товарищей Петра Николаевича был сын редактора «Русской мысли» Благосветлов. С ним шли в классы, рассуждая о борьбе против правительства, и в классе были свои кружки. Петр Николаевич держался в стороне от всего этого. Он увлекался по-прежнему лошадьми и солдатами. В свободное время бегал на Семеновский плац смотреть учения семеновцев, егерей Константиновского, тогда пехотного, училища и своих любимых лейб-казаков и атаманцев. По воскресеньям, выпросив у матери 2-гривенный, отправлялся на бега смотреть своих обожаемых лошадей. Никогда он не покушался играть на тотализаторе, но до почти замерзания любовался бегом одиночек, пар у дышла, пар с пристяжкой и троек. Он знал всех знаменитых рысаков и их владельцев: Богдановых, Вишнюковых и др.

По традиции, следуя примеру своих старших братьев, он в первых 4 классах был вторым учеником. Но дальше все тяжелее и тяжелее ему давалась латинская премудрость, все больше он отдалялся со своими симпатиями к военной службе от своих товарищей. Из 5-го в 6-ой класс он перешел с трудом, с тройкою за латинское экстемпоралe, и летом умолил свою мать, чтобы она упросила отца отдать его в кадетский корпус.

* * *

Директором 3-го Александровского корпуса[26] был товарищ по корпусу отца Петра Николаевича генерал-лейтенант Рудановский[27]. Отец переговорил с ним, направление корпуса понравилось отцу Петра Николаевича, и он, скрепя сердце, согласился на то, чтобы Петр Николаевич держал экзамены на перевод в 5-ый класс корпуса.

Осенью 1884 года Петр Николаевич поступил в корпус приходящим, так как в Александровском корпусе тогда пансионеров не было. Первый год ему дался трудно, надо было нагонять по математике, и Петр Николаевич был пятым учеником. С 6-го класса до самого окончания корпуса он был уже вторым, первым был Грендаль (впоследствии лейб-егерь, офицер Генерального штаба, покончивший с собою по любви). Окончил он курс вице-унтер-офицером, взводным 2-го взвода, был в первых кадетских лагерях под Петергофом. По баллам Петр Николаевич мог поступить в любое из специальных училищ. Его мечтою было поступить в Николаевское кавалерийское училище[28]. Тогда в нем еще не было сотни юнкеров, а в эскадроне требовался реверс, и самая жизнь в эскадроне была обставлена так, что без собственных денег там быть было нельзя. Между тем материальное положение семьи Красновых было нелегкое. Достаточно сказать, что Петр

Николаевич, будучи в корпусе, получал на карманные расходы от матери 20 копеек в месяц, а в училище 2 рубля в месяц. Такие малые деньги благотворно отозвались на нем. Петр Николаевич и не думал начинать, например, курить, ибо вполне естественным был вопрос: а на что же покупать папиросы?.. Петр Николаевич всегда и в корпус, и из корпуса, какая бы ни была погода, ходил пешком. Извозчик казался ему недосягаемой роскошью. Он почти никогда не бывал в театрах, и когда бывал, то в дешевых местах. Также и в пище и в питье он был весьма воздержан. Детским идеалом его были спартанцы и... Суворов. Как и в раннем детстве, мечтою Петра Николаевича был Атаманский полк[29]. Поступить в этот полк из специального училища казалось труднее, и Петр Николаевич избрал для себя I Военное Павловское училище.

* * *

В послужном списке Петра Николаевича значится:

«В службу поступил из кадетов Александровского кадетского корпуса юнкерсом рядового звания в I Павловское училище 1887 года сентября 1-го.»

Начальником училища был генерал-лейтенант Рыкачев[30], георгиевский кавалер, бывший командир Волынского полка. Режим был строгий. Юнкера других училищ называли павловцев «дисциплинарным батальоном». Петр Николаевич попал в училище как раз в ту пору, когда старое заканчивалось, новое еще не начиналось[31]. Тяжелая 4-линейная малокалиберная винтовка системы Бердана номер 2-ой, весом в 12 фунтов, увлечение сомкнутыми строями, выправкой и шагистикой, целевая стрельба, гимнастика, педантичная муштра, караулы на водосвятии в Зимнем дворце, зимний парад на площади перед Зимним дворцом, обучение на лекциях с частыми репетициями, раннее вставание, холод зимою в ротном помещении, соломенный матрац и подушка, набитая сеном, жидкое одеяло, – все это являло школу суровую, однако нисколько не испугавшую Петра Николаевича. В роте он чувствовал себя в своей сфере. Он сразу стал учиться на полные двенадцать и, конкурируя с тем же своим товарищем по корпусу Грендалем, был то первым, то вторым на курсе.

10 августа 1888 года Петр Николаевич произведен в портупей-юнкера с назначением исполнения должности фельдфебеля роты Его Величества, 1 ноября того же года – в старшие портупей-юнкера и 5 декабря – в фельдфебеля. Надо сказать, что эти производства ему доставили, пожалуй, больше радости, чем производство в офицеры и генеральские чины.

Как фельдфебель Государевой роты Петр Николаевич несколько раз в год ездил во дворец приносить поздравление Государю

Императору по разным случаям. Отец Петра Николаевича как раз в то время читал Государю Наследнику Николаю Александровичу лекции военной статистики и благодаря этому Император Александр III знал и фельдфебеля своей роты Павловского училища.

На летнем смотру батальона училища Петр Николаевич, окончивший курс с полными двенадцатью по всем предметам и занесенный на мраморную доску училища, вместе с Грендалем, по приказанию Государя, представлял ему роту за ротного командира. По окончании смотра Государь спросил Петра Николаевича, куда он желает выйти в офицеры.

– Лейб-гвардии в Атаманский Его Императорского Величества Государя Наследника Цесаревича полк, – отвечал фельдфебель Краснов.

– За чем же дело стало? Вакансии есть?.. – сказал Государь.

– Вакансии есть, но по правилам Войска нужно выйти в комплект Донских казачьих полков и прослужить в станице около года.

– Ну, это я устрою.

10 августа, по окончании полного курса наук, Петр Николаевич Высочайшим приказом произведен в комплект Донских казачьих армейских полков с прикомандированием, по Высочайшему повелению, к лейб-гвардии Атаманскому Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полку.

Годы детства, учения в гимназии, корпусе и военном училище отразились в повестях Петра Николаевича: «Софочка», «Фарфоровый кролик» и более всего в романе «Опавшие листья»[32]. Некоторые критики *совершенно неосновательно* думают, что этот роман является автобиографическим. Это неверно. В нем взяты лишь некоторые черты гимназического и училищного быта.

* * *

29 августа 1889 года началась офицерская служба в Атаманском полку.

22 августа 1890 года Петр Николаевич был переведен в полк корнетом. Жил Петр Николаевич сначала на «вольной» квартире в нанятой от жильцов комнате на Гончарной улице, потом поселился со своим товарищем, выпущенным в полк в том же году из Николаевского училища корнетом Мандрыкиным, в маленькой комнате в казармах полка на Обводном канале подле съигрывочной (sic!) комнаты трубачевской команды*. Там, в крошечном помещении, жили 2 офицера, 2 денщика и большая собака Мандрыкина.

---

* «Трубачевская команда» – небольшой духовой оркестр и хор из воспитанников полковой школы, как правило, детей нижних чинов конной гвардии. (*Ред.*)

Корнет Мандрыкин – спортсмен, участник скачек и страстный игрок, увлек и Петра Николаевича на стезю спорта. Петр Николаевич становится постоянным участником скачек в Красном Селе, конкуров* в Михайловском манеже и стоверстных пробегов.

Тот же недостаток средств помешал Петру Николаевичу составить себе большое скаковое имя. Тем не менее на своем оригинальной масти совершенно золотом, светло-гнедом жеребце Стрелецкого государственного завода Граде, англо-арабе, Петру Николаевичу удается вырвать раз победу на 3-верстном стипл-чейз**, взять приз на бригадной офицерской скачке, взять 14 призов на конкур-иппик*** в Михайловском манеже, 3 приза на 100-верстных пробегах.

Эти призы помогали Петру Николаевичу справляться с матерьяльными затруднениями. Петр Николаевич из дома ничего не получал, жил на одно корнетское жалованье, 40 с чем-то рублей. Командир полка генерал-майор Митрофан Ильич Греков[33], полковой адъютант штабс-ротмистр Вершинин и все старшие офицеры более чем хорошо отнеслись к молодому неимущему офицеру. Петра Николаевича постоянно назначают на должность делопроизводителя полкового суда, что давало 8 рублей в месяц «столовых» денег. Вершинин устраивает ему уроки с вольноопределяющимися и с камер-пажами, неуспевающими, и смотрят сквозь пальцы на то, что Петр Николаевич начинает писать в газетах.

Так, в марте 1891 года появляется первая статья Петра Николаевича в «Русском Инвалиде»: «Казачий шатер-палатка полковника Чеботарева»[34] и следом за этим Петр Николаевич начинает писать бульварные романы-фельетоны в «Петербургском Листке»[35] («Мотя») при Скроботове[36], «Погоня за миллионами» и др. в «Петербургской Газете»[37] Худекова[38] и фельетоны «Вчера-сегодня-завтра» в «Биржевых Ведомостях» у Проппера[39]. Начальство снисходительно смотрело на это, понимая, что без этого подсобного заработка Петру Николаевичу невозможно прожить в гвардейском полку. За свои работы Петр Николаевич получал грошовую плату. Газеты ему платили по 2 копейки за строчку, «Русский Инвалид» – по 5.

Отец Петра Николаевича желал, чтобы Петр Николаевич окончил Академию Генерального штаба[40], и летом 1892 года Петр Николаевич стал готовиться к вступительному экзамену в Академию.

---

* concours – состязание (*фр.*).

** steeple-chase – бег с препятствиями (*англ.*).

*** concours hippique – конное состязание (*фр.*).

* * *

Приказом по Генеральному штабу от 15 октября 1892 года за № 133 Петр Николаевич зачислен в Николаевскую Академию Генерального штаба. Этот период жизни Петра Николаевича описан подробно в «Русском Инвалиде» (парижское издание) за 1933 год в ряде статей под названием «Старая академия»[41].

* * *

Вернувшись в полк по невыдержании переходного экзамена на 2-ой курс Академии, Петр Николаевич находит со стороны полкового начальства и товарищей самый теплый и радушный прием. Его постоянно назначают исполняющим должность полкового адъютанта, так как полковой адъютант сотник Поляков то хворал, то уезжал в отпуск для устройства своих дел – он собирался покинуть полк.

Командир полка Митрофан Ильич Греков поручает Петру Николаевичу составить историю полка[42], и Петр Николаевич проводит теперь все дни то в архиве Главного штаба, то [в] библиотеке Главного штаба, то в Публичной библиотеке. Его работы начинают давать некоторый результат, когда Митрофан Ильич Греков сдает полк генерал-майору Поздееву, полковой адъютант Поляков уходит из полка, и Петр Николаевич назначается 1 августа 1895 года исполняющим должность полкового адъютанта.

К этому времени относится знакомство Петра Николаевича с семьею Гринейзен, глава которой был крупным чиновником народного просвещения и директором Гатчинского Института. Петр Николаевич начинает ухаживать за 3-ей дочерью, Лидией Федоровной, бывшей тогда артисткой Императорской Московской оперы, потом Петербургской оперы, только что покинувшей сцену и заменившей ее концертной эстрадой. Из казарменной офицерской и казачьей среды Петр Николаевич попадает в артистический мир, в семью весьма образованных и интеллигентных людей. ухаживанье переходит в серьезную разделенную любовь, и Петр Николаевич, заручившись от своего дяди реверсом, делает Лидии Федоровне предложение и получает согласие.

30 июня 1896 года в полковой церкви Петр Николаевич обвенчался с Лидией Федоровной Гринейзен. Брак был по любви, Петр Николаевич не получил приданого, и с первых же дней надо было думать, на что и как жить. Вернуться на сцену, где Лидия Федоровна делала хорошую карьеру и уже получала большой оклад, как жена гвардейского офицера Лидия Федоровна не могла. Для нее началась трудовая жизнь с большими концертными турне (певица Л. Ф. Бакмансон[43]), в которые она ездила то с певцом Мельниковым[44], то с

пианисткой Ядвигой Залесской[45]; для Петра Николаевича приходилось напрягать свою фантазию и доводить трудоспособность до предела, чтобы при постоянно напряженной деятельности полкового адъютанта находить время еще и писать свои романы. Как часто его жена видела, как, работая по ночам, он засыпал над рукописью. Матерьяльное положение Петра Николаевича становилось все хуже и хуже, уже появились долги, чего Петр Николаевич всю жизнь боялся больше всего.

Осенью 1897 года, вернувшись из первого своего отпуска, разбирая полученные в его отсутствие бумаги, узнал о назначении к русскому посланнику в Абиссинию казачьего конвоя от гвардейской казачьей бригады. Петр Николаевич стал хлопотать о назначении его начальником этого конвоя. С одной стороны, в нем говорила необходимость улучшить как-то свое матерьяльное положение, с другой стороны, интерес повидать новые страны, полковое самолюбие, задетое тем, что начальником казачьего конвоя предполагалось назначить лейб-гвардии Измайловского полка поручика Арнольди.

14 октября 1897 года Петр Николаевич сдал должность полкового адъютанта и в тот же день получился приказ: «...с Высочайшего соизволения сотник Краснов командирован в Абиссинию начальником конвоя при дипломатической миссии»[46]. Из этой командировки он возвратился 31 мая 1898 года.

Пребывание Петра Николаевича в Абиссинии и весь поход его туда описан в большой книге, изданной в Петербурге в 1900 году типографией И. Гольдберга под названием «Казаки в Абиссинии»[47].

* * *

Вернувшись в полк, Петр Николаевич занял прежнее свое место в строю 3-ей сотни полка. Но дневник его как начальника конвоя в Абиссинии, печатавшийся в «Военном Сборнике», обратил на него внимание. Бывший в то время Главноуполномоченным Красного Креста генерал-лейтенант Шведов[48], сам бывший несколько раньше в Абиссинии[49], пожелал, чтобы Петр Николаевич сопровождал его в командировке в голодные губернии на Волге[50], и 3 ноября 1898 года Петр Николаевич командирован в распоряжение Российского общества Красного Креста для выполнения нужд населения в губерниях, пострадавших от неурожая. Из командировки этой Петр Николаевич возвратился к полку 23 декабря 1898 года. Очерки описания работы там появлялись в «Биржевых ведомостях» за тот же год.

Петр Николаевич продолжал свою строевую службу в строю 3-ей сотни, часто, преимущественно в лагерное время, исполняя обязанности командира сотни во время отсутствия своего сотенного коман-

дира И. О. Дукмасова, по болезни уезжавшего то на 2, то на 4 месяца на воды.

В это время на посту редактора газеты «Русский Инвалид» генерал-лейтенанта Лачинова[51] сменил молодой полковник Генерального штаба Поливанов[52]. Направление «Русского Инвалида» изменилось, он сильно расширился, в нем появился литературный отдел и фельетон. Петр Николаевич становится, как называл его Поливанов, «примадонной» «Русского Инвалида» и каждую неделю дает живой фельетон на военную тему под названием «Вторники у генерала Бетрищева», летом же 1901 на время Красносельских больших маневров помещает ряд живых очерков этих маневров под названием «Трое в одной палатке». Эти очерки обратили внимание Государя Императора, и во время Высочайшего завтрака после маневров Государь обратился к военному министру Куропаткину[53] со следующими словами:

– Я много читаю и слышу теперь о Маньчжурии и о том, как там устраиваются мои войска, но я совсем не могу себе представить, как там живут офицеры и солдаты. Я бы хотел, чтобы мне описали Маньчжурию так, как какой-то Гр. А. Д. (псевдоним Петра Николаевича по имени его скаковой лошади Град) описал маневры в статьях «Трое в одной палатке».

Результатом этого разговора было то, что «согласно отношения штаба гвардейского корпуса за № 4 316 от 5 сентября 1901 года, Петр Николаевич был командирован на Дальний Восток в качестве специального корреспондента газеты ‘Русский Инвалид’ сроком от 4 до 6 месяцев с сохранением содержания».

В эту поездку Петра Николаевича сопровождала, по выраженному желанию военным министром и его жена Лидия Федоровна, прекрасная неутомимая наездница. Описание этой поездки в Маньчжурию, Китай, Японию, Индию, остров Цейлон и пр., сделанное Петром Николаевичем на страницах «Русского Инвалида», было издано на средства военного министерства отдельной богато иллюстрированной книгой в 1903 году под названием «По Азии»[54].

В бытность полковым адъютантом, когда полком командовал генерал-майор К. А. Ширма, Петр Николаевич, по поручению командира полка, и не прекращая несения своих обязанностей, написал и издал с богатыми иллюстрациями художника Самокиша[55] краткую историю своего лейб-гвардейского Атаманского полка под названием «Атаманская памятка», изданную в Петербурге в 1900 году.

В августе 1902 года, по распоряжению военного министра, Петр Николаевич был командирован на большие маневры под Курожем. На этих маневрах одною стороною командовал Великий князь

Сергей Александрович[56], другою – военный министр Куропаткин. Корреспонденции об этих маневрах были помещены на страницах «Русского Инвалида». Петр Николаевич закончил эти маневры свободным полетом на воздушном шаре «Санкт-Петербург» с капитаном воздухоплавательных войск Утешеным.

По возвращении из этой командировки Петр Николаевич снова назначается 12 октября 1902 года полковым адъютантом.

Но уже «Русский Инвалид» не оставляет его, и 22 октября Петр Николаевич опять выезжает как корреспондент «Русского Инвалида» на границу Персии и Турции. Из этой командировки он возвращается 2 декабря того же года. Это была тяжелая командировка. Петру Николаевичу приходилось верхом во время снеговых бурь и заносов по горам и горным перевалам проехать все казачьи посты и побывать в самых медвежьих углах Закавказья. Командировка эта описана на страницах «Русского Инвалида» за октябрь 1902 года – январь 1903 года.

Когда началась Русско-Японская война, так было естественно, что Петр Николаевич сейчас же по ее объявлении 4 февраля 1904 года был командирован на театр военных действий.

* * *

Пребывание и деятельность Петра Николаевича на театре военных действий подробно описаны в 2 громадных томах, богато иллюстрированных, изданных «Летописью войны с Японией» в 1905 году под названием «Год войны. 14 месяцев на войне. Очерки Русско-японской войны с февраля 1904 года по апрель 1905 года».

Во время этой командировки Петр Николаевич был не только и даже не столько корреспондентом, как участником войны[57].

С 17 апреля 1904 года по 22 мая того же года Петр Николаевич находился в прикомандировании к Забайкальской дивизии (генерал-лейтенанта Ренненкампфа[58]), причем в составе Забайкальской дивизии участвовал:

в рекогносцировке у Куандянояня 23 апреля;

у деревни Вандзятунь, где руководил авангардом из 2 сотен 2-го Аргунского полка 3 мая;

у деревни Дапу, где руководил авангардом из 2 сотен 2-го Аргунского полка 11 мая;

в ночном деле у Шаого 12 мая;

в деле под Айянямынем, где руководил авангардом из 2 сотен 2-го Аргунского полка 15 мая;

при отбитии внезапного нападения на бивак на Фаншуйлинском перевале 18 мая;

находился при штабе Главнокомандующего в делах под Вафангоу 12 июня, Кайджоо 26 июня и Дашичао 11 июля;

находился при штабе 10-го армейского корпуса в сражении под Ляояном с 16 августа по 20 августа, при том же штабе в сражении на реке Пахэ с 26 сентября по 6 октября;

при штабе Главнокомандующего в сражениях под Мукденом с 10 по 26 февраля.

За эти дела награжден:

орденом Св. Равноапостольного князя Владимира 4-ой степени с мечами и бантом за Ляоян;

Св. Анны 4-ой степени с надписью «за храбрость» за дела в отряде Ренненкампфа;

за те же дела – мечами к ордену Св. Станислава 3-ей степени;

за дела с X корпусом орденом Св. Станислава 3-ей степени с мечами и

орденом Св. Анны 3-ей степени с мечами.

* * *

7 апреля 1905 года Петр Николаевич прибыл из командировки с театра военных действий и опять встал в строй теперь уже в сотне Его Высочества.

Наконец 11 апреля 1906 года, на 17-ом году офицерской службы в полку, Петр Николаевич на законном основании получил в командование 3-ью сотню полка. Это была давнишняя заветная мечта Петра Николаевича – командовать сотней, а теперь эта мечта усугублялась еще желанием при обучении применить богатый опыт, вынесенный из Японской войны. Мечтам этим, однако, суждено было осуществиться лишь в малой степени.

Командование сотней Петра Николаевича совпало со смутными днями так называемой 1-ой Русской революции, и большую часть времени командования сотней Петр Николаевич со своею сотней провел в разведках по городу, в охране заводов и по полицейским участкам города Петербурга. За это время Петр Николаевич побывал с сотней и в Кронштадте, где наводил порядок среди распропагандированных рабочих и матросов, а с апреля по ноябрь 1906 года находился с сотней сначала в Мариенбурге, а потом в Альт Пебальге Лифляндской губернии, на усмирении восставшего населения Прибалтийского края.

В 1907 году командир полка генерал-майор Вершинин получил в командование 1-ую Донскую казачью дивизию, а командиром полка был назначен генерал-майор Евреинов. С этим назначением изменился быт полка. При всех прежних командирах, при которых служил

Петр Николаевич, – при М. И. Грекове, И. А. Поздееве, А. И. Ширма, П. Р. Неттельгорсте, А. Л. Вершинине – полк был очень скромным, и офицеры, занятые службою в сотнях, были близки к строю и казакам. Генерал-майор Евреинов потребовал товарищеского сближения офицеров в собрании, начались обязательные завтраки с шампанским вином, служба стала дорогою, и Петр Николаевич, уже некоторое время справлявшийся со своими материальными делами, почувствовал, что на такую жизнь у него не хватит никаких заработков ни его, ни его жены, продолжавшей выступать в концертах. К этому примешалось еще и расхождение во взглядах на службу офицеров командира полка и его, командира 3-ей сотни. Петр Николаевич почувствовал, что оставаться дальше в полку, не делая долгов и не вступая в компромисс со своею совестью, он не может.

Как раз в это время начальник офицерского отдела Офицерской кавалерийской школы полковник князь Багратион[59] и помощник начальника школы генерал-майор Химец предложили Петру Николаевичу поступить в школу на офицерский отдел (драгунский), чтобы по окончании его Петр Николаевич мог бы занять должность Начальника Казачьего отдела школы. Петр Николаевич с радостью согласился, и 10 декабря 1907 года отдал сотню есаулу Михайлову и был командирован в школу для перевода впоследствии в постоянный состав школы.

18 лет службы в Атаманском полку и жизни в полковых казармах были окончены.

* * *

20 октября 1908 года Петр Николаевич окончил курс Офицерской кавалерийской школы «отлично», и 31 декабря генерал-инспектор кавалерии (генерал от кавалерии Остроградский[60]) разрешил наградить Петра Николаевича установленным статьей 98 положения о школе, прил. к приказу по В.В. 1898 года № 340, нагрудным знаком за окончание школы. Этим нагрудным знаком Петр Николаевич весьма гордился, и это было ему большим утешением за уход из родного полка.

Так как казачий отдел в это время еще не был вакантным, Петр Николаевич некоторое время оставался при школе, так сказать, «затычкой», то он занимался как младший офицер в эскадроне школы, то был в отделе наездников.

Осенью, после парфорсных охот, Петр Николаевич заболел тифом в тяжелой форме и, едва оправившись, по предложению Наказного Атамана Войска Донского генерал-лейтенанта Самсонова[61] и с разрешения начальника школы отправился в отпуск в г. Новочеркасск, где по поручению Самсонова составил, написал и напечатал

большой популярный том истории Войска Донского под названием «Картинки былого Тихого Дона»[62]. Эта книга была издана со многими иллюстрациями в количестве 7 с половиною тысяч за войсковой счет и послужила основанием преподавания во всех школах, гимназиях и училищах Войска Донского войсковой истории.

В декабре 1908 года Петр Николаевич покинул свою квартиру в казачьих казармах и переехал на Шпалерную улицу в казармы Офицерской кавалерийской школы.

28 января 1909 Петр Николаевич вступил в должность начальника казачьего отдела.

* * *

Время пребывания в школе в должности начальника казачьего отдела было самым занятым и вместе с тем самым счастливым временем в жизни Петра Николаевича. Хорошая квартира, очень уютно обставленная его женою, достаточное содержание: Петр Николаевич как начальник отдела получал 204 рубля в месяц, самостоятельная творческая работа – все это при благосклонном отношении к нему начальника школы генерала Химеца, шедшего навстречу всем преобразованиям отдела, предпринятым Петром Николаевичем, делала службу приятной. Занят в это время Петр Николаевич был чрезвычайно. Кроме заведования отделом, он был помощником редактора, а фактически и самим редактором «Вестника Русской Конницы»[63], 2-недельного журнала, издававшегося при школе, и участвовал в комиссии для выработки строевых кавалерийских уставов, организованной при штабе генерал-инспектора кавалерии. Он выходил на занятия с казаками отдела в 7 часов утра и заканчивал свой день часто в час или 2 часа ночи в штабе генерал-инспектора кавалерии, весь день с кратким перерывом на обед проведя в школе, то в манеже, то в классах. Сам он в это время работал 4 лошадей.

Казачий отдел был им серьезно преобразован. Он ввел, кроме езды, еще и выездку по системе Филлиса[64], для чего устроил 2-ую лошадь казачьим офицерам, ввел обучение вольтижировке, джигитовке, обучение владению пикой, стрельбу боевыми патронами: одну неделю из винтовок, другую из револьверов, сам лично читал офицерам курс езды и выездки лошади, занимался с ними практическими занятиями по командованию сотней и ведением в ней хозяйства и отчетности. Он делал частые выезды с офицерами в поле, кроме того показывал им заводы Петербурга, Сестрорецкий оружейный завод, причем в Сестрорецк ездили верхом; осматривал с ними полки, Кронштадтскую крепость и суда в Кронштадте, а также Императорскую охоту в Гатчине.

По поручению штаба генерал-инспектора кавалерии Петром Николаевичем за это время были составлены:

«Наставление для обучения кавалерийских частей действию лавами»;

«Наставление для обучения кавалерийских частей владению пикой»

и переработан:

«Казачий строевой устав. Часть I. Обучение всадника, звена и взвода».

Устав этот и наставления получили Высочайшее одобрение.

Написана им и издана полуофициальная «Выездка строевой казачьей лошади»[65].

Каждый год своего пребывания в школе Петр Николаевич принимал участие на парфорсных охотах школы в Поставах.

Во время пребывания в школе Петр Николаевич сопровождал помощника генерал-инспектора кавалерии генерал-лейтенанта Ширма (своего бывшего командира полка) в его объездах с инспекторскими целями:

с 13 мая по 14 июня 1909 года в льготные лагеря Донского и Оренбургского войск и

с 25 июля по 18 сентября в учебные сборы молодых и льготных казаков Терского и Уральского казачьих войск.

Эти поездки дали возможность ознакомиться Петру Николаевичу с бытом и службой 4 войск.

Усердие и рвение к службе выделили Петра Николаевича, и он 19 марта 1910 года на 21-ом году службы в офицерских чинах «за отличие по службе» был произведен в полковники с зачислением по Донскому казачьему войску.

Вследствие этого производства он стал старше вышедшего в полк раньше его годом полковника Сазонова[66].

В том же 1910 году Офицерская кавалерийская школа праздновала 100-летие со дня своего основания. По этому случаю Государем Императором ей были пожалованы права и преимущества старой гвардии и гвардейская форма. Был поднят вопрос о возвращении Петра Николаевича в лейб-гвардейский Атаманский полк, но со стороны полка было выражено несогласие на такое возвращение, так как в этом случае Петр Николаевич обгонял бы своего однополчанина, что не сходилось с гвардейскими традициями. Этот случай больно отозвался на самолюбии Петра Николаевича, и он долго не мог простить этого полку, в котором он так долго служил и для которого так много сделал.

В 1911 году на школьном празднике после обеда, бывшего в Гатчинском дворце в присутствии Государя Императора, Государь

Император, подойдя к Петру Николаевичу, подозвал бывшего на обеде начальника Главного штаба генерала от инфантерии Михневича[67] и сказал ему:

– Николай Петрович, когда же Вы дадите Краснову полк? Он давно этого заслуживает.

Михневич ответил Государю, что полки даются по очереди и что по списку Петру Николаевичу еще далеко до полка, так как он еще и не внесен в очередной кандидатский список.

На что Государь Император заметил:

– Таким офицерам полки следует давать и вне очереди.

Результатом этого разговора было предложение Петру Николаевичу принять в командование 1-ый Аргунский казачий полк Забайкальского казачьего войска, стоящий в местечке Даурия, находившийся в большой задолженности: в хозяйственных суммах полка был дефицит с лишком в 200.000 рублей. Петр Николаевич мечтал командовать своим родным Донским полком, но не счел себя вправе после слов Государя Императора отказываться и выразил свое согласие на командование 1-ым Аргунским полком. Еще приказ о назначении не успел состояться, как штаб генерал-инспектора кавалерии предложил Петру Николаевичу уступить Аргунский полк Генерального штаба полковнику Крымову[68], а самому принять предназначавшийся Крымову 1-ый Сибирский казачий полк, стоявший в восточном Туркестане в г. Джаркенте. Крымов ходатайствовал об этом, так как у него были дети, учившиеся в гимназиях, а в Джаркенте, кроме 4-классного училища, не было никаких учебных заведений. Петр Николаевич согласился и на это, и Высочайшим приказом 23 июня 1911 года был назначен командиром 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка[69] и 24 сентября прибыл к полку вместе со своею женою.

* * *

1-ый Сибирский казачий полк до этого времени стоял по мелким постам по несколько казаков вдоль китайской границы и лишь в недавнее время был собран. 2 сотни стояли теперь в городе Верном, штаб полка и 3 сотни в Джаркенте и 1 сотня на самой границе Китая, в Кольджате, в горах на почти 2-верстной высоте. Город Джаркент отстоит от ближайшей станции железной дороги Кабул-сай на 1.064 версты грунтовой дороги, которые Петр Николаевич с женою и проехал в ямщицкой телеге[70].

Много труда и работы пришлось положить Петру Николаевичу на приведение в порядок и обучение полка. В этом ему необычайно помогли его ближайшие помощники войсковые старшины Осипов[71] и Первушин[72], командиры сотен: есаулы Грызов[73], Толмачев[74], Вол-

ков[75], Колмыков[76], сотник Анненков[77] и начальник учебной команды сотник Артифексов[78]. Задев самолюбие полка, сказав, что гвардию и Петербург делают не имена и не местоположение, но люди, и что в Джарканте, если жить по-петербургски, будет тот же Петербург и в Сибирском полку, если служить по-гвардейски, будет та же гвардия, Петр Николаевич увлек офицеров и казаков на большую работу.

Строевое одиночное обучение у Петра Николаевича чередовалось постоянными маневрами и днем, и ночью, чему очень помогала пустынная, ненаселенная местность, тревогами, охотами на диких коз и кабанов, в чем Петр Николаевич принимал постоянное участие; всевозможными состязаниями в стрельбе, рубке, уколах пиками, разведке, скачках через препятствия, полевых скачках и дальних пробегах. Петр Николаевич выписал для своих офицеров из России чистокровных лошадей, устроил полковой манеж, ипподром, прекрасное полковое стрельбище с механической показкой пуль, в лагере полковую купальню в горной речке Тышканке и т. п.

В декабре 1913 года во время революции в Китае по приказанию командующего войсками Туркестанского военного округа генерала от инфантерии Самсонова Петр Николаевич, временно командовавший Сибирской казачьей бригадой, занял Кульджу 2 сотнями и пулеметной командой 2-го Сибирского казачьего полка, чем предотвратил там революционные неистовства и охранил русских подданных, там проживавших.

Жизнь в Джарканте и условия тамошней работы отчасти отразились в романах Петра Николаевича:

«Волшебная песня», изданный Березовским в Петербурге в 1913 году;

в последней части романа «Опавшие листья» и «Амазонка пустыни»[79],

а также в ряде фельетонов в «Русском Инвалиде» за 1911–1913 годы под названием «Кинематограф».

Летом 1913 года в лагере на Тышкане Петр Николаевич получил телеграмму генерала Химеца, предлагавшего Петру Николаевичу место помощника начальника Офицерской кавалерийской школы. Петр Николаевич ни о чем лучшем и мечтать не мог. Он ответил согласием.

Почти одновременно наказный атаман Войска Донского генерал от кавалерии Покатило предложил Петру Николаевичу принять 10-й Донской казачий полк. Так как место помощника начальника школы еще не было свободно, Петр Николаевич, по совету генерала Химеца, выразил и на это согласие и 15 октября 1913 года Высочайшим приказом был назначен командиром 10-го Донского казачьего генерала Лу[ковк]ина полка.

* * *

10 декабря 1913 года Петр Николаевич вступил в командование 10-ым Донским казачьим полком, стоявшим в г. Заместье Холмской губернии в 60 верстах от железнодорожной станции Травники. Полк входил в состав 1-ой Донской казачьей дивизии. Он состоял из казаков Донецкого округа, прекрасных, ловких и смелых людей, сидевших на отличных, рослых и кровных лошадях. Все 6 сотен полка и полковая конно-пулеметная команда из 8 пулеметов были расположены в приспособленных в старых равелинах казармах. Полк был в прекрасном виде. При обучении его Петр Николаевич в полной мере применил опыт Японской войны и те методы, которые он выработал во время службы с боевыми туркестанцами в Джаркенте.

26 февраля 1914 года полк праздновал свой 100-летний юбилей и получил новые георгиевские знамена. Это было большое и очень богатое торжество, на котором полк показал себя необыкновенно красивым. К этому дню Петром Николаевичем была написана и издана «Полковая памятка».

18 июля 1914 года в полку была получена телеграмма о мобилизации, и так как полковая мобилизация была 6-часовая, то полк 19 июля в 6 часов утра после молебна на городском плацу выступил в поход и стал заставами вдоль австрийской границы, имея резерв штаб полка в селе Бирхачев. Боевые разведки стали по границе, имея приказание до объявления войны не переходить границы.

(Окончание в следующем номере)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пески – название района в центре Санкт-Петербурга.
2. Имеется в виду церковь во имя Святого Димитрия Солунского на Лиговском проспекте. Церковь была построена в 1861–1865 годах для греков, проживающих в столице. Церковь разобрали в 1961 году. (Иосиф Бродский посвятил этому событию стихотворение «Остановка в пустыне».)
3. Краснов Николай Иванович (1833–1900) – генерал-лейтенант Войска Донского, член Генерального штаба, военный историк и писатель.
4. Краснов Иван Иванович (1802–1871) – генерал-лейтенант, писатель.
5. Краснов Иван Кузьмич (1752–1812) – генерал-майор, атаман Казачьего войска.
6. Во время Второй турецкой войны (1787–1791) Суворов взял штурмом крепость Измаил.
7. В 1792 году Суворов завершил польскую кампанию взятием Праги.
8. Платов Матвей Иванович (1755–1818) – генерал от кавалерии и атаман Донского казачьего войска.

9. Иван Кузьмич Краснов был смертельно ранен 29 августа 1812 года в бою с французами у стен Колоцкого монастыря.
10. *Краснов П.* С нами Бог. Исторический роман. – Берлин, 1927.
11. Краснова Александра Карловна (фон Гандвиг, 1768–1828). Жена Краснова перепутала девичью фамилию его бабушки.
12. Отец Краснова преподавал военную статистику будущему императору Николаю II.
13. За свой труд о терских казаках был награжден золотой медалью Императорской Академии наук.
14. Романов Михаил Павлович (1798–1848) – Великий князь, сын Императора Павла I.
15. Краснов Андрей Николаевич (1862–1914) – ботаник, геолог и путешественник. Похоронен в Ботаническом саду в Батуми, который он и основал.
16. Краснов Платон Николаевич (1866–1924) – литературный критик и переводчик, преимущественно античной литературы.
17. Об этом брате нет почти никаких сведений. В одной биографии Краснова утверждается, что брат Иван стал инженером и после революции жил в Англии, откуда он вернулся в Советский Союз на короткое время, до начала Второй мировой войны; см.: *Смирнов А*. Атаман Краснов. – М., 2003. С. 22.
18. Махонин Иван Иванович (1885–1973) – изобретатель и инженер-конструктор в области авиастроения. После революции жил во Франции.
19. Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) – писатель.
20. Предположительно речь идет о главном научном исследовании Д. А. Милютина об итальянском походе Суворова – «История войны 1799 г. Между Россиею и Франциею в царствование имп. Павла I» (СПб., 1857).
21. Немирович-Данченко Василий Иванович (1844–1936) – выдающийся романист, автор более ста сорока книг. Брат одного из основателей МХАТа.
22. Каразин Николай Николаевич (1842–1908) – художник-баталист и автор многочисленных военных повестей.
23. Первая Санкт-Петербургская классическая гимназия – одно из самых старых привилегированных учебных заведений Санкт-Петербурга (основана в 1817 году).
24. Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1899) – граф, министр народного просвещения (1866–1880). Ввел усиленное преподавание латинского и греческого языков в гимназиях.
25. Делянов Иван Давыдович (1818–1897) – граф, преемник Толстого. Поддерживал консервативный курс в области просвещения.
26. Третий Александровский корпус с 1903 года назывался Александровским Императора Александра II кадетским корпусом в честь 30-летия со дня его основания; военно-учебное заведение, которое готовило детей к военной службе.
27. Рудановский Константин Васильевич (1834–1905) – директор Александровского корпуса (1878–1900).

28. Николаевское кавалерийское училище (1823–1917) – военное училище, которое готовило офицеров для регулярной кавалерии. В 1890 году при училище была сформирована т. н. казачья Царская сотня. В эмиграции училище делало выпуски в 1921–1924 гг. (Галлиполи, затем – Белая Церковь).
29. Полное название – Лейб-гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. Из всех казачьих полков считался самым образцовым.
30. Рыкачёв Степан Васильевич (1829–1894) – герой Русско-турецкой войны 1877–78 гг. и директор Павловского военного училища (1886–1890).
31. Краснов посвятил Павловскому военному училищу, где он проучился два года (1887–1889), отдельную книжку: «1-е Военное Павловское училище полвека тому назад. Воспоминания» (Париж, 1943).
32. *Краснов П.* Опавшие листья. – Берлин, 1923.
33. Греков Митрофан Ильич (1842–1915) – командир Атаманского полка (1886–1893).
34. Краснов участвовал в военной газете «Русский инвалид» вплоть до 1917 года, а когда газету начали выпускать в эмиграции (1930–1940), то Краснов снова печатался на ее страницах.
35. «Петербургский листок» (1864–1918) – ежедневная политическая, общественная и литературная газета Санкт-Петербурга.
36. Скроботов Николай Александрович (1841–1920) – журналист, редактор газеты «Петербургский листок» (1884–1917).
37. «Петербургская газета» (1867–1918) – ежедневная политическая и литературная газета.
38. Худеков Сергей Николаевич (1837–1928) – редактор-издатель «Петербургской газеты».
39. «Биржевые ведомости» (1874–1917) – политическая, общественная и литературная газета, издаваемая С. М. Проппером.
40. Николаевская Академия Генерального штаба – высшее военное учебное заведение в Российской империи.
41. *Краснов П.* Старая академия // «Русский инвалид». 1932. № 41, 22 мая; № 42, 7 июня; № 43, 22 июня; № 44, 7 июля; № 45, 22 июля; № 46, 22 августа; № 47, 22 сентября; № 48, 22 октября.
42. *Краснов П.* Атаманская памятка, 1775–1900. Краткий очерк истории Л.- г. Атаманского Е. И. В. Государя Наследника Цесаревича полка. – СПб., 1900.
43. Лидия Федоровна одно время выступала под фамилией своего первого мужа – Бакмансон.
44. Мельников Иван Александрович (1832–1906) – оперный певец (баритон).
45. Залесская Ядвига Феликсовна (1869–1944) – польская пианистка.
46. Миссия была послана для установления дипломатических отношений между царской Россией и Эфиопией.

47. Первое издание книги «Казаки в Африке. Дневник начальника конвоя Российской Императорской миссии в Абиссинию в 1897–1898 гг.» (СПб., 1899) имело 27 глав и было издано с посвящением «Моей жене». Второе, расширенное издание (30 глав) вышло через год и уже имело название «Казаки в Абиссинии». Этот раз книга была посвящена «Его Императорскому Высочеству Государю, Наследнику Великому князю Михаилу Александровичу и ее Императорскому Высочеству Великой княжне Ольге Александровне». После посвящения следует подробное описание того, как Краснов в Гатчинском дворце рассказывал царской фамилии о своем путешествии по Абиссинии.
48. Шведов Николай Константинович (1849–1927) – председатель комитета Российского общества Красного Креста по подаче первой помощи.
49. Во время итало-эфиопской войны 1895–1896 гг. Шведов возглавлял миссию Красного Креста в Эфиопии.
50. Российское общество Красного Креста оказало благотворительную помощь пострадавшим от голода в девяти губерниях.
51. Лачинов Николай Александрович (1839–1917) – военный историк и педагог. Главный редактор газеты «Русский инвалид» (1893–1899).
52. Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) – будущий генерал-майор, редактор газеты «Русский инвалид» (1899–1904).
53. Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал-адъютант, военный министр и член Государственного совета.
54. Краснов посвятил книгу «Борьба с Китаем» (СПб., 1901) «боксерскому восстанию» в Пекине.
55. Самокиш Николай Семенович (1860–1944) – художник-баталист.
56. Романов Сергей Александрович (1857–1905) – Великий князь, генерал-губернатор Москвы и супруг Великой княгини Елизаветы Федоровны.
57. Об участии Краснова в Русско-японской войне см.: *Краснов П.* Русско-японская война. Восточный отряд на реке Ялу. Бой под Тюренченом. – СПб., 1911; *Краснов П.* Погром. Рассказы из Русско-японской войны. – П., 1915.
58. Ренненкампф Павел Карлович (1854–1918) – генерал. В битве под Мукденом Ренненкампфу удалось остановить наступление японской армии.
59. Багратион Дмитрий Петрович (1863–1919) – князь, генерал.
60. Остроградский Всеволод Матвеевич (1843–1932) – герой Русско-турецкой войны (1877–1878).
61. Самсонов Александр Васильевич (1859–1914) – в Первой мировой войне командовал 2-й армией во время Восточнопрусской операции. После поражения при Танненберге покончил с собой.
62. *Краснов П.* Картинки былого Тихого Дона. Краткий очерк истории Войска Донского для чтения в семье, школе и войсковых частях. – СПб., 1909.
63. «Вестник русской конницы» – иллюстрированный двухнедельный журнал, издаваемый при Офицерской кавалерийской школе (СПб., 1906–1914).

64. Филлис Джеймс (James Fillis, 1834–1913) – написал книгу «Основы выездки и езды» (Principes de dressage et d'equitation, 1890), которая служила справочником по вопросам ухода, кормления, содержания, выбора и грамотного использования лошади. Краснов высоко ценил систему Филлиса: «Мы, военные кавалеристы русской конницы, всегда с благодарностью вспомним Джеймса Филлиса, ибо это он помог нам нашу чудную русскую лошадь воспитать и выездить для войны, ибо это ему мы обязаны тем, что при выездке иногда весьма диких экземпляров мы не стали раньше времени инвалидами» (см.: *Краснов П.* Джеймс Филлис // «Русский инвалид». 1930. № 2, 22 марта).
65. *Краснов П.* Выездка строевой казачьей лошади. Опыт руководства выездки молодой лошади в четыре месяца на уздечке и под казачьим седлом. – Петроград, 1914.
66. Сазонов Дмитрий Петрович (1868–1933) – офицер Донского казачьего войска, впоследствии генерал-майор и командир Атаманского полка.
67. Михневич Николай Петрович (1849–1927) – начальник Генерального штаба (1911–1917).
68. Крымов Александр Михайлович (1871–1917) – впоследствии генерал, покончил жизнь самоубийством после неудачного Корниловского восстания.
69. В 1882 году имя атамана Ермака Тимофеева было пожаловано Сибирскому казачьему 1-му полку.
70. Краснов описал свое командование Сибирским полком на границе китайского Туркестана в книге «На рубеже Китая» (Париж, 1938).
71. Осипов Ефим Никитич (1865–?) – сибирский казак. До начала Первой мировой войны был помощником командира 1-го Сибирского полка по хозяйственной части.
72. Первухин Владимир Георгиевич (1867– середина 1920-х годов) – командир 1-го Сибирского казачьего полка во время Первой мировой войны.
73. Грызов Алексей Георгиевич (1871–1940) – сибирский казак. После революции в эмиграции в Китае.
74. Толмачев Козьма Александрович (1869–1923) – офицер казачьих войск.
75. Волков Вячеслав Иванович (1877–1920) – генерал-майор. Видный деятель Белого движения в Сибири.
76. Колмыков Иван Павлович (1890–1920) – казачий атаман. Воевал на стороне белых во время Гражданской войны.
77. Анненков Борис Владимирович (1889–1927) – генерал-майор и казачий атаман. Воевал в Гражданской войне.
78. Артифексов Леонид Александрович (1887–1926) – генерал-майор. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны.
79. *Краснов П.* Амазонка пустыни. – Берлин, 1922.

Публикация, комментарий – Ж. Шерон

Юрий Мандельштам

Статьи о франко-русских прозаиках*

ВЕНИАМИН ГОРЕЛЫЙ[1]

ПОЭТЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВРЕМЕНИ[2]

Странную услугу оказал русской поэзии наш соотечественник Вениамин Горелый. Можно сказать, медвежью услугу. Странность ее увеличивается еще тем, что книгу о поэзии русской революции[3] он выпустил по-французски, т. е. для читателей, мало что знающих о русской литературе и русских событиях. Такому руководству надлежало быть особенно тщательным в смысле документировки и беспристрастным в освещении. Ни того, ни другого требования Горелый, однако, не исполнил. Фактически материал книги как будто богат. Горелый, по-видимому, не только знаком с русской поэзией, но и соприкасался в начале революции с литературными кругами.

История литературы все время соседствует в книге с личными воспоминаниями, мелкими анекдотами, свидетельствами современников. Для нас, русских, знающих произведения поэтов, о которых идет речь, и понимающих, какое место кому принадлежит, такие сведения любопытны в виде дополнения или иллюстраций. Но для француза было бы куда важнее узнать подробнее о роли Блока, Гумилева, Есенина, Маяковского в русской литературе, чем о смешных или грустных эпизодах их жизни. Тем более, что внешне жизнь многих поэтов протекла в очень сходных условиях, и между ночными пьянствами Блока и, скажем, В. Шершеневича[4], разницы, как будто, нет. Отсюда один шаг до знака равенства между стихами Блока и Шершеневича. Усугубляется это тем, что в переводе Горелого стихи их, на самом деле, не так уж разнятся, а подчеркнуть их различие он не может. Действительно, у Горелого нет никакого чутья к поэзии, к которой он причисляет любые рифмованные строчки. Иерархия ценностей от него тоже ускользает, почему он решается написать следующее: «Первыми революционными поэтами были Маяковский, Безыменский и Блок». Сопоставление Блока с талантливым фигляром

---

* Продолжение. Начало см. в № 286.

Маяковским и бездарным Безыменским – поистине чудовищно. Никакие уверения в гениальности Блока исправить это кощунство не могут.

Не имея возможности судить о поэзии, Горелый поневоле говорит лишь о количестве имен и стихов. Отсюда его вывод: революционное время – расцвет русской поэзии. То, что за последние годы в советской России ни один поэт, кроме Пастернака, не сказал ни одного живого слова, Горелого не смущает. Тем более, что дальше 1930 года он в своем обзоре не идет. Напрашивается также упрек в коммунистических симпатиях Горелого, но упрек этот был бы не вполне верен. Последние главы книги доказывают, что ее автор против политической тенденции в литературе, классового подхода и пропаганды.

Но Горелый убежден, что пропаганда, борьба с индивидуальностью – явление временное, что все образуется и родится новая великая революционная поэзия. Конечно, – а пока поэты страдают, погибают или замолкают. Но всей трагичности гибели Блока, самоубийства Есенина и Маяковского Горелый точно не замечает.

Странное ослепление: пусть увлекаются советской поэзией снобирующие иностранцы, русскому человеку следовало бы быть трезвее и честнее.

---

1. Вениамин Горелый (22 августа 1898, Варшава – 27 июня 1986, Франция). Журналист, литератор, переводчик. В эмиграции с 1920. Учился на философском факультете Берлинского университета. В 1922 переехал в Бельгию, окончил естественный факультет Брюссельского университета. Доктор наук. С 1930 жил в Париже. Посвятил себя деятельности литератора и журналиста. Публиковался под псевдонимом Максимов. Специализировался на советской литературе. В 1928 выпустил «Antologie de la poésie soviétique». Один из основателей журналов «Prospection et Avant-poste» и «Tentatives» (1929). В 1934 опубликовал работу «Les Poètes dans la révolution russe» («Поэты в русской революции»). Сотрудничал в журналах «Nouvelles littéraires» и «Combat». После Второй мировой войны выступал с докладами о русской и советской литературе. Прочел цикл лекций о Л. Н. Толстом в Школе восточных языков в Париже (1954). Автор работ «Science des lettres soviétiques» (Париж, 1947), «Cette année à Jerusalem» («Этот год в Иерусалиме») (Париж, 1951) и др. В 1949 был корреспондентом газеты «Combat» в Израиле. Занимался переводами с русского языка на французский. Переводил И. Эренбурга, Б. Пастернака, В. Хлебникова, В. Маяковского. В 1954 выполнил перевод писем Л. Н. Толстого (1842–1860). В 1988 в Париже вышла (посмертно) книга «L'Homme aux outrages» («Оскорбленный человек»).

2. «Возрождение», том 10, № 3396, 20 сентября 1934 г.

3. *Goriely, Benjamin*. Les Poètes dans la revolution russe. – Paris: NRF, 1934.

4. Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893–1942) – русский поэт, переводчик, один из основателей и главных теоретиков имажинизма. Родился в семье профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича, известного юриста и впоследствии депутата I Государственной думы, и оперной певицы Евгении Львовны Мандельштам (по сцене Львовой, 1869–1919), сестры адвоката М. Л. Мандельштама. Дед – казанский педиатр и организатор здравоохранения Лев Борисович Мандельштам. Шершеневич работал как драматург, режиссер, критик, сценарист, переводчик. Автор выдержавшей два издания книги «Игорь Ильинский». В 1930-е переводил на русский язык пьесы В. Шекспира, П. Корнеля, В. Сарду, немецкую (Рильке, Лилиенкрон) и французскую поэзию (включая полный перевод «Цветов зла» Бодлера).

АНРИ ТРУАЙА[1]

«САДОК»[2]

Существует условная критическая формула, согласно которой вторая книга начинающего писателя считается слабее первой. Она, конечно, неправильна, как все условные формулы, но, как многие из них, основана на довольно неправильном наблюдении. В первой книге автор, обычно еще далеко не совершенный технически, поражает нас, если он талантлив, оригинальностью содержания или своеобразием манеры. Во второй книге он становится искушеннее формально, лучше и свободнее распоряжается своими средствами, и эта свобода выражения заслоняет иногда от него самого первичный порыв его, собственное, пусть и не зрелое, переживание. Только позднее научится он сочетать личное содержание, свой духовный пульс с чисто литературной работой, находя для первого адекватную форму, так что самое разделение на форму и содержание делается неверным и ненужным. Пока же он действительно в пользу некоторого мастерства, вернее, еще только умения, жертвует своей свежестью и своеобразием.

Именно это произошло с молодым романистом Анри Труайа, которым мы имеем особые основания специально интересоваться, так как по происхождению он русский. Год тому назад мы сочувственно отозвались о первом его романе «Неверный свет», за который Труайа впоследствии получил премию «популистов». Награда эта была вполне заслуженной, если ее рассматривать не как увенчание, а как поощрение. Роман был очень по-своему задуман, недурно построен, хотя и было в нем много слабых мест. Недостатки в развитии действия искупались драматическим порывом и большой живостью героев, особенно отца, бывшего центральной фигурой книги. Постепенное разочарование в нем сына и побеждающая это

разочарование любовь открывали нам что-то новое или по-новому увиденное в душе человека.

Только что вышедший новый ромам Труайа[3] формально гораздо крепче первого. Видно, что молодой автор, на самом деле, работал и над архитектоникой, и над словесным материалом. В «Садке» почти нет тех срывов, которыми изобиловал «Неверный свет», когда казалось, что действие прерывается и автор только рассказывает нам о нем своими словами. Сохранил он и известную выдумку; сюжет романа, во всяком случае, не банален. Это история двадцатилетнего юноши, несамостоятельного и слабохарактерного, попадающего в дом к старой маньячке и постепенно втягивающегося в атмосферу лени и лести, избавляющую его от усилий и опасностей трудовой жизни. Появление в доме дочки хозяйки чуть было не вырывает его из этой косности, но внутренняя склонность к скольжению по покатой плоскости одерживает верх, и Филипп окончательно остается в особняке госпожи Шассеглен.

Нельзя сказать, чтобы Труайа утратил всю свою оригинальность. Атмосфера госпожи Шассеглен, затягивающая Филиппа, та же, что и в «Неверном свете»: несколько патологическая, но всегда тревожная и глубоко драматическая. Филипп на самом деле живет, как рыба в садке, из которого не может вырваться. Но в первой книге Труайа как будто более осмысленно чувствовал свой драматизм. Переживания его героя при всей их странности все-таки были общечеловеческими, и его мучительный путь был путем узнавания сути человека, духовного творчества. Филипп, как и госпожа Шассеглен, – только любопытные психологические возможности, всецело замкнутые в своей психологии, – частный случай. Слишком обособлены их индивидуальности, слишком необычайны условия, в которые они поставлены, чтобы принять их как некий жизненный фактор. Читая «Садок», мы не видим, к чему идут его герои, и даже отсутствие цели не кажется нам достаточным объяснением, а характеры – достаточным оправданием. Закрывая книгу, мы познакомились с какими-то новыми ситуациями, новыми элементами «человеческой комедии», но не увидели даже проблеска какого бы то ни было решения, явного или тайного. То, чего хочет автор, к чему внутренне влечется, остается для нас скрытым и непонятным. Надо надеяться, что в следующих книгах его окрепшее дарование откроет нам то, что мы вправе ожидать от него.

«НАТУРАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА»[4]

Года два назад мы отметили отличный дебют во французской литературе молодого русского, пишущего под псевдонимом Анри Труайа**.** Это французское имя не помешало ему выпустить роман, в

котором не было ничего типично французского. Скорее угадывалось некоторое влияние Достоевского. Как бы то ни было, «Неверный свет», справедливо отмеченный всей парижской прессой, поражал свежестью, оригинальностью, несомненным талантом и человечностью. Простая история разочарования сына в отце приобретала оттенок подлинного трагизма. Все это было сыро, необработанно, но надежды Труайа подавал немалые.

Вторая его книга нас разочаровала. Молодой романист сгустил в ней краски, постарался создать атмосферу «странности», но получился у него музей восковых фигур, до того искусственных, что исчезало всякое впечатление жизненности. По счастью, этот срыв был случайностью.

Только что вышедшая третья книга Труайа «Натуральная величина»[5] заслуживает большой и серьезной похвалы. Это уже не обещание, а свершение, не роман начинающего писателя, а произведение зрелое и законченное. Труайа нашел свой жанр, свою собственную атмосферу: теперь ему уже не нужны дешевые и натянутые эффекты, создавшие впечатление «странности» и «необычности». Его герои изображены вполне правдиво и убедительно, действительно «в натуральную величину». Правдив и жизнен самый тон романа – горестно-трезвый, грустно-человечный.

Содержание несколько напоминает «Неверный свет»; снова на первом плане отношения между отцом и сыном. Отец – маленький актер, карьера которого явно не удалась, но который еще надеется на признание. Его единственное утешение – вера в него и любовь к нему жены и сына. Случай разбивает это счастье: мальчику поручают роль в фильме, и он сразу же добивается всего, чего так напрасно ждал всю жизнь отец, – успеха, славы, денег. С этого момента и дома отец перестал занимать первое место – все внимание уделяется сыну. Понемногу в душе отца возникает настоящая ревность: он бросает семью, сходится с ничтожной актрисой, но и в ее любви не находит удовлетворения.

Сын, однако, оказывается не подлинным артистом, а «вундеркиндом», быстро выдыхающимся: второй его фильм разочаровывает всех. Отец торжествует, но недолго. Он открывает, что неудача сына не может помочь его собственному успеху, не придает ему таланта. Понимает он также, что любит сына. В отчаянии от своего поведения он хочет покончить с собой, но судьба мешает ему исполнить свое желание – он остается жить с сознанием своего крушения, без цели в безрадостной пустоте.

Труайа меткий наблюдатель: быт мелких актеров описан им жизненно и убедительно. Но атмосферу создает не бытовая сторона, а

душевная настроенность героев, вскрывающая нищету и бессилие человеческого существования. То, что повествование выдержано не в черных, а в серых тонах, лишь подчеркивает обреченность и безвыходность. Искренность переживания подкрепляется оригинальностью замысла и окрепшим мастерством Труайа. Последний явно свыкся с ремеслом романиста, умеет развивать действие, знает, когда можно ввести вставной эпизод, когда надо ускорить темп и приблизить интригу к развязке.

Несомненно, «Натуральная величина» – лучший роман молодого автора, вышедший за год. Нам кажется, что именно Труайа следовало бы по праву присудить в декабре премию Гонкуров.

ПОВЕСТИ АНРИ ТРУАЙА[6]

Наш молодой соотечественник, пишущий по-французски под псевдонимом Анри Труайа[7], занял во французской литературе довольно видное место. Он получил года два тому назад премию «популистов», в прошлом году был одним из серьезных кандидатов на премию Гонкуров. Но и помимо официальных признаний, он не мог не обратить на себя внимания своим несомненным талантом, большой свежестью и даже силой и, в особенности, своей несхожестью с большой линией современной французской словесности. В этом сказывались его русские истоки: если уж искать у Труайа влияний, то в первую очередь надо бы назвать Достоевского, впрочем, перенесенного на чужую почву и вообще очень своеобразно преломленного. Можно было бы обнаружить также и некоторую зависимость от Чехова, в пристальной наблюдательности, направленной на житейские детали, и даже от Гоголя – что для французского писателя большая редкость. Но собственный эмоциональный пафос Труайа и оригинальное формальное мастерство в третьем романе «Натуральная величина» делают разговор о влияниях скорее излишним.

Правда, бросались в глаза и некоторые опасные склонности молодого романиста, грозившие ему порою (напр. во второй его книге) серьезными срывами. Таково, например, его пристрастие к исследованию ненормальных психических типов и вообще к атмосфере «странностей». Конечно, было бы неправильно исключать из литературы всякую патологию. Сам Достоевский или, например, Эдгар По черпали в этой области немало материалов для своего творчества. В каком-то отношении провести грань между «нормальной» и «ненормальной» психологией вообще невозможно: где мерка «нормального» развития личности, всегда неповторимой и подчиненной каким-то своим законам? Может быть, реалистически описанные герои Толстого не менее «исключительны», чем эпилептики

Достоевского. Но в том-то и дело, что изображая «исключения», Достоевский все же давал в них нечто общечеловеческое, что и трогает нас, возбуждает интерес и сочувствие к его героям. «Странная» атмосфера хороша лишь тогда, когда странность описана не ради самой странности, а как одна из форм духовного переживания, как некий метафизический ключ. Описание же чисто патологические создают у читателя впечатление кунсткамеры, в которой выставлены ярмарочные уродцы, и, ничего не прибавляя к нашему внутреннему опыту, только раздражают и утомляют.

Мы надеялись, что основная человечески правдивая сущность дарования Труайа удержит его от срыва в бесплодную область «аномалии». К сожалению, его новая книга – срыв явный. Она состоит из двух повестей, сюжеты которых настолько патологически странны, что эта их сторона заслоняет все остальное. Первая повесть – дневник человека, страдающего манией преследования, которая еще больше развивается после смерти его сестры, ибо герою Труайа кажется, что покойница мстит ему, воплотившись в его же тень. Вторая новелла – история некоего господина Ситрина, периодически страдающего после несчастного случая потерей памяти и нанявшего себе компаньона, который бы помнил за него все, что случается во время таких провалов. Сами темы обеих повестей предрасполагают автора к углублению в психоанализ. Но Труайа как будто упивается подробностями подсознательных процессов, постепенно захватывающих всю жизнь его героев, не просветленных и даже не освещенных духовным опытом или хотя бы простым человеческим душевным стремлением.

Все это не означает, что никакого опыта в этом «человеческом» смысле у Труайа нет. Наоборот, сущность его таланта, несомненного и в новых повестях, направлена именно на человеческую природу, на ее скудость и обреченность в земном плане, скрывающую, однако, некий другой, более значительный план. В первой повести это свойство таланта Труайа сквозит, главным образом, в деталях почти бытового порядка, во второй же – даже образует побочную интригу, сплетающуюся с основной; Ситрин мечтает завоевать дружбу своего спутника, исполняющего свой долг за плату: первый – момент подлинного человеческого переживания. Второй – еще существеннее: тяготясь своим положением, оплачиваемый спутник начинает халатно исполнять свои обязанности и в своих рапортах о времяпрепровождении «патрона» рассказывает вымышленные приключения. Ситрин увлекается прелестью этой небывшей жизни и старается воплотить ее в реальность: его «память» становится, таким образом, «предвидением», ибо Ситрин исполняет ежедневно всю программу действий,

начертанную накануне его «вторым я». Но то, что было обворожительно в мечтах, на самом деле получается обыденно скучным. Ситрин теряет, таким образом, целый ряд иллюзий, в частности, иллюзию романтической встречи, оборачивающейся в жизни пошлым приключением.

В таких описаниях Труайа отличен. Прекрасны по-прежнему и его реалистические детали, вскрывающие иной, метафизический фон. Но двойственность его замысла вредит цельности впечатления и, прежде всего, архитектонике. Обе интриги «Господина Ситрина» явно не сведены воедино, а лишь сосуществуют; в первой же, вообще более слабой повести, стремление к патологии заглушает и человеческую правду, и даже простое правдоподобие.

Мы отнюдь не делаем из всего этого пессимистических выводов: Труайа может пойти по правильному пути и дать подлинно ценные произведения, если остережется ложных увлечений, не то литературное творчество грозит превратиться для него в профессиональное изображение «частных случаев», может быть, любопытное, но никогда не волнующее и не ценное онтологически.

---

1. Анри Труайа(я) (фр. *Henri Troyat*, настоящее имя – Леон (по-русски Лев) Асланович Тарасов) (1911, Москва – 2007, Париж) – французский писатель, член Французской академии, лауреат многочисленных литературных премий, автор более сотни томов исторических и художественных произведений, исследователь исторического наследия России.
2. Газета «Возрождение», том 11, № 3795, 24 октября 1935 г.
3. *Troyat, Henri*. Le vivier. – Paris: Plon, 1935.
4. «Возрождение», том 12, № 4052, 14 ноября 1936 г.
5. *Troyat, Henry.* Grandeur nature. – Paris: Plon, 1936.
6. Газета «Возрождение», том 13, № 4083, 18 июня 1937 г.
7. *Troyat Henri*. La clef de voute. Monsieur Citrine. – Paris: Plon, 1937.

НАТАЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ[1]

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»[2]

Еще одна книга русского автора, написанная и выпущенная по-французски: «Большое приключение»[3] Наталии Френкель. Таких «русских французов» уже немало, и в современной французской литературе они сыграли довольно значительную роль – начиная с Эммануэля Бова и Игнатия Леграна и кончая Анри Труайа. Войдет ли Наталия Френкель в эту блестящую плеяду или хотя бы в эту линию, которая представлена Ириной Немировской? Судить об этом пока еще рано.

«Большое приключение» – типичный «первый роман» новичка. Это книга еще незрелая по внутреннему содержанию и архитектонике. Главный ее недостаток – отсутствие подлинного действия. Любовная интрига – а в ней в романах все дело – собственно говоря, не развивается, не происходит на наших глазах, и нам приходится верить автору на слово. Значительности этого «большого приключения» читатель не чувствует, порою даже кажется – не ирония ли название романа, и не смеется ли Френкель вообще над молодостью своих героев. Действительно, незрелость в этой книге удивительно сочетается с отсутствием молодости и энтузиазма, с бледноватостью. Бледны и образы героев: один из них резко отзывается о Мориаке, но, пожалуй, именно у него Френкель стоит поучиться – как создавать живых людей, с плотью и кровью, а не отвлеченные схемы.

Схематичен весь роман. Но этот недостаток неожиданно превращается в достоинство: самый чертеж задуман, если и не исполнен, интересно и своеобразно. Любовь Сильвии воспринимается нами, как некая математическая фигура, треугольник, который строится по данным углам. Нарочитое сходство имен подчеркивает элемент комбинации, почти игры. Чисто композиционные способности, несмотря на неряшливость, у Френкель несомненно имеются. Будущее покажет, что она может из них извлечь.

---

1. Сведений о Наталии Френкель найти не удалось. Возможно, что она погибла во время войны.

2. «Возрождение», том 12, № 4066, 20 февраля 1937 г.

3. *Frenkel, N.* La grande aventure. – Paris: Editions La Bourdonnais, 1936.

СЛАВА ПОЛЯКОВА[1]

«В СТРАНЕ ОБРЕЧЕННЫХ»[2]

Наша соотечественница Слава Полякова выпустила на французском языке страшную книгу[3], лишний раз открывающую глаза миру не столько на фактические злодеяния большевизма, сколько на его метафизическую темную сущность – безличность и античеловечность. В предисловии она оговаривается, что не хочет превращать свой роман в обвинительный акт. По-видимому, основным ее заданием было создать чисто художественное произведение, притом более или менее фантастическое. Описанные ею события она не выдает за исторически подлинные, тем более, что даже фантастические сведения, развитые ею в длинное повествование, не вполне достоверны. Конечно, вымышленная интрига развернута Поляковой на вполне

реальном фоне, но и последний важен автору не столько в бытовом, сколько в психологическом разрезе. Нужно сказать, что психология подростка послереволюционных лет действительно – сущий клад для полуфантастического романа, ибо в сознании этого поколения фантастика и реальность сплетались, переходя одна в другую совершенно незаметно. Да и сама русская жизнь тех лет как бы утратила свою весомость, стала призрачной и подчинялась совсем не тем законам, которые обычно управляют человеческим существованием. Многое, что при других обстоятельствах показалось бы выдумкой – притом совершенно неправдоподобной, – стало в тех условиях вполне возможным. В общем, скорее удивительно, что воображение писателей фантастического склада так редко обращается к советской России той эпохи.

И все-таки, несмотря на все соображения, а частично даже вследствие их, книга Поляковой стала не романом, а редким по силе обличительным документом. Материалы, собранные автором, собственные ее мысли и переживания в беллетристическом отношении недостаточно обработаны, типы героев, и даже главной героини, обрисованы условно и неотчетливо, и само действие развивается очень неровно, изобилует длиннотами и пробелами. Формой романа Полякова овладела несовершенно, что сказывается в построении и необоснованном переходе от дневниковой манеры к воспоминаниям, и даже в стиле. Зато содержание романа, приобретая независимое от формы существование, невольно поражает нас и приобретает окраску документальную. Если быт и психология того времени облегчают возможности фантастического, то и фантастика что-то помогает объяснить в быте и, особенно, в психологии. Пусть описанные Поляковой эпизоды вымышлены, обстановка романа и переживания выбитой из колеи девушки дышат правдой. Главное же, благодаря этой смеси вымысла и недавней истории, читатель начинает чувствовать правду еще более глубокую; ему становится понятным, каким образом сознания молодых людей, вроде Ирины, в которых перепутались все представления о добре и зле, могли послужить благодарным материалом для жутких советских опытов.

В основу книги легли газетные сообщения, промелькнувшие во время одного из советских процессов, о таинственных лабораторных опытах одного врача, пользовавшегося для них вместо морских свинок, живыми людьми. С таким врачом, таинственным Ваннендолем, и сталкивает Полякова свою героиню, семнадцатилетнюю Ирину, выросшую в годы террора и голода. Измученная недоеданиями, болезнями и стремлениями к более полной душевной жизни, сбитая с толку событиями, Ирина притягивается к этому странному челове-

ку, сумевшему наладить себе обеспеченное существование и как будто сохранившему в неприкосновенности свою личность. Ваннендоль действительно живет интенсивной внутренней жизнью, научные проблемы сливаются у него с духовными, – «фаустовскими», как он их определяет. Но для разрешения этих вопросов он готов пожертвовать десятками человеческих жизней, ценности которых не чувствует. Опыты свои, часто смертельные, производит он над «беспризорными» детьми, порученными ему для лечения. Ирина, не сразу понявшая, в чем заключается работа Ваннендоля, поступает к нему секретаршей и ассистенткой. Когда она прозревает – уже слишком поздно: она давно стала сообщницей «ученого», виновницей многих смертей. В ней назревает страшный душевный кризис, но слабая воля ее находится в полном подчинении у Ваннендоля.

Трагический случай раскрывает самому врачу глаза на сатанинскую сущность его опытов. Его юная жена, которую он отдаляет от своего «дела», проникает к беспризорникам. Один из них, которому Ваннендоль привил смертельную болезнь, плюет в молодую женщину. Она теперь сама заражена и в страшных мучениях погибает. Ваннендоль в отчаянии пересматривает все свои «ценности» и понимает, что они не стоят жизни хотя бы одного из несчастных детей. Он посылает Ирину во Францию, в человеческие условия, а сам едет к беспризорным, чтобы разделить их мытарства и искупить свою вину.

В прощальном монологе, обращенном к Ирине, он обличает не только свой опыт, но и опыты советов, проводимые над миллионами советских людей. Какова бы ни была цель его, он неправеден уже одним тем, что не считается с человеческой жизнью. Но он убийственен и по сути, ибо вытравливает из человека личность, превращает его в лабораторную «морскую свинку». Для этого и потребовалось большевикам искоренение в сердцах людей религии и личной духовной культуры. Но, проникая в духовную область с намерениями антидуховными, руководители советского строя сами себя обрекают на поражение, подобное неудаче Ваннендоля. Рано или поздно, если они не откажутся от своего пути и не раскаются, т. е. не перестанут быть коммунистами, они поочередно погубят друг друга своей заразой. Но кто сможет исправить причиненный ими вред, залечить искаженное сознание многочисленных Ирин и вернуть его к правильному восприятию мира?

---

1. Сведений о писательнице Славе Поляковой найти не удалось, кроме нескольких хвалебных рецензий на ее роман «В стране обреченных» во французской прессе («Journal de Vienne et de l'Isère!»: «Полная энергии и таланта, автор представляет беллетризованный живой документ…»).

2. «Возрождение», № 4150, 23 сентября 1938 г.

3. *Poliakoff, Slava*. Au pays des Comayes. Roman. – Paris: Libr. Academique Perren, 1938.

ГЕОРГИЙ АГАДЖАНЯН[1]

«ВОЛЯ ЖЮЛЬЕНА РИВА»[2]

Так называется второй роман, выпущенный по-французски нашим соотечественником Георгием Агаджаняном совместно с Сержем Строссом[3]. Года полтора тому назад, в результате того же сотрудничества, появился «Случай Христиана Розьера» – роман путаный, небезукоризненного вкуса и сырой во всех отношениях. Молодые авторы сделали с тех пор шаг вперед, во всяком случае, в смысле умения выбрать и поставить тему.

Сюжет новой книги – история слабохарактерного человека, которого скульптор взял моделью для статуи «Воли». Существование этой статуи оказывает неожиданное влияние на жизнь Жюльена, меняющего образ мышления, становящегося энергичным и практичным. Он даже отбивает у скульптора возлюбленную, – так что художник в порядке самозащиты принужден разбить на куски свое создание.

Тема не нова. Слышатся в ней и отголоски легенды о Пигмалионе, к этой линии примыкают какой-то стороной и «Шагреневая кожа» Бальзака, и «Портрет Дориана Грея», и другой «Портрет» – гоголевский. Но все эти ссылки только доказывают серьезность идеи и ее постановки у молодых романистов. Иначе реминисценции не возникало бы. Хуже то, что в трактовке тоже чувствуется зависимость от Гоголя и, отчасти, от Эдгара По. Но влияния неизбежны, – так пусть уж лучше – Гоголь, чем многие другие. К сожалению, присутствующая в романе «сумасшедшинка» сбивается на клинические моменты, на фрейдовский психоанализ и, вообще, на безвкусицу. Это уже никак не от Гоголя. Да и построение книги хромает, и стиль не выявился, не окреп. Если Агаджанян и Стросс хотят написать нечто более значительное, им надо много поработать и над формой, и, главное, – над развитием чувства разборчивости и ответственности. Это единственный путь к оригинальности.

---

1. Георгий Агаджанян (29 апреля 1910 – 1976, Нью-Йорк) – писатель, автор ряда книг на французском языке, жил во Франции, уехал в Америку, где в 1950-х годах работал в университете штата Джорджия, там же опубликовал материалы о романтической поэзии («Survey of the Romantic Poets»). В 60–70-х годах работал профессором в Gannon College in Erie, Пенсильвания. Он утверждал, что был во Франции известным писателем. О Серже Строссе найти информации не удалось. Романы Георгия Агаджаняна: «Le Froid de

l'enfer» (1960), «Le fils de l'homme» (1958), «Les horizons cléments: contes et nouvelles» (1950), «La vallée des ombres» (1946), «La volonté de Julien Rives» (1937), «Le cas de Christian Rozière» (1936), а также «Grammaire française à l'usage des étudiants américains» (1937), «The Clement Horizons» / Collection of works by Georges Agadjanian translated from French by Helen and Gregor Sebb.
2. «Возрождение», том 13, № 4111, 24 декабря 1937 г.
3. *Agadjanian, Georges et Strauss Serge*. La volume de Julien Rives. – Paris: Edit. La Bourdonnais, 1937.

ДОРИАН РАЙЦИН (РАЙЦЫН)[1]

«РАЗОЧАРОВАНИЕ ЭЛИАНЫ»[2]

Еще одно русское имя в современной французской литературе... Это – уже второй роман нашего соотечественника Д. Райцина[3]. Первый – «Ложь» – прошел, в общем, незамеченным; на «Разочарование Элианы» нельзя не обратить внимания. Трудно предвидеть, предстоит ли Райцину блестящая карьера Бова, Легрэна, Труайа**.** Слишком уж противоречивы различные данные его романа. Но отрицать за ним талант, выдумку, изобретательность, остроумие и своеобразие – невозможно.

Райцин не пожелал идти избитыми путями и усложнил свою задачу; полная победа на такой трудной дороге молодому автору, естественно, не под силу. Построение романа столь же причудливо, как и его замысел. Начинает Райцин свою книгу традиционным любовным треугольником: Элиану любит «благоухающий старик», она предпочитает светского юношу. В этой части много бытовой и психологической наблюдательности. Карточная партия в гостях описана с неподдельным юмором. Но старик умирает, а юноша покидает Элиану, и все построение романа меняется. Героиня вдруг возмущается автором, готовящим ей жестокую судьбу. Она приходит к нему, жалуется и доказывает ему, что он не имеет права распоряжаться ею, ибо она – не его создание, а наследие впитанной им культуры. Это она – Клеопатра, Франческа да Римини (конечно, не этот «синий чулок» – Беатриче), Татьяна Ларина. В этой речи много блесток живого ума, хотя чувства меры она лишена. Так, объяснение Татьяниного отказа Онегину верностью не мужу, а новому любовнику, – возмущает художественной (а не житейской) нецеломудренностью.

Итак, Элиана входит в жизнь автора, но и автору приходится вмешаться в действие романа, чтобы помешать ее планам. Он подстраивает ее связь с бессовестным дельцом Ральфом и втаскивает в

роман какого-то приятеля, которому тоже хочется мстить. В результате он убивает Элиану – и только тогда понимает, что любил ее и что вообще не властен над своими героями, так как они живут в том же божьем мире, что и живые люди. Обычные рамки литературного произведения в этой части Райциным сломаны – он вставляет лишние эпизоды (подчеркивает их, издеваясь над читателем и над самим собою), обращения к критикам, лирические отступления. Впечатление разрозненности вызвано сознательно: трудно критиковать писателя, заранее ответившего на упрек в своеволии и в хаотичности построения. Упрекнуть его все же можно в том, что сознательность приема не всегда чувствуется, что сбивчивость не всегда оправдана.

Смущает и развязность тона Райцина. Так издеваться может лишь большой мастер и писатель с большим содержанием. Пока что Райцин своего права на этот тон не доказал. И, наконец, главная опасность его: безвкусица, особенно в любовных и чувственных эпизодах, снова оскорбляющих художественную, а не житейскую мораль: с последней автор вправе не считаться, но первую отвергать писателю нельзя – под страхом литературной гибели. Если это – элемент привходящий, «волненье крови молодой», то Райцин легко от него отделается. Если же это его глубинное заблуждение, то за его судьбу можно серьезно опасаться.

---

1. Райцин (Райцын) Дориан Иосифович (25 мая 1910, Ростов-на-Дону – 23 сентября 2005, Париж). Инженер-химик, прозаик. В эмиграции жил во Франции. Окончил Химический институт в Руане (департамент Приморская Сена). Работал инженером-химиком в Обервиле (под Парижем). В Париже посещал литературные собрания и вечера. Автор нескольких романов на французском языке.

2. «Возрождение», том 14, № 4176, 24 марта 1939 г.

3. *Raitzyn D*. Le dèceptions d'Eliane. – Paris: Edition "Tréfle", 1939.

ИРИНА НЕМИРОВСКАЯ[1]

«ДВОЕ»[2]

Наша соотечественница Ирина Немировская во французской литературе уже, во всяком случае, не новичок. Она выпустила за последние годы с десяток книг – причем первые же ее романы обратили на нее всеобщее внимание. Помимо несомненного дарования, пускай неровного и не всегда глубокого, привлекало в этих книгах своеобразие – вероятно, результат особого сочетания русской и французской культуры. Прелестная повесть «Недоразумение», затем драматический, хотя и со срывами в мелодраму, «Давид Гольдер», кото-

рый и составил писательнице имя, затем несколько поверхностный, но художественно очень удавшийся этюд переживаний подростка «Бал»... Казалось, что линия творчества Немировской предначертана – и линия вполне почетная.

Впоследствии, однако, ее творчество не раз приносило нам разочарование. Талант ее сказывался лишь в отдельных отрывках, в целом же ее романы были либо совершенными пустячками, либо сырыми и с растянутыми повествованиями, в которых психология героев по своей условности приближалась к образцам совсем непритязательным. С тем большим удовлетворением отмечаем мы новый роман Немировской[3], снова возвращающий ее на пути серьезного искусства. Композиционно и он неровен, четкости «Недоразумения» и «Бала» в нем нет. Но в нем чувствуется значительный замысел и вдумчивый авторский подход к нему. Немировская явно писала эту книгу не для забавы и не для литературной игры. В ней заметен жизненный опыт – и пусть выводы из него спорны, сама эта спорность свидетельствует о том, что вопросы затронуты действительно важные.

Центральное место этого романа в творчестве Немировской подчеркивается тем, что она впервые посвятила целую книгу любви. В противоположность большинству писательниц, она до сих пор касалась любовных переживаний лишь мельком, в эпизодах, в общем, второстепенных. Даже в новом романе любовь – не единственная тема. Вся первая часть отведена «быту» – тому особому послевоенному быту, с жаждой веселья и обладания, который уже столько раз описывался французскими романистами. Но само это стремление Антуана Кармонтеля все к новым победам важно именно потому, что оно – контраст любви, той «любви двух», которая потом коснется его жизни.

Любопытно, что, подобно многим современным писателям, и Немировская эту любовь воспринимает как любовь брачную. История «двух» начинается тогда, когда любовники становятся супругами. Антуан и Марианн не безоблачно счастливы. Искушения старой страсти не умерли в сердце Антуана и оживают снова в образе Эвелины, сестры Марианны. Супружеская любовь и страсть к Эвелине неизбежно приводят к конфликту, в котором Эвелина погибает. Прочная семейная, домашняя связь торжествует над бурей чувственности – и даже чувства. С горечью Антуан сознается, что в свой последний час он будет жалеть не о драматической любви Эвелины, а о житейской, но все больше его покоряющей привязанности Марианны.

Мы сказали, что выводы Немировской спорны. Может быть,

правильнее было бы сказать, что спорны их обоснования. Брачная любовь побеждает «романтику», но не противоположна ей по существу, она соткана одновременно из той же эротической, душевной и телесной стихии, но лишь очищенной от случайных элементов. Житейская привычка дополняет, но отнюдь не исчерпывает ее – поскольку она остается любовью. Сами столкновения «двоих», – если они действительно любовная чета, – отмечены этой стихией. Это – не ежедневные мелкие ссоры, а тютчевский «роковой поединок». У Немировской дыхания рока именно и не достает. Любовь Антуана и Марианны от эротического русла просто отклоняется. Такой любви не победить ту, другую. В таком случае, можно скорее говорить о смерти любви и об измельчании Антуана и Марианны...

Это основное возражение, конечно, существеннее отдельных упреков, которые можно сделать Немировской по формальным поводам. Роман неровен, но встречаются в нем пассажи превосходные. Страницы, описывающие самоубийство Эвелины и бешеную автомобильную поездку Антуана в надежде предотвратить несчастье – полны драматизма незаурядного. И общий тон дают именно подобные пассажи, а не пробелы, – лишнее доказательство серьезности авторского переживания; пускай порою сниженного, или «подсушенного» чисто головными положениями.

---

1. Ирина Немировская (Ирэн Немировски. 1903, Киев – 1942, Освенцим). Немировская стала известной благодаря своим 15 романам, наиболее популярный из которых – «Французская сюита», написанный во время Второй мировой войны, но изданный лишь в 2006 году (рукопись романа передал дочерям муж писательницы во время ареста гестапо). Жизнь Немировской была полна трагических событий. В 1929 году вышел в свет ее роман «Давид Гольдер». Роман получил широкую известность и был экранизирован. Свои первые рассказы, романы и новеллы Ирина публиковала в газетах на французском языке. Подписывалась девушка именем Ирэн Немировски. В 1926 она вышла замуж за банкира Михаила Эпштейна, также эмигранта из России. У них родилось две дочери, Денис и Елизавета. Незадолго до войны вся семья приняла католичество. В 1940 году, боясь ареста, Немировская написала письмо главе вишистского правительства Петену, в котором заявила, что, несмотря на то, что быть евреем – это судьба, сама она никогда не любила евреев и, следовательно, она имеет право на специальный статус. В этом письме она писала также, что она и ее муж считают себя «респектабельными людьми, а не нежелательными иностранцами». Пытаясь скрыться, Ирина с семьей уехали в небольшой поселок в Бургундии, где успешно скрывались два года. Однако 13 июля 1942 года ее арестовали. Скорее всего, выдал кто-то из соседей. Муж ее писал письма в

разные инстанции, пытаясь спасти Ирину, но вскоре пришли за девочками и отцом. Елизавету и Денис спасла гувернантка-француженка, брат которой участвовал в Сопротивлении и спрятал девочек в местном монастыре. Жизни в Освенциме Ирина Немировская не выдержала: через месяц и три дня она умерла. Младшая дочь Немировской, Елизавета Джилле (1937–1996), стала писательницей и опубликовала во Франции три романа: один из них «Тени детства» – воспоминания о своем детстве, второй роман «Мирадор» был написан как воспоминания ее матери. Обе книги имели во Франции большой успех и были переведены на английский язык. В 2007 году во Франции вышла книга о жизни Ирины Немировской («La vie d'Irene Nemirovsky» / «Жизнь Ирэн Немировски»), которая в 2010 году была переведена на английский язык (*Philipponnat, Oliver*, *Lienhardt, Patrick*. The Life of Irene Nemirovsky. – London: Chatto &Windus, 2010. 466 p.). В 1992 году появилось интервью с Джилле, где она подробно рассказывает об испытаниях, выпавших на долю всей семьи.

2. «Возрождение», том 14, № 4183, 12 мая 1939 г.

3. *Nemirovsky, Irene*. Deux. – Paris: Albin Michel, 1939.

Публикация, комментарий – Елена Дубровина

Антон Бакунцев

Как Бунин готовился стать эмигрантом. 1919–1920

Несколько лет назад пишущему эти строки довелось работать в картотеке Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Предметом наших разысканий были дела и отдельные документы, связанные с именем И. А. Бунина. Особый интерес вызвали карточки, отражающие «белогвардейский» – наименее изученный – период в биографии писателя. Карточки эти были заведены еще в ту пору, когда ГАРФ назывался Центральным государственным архивом Октябрьской революции и социалистического строительства СССР. В них содержались ссылки на дела, числящиеся в фонде Канцелярии Штаба командующего войсками Новороссийской области (эти войска, являясь частью деникинских Вооруженных сил на юге России, контролировали обширную территорию, включавшую тогдашние Херсонскую губернию и Северную Таврию). Однако в ГАРФ таковых дел не оказалось: еще в советское время они были переданы в составе целого блока материалов по истории Белого движения в Центральный государственный Особый архив СССР – ныне Российский государственный военный архив (РГВА). Там-то заинтриговавшие нас и доселе не обнародованные документы и были в конце концов обнаружены. Именно они дали импульс к написанию этой статьи.

Автор благодарит за оказанную ему неоценимую помощь сотрудников ГАРФ и РГВА, а также лично С. Н. Морозова (Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской Академии наук, ИМЛИ РАН) и Н.А. Мартынову (Москва).

«КОГДА И КУДА ПОЕДЕМ, ЗНАЕТ ОДИН БОГ...»

Покидая в начале февраля 1920 г. Одессу в преддверии ее захвата красными, И. А. Бунин и его (тогда еще – гражданская) жена В. Н. Муромцева верили, что они непременно вернутся в Россию. Мысль о том, что им, возможно, придется навсегда остаться на чужбине, обоим казалась дикой, неправдоподобной. Соответственно, и свой статус беженцев, эмигрантов оба воспринимали как нечто временное, как дань своевольной, переменчивой судьбе. Тем не менее решение четы Буниных уехать за границу было взвешенным, и в его осу-

ществлении писатель проявил исключительные последовательность и упорство.

Как видно из дневника В. Н. Муромцевой, Бунины начали подумывать об отъезде еще в августе 1919 г., сразу после того, как деникинцы очистили Одессу от большевиков. Однако в то время писатель и его жена еще не определились, куда им отправиться – в Крым или за границу. Окончательный выбор был сделан той же осенью, когда Добровольческая армия стала терпеть поражение за поражением и под натиском красных покатилась к Черному морю. Иллюзий насчет перспектив Белого движения на юге России у четы Буниных не было: они понимали, что полный разгром деникинских войск неминуем. Вместе с тем, для них было совершенно очевидно, что оставаться в России нельзя: на этот раз Бунину не сошла бы с рук его «контрреволюционная» деятельность в качестве публициста, сотрудничавшего в антибольшевистских газетах Одессы[1]. Поэтому, получив в ноябре 1919 г. заграничный паспорт, Бунин, с присущей ему энергией, приступил к поискам возможностей выезда за рубеж.

Однако четкого плана даже относительно того, в какую страну направиться, у Бунина не было. Вероятно именно поэтому он постарался заручиться поддержкой сразу нескольких консульств: турецкого, болгарского, сербского, французского, британского. И все-таки среди государств, представленных этими консульствами, писатель и его жена отдавали предпочтение Франции, о чем свидетельствует ряд фактов. Так, в ноябре 1919 г. в одесском «филиале» Отдела пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России Бунину было выдано удостоверение для работы в Париже в качестве корреспондента газеты «Южное слово»[2], которую он редактировал совместно с академиком Н. П. Кондаковым[3].

В декабре того же года Бунины, согласно дневниковым записям В. Н. Муромцевой, намеревались хлопотать перед командующим войсками Новороссийской области генералом Н. Н. Шиллингом[4] о том, «чтобы он испросил разрешение у французов, чтобы они или даром, или по пониженной цене перевезли» их во Францию[5]. Наконец, примерно тогда же А. Н. Толстой в одном из своих парижских писем призывал Буниных «эвакуироваться» во Францию, в «благодатную и мирную страну, где чудесное красное вино и все, все в изобилии», суля при этом «гарантированный минимум для жизни вдвоем», выгодное сотрудничество в новообразованном журнале «Грядущая Россия» и широкомасштабное издание бунинских книг «по-русски, немецки и английски»[6].

Тем не менее, при всей своей притягательности, Франция не

внушала чете Буниных абсолютного доверия: несмотря на щедрые толстовские посулы, у писателя и его жены были сомнения в том, что им удастся хорошо устроиться в Париже. В качестве альтернативного варианта они рассматривали Балканы. Особенно сильные колебания при выборе будущей страны пребывания испытывала В. Н. Муромцева. 13 (26) декабря 1919 г. она записывает в своем дневнике: «Я почти отказалась от мысли ехать в Париж. И холодно, и голодно, и, вероятно, отношение к нам будет высокомерное. Лучше Балканы»[7]. Но спустя почти две недели, 25 декабря 1919 г. (7 января 1920 г.), после получения французских виз, ее мнение о Франции и Балканах диаметрально меняется: «Я снова твердо держусь за парижскую ориентацию. Может быть, это легкомысленно, но внутренний голос мне говорит, что нужно ехать именно туда. Балканы пугают меня больше. Будет теснота, бестолочь, претензии, а это хуже голода и холода. Да и болезней не оберешься»[8].

Но все это были не более чем отвлеченные рассуждения. В действительности же от воли Буниных мало что зависело – так же, как, впрочем, и от воли всевозможных начальников, к которым они обращались за содействием. Зимой 1919–1920 гг. деникинцы стремительно отступали по всем фронтам, в Одессе оживилось большевистское подполье, ходили слухи о «внутреннем восстании». В такой военно-политической обстановке никто не мог гарантировать писателю и его жене даже то, что им вообще удастся выбраться из города. Тем более, что пароходы с беженцами, один за другим уходившие в те дни на Севастополь, Константинополь и Варну, были переполнены; из-за нехватки кают многим пассажирам предлагали размещаться в трюме, а то и прямо на палубе, чуть ли не верхом на чемоданах. Между тем путь предстоял тяжелый, многочасовой, в стужу, на промозглом ветру. Бунины считали подобные «условия проезда» унизительными и, в ожидании более «комфортной» эвакуации (с предоставлением каюты, хотя бы и третьего класса), тянули с отъездом, рискуя упустить последнюю возможность спасения.

«ОТКАЗАНО В КОМАНДИРОВКЕ...»

Как можно понять из дневниковых записей В. Н. Муромцевой за декабрь 1919 – январь 1920 гг., Бунин в ту пору был занят добыванием не только виз, но и денег. С просьбой о вспомоществовании он обращался в разные инстанции, в том числе в Отдел пропаганды, сотрудником которого формально состоял, в издательство «Русская культура», выпускавшее газету «Южное слово», в штаб командующего войсками Новороссийской области. В последнем случае для получения «субсидии» просто ходатайства было недостаточно – требовался

особый предлог, и в качестве такового Буниным и Н. П. Кондаковым была заявлена некая «командировка», о которой В. Н. Муромцева несколько раз упоминает в своем дневнике. Правда, эти упоминания не дают ни малейшего представления о том, кем, куда и с какой целью рассчитывали быть «командированными» академик по разряду изящной словесности и академик-искусствовед.

И все-таки «направляющую организацию» с большой долей уверенности вычислить можно. По всей видимости, ею был Новороссийский (ныне – Одесский) университет. Сделать такой вывод позволяет тот факт, что посредником и официальным ходатаем в этом деле выступал ректор Новороссийского университета и одновременно исполняющий обязанности попечителя Одесского учебного округа А. Д. Билимович[9]. Именно за его подписью бумаги о «командировке» двух академиков были направлены генералу Н. Н. Шиллингу и в штаб французского командования, в чьем ведении находилась эвакуация беженцев из Одессы (без согласия союзников ни один человек не мог покинуть город – во всяком случае, по морю). Содержание этих бумаг неизвестно, но можно предположить, что И. А. Бунин и Н. П. Кондаков значились в них как преподаватели Новороссийского университета.

В отношении Н. П. Кондакова это было вполне справедливо, поскольку в 1918–1919 гг. он «в качестве приват-доцента Новороссийского университета читал лекции по истории русской иконописи и итальянской живописи эпохи Возрождения»[10]. Много лет спустя Б. В. Варнеке[11], один из учеников Н. П. Кондакова, вспоминал, что ректор университета А. Д. Билимович «очень живо интересовался искусством и окружил Н[икодима] П[авловича] полным вниманием, устроив ему, как академику, повышенную оплату лекций...»[12]. Скорее всего, именно Н. П. Кондаков уговорил А. Д. Билимовича помочь с оформлением «командировки».

Что же касается Бунина, то его связь с Новороссийским университетом выражалась только в том, что осенью 1919 г. он дважды прочел в Большой химической аудитории свою публичную лекцию «Великий дурман», фрагменты которой впоследствии были напечатаны в газетах «Южное слово» и «Родное слово»[13]. Писатель вообще никогда не пытался воспользоваться принадлежавшим ему, как почетному академику Российской академии наук, правом «занять профессорскую кафедру в любом европейском университете»[14].

Помимо перечисленных здесь должностных лиц, к делу о «командировке» двух академиков некоторое касательство имел также В. В. Брянский[15] – сын московских приятелей В. Н. Муромцевой, офицер, занимавший некий (по-видимому, высокий) пост при штабе генерала Н. Н. Шиллинга. Собственно, он и познакомил Бунина с

командующим войсками Новороссийской области[16]. В. В. Брянский, которого В. Н. Муромцева в своем дневнике называет просто «Воля» (так было принято в его семье и ближайшем окружении), обещал свое содействие в случае затруднений.

Насколько серьезны и оправданны были надежды двух академиков на осуществление их затеи, сказать трудно: дневниковые записи В. Н. Муромцевой позволяют судить лишь о ее собственном отношении к истории с «командировкой».

С самого начала В. Н. Муромцева сомневалась в успехе: она не верила, что те, от кого зависел исход дела, будучи приверженцами ультраправых идей, действительно станут помогать своим политическим оппонентам, каковыми для них были внепартийные государственники-центристы Бунин и Кондаков. Ее недоверие и неприязнь к А. Д. Билимовичу, Н. Н. Шиллингу и даже «Воле» Брянскому[17] усугублялись тем, что все они в той или иной мере были близки к редакции монархистско-националистической газеты «Единая Русь», которая время от времени ополчалась на бунинско-кондаковское «Южное слово», браня его за «чрезмерный» либерализм.

Опасения В. Н. Муромцевой за судьбу «командировки» двух академиков наиболее полно и недвусмысленно отражены в строках ее дневника, датированных 17 (30) декабря 1919 г.:

«Была на приеме у Билимовича. <...> Он актер. Стоял навытяжку, ни один мускул лица не дрогнул во время приема. <...> Меня принял стоя. Я пробыла у него минуты две. Он прочел письмо Яна[18] и сказал, что будет в 3 часа у Кондакова. Вопрос шел о том, отправлена ли бумага французам относительно проезда на пароходе и относительно ассигновки на командировку. Мне показалось, что дело безнадежно. <...>

В 3 часа я была у Кондакова. Билимович сказал, что не знает о судьбе поданной бумаги. Я предложила, что съезжу к Брянскому. <...> Билимович предложил довезти меня. И чем мы дальше ехали, тем он становился все любезнее.

В приемной Брянского я прождала с полчаса. <...> Наконец я была принята. <...> Бумага уже послана французам, но прямо в Константинополь к де-Франси. Относительно ассигновок нет никакой надежды. Будто бы нет ни романовских, ни думских. Я думаю, что они просто не хотят посылать ни Кондакова, ни Яна, ибо они с нами не единомышленники, – все они из ‘Единой Руси’, а ‘Южное слово’ только терпят. Им и Россию хочется превратить в ‘Единую Русь’, а не в Великую Россию. Вот в чем трагедия»[19].

Была ли В. Н. Муромцева права в своих подозрениях, неизвестно. Но, так или иначе, в начале января 1920 г. Бунину и Кондакову в

«командировке» и ее «субсидировании» было официально отказано. Не дали писателю денег и в Отделе пропаганды.

Эти два обстоятельства, наряду с событиями на фронте и многочисленными примерами всяческой низости в тылу, существенно повлияли на отношение Бунина не только к конкретным должностным лицам, с которыми ему пришлось иметь дело, но и ко всей Добровольческой армии. Еще сравнительно недавно поистине очарованный ею, любовавшийся бравым видом и дисциплинированностью белого воинства, польщенный тем, что ему, как редактору «Южного слова», власти предоставили автомобиль «с национальным флагом» и водитель-офицер козырял ему со словами «Ваше превосходительство»[20], произнесший в честь генерала А. И. Деникина, когда тот в сентябре 1919 г. посетил Одессу, восторженную (хотя и очень краткую) речь[21], – Бунин отныне, чувствуя себя оскорбленным, отмежевывался от добровольцев и говорил о них без прежнего упоения.

«МИССИЯ, ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ В СЕРБИЮ И БОЛГАРИЮ...»

12 (25) января 1920 г. официальный дипломатический представитель генерала А. И. Деникина в Софии А. М. Петряев[22] телеграммой, составленной по-французски, сообщал генералу Н. Н. Шиллингу: «Болгарское правительство может принять до восьми тысяч беженцев и разместить их в провинции. Консул Тухолка[23] принимает участие в специальном комитете, образованном для оказания помощи беженцам. Французское командование выказывает весьма деятельное участие. Прошу направлять беженцев группами, организованными согласно Вашему усмотрению, снабженными медицинской помощью, и указывать время выезда пассажиров. ‘Витязь’, имея [санитарный патент], указывающий на случаи холеры в Одессе, задержан санитарными властями в обязательном карантине в Варне»[24].

Скорее всего, в тот же день копии этой телеграммы, уже в переводе на русский язык, были вручены начальнику военных сообщений и ректору Новороссийского университета. В обоих случаях документ сопровождался запиской дежурного генерала в штабе войск Новороссийской области И. И. Ветвеницкого[25], который просил адресатов «наметить мероприятия по перевозке беженцев в Болгарию, чтобы под видом беженцев не уехали буржуи»[26].

Столь странная на первый взгляд просьба объясняется тем, что под беженцами в первую очередь подразумевались *настоящие* жертвы Гражданской войны: больные, раненые, инвалиды; затем – все остальные, кто не обладал капиталами и не мог постоять за себя с оружием в руках.

Между тем к 12 (25) января 1920 г. переброска беженцев из

Одессы уже шла полным ходом. Поначалу их переправляли небольшими группами, но очень скоро «группы» численно выросли настолько, что, как отмечалось выше, на пароходах не хватало мест. Именно так было, например, с упомянутым в телеграмме А. М. Петряева «Витязем», на который, по словам В. Н. Муромцевой, «хотели втиснуть» И. А. Бунина и Н. П. Кондакова и который покинул одесский рейд предположительно 24 декабря 1919 г. (6 января 1920 г.)[27].

Ко времени получения петряевской депеши были «намечены» и кое-какие «мероприятия по перевозке беженцев». Одним из таких «мероприятий» было образование «миссии, предполагаемой в Сербию и Болгарию, для освещения вопросов, связанных с приемом в означенные страны беженцев»[28]. Правда, не совсем ясно, какой смысл вкладывали в подобную формулировку «отцы-основатели» миссии, имена которых, кстати, неизвестны – как и конкретная дата ее образования. Вообще, на наш взгляд, эта миссия с самого начала была чистой воды фикцией, и выдумали ее лишь для того, чтобы замаскировать истинную цель – эмиграцию из России. Впрочем, то же самое можно сказать и о злополучной «командировке» Бунина и Н. П. Кондакова.

Как бы то ни было, 7 (20) января 1920 г. беженская миссия на Балканы формально уже существовала, и к ее организации прямое отношение опять-таки имел Новороссийский университет. На это указывают бумаги, которые в тот день А. Д. Билимович подал на имя начальника штаба войск в Новороссийской области генерала В. В. Чернавина[29] и которые представляли собой список членов миссии и прошение выдать им от имени «главноначальствующего Новороссийской области» специальные удостоверения. Согласно списку, миссия состояла из двух групп – сербской и болгарской. Причем в составе сербской группы, включавшей 10 человек (в отличие от болгарской, куда вошли только двое), под № 4 значился «акад[емик] И. А. Бунин»[30].

Как и почему он оказался в «списке А. Д. Билимовича», мы не знаем. Об этом ничего не говорится ни в документах, имеющих отношение к балканской миссии и хранящихся ныне в РГВА, ни в дневнике В. Н. Муромцевой, ни в свидетельствах самого писателя, если только не считать таковыми строки в его очерке «Гегель, фрак, метель» (1950): «Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положении наших дел и на фронте, и в тылу Одесской области, должен был поэтому посетить и Белград...»[31] Однако расценивать эти слова как объяснение присутствия имени Бунина в «списке А. Д. Билимовича» неразумно: ведь из записей В. Н Муромцевой явствует, что ее мужа миссия фатально чем-то

не устраивала и что у него то и дело возникало желание уклониться от участия в ней.

«Вчера Ян уже совсем решил отказаться от миссии и ехать на свои крохи в третьем классе, – пишет В. Н. Муромцева 6 (19) января 1920 г. (т. е. за день до того, как А. Д. Билимович отправил в штаб командующего свои бумаги), – а сегодня звонил Бельговский[32] и сообщил, что хотят ‘разбить миссию на части’: в первую – митрополита Платона[33], Кондакова, Яна, Шабельского[34], адъютанта сербского короля и Лопуховского[35]. Это меняет дело. Интересно участвовать в миссии вместе с Платоном»[36].

Не совсем ясно, чье мнение о перспективах «участвовать в миссии» с митрополитом Херсонским и Одесским Платоном высказывала В. Н. Муромцева – только свое собственное или же единодушное с Буниным, – но, в любом случае, сведения о «кадровом составе» сербской группы, которые им сообщил по телефону журналист К. П. Бельговский, были не вполне верны. В действительности, согласно «списку А. Д. Билимовича», в эту группу, наряду с И. А. Буниным, Н. П. Кондаковым, К. П. Бельговским, ротмистром К. Н. Шабельским[37], входили профессора Новороссийского университета Д. П. Кишенский[38], П. М. Богаевский[39], В. В. Завьялов[40], русский консул в Варне С. В. Тухолка[41], врач В. В. Завьялов[42] и П. В. Могилевская[43]. Вероятно с кем-то из них Бунин не нашел общего языка – иначе трудно понять, почему 21 января (3 февраля) 1920 г. в дневнике его жены появилась запись: «Ян все терпит до Белграда. Но там он откажется от миссии и от всяких сношений с этими господами...»[44]

Возможно, причиной бунинских неладов с «этими господами» опять, как в истории с неудавшейся «командировкой», были политические разногласия. Дело в том, что, по крайней мере, один из основных членов миссии – профессор П. М. Богаевский, подобно А. Д. Билимовичу, сотрудничал в ненавистной Буниным «Единой Руси». Остальные (разумеется, за исключением Н. П. Кондакова и К. П. Бельговского, которого Бунин переманил в «Южное слово» из другой одесской газеты – «Сын Отечества») могли быть единомышленниками П. М. Богаевского. Кроме того, как указывает В. Н. Муромцева, сумма, назначенная для выдачи участникам миссии, была столь мала, что Бунин, несмотря на острую нужду в деньгах, из гордости не стал ее принимать.

Так или иначе, 17 (30) января 1920 г. в штабе командующего войсками Новороссийской области Бунину было выписано удостоверение следующего содержания:

«Настоящим удостоверяется, что предъявитель сего акад[емик] И. А. Бунин является действительным членом миссии, предполагае-

мой к отправке в Сербию и Болгарию для освещения вопросов, связанных с приемом в означенные страны беженцев.

Генерального штаба генерал-майор *Чернавин*

Дежурный генерал, генерал-майор *Ветвеницкий*»[45].

Пополнил ли писатель этим документом свою «коллекцию» удостоверений «на все случаи жизни», неизвестно: в РГВА хранится не только явная (неподписанная) копия удостоверения, датированная к тому же 18 (31) января 1920 г.[46], но и столь же несомненный оригинал (впрочем, не исключено, что это попросту *второй* экземпляр оригинала).

«ИТАК, МЫ СТАНОВИМСЯ ЭМИГРАНТАМИ...»

Как пишет современный сербский историк-эмигрантолог М.Йованович, в течение января 1920 г. «в Болгарию через порт Варна было эвакуировано 2500 человек <...>. К концу января первые группы беженцев появились и в Югославии. Они перебрасывались через греческий порт Салоники и дальше поездом через Гевгели»[47]. Но был еще один путь – через Константинополь. Именно этим путем 26 января (8 февраля) 1920 г. на борту французского парохода «Спарта» Бунины отправились в изгнание, деля «крохотную каютку» с Н. П. Кондаковым и его помощницей Е. Н. Яценко[48]. Остальные члены балканской миссии, по-видимому, эвакуировались на других пароходах. Во всяком случае, у В. Н. Муромцевой среди пассажиров «Спарты» они не упоминаются.

По иронии судьбы, перед тем как попасть в «благодатную и мирную» Францию, чете Буниных предстояло больше месяца провести на Балканах[49].

Накануне отъезда, 20 января (2 февраля) 1920 г., жена писателя с горечью отметила в дневнике: «На сердце очень тяжело. Итак, мы становимся эмигрантами. И на сколько лет? Рухнули все наши надежды...»[50]

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Подробнее об этом см.: Из творчества И. А. Бунина эпохи Гражданской войны / Вступ. ст. и публ. Г. Д. Зленко // «Филологические записки». – Воронеж, 1995. Вып. 4. Сс. 22–33; *Бакунцев А. В.* И. А. Бунин на страницах одесской печати в годы Гражданской войны // «Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика». – М., 2014. № 5. Сс. 55–71.

2. Сведения предоставлены старшим научным сотрудником ИМЛИ РАН С. Н. Морозовым.

3. Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) – историк византийского и древнерусского искусства, археолог, культуролог; ординарный академик

Петербургской Академии наук (1898), действительный член Петербургской Академии художеств (1893) и Болгарской Академии наук (1920), действительный иностранный член Чешской академии наук, литературы и художеств (1898), член-корреспондент Сербской королевской Академии наук (1901), «почетный и действительный член многих русских и иностранных университетов, институтов, научных обществ, комиссий и пр.» (*Тункина И. В.* [Вступительная статья] // *Варнеке Б. В.* Материалы для биографии Н. П. Кондакова // Диаспора: Новые материалы. – Париж; СПб., 2002, Вып. 4. Сс. 72–73). В эмиграции – профессор Софийского (1920–1922) и пражского Карлова (1922–1925) университетов. В Праге последователями ученого после его смерти был создан исследовательский центр «Seminarium Kondakovianum», ставший с 1931 года Археологическим институтом им. Н. П. Кондакова.

4. Шиллинг Николай Николаевич (1870–1946) – русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Первой мировой и Гражданской войн. Именно его части – войска Новороссийской области – в августе 1919 г. освободили Одессу от красных. Однако зимой 1919–1920 гг. Н. Н. Шиллинг не сумел организовать должную оборону города, вследствие чего при приближении передовых отрядов Г. И. Котовского в начале февраля 1920 г. последняя эвакуация беженцев из Одессы превратилась в паническое бегство. По свидетельствам очевидцев, в городе и порту царил хаос. Генерал Н. Н. Шиллинг со своим штабом покинул Одессу одним из первых, передав командование остатками своих войск (фактически – горстками офицеров) полковнику А. А. Стесселю (см.: *Я.* Сдача Одессы (Беседа с беженцами) // «Еврейская трибуна». – Париж, 1920. 19 марта. № 12. Сс. 4–6; *Терещенко С.* Эвакуация Одессы (Январь 1920 г.) // «Русское время». – Париж, 1926. 11 февр. № 203. Сс. 2–3; *Косичев В.* Одесса в январе 1920 года: Из воспоминаний белого матроса // «Молва». – Варшава, 1933. 28 мая. № 121. С. 3; *Шульгин В. В.* 1920 год // Белое дело: Избранные произведения: В 16 кн. – М., 2003. Кн. 10: Бредовский поход. Сс. 248–256; *Штейнман Ф.* Отступление от Одессы // Там же. С. 317). Впоследствии, уже в Крыму, генерал Н. Н. Шиллинг, отчисленный в распоряжение Главнокомандующего Русской армии генерала П. Н. Врангеля, был отдан под суд за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в качестве командующего войсками Новороссийской области. Суд приговорил его к расстрелу, но затем приговор почему-то был отменен. В 1920 г. эмигрировал в Чехословакию.

5. Устами Буниных: Дневники И. А. и В. Н. Буниных и другие архивные материалы: в 2 т. / Под ред. М. Грин; вступит. ст. Ю. Мальцева. – М., 2004. Т. 1. Сс. 264–265.

6. Цит. по: *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 8 т. / Сост., вступит. ст., подгот. текста, примеч. А. К. Бабореко. – М., 2000. Т. 8. С. 317.

7. Устами Буниных. Т. 1. С. 267.

8. Там же. С. 270.
9. Билимович Антон Дмитриевич (1879–1970) – ученый-математик, профессор Новороссийского университета в Одессе. В 1917–1920 гг. – его ректор, а также исполняющий обязанности попечителя Одесского учебного округа. Эмигрировал в 1920 г. в Югославию. Профессор Белградского университета, действительный член Сербской академии наук и искусств (1936). Один из основателей Российского академического кружка в Югославии, Математического института Сербской академии наук и искусств, Югославского общества механиков.
10. *Тункина И.В.* Указ. соч. С. 74.
11. Варнеке Борис Васильевич (1874–1944) – ученый-латинист, историк театра и театральный критик; заслуженный деятель науки Украинской ССР (1941). Во время Великой Отечественной войны, оставшись в оккупированной Одессе, читал лекции в открытом румынами Румынском королевском университете Транснистрии и формально состоял в Институте антикоммунистической пропаганды. В 1944 г. был арестован и обвинен в измене родине. Умер в Киеве, в больнице при областной тюрьме. Реабилитирован «за недоказанностью предъявленного обвинения» в 1955 г.
12. *Варнеке Б. В.* Указ. соч. С. 91.
13. Подробнее об этом см.: *Бакунцев А. В.* Лекция И. А. Бунина «Великий дурман» и ее роль в личной и творческой судьбе писателя // Ежегодник Дома Русского Зарубежья им. Александра Солженицына, 2011 / Отв. ред. Н. Ф. Гриценко. – М., 2011. Сс. 17–44.
14. *Федоров А.* Злоключения Бунина в Болгарии (Письмо из Софии) // «Сегодня». – Рига, 1933. 24 ноября. № 325. С. 2.
15. Брянский Всеволод Викторович (1890–1948) – участник Белого движения, религиозный деятель, церковнослужитель. В 1914–1917 гг. – секретарь московского градоначальника (см. его «Записки» об этом периоде: URL: http://www.rp-net.ru/book/archival_materials/briansky.php). Эмигрировал в 1920 г. во Францию. В 1936–1947 гг. был казначеем прихода храма Христа Спасителя в Аньере (под Парижем). Его отец, Виктор Диодорович Брянский (1868–1944), юрист и общественный деятель, председатель Всероссийского союза городов, также участник Белого движения, в 1928–1937 гг. руководил деятельностью Издательской комиссии при Русском культурном комитете в Белграде. Его переписка с Буниным хранится в ГАРФ (Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 10. Л. 2–57); несколько писем В. Д. Брянского отложилось также в Leeds Russian Archive (LRA. MS. 1066/1977–1980).
16. В тот день, 17 (30) августа 1919 г., в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы служили панихиду по вождям Добровольческой армии – генералам Л. Г. Корнилову, М. В. Алексееву и С. Л. Маркову, – затем состоялся военный парад на Соборной площади. Н. Н. Шиллинг показался Бунину похожим «на немца, ‘как встал, так и простоял, не двигаясь, все богослужение’» (Устами Буниных. Т. 1. С. 254).

17. Многое настораживало и даже ужасало В. Н. Муромцеву в этом молодом человеке – в частности, его легкомыслие, не сообразное должности, которую он занимал, отсутствие «государственного понимания», антисемитизм, но в особенности – полное безразличие к человеческой жизни: во время одного из своих визитов к Буниным он говорил о казнях «совершенно спокойно, как будто о том, что свинью к праздникам режут» (Там же. С. 260).
18. Так В. Н. Муромцева называла мужа с самого начала их совместной жизни, «во-первых, потому что ни одна женщина его так не называла, а во-вторых, он очень гордился, что его род происходит от литовца, приехавшего в Россию, ему это наименование нравилось» (*Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина. Беседы с памятью / Вступ. ст., примеч. А. К. Бабореко. – М., 2007. С. 287).
19. Устами Буниных. Т. 1. С. 268.
20. Членам Императорской Академии наук, даже почетным, как Бунин, по Табели о рангах присваивался чин тайного советника, который соответствовал воинскому званию генерал-лейтенанта.
21. См.: *Бунин И. А.* Публицистика 1918–1953 годов / Под общ. ред. О. Н. Михайлова; вступит. ст. О. Н. Михайлова; коммент. С. Н. Морозова, Д. Д. Николаева, Е. М. Трубиловой. – М., 2000. С. 29.
22. Петряев Александр Михайлович (1875–1933) – дипломат, полиглот, участник Белого движения. В 1917 г. товарищ министра внутренних дел при Временном правительстве. В 1919 г. помощник начальника управления по делам вероисповеданий Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. В 1920–1922 гг. официальный дипломатический представитель А. И. Деникина и П. Н. Врангеля в Болгарии. С 1923 г. жил в Белграде, служил в Министерстве иностранных дел Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (Югославии).
23. Тухолка Сергей Владимирович (1874–1954) – дипломат, переводчик, оккультист. В 1912–1920 гг. был русским консулом в Варне. В эмиграции жил в Константинополе, затем в Париже.
24. РГВА. Ф. 39660. Оп. 1. Д. 386. Л. 74 об. Оригинал на французском языке – л. 72–73. Содержание этой телеграммы и дата ее отправки вынуждают усомниться в правильности некоторых фактических данных, приведенных в книге современного сербского историка-эмигрантолога М. Йовановича «Русская эмиграция на Балканах: 1920–1940». Исследователь, в частности, утверждает, что правительство Болгарии объявило о решении принять 8 тыс. русских беженцев лишь 9 февраля 1920 г., «тем самым подтвердив неофициальное соглашение от 29 января» (*Йованович, М.* Русская эмиграция на Балканах: 1920–1940 / Пер. с серб. А. Ю. Тимофеева; науч. ред. А. В. Громова-Колли, Е. В. Михайлова. – М., 2005. С. 87).
25. Ветвеницкий Иван Иванович (1862–1942) – военачальник, генерал-майор, участник Первой мировой и Гражданской войн. В Добровольческой

армии с 1917 г. В 1918–1919 гг. был дежурным генералом в штабе, затем начальником штаба Крымско-Азовского корпуса. В 1919–1920 гг. дежурный генерал в штабе войск Новороссийской области. Эмигрировал в 1920 г. в Болгарию, затем во Францию, где был вице-председателем Союза российских кадетских корпусов, одним из устроителей Булонь-Бийанкурского прихода, участвовал в деятельности Сергиевского подворья в Париже.

26. РГВА. Ф. 39660. Оп. 1. Д. 386. Л. 74.

27. Устами Буниных. Т. 1. С. 270.

28. РГВА. Ф. 39660. Оп. 1. Д. 386. Л. 75.

29. Чернавин Виктор Васильевич (1877–1956) – военачальник, генерал-майор Генерального штаба Российской империи, участник Белого движения на юге России, в 1919–1920 гг. начальник штаба командующего войсками Новороссийской области. Фамилия генерала В. В. Чернавина дважды упоминается в дневнике В. Н. Муромцевой – правда, оба раза с небольшими искажениями: Чернявин и Чернявский. Буниных с генералом познакомил «Воля» Брянский. На В. Н. Муромцеву генерал В. В. Чернавин произвел впечатление «человека приятного, но твердого» (Устами Буниных. Т. 1. С. 260). А вот одесские знакомые Буниных Туган-Барановские считали, что и командующий войсками Новороссийской области, и его начальник штаба – «бесчестные люди, оба подкуплены» (Там же. С. 271). Эмигрировал в 1920 г. в Чехословакию. В 1928–1938 гг. сотрудник Русского заграничного исторического архива в Праге. В 1938–1939 и 1947–1951 гг. член президиума «Успенского Братства для погребения православных русских граждан и для охраны и содержания в порядке их могил в Чехословакии».

30. РГВА. Ф. 39660. Оп. 1. Д. 386. Л. 77.

31. *Бунин И. А.* Собр. соч. Т. 8. С. 332.

32. Бельговский Константин Павлович (1895 – после 1945) – журналист. В Одессе перед эмиграцией работал в газете «Сын Отечества», печатался в «Южном слове». Эмигрировал в 1920 г. в Чехословакию. В «нобелевские дни» Бунина в 1933 г. опубликовал в рижской газете «Сегодня» очерк о своем знакомстве с писателем осенью 1919 г. и о совместно проделанном с ним пути в эмиграцию (*Бельговский К.* С Буниным от Одессы до Вены // «Сегодня». – Рига, 1933. 10 дек. № 341. С. 3).

33. Платон (в миру – Рождественский Порфирий Федорович, 1866–1934) – религиозный деятель, священнослужитель. В 1918–1920 гг. – митрополит Херсонский и Одесский. В 1920 г. эмигрировал в Грецию, затем в США. С 1922 г. возглавил Северо-Американскую епархию; был инициатором ее обособления от Московской патриархии, за что, по требованию патриарха Тихона, был предан архиерейскому суду с запрещением в священнослужении. Запрет был снят посмертно в 1946 г. патриархом Алексием I.

34. Шабельский Константин Николаевич (1890–1941) – участник Первой мировой и Гражданской войн, белый офицер, ротмистр. До революции –

предводитель дворянства в Уфимской губернии. В 1920 г. эмигрировал в Югославию. В 1941 г. убит югославскими коммунистами.

35. Возможно имеется в виду журналист Лопуховский Александр Яковлевич (1878–?). В дневнике В. Н. Муромцевой, в записях за тот же период, встречается также фамилия Лопухов (см.: Устами Буниных. Т. 1. С. 271). Не исключено, что в обоих случаях речь шла об одном и том же человеке.

36. Устами Буниных. Т. 1. С. 273.

37. В «списке А. Д. Билимовича» К. Н. Шабельский обозначен как «политический представитель» миссии, но при этом ошибочно назван капитаном.

38. Кишенский Дмитрий Павлович (1858–1933) – ученый-медик, патологоанатом, профессор кафедры патологической анатомии Новороссийского университета, в 1913–1917 гг. его ректор. В 1920 г. эмигрировал в Чехословакию. Работал в Праге председателем медицинской комиссии при Комитете по обеспечению образования российских студентов. В «списке А. Д. Билимовича» значился председателем миссии.

39. Богаевский Петр Михайлович (1866–1929) – юрист, историк, этнограф. Профессор Томского, Киевского и Новороссийского университетов. Эмигрировал в 1920 г. в Болгарию, где основал русский «Свободный университет», возглавил кафедру международного права в Софийском университете и Ближневосточный институт.

40. Завьялов Василий Васильевич (1873–1930) – ученый-физиолог, педагог. Профессор Новороссийского университета, заведующий кафедрой на Одесских высших женских курсах. Эмигрировал в 1920 г. в Болгарию, где возглавил кафедру физиологии и физиологической химии Софийского университета.

41. Непонятно, почему С. В. Тухолка был указан среди членов именно сербской группы. Тем более что, согласно одной из дневниковых записей В. Н. Муромцевой, он отбыл в Болгарию еще 24 декабря 1919 г. / 6 января 1920 г. (см.: Устами Буниных. Т. 1. С. 270).

42. Завьялов Всеволод Васильевич (1895–1965) – врач, участник Первой мировой войны, сын профессора В. В. Завьялова. Эмигрировал в 1920 г. в Болгарию. В 1922–1932 гг. ассистент кафедры физиологии и физиологической химии Софийского университета. Занимался также частной практикой. В 1947–1951 гг. доцент, заведующий кафедрой физиологии на медицинском факультете Пловдивского университета.

43. Могилевская (урожденная Шульгина) Павла Витальевна (1865–1945) – сестра общественно-политического деятеля В. В. Шульгина (1878–1976). В 1913–1919 гг. они вместе издавали газету «Киевлянин». Эмигрировала в 1920 г. в Югославию. В «списке А. Д. Билимовича» обозначена как «казначей».

44. Устами Буниных. Т. 1. С. 276.

45. РГВА. Ф. 39660. Оп. 1. Д. 397. Л. 161. Такие же удостоверения были подготовлены и для других членов балканской миссии.

46. Там же. Д. 386. Л. 82.
47. *Йованович М.* Указ. соч. С. 88.
48. Яценко Екатерина Николаевна (1888 – после 1938) – выпускница Высших женских курсов, ученица Н. П. Кондакова (с 1915 г.); в 1917 г. «покинула Петроград вместе с учителем и находилась рядом до конца его дней, всячески заботясь об ученом» (Мир Кондакова: Публикации. Статьи. Каталог выставки / Сост. И. Л. Кызласова. – М., 2004. С. 89).
49. Подробнее об этом см.: *Бунин И. А.* Собр. соч. Т. 8. Сс. 331–334.
50. Устами Буниных. Т. 1. С. 276.

Москва

А. Гусаченко

Деятельность сокольских организаций в межвоенной Латвии

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

В начале 20-х годов в Латвии работало несколько десятков русских обществ, среди них были как общества, возникшие еще во время Российской империи, так и новые, созданные в независимой республике. Несмотря на концентрацию интеллигенции в столице, русская общественная жизнь не ограничивалась Ригой. Общества были созданы почти всюду, где компактно проживало русское население. В большинстве своем общества носили культурно-просветительный, благотворительный и профессиональный характер.

После установления авторитарного режима Карлиса Ульманиса ситуация для русских кардинально изменилась в худшую сторону. В первую очередь были закрыты организации с определенными политическими целями, остальные общества для более удобного контроля со стороны правительства подлежали перерегистрации, объединению или закрытию. За деятельностью организаций пристально следила политическая полиция[1]. В результате из 142 организаций в 1939 году осталось только 40[2].

Несмотря на многочисленность русских обществ в Латвии, в реальности для всей общины сложилась неблагоприятная ситуация: часть организаций существовала лишь номинально, другая часть практически не функционировала; зачастую одни и те же лица занимали должности в разных организациях[3].

Особое место среди русских молодежных организаций занимали общества движения «Сокол», наиболее популярные не только в Латвии, но и во всех странах компактного проживания русского населения[4]. Парадоксально, но в Латвии основоположниками славянского сокольского движения были латыши, основавшие в 1921 году организацию «Latvijas Vanagi» («Латвийские ястребы»). Многие из основателей являлись участниками недавно завершившихся военных действий, что отразилось на идеологии общества, в котором военная, просветительная и физическая подготовка чередовались с сокольской гимнастикой по системе М. Тырша[5]. В 1932 году общество участвовало в Девятом сокольском слете в Праге и в течение всего своего

существования поддерживало теплые дружеские отношения со славянскими организациями как в Латвии, так и в Европе[6].

В межвоенный период в Латвии действовали два крупных сокольских центра – в Риге и Даугавпилсе (Двинске), а также независимое общество в Лиепае. Филиалы (т. н. «гнезда» и «сокольни») рижской организации были образованы в Абрене (Яунлатгале, Пыталово) и Елгаве. В подчинении даугавпилсской сокольни находились гнезда в Резекне (Режица), Лудзе (Люцин), Екабпилсе (Якобштадт) и Солостовке.

Первое русское сокольское общество было основано 24 ноября 1928 года в Даугавпилсе, когда несколько членов гимнастического общества «Богатырь» решили положить начало организации на сокольских основах. В роли инициаторов выступили Б. Зубарев, А. Соловьев и С. Василевский. Последний исполнял обязанности секретаря общества «Богатырь» и недавно вернулся из Праги, где окончил техникум; во время учебы он состоял в рядах чешского сокольства. На первых порах новосозданное сокольское гнездо работало в составе «Богатыря», но в скором времени переехало в собственное помещение с необходимыми спортзалом, классами, библиотекой[7]. Деятельность организации расширялась, проводились общественные лекции и популяризирующие сокольское движение киносеансы, было издано несколько брошюр, основана секция фехтования, каждое лето устраивались велосипедные соревнования, гимнастические демонстрации, летние лагеря и другие мероприятия. Периодически проводились лекции с участием представителей культуры, ветеранов войны и общественных деятелей местного и международного значения. В 1932 году общество посетил широко известный просветитель Православной церкви, иеромонах и писатель Иоанн (Шаховской), выступивший с лекцией о духовных и нравственных ценностях. Уезжая, гость подарил обществу образ Святого Георгия Победоносца, являвшегося покровителем многих русских молодежных организаций[8]. Укоренившейся традицией стали тематические вечера, посвященные русской литературной классике, был основан драматический кружок, летом организовывались экскурсии в Пюхтицкий и Псково-Печерский монастыри, находившиеся на территории Эстонии. Организация регулярно участвовала в Днях русской культуры, проводимых в городах, где проживали русские. Несколько раз в году проводились общественные вечера и лотереи.

Двинские соколы охотно участвовали в памятных мероприятиях в честь освобождения Даугавпилса от большевиков, празднествах независимости Латвийской республики и других национальных торжествах. Организация добровольно взяла на себя обязанности по

содержанию и уборке кладбища русских воинов, а также несение почетного караула во время торжеств, посвященных чествованию павших[9]. В 1932 году глава общества Б. Зубарев посетил Девятый сокольский слет в Праге, где в составе делегации встретился с президентом страны, а также принял участие в возложении цветов на могилу М. Тырша и других торжественных мероприятиях[10].

Со временем организация попала в поле зрения известных общественных деятелей. Так, в 1932 году архиепископ Иоанн (Поммер) поддержал сокольню, организовав для приобретения книг одноразовое пособие в размере 200 латов из культурного фонда Латвийской республики. Особое внимание обществу уделял консул Чехословакии, делясь опытом и советами по организации сокольского движения. В октябре 1930 года организация участвовала в открытии рижского общества «Русский Сокол», что было отмечено торжественной службой в кафедральном соборе Рождества Христова[11]. На протяжении всего дальнейшего существования обе организации настолько сблизились, что «Русский Сокол», внеся незначительные поправки, перенял устав даугавпилсского общества[12].

В 1933 году были основаны филиалы в Резекне (Режица) под началом Николая Лобовикова, а через несколько месяцев – в деревне Солостовка – как попытка развития сокольства в крестьянской среде. В 1934 году было открыто гнездо в Екабпилсе в помещении Русского образовательного общества. В 1938 году двинская сокольня насчитывала 210 человек, 147 человек состояли в резекненском обществе[13].

Финансовые поступления организации зиждились на членских взносах, пожертвованиях, доходах от лотерей и общественных вечеров. На протяжении всего существования организация испытывала постоянные проблемы финансового плана, однако это практически не отражалось на величине членского взноса. Вступительный взнос составлял 1 лат для совершеннолетних, 50 сантимов для подростков и был бесплатным для детей. Ежегодный членский взнос составлял 2 лата для совершеннолетних, 1 лат для подростков и 50 сантимов для детей[14].

Даугавпилсское русское гимнастическое общество «Сокол» и «Русский Сокол» в Риге юридически находились в подчинении белградского сокольского центра, что определяло схожую структуру уставов организаций. В конце 1938 года в рядах даугавпилсской сокольни находилось 200, а вместе с отделениями – 500 человек[15].

Несмотря на активную деятельность даугавпилсских организаций, наиболее ярко сокольское движение проявило себя в Риге. 18 сентября 1930 года по инициативе группы единомышленников во главе с А. А. Курочкиным, И. Н. Заволоко[16] и Н. Н. Лишиным[17] состоялось

учредительное собрание, постановившее основать организацию сокольского движения[18]. 19 октября 1930 года в кафедральном храме Рождества Христова состоялась торжественная служба, затем прошло собрание в помещении Русского клуба, где было официально провозглашено основание организации «Русский Сокол». Помимо местных общественных деятелей, участие в торжествах приняли послы и консулы Чехословакии, Югославии, Польши и Болгарии. В скором времени общество начало работу в помещении Рижской городской русской гимназии (бывшей Ломоносовской гимназии) по адресу ул. Акас, 10. Вскоре состоялось первое общее собрание, по итогам которого было выбрано правление во главе со старостой И. Пинусом, начальником А. А. Курочкиным и воспитателем И. Н. Заволоко, а через несколько месяцев общество было принято в ряды СРС.

Общество регулярно проводило лекции по истории России, а также чтения религиозного содержания. По аналогии с даугавпилсской организацией, в Обществе выступали не только местные представители творческой интеллигенции, но и деятели европейского, а то и мирового масштаба. Например, в 1931 году с 2 по 5 марта было организовано выступление ярчайшего представителя философской мысли русской эмиграции И. А. Ильина[19]. Об этом событии сохранились воспоминания самого лектора: «В первой половине марта я читал четыре лекции в Риге и два закрытых доклада. Атмосфера создалась очень горячая; там русские люди чувствуют себя на своей исконной земле не эмигрантами, а оседлыми. В Париже я имел в конце апреля три публичных выступления и одно закрытое; русские люди в Париже серые, резиновые, не интересующиеся, со скептической усмешечкой, не загораются или только с большим трудом. Эти мертвые токи чувствуешь уже через 10-15 минут – бессилие своего огня, бесплодность своего порыва... Чувствуешь себя не факелом, а головешкой, чадящей в болоте и в мокрых водорослях. Это трудно, больно – и потом тревожно»[20].

Осенью 1931 года по предложению Русского благотворительного комитета организация взяла шефство над возобновившей работу церковью «Всех скорбящих Радость» (ул. Лачплеша, 108). В обязанности сокольни входило отопление, уборка, дежурства и создание сокольского хора[21]. Возобновление работы храма приурочили к первой годовщине организации. Помимо церковных праздников и дня Святого покровителя Георгия Победоносца, любые значимые начинания (годовщины, начало учебного года, переезд в новые помещения и т. п.) предварялись молебном.

В скором времени расширилась культурно-просветительная деятельность общества, были организованы культурно-образовательный

отдел и библиотека. По инициативе старосты была учреждена касса взаимопомощи и бюро труда, помогавшее трудоустройству членов организации[22]. В 1932 году по инициативе родственников и друзей ведущих деятелей было положено начало комитету патронесс, куда вошли состоятельные жены членов правления и мать учредителя Н. Н. Лишина, владелица Русской женской гимназии О. Лишина. Весной того же года был учрежден статус «Друг соколов», который мог быть присвоен любому человеку с незапятнанной репутацией, желавшему поддержать общество пожертвованием.

Общество регулярно устраивало открытые вечера, на которых сокольские спортивные номера чередовались с чтением стихов, выступлением оркестра, а также пением романсов и арий в исполнении профессионалов. В теплое время года стали традицией народные гуляния с обширной развлекательной программой. Так, например, в мае 1933 года в парке Katoļu darzs (Католю Дарзс) было организовано общественное мероприятие с гимнастическими выступлениями, театральными представлениями, оркестром, отдельным детским театром, фотостендом и буфетом. Как правило, проведение такого рода мероприятий приносило Обществу ощутимую финансовую выгоду: только один такой открытый вечер принес 408 латов[23] (солидная сумма, учитывая, что средняя зарплата квалифицированного рабочего составляла 179 латов[24]).

Помимо сбора средств, «Русский Сокол» принимал участие в благотворительной деятельности, в сборе вещей и средств для нуждающихся; зимой организовывались «елочки» для детей из малоимущих семей. По сокольской традиции, общество занималось уборкой и содержанием кладбища русских воинов, павших на Первой мировой войне, расположенного в Илуксте. Традицией стало и участие в ежегодных Днях русской культуры, в государственных торжествах, а также совместные выступления с даугавпилсской сокольней. В 1935 году организация принимала участие в торжественном открытии памятника Свободы[25].

Делегация «Русского Сокола» участвовала в 9-м Общесокольском слете в Праге, где член правления Лишин вместе с коллегой из даугавпилсского «Сокола» Зубаревым удостоились аудиенции у президента Т. Г. Масарика. Два рижских сокола (П. Валуев и Н. Жин) завоевали симпатии участников слета тем, что приехали в Прагу на велосипедах, – и получили особые дипломы от правления слета[26]. В 1936 г. русские сокола из Латвии принимали участие в слете в Софии[27].

Особое внимание уделялось спортивной подготовке. Занятия проходили в обязательном порядке три раза в неделю для взрослых и

два раза в неделю для школьников. Члены, достигшие 30 лет, были освобождены от обязательных посещений спортивных занятий. Помимо гимнастики М. Тырша, были организованы баскетбольная и волейбольная секции, а в 1932 году общество вступило в Латвийский баскетбольный союз[28]. В 1932 году под руководством Б. Беклешева и И. Фридрика было основано гнездо в Абрене (Яунлатгале, Пыталово). В том же году при содействии братьев из рижского «Русского сокола» была основана независимая сокольня в Лиепае, а в 1933 году – филиал рижской сокольни в Елгаве.

Состав членов сокольни был весьма демократичным и даже пестрым: рабочие, медики, учителя, ремесленники, студенты, школьники, военные. Все, в основном, – со средним и средним специальным образованием. Как и в даугавпилсской сокольне, основными финансовыми поступлениями были членские и вступительные взносы и пожертвования, а также доходы от проведения лотерей и вечеров. Вступительный взнос составлял 1 лат для всех, ежемесячный взнос был определен размером в 1 лат для совершеннолетних, 75 сантимов для подростков и 50 сантимов для соколят[29]. Позже ежемесячные взносы снизились до 50, 30 и 20 сантимов соответственно[30].

В январе 1932 года постановлением общего собрания было выбрано новое правление под предводительством старосты Н. Н. Лишина. Переняв бразды правления, староста руководил обществом более двух лет, в течение которых сокольня пережила период бурного роста и изменений. Еще до назначения нового старосты в организации образовались внутренние трения, виной которых отчасти был властный и экспрессивный характер Лишина. Конфронтация достигла апогея через несколько месяцев после выборов нового правления. Толчком послужил конфликт старосты с начальником В. Лебедичем. Видимо разногласия стали настолько непреодолимыми, что на одном из заседаний правления староста поставил вопрос ребром: «Либо уходит он, либо ухожу я!» Для разрешения ситуации было проведено голосование, итоги которого перевесили чашу весов в пользу Лишина[31].

Летом 1933 года староста посетил съезд СРС в Любляне (где был избран одним из семи подстарост) и, вернувшись, осветил сложившуюся ситуацию раскола русского сокольства, безоговорочно поддержав позицию Белграда. Через месяц было проведено голосование, по решению которого рижское общество «Русский Сокол» перешло в подчинение СРС в Белграде. Принятое решение вызвало роптание, в итоге 21 человек покинул ряды сокольни. Газета «Сегодня», главный рупор русского населения Латвии, опубликовала статью о сложившейся ситуации, указывая на «атмосферу казармы и безоговорочного

рабского подчинения» в сокольне, на то, что «корыстные мотивы и интриги Лишина убивали свободомыслие и сокольский дух»[32]. Последовали письма в пражский и белградский центры с эмоциональным описанием ситуации. По инициативе Лишина было напечатано 500 листовок, где он излагал свою версию случившегося, характеризуя группу выбывших как злостных нарушителей сокольской этики и чести[33]. Листовки разослали видным деятелям русской общины в Риге.

25 августа 1933 года оппозиционеры основали гимнастическое общество «Русская Сокольня» во главе со старостой С. П. Вербой. Работа Общества также проходила в помещениях Рижской русской гимназии по адресу ул. Акас, 10. Несмотря на ссору с Лишиным, отношения «Сокольни» с «Русским Соколом» оставались дружественными, что подтверждает письмо, отправленное в ноябре 1933 года Русскому национальному объединению (РНО). В нем «Сокольня», излагая суть раскола, просила выступить РНО в роли посредника к объединению организаций с единственным условием – исключением Лишина[34]. По понятным причинам предложение не имело успеха, и проект объединения был отложен.

Деятельность «Сокольни» мало чем отличалась от деятельности «Русского Сокола». Организация участвовала в традиционных национальных и государственных мероприятиях, была создана секция фехтования (с последующим участием в латвийских турнирах). Кроме того, «Сокольня» приняла участие в Шестой Латвийской олимпиаде. Устраивались благотворительные акции, открытые вечера, лотереи. «Русская Сокольня» взяла на себя попечение по уходу за братским кладбищем в Икшкиле, а также организацию сбора средств на памятник русским воинам по проекту синодального архитектора В. М. Щервинского[35].

В конце 1933 года в рядах «Русской Сокольни» числилось 92 человека[36]. После государственного переворота 15 мая 1934 года и установления авторитарной диктатуры Карлиса Ульманиса деятельность русских организаций находилась под пристальным контролем агентов политической полиции. Пронеслась волна закрытий политических партий и организаций. Проведение сокольских собраний и даже гимнастических занятий нужно было согласовывать с рижской префектурой. Весной 1934 года поступили повторные предложения объединения, что вызвало сопротивление со стороны старосты, переросшее в очередную конфронтацию. В итоге Лишин ушел в долгосрочный отпуск до следующих выборов правления в январе 1935 года. Однако по итогам голосования общего собрания 1935 года старостой был избран М. Д. Кривошапкин[37], подстаростой стал С. Вер-

ба[38], начальником – Е. Кашкин, Лишин же выбыл из членов правления. Новый староста состоял в правлении целого ряда общественных организаций, поэтому у него не было времени погружаться в дела организации, что позволило Лишину сохранять роль «серого кардинала»[39].

По инициативе МИДа Латвийской республики 3 января 1936 года оба общества получили указание объединиться в общую организацию «Сокол». В скором времени было проведено несколько общих собраний, где представители «Русской Сокольни» настойчиво повторили условия объединения, к требованию об исключении Лишина из рядов сокольни присоединилось обязательное условие выхода новообразованного общества из подчинения белградскому центру СРС[40].

Несмотря на сопротивление и интриги Лишина, он был исключен 1 января 1937 года. В итоге руководство «Соколом» целиком перешло к старосте Кривошапкину. Лишин не желал сдаваться без боя и написал заявление о рассмотрении его исключения в третейском суде, которое, впрочем, осталось без внимания со стороны правления организации[41].

Общество «Сокол» продолжило работу, принимая участие во всех мероприятиях русской общины. Из нововведений можно отметить организацию фехтовальной секции, вступление в Латвийское фехтовальное объединение, в Русский национальный союз, в Латвийское общество гимнастики. «Сокол» переехал в новые помещения на улице Лачплеша. В 1938 году в его рядах насчитывалось 350 человек, не считая филиала в Елгаве (филиал в Яунлатгале был закрыт в 1934 году)[42].

Согласно закону об объединении и перерегистрации обществ от 11 февраля 1938 года, организация была перерегистрирована под новым названием – «Соколы»[43]. Несмотря на усилившееся давление режима, сокольские общества Латвии успешно функционировали вплоть до советской оккупации. В 1940 году все латвийские общественные организации были ликвидированы, сокольское имущество перешло во владение спортивного общества «Динамо»[44]. Многие руководители латвийских соколен были репрессированы, сосланы и казнены, а рядовые соколы и соколки автоматически зачислены в категорию неблагонадежных граждан, участвовавших в деятельности «антисоветских монархических организаций»[45].

ЛАТВИЙСКОЕ СОКОЛЬСТВО И МОНАРХИЗМ

На протяжении всего межвоенного периода латвийское правительство чутко следило за любыми проявлениями, нацеленными на

реставрацию Российской империи и/или борьбу с большевизмом. Полиция политуправления[46] зачисляла в категорию «монархисты» как откровенных сторонников возрождения Российской империи под эгидой монарха, так и отдающих предпочтение форме демократической республики и даже просто грезивших о крахе большевизма и воскрешении России. Учитывая характер русской межвоенной эмиграции, состоящей в большинстве своем из беженцев от большевиков, в категорию «монархисты» можно было с успехом записать всех русскоговорящих.

Несмотря на заявленную надпартийность и аполитичность, национальный характер сокольского движения, военное прошлое ключевых руководителей соколен, их контакт с белградским центром (управляемым офицерами РОВС) были достаточно вескими причинами для особо пристального внимания со стороны латвийской полиции политического управления. Учитывая местные особенности, сокольские организации открыто не использовали идеологические формы работы, принятые в других странах. Одним из краеугольных камней русской сокольской символики подразумевался символ единения – национальный трехцветный русский флаг[47]. На одной стороне знамени русского сокольского общества, состоявшего в СРС, было принято изображать образ Святого Георгия Победоносца с надписью «С нами Бог» (что подчеркивало связь с символикой Императорской армии), другая сторона была трехцветной, бело-сине-красной, с названием общества. Древко увенчивала статуэтка фигуры сокола с гимнастическими гантелями в лапах[48]. Знамена латвийских организаций значительно отличались от общепринятых стандартов. Так, знамя «Русского Сокола» в Риге представляло собой полотно, на котором с одной стороны в центре располагалось изображение сокола и надпись «Русский Сокол в Риге», с обратной стороны – образ Святого Георгия Победоносца. По периметру девизы: «В мышцах сила! В груди отвага! В мыслях Родина!» и «Ни корысти, ни славы!» Древко было выполнено из дуба, увенчано позолоченным соколом с гантелями в лапах и украшено лентами[49].

В оперативных донесениях агентуры Лишин фигурировал как активный участник «подпольной монархической организации» Братство Русской Правды (БРП)[50] и Национального Союза Нового Поколения (НТСНП)[51]. Бессменный староста даугавпилсского общества Зубарев[52] также считался заядлым монархистом. Б. Беклешев[53] (руководитель отделения рижской сокольни в Абрене), член правления резекненского гнезда К. Лейманис и другие члены правления действительно были непримиримыми противниками коммунизма и находились в тесных отношениях с деятелями нелегальных органи-

заций, однако на работе соколен их личные связи с политическими и военными русскими организациями не сказывались; характерными особенностями сокольских организаций считались «казарменные порядки русской армии, с отданием чести и постройкой во фрунт»[54].

В разное время на территории Латвии действовало несколько нелегальных антибольшевистских организаций, наиболее известными из которых были БРП и НТСНП, однако их деятельность не имела выраженного успеха (что не уменьшало пристального интереса к ним полиции политического управления). Накал страстей пришелся на 1932 год, причиной послужило обострение отношений между Советским Союзом и Латвийской республикой в ходе подписания договора о ненападении и продлении торгового соглашения. Лоббируя свои интересы, советская сторона оказывала давление и инкриминировала латвийскому правительству тайную поддержку антисоветских белогвардейских организаций[55]. Ситуацию усугубила присланная нота-меморандум, в которой перечислялись наиболее враждебные белогвардейские деятели, в числе коих находился и Лишин. Ему вменялось в вину активное участие в БРП и НТСНП, а также «вербовка юных кадров в ряды сокольских организаций»[56]. По требованию СССР полицией политуправления была проведена демонстративная серия обысков и арестов. За принадлежность к БРП были арестованы князь А. Ливен и его помощник К. Дыдоров, жена которого была начальницей соколок в Даугавпилсе[57]. Однако за неимением доказательств подозреваемые были отпущены.

Вторая волна обостренного интереса к «монархическим» организациям пришлась на 1934-й – год установления диктатуры Карлиса Ульманиса и, в частности, запрета всех политических организаций[58]. В архиве агентурных донесений полиции политуправления фигурирует целый ворох обвинений правлений соколен в монархизме, национализме, экстремизме и панславизме, что легко объясняется непримиримой позицией руководителей организаций по отношению к советской власти. Многие из них являлись участниками Белого движения. Было бы странным, если бы их отношение к советской власти было иным, что, впрочем, не отражалось на деятельности соколен и «вербовке молодых кадров» для антисоветской деятельности.

Если бы агентурные донесения, пристальный контроль и подозрения органов безопасности действительно имели под собой почву, то деятельность организаций неминуемо была бы остановлена. Однако, несмотря на некоторые ограничения (которые распространялись на все организации Латвии), сокольское движение Латвии успешно развивалось вплоть до советской оккупации в 1940 году.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Фейгмане, Т. Д.* Русские в довоенной Латвии. На пути к интеграции. – Рига: Балтийский Русский Институт , 2000. – 384 с. Сс. 173–175.
2. *Гаврилин, А. В.* Русские эмигранты в межвоенной Латвии: правовой статус и попытки самоорганизации. // Россия и Латвия в потоке истории. 2-я половина XIX – 1-й половины XX в. – М.: ИВИ РАН, 2015. С. 250.
3. *Фейгмане, Т. Д.* Указ. соч. С. 175.
4. *Кадесников, Н.* Краткий очерк русской истории XX века. – Нью Йорк. 1967 // Дорога домой. URL: http://www.dorogadomoj.com/dr61/dr61kad0.html (дата обращения: 22.10.2016).
5. *Gotfrids Milbergs*. Latvijas Vanagi / Gotfrids Milbergs // Latvijas Kareivis. – 1928. 14 октября. С. 5.
6. Latvijas vanagi piedalīsies Čehoslovākijas vanagu IX salidojumā Prāgā. // Latvijas Kareivis. – 1932. 12 мая. С. 4.
7. Русское гимнастическое общество «Сокол» в Двинске . 1928–1933. – Daugavpils: Русское гимнастическое общество «Сокол» в Двинске, 1933. – 18 с. Сс. 4– 11.
8. Ibidem. Сс. 12–16.
9. Ibidem. Сс. 4–11.
10. Ibidem. Сс. 17.
11. Ibidem. Сс. 4–11.
12. ЛГИА (Латвийский Государственный Исторический Архив). Ф. 3285. Оп. 1. Д. 3. Л. 245.
13. Даугавпилсское русское гимнастическое общество «Сокол». // Русский ежегодник. – Рига: Русское Национальное Объединение в Латвии, 1938. Сс. 85, 88.
14. Русское гимнастическое общество «Сокол» в Двинске... С. 17.
15. Десятилетие русского сокольства в Латвии. // «Сегодня». 1938. 26 ноября. С. 7.
16. Иван Никифорович Заволоко (1897–1984). Педагог, краевед, общественный деятель, старообрядческий наставник. Поддерживал контакт с антибольшевистской организацией НТСНП. В 1932 году в его квартире был проведен обыск, не принесший результата. В 1940 году был арестован органами НКВД и 17 лет провел в ссылке и лагерях. Вернувшись в Ригу в 1957 году, стал внештатным сотрудником Института русской литературы в Ленинграде (Пушкинский дом) и участвовал в организуемых им археографических экспедициях. // Картотека политуправления. ЛГИА. С. 2 URL: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/i-zavoloko.html
17. Николай Николаевич Лишин (1893–1941). Морской офицер. Участник Белого движения в составе Каспийского, позже Сибирского флота. С 1920 по 1927 гг. жил в Китае, в Королевстве Сербов Хорватов и Словенцев и Эстонии. Затем обосновался в Риге. Один из главных организаторов и идеологов сокольства в Латвии. До 1933 года был связан с «Братством Русской Правды» и дру-

гими белоэмигрантскими организациями. В 1938 году издал книгу воспоминаний. В 1940 г. был арестован и приговорен к расстрелу. // Картотека политуправления. ЛГИА. С 684. ЛГИА. Ф.3235. Оп.1/22. Д.687/1. Л.269. URL: http://www.russkije.lv/ru/pub/read/russians-in-the-first-latvian-republic/feigmane-chapt2-rem2.html

18. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-2.

19. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 3. Л. 226.

20. *Фирсов, Е. Ф*. Неизвестные письма И. А. Ильина из Германии, Австрии и Швейцарии меценатам русской эмиграции – чете Крамарж в Прагу. – М., ж. «Россия XXI», №№ 7-8. 1997. С. 79.

21. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 3. Л. 129

22. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 6. Л. 21

23. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 68. Л. 50

24. *G. Krumiņs*. Tautsaimnieciba un monetaras norises Latvija Otra Pasaules kara gados // Latvijas Banka. URL: https://www.bank.lv/images/stories/pielikumi/publikacijas/citaspublikacijas/Krumins-2PK.pdf (дата обращения: 23.10.2016).

25. ЛГИА. Ф.3285. Оп. 1. Д. 12. Л. 20.

26. Русские Сокола со всех концов света… Кроме России. // «Сегодня». 1932. 12 июля. С. 8.

27. По информации, предоставленной Р. В. Полчаниновым.

28. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 6. Л. 19.

29. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 4. Л. 9.

30. Русское гимнастическое общество «Сокол» в Латвии. // Русский ежегодник. – Рига: Русское Национальное Объединение в Латвии, 1938. С. 80.

31. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 6. Л. 27.

32. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-3.

33. Ibid.

34. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 67. Л. 86.

35. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 5. Л. 20.

36. Удастся ли объединить русских соколов в Латвии? // «Сегодня». 1933. 12 ноября. С. 6.

37. Кривошапкин Михаил Дмитриевич (1888–1943). Инженер. Председатель рижского муниципального департамента по работе мостов. Заместитель председателя Русского национального общества. Председатель обществ филистров студенческой корпорации «Fraternitas Arctica». Староста объединенного рижского «Сокола». Арестован в 1940 году. Приговорен к 10 годам лагерей. Умер в 1943 году в лагере. / «Сегодня». 23.02.1932. С. 5; «Сегодня», 11.07.1931. С. 6. URL: http://www.russkije.lv/ru/pub/read/y-abizov-latv-vetvj; http://www.russkije.lv/ru/pub/read/russians-in-the-first-latvian-republic/feigmane-chapt3-44.html

38. Верба Сергей Петрович (1891–1946). Банковский служащий. В 1930 году вступил в «Русский Сокол» в Риге. Один из основателей «Русской Сокольни».

С 1937 года подстароста объединенного «Сокола». Входил в Русское академическое общество. В 1941 году работал переводчиком в немецкой комендатуре. Арестован в январе 1945 г. Обвинялся в участии в антисоветской деятельности до войны, а также в сотрудничестве с немецкой администрацией и СД. Приговорен к расстрелу. Приговор был обжалован и заменен 10 годами лагерей. Умер в заключении 29 марта 1946 г. URL: http://www.russkije.lv/ru/pub/read/jacoby-p

39. ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 1/22. Д. 687/1. Л. 297.

40. Ibid. Л. 298.

41. ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 1. Д. 14. Л. 17.

42. Русское гимнастическое общество «Сокол» в Латвии... С. 80.

43. Likums par biedribam. // Latvijas Kareivis. 1938. 12 февраля. С. 2.

44. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 71. Л. 63.

45. *R. Viksne, K. Kangeris.* No NKVD līdz KGB: politiskas pravas Latvija 1940–1986: Noziegumos pret padomju valsti apsudzeto Latvijas iedzivotaju raditajs. – Latvijas universitate. Latvijas vestures instituts, 1999. – 975 c.

46. Политуправление. Организация, находящаяся в подчинении МИД Латвии. Занималась контрразведкой и слежкой за политически неблагонадежными личностями.

47. Основы Русского Сокольства. – Белград: Союз Русского Сокольства, 1935. – 86 с. Сс. 45.

48. *Окороков, А. В.* Молодежные организации русской эмиграции (1920–1945). – М.: Российская Историческая Военно-Политическая Библиотека, 2000. – 120 с. С. 13.

49. ЛГИА. Ф. 3285. Оп. 1. Д. 6. Л. 39.

50. «Братство Русской Правды» (БРП). Создано в 1921 г. БРП действовало с одобрения Великого князя Николая Николаевича, в основном прибегало к тактике партизанской борьбы в западных районах СССР. Активную роль в БРП играл генерал, казачий атаман П. Н. Краснов. Негласным руководителем латвийского отделения являлся князь Анатолий Ливен. В 1932 г. в Латвии были произведены аресты лиц, подозревавшихся в связи с БРП. В 1933 г. БРП пережило тяжкий удар в связи с разоблачением работавшего в нем агента ГПУ Кольберга. Организация распалась и прекратило деятельность в 1933 году. URL: http://www.russkije.lv/ru/pub/read/jacoby-p

51. Национально-Трудовой Союз Нового Поколения (НСРМ, НСНП, НТСНП, НТС). Основан в Белграде в 1930 г., ставил своей целью активное участие в русском национальном движении, стремившемся к освобождению России от коммунистического ига. Вел просветительскую идеологическую деятельность в среде молодежи. Одно время тесно сотрудничал с РОВС и имел свои отделы во многих странах Европы, на Дальнем Востоке и в Америке. / «За Свободную Россию». Сообщение местной организации НТС на востоке США. Нр.12 (32) С. 2. Май 2003.

52. Борис Зубарев (родился в 1892 году). Врач. Основатель и бессменный староста даугавпилсской сокольни. Был известен антикоммунистическими взглядами, ввел безоговорочную дисциплину с угрозой безвозвратного исключения из рядов организации за проявление симпатий к Советскому Союзу или соответствующей идеологии. Арестован в 1940 году. // Картотека политуправления. ЛГИА Нр.1390. URL: http://www.grani.lv/seychas/12836-daugavpilsskiy-sokol.html

53. Борис Беклешев (1897–1941). Чиновник Думы уезда Гаури. Староста Яунлатгальского гнезда, отделения Рижской сокольни. Принимал участие в Гражданской войне в составе Северо-Западной армии Юденича. Бывший брат БРП, в составе организации занимался переброской антикоммунистической литературы на территорию Советского Союза. Арестован в 1940, расстрелян в 1941 году. // Картотека политуправления ЛГИА, 135. Lpp. URL: http://www.russkije.lv/ru/pub/read/boris-jevlanov

54. Картотека политуправления. ЛГИА, 135. Lpp.

55. *Peļevins P*. Krievu pretbolsevistiska kustiba Latvija. 1920. – 1934 g. – Riga: Magistra darbs. Latvijas Universitate, 2016. Сс. 93–95.

56. ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 1/22. Д. 687/1. Л. 5.

57. По информации предоставленной Р. В. Полчаниновым.

58. *Peļevins P.* Указ. соч. Сс. 101–103. В ходе переворота 15 мая 1934 года Карлис Ульманис, занимавший пост премьер-министра, приостановил действие Конституции, распустил парламент и все политические партии, закрыл ряд газет. С апреля 1936 года Ульманис назначил себя президентом Латвии. Официально именовался «вождем» и «отцом нации». Новый авторитарный режим привел к ущемлению прав русского меньшинства. Из государственных органов были уволены многие русские, в том числе с латвийским гражданством. Был закрыт Русский национальный союз, частные гимназии Лишиной и Ломоносовская. В 1938 году закрыт журнал «Закон и суд», вестник «Русского юридического общества». Уже в мае-июне 1936 года Улманис распорядился распустить все политические партии (кроме Крестьянского союза), закрыл более 30 печатных изданий и ликвидировал более 200 общественных организаций (в том числе и профсоюзы). Министр внутренних дел получал право закрыть любую общественную организацию, отменялась свобода собраний и демонстраций. Институт выборов был ликвидирован. Было введено чрезвычайное положение на два года. В первые недели переворота около 2000 человек были задержаны, часть из них отправлена в концентрационный лагерь под Лиепае (к концу года почти всех отпустили). (*Ред.*)

Рига

Майя Сёмина

История портрета князя Оболенского кисти Малявина

В творчестве Филиппа Андреевича Малявина (1869–1940) светский портрет занимает одно из центральных мест, хотя европейское признание художник получил в 1900 году, когда на Всемирной выставке в Париже представил групповой портрет «смеющихся баб», с восторгом встреченных французами. За эту картину мастер был удостоен золотой медали (мизерный перевес голосов в пользу Серова лишил Малявина гран-при) и вошел в историю искусства как художник, опоэтизировавший образ русской крестьянки. В иконографических лейтмотивах «смех» и «танец» найдет воплощение сквозная в творчестве Малявина крестьянская тема, в равной степени окажется востребованным в эмиграции опыт салонного портретиста, приобретенный на раннем этапе художественной карьеры.

Перед тем как навсегда покинуть Россию в 1922 году, художник около двух лет проживал в самом центре Москвы в районе Пречистенки. Особняк в Обуховом переулке, 4, Филипп Малявин делил с бывшим обер-прокурором Святейшего Синода князем Алексеем Дмитриевичем Оболенским[1]. Интересный поворот судьбы, ведь в жизни прославленного живописца это была не первая встреча с носителями одной из старейших российских аристократических фамилий.

Князь Сергей Платонович Оболенский-Нелединский-Мелецкий (1890–1978) на склоне лет рассказывал об одном старом портрете, который предстоит изучать поколениям советских искусствоведов как важный исторический документ. «На нем, – вспоминал князь, – я навсегда запечатлен в матроске и с восторженным выражением на лице разглядываю макет устаревшего царского линкора»[2].

К мемуарам Оболенского мы обратились после того, как в 2014 году аукционный дом Christie's выставил на лондонские торги произведения живописи и графики из собрания Ивана Оболенского, сына князя Оболенского и его супруги Авы Элис Мюриэль Астор, представительницы знаменитой американской гостиничной империи Асторов. В аукционном каталоге, предпосланном торгам, биография Сержа Оболенского освещалась на основе его книги воспоминаний. В контексте творчества героя наших исследований мемуары не фигу-

рировали, однако личность князя, эмигранта первой волны, нас заинтересовала. Путеводная нить, оставленная мемуаристом, послужила отправной точкой для поисков, которые привели к удивительному открытию.

Князь Оболенский находился под обаянием самобытной, темпераментно-экспрессивной и пленительной живописи Малявина: «Он был одним из тех художников, которого не соотнести с модернистом, авангардистом, перфекционистом – и в русской деревенской жизни он нашел ту тему, которая вдохновила его. <…> Малявин создал русскую деревню увлекательной и красочной. Он понимал крестьянство, его проницательность и терпение, его приземленность, его жажду земли. Он писал крестьянские танцы, вихревые яркие платья девушек, занимающие целый холст, как лепестки какого-то экзотического цветка, или юных крестьянок, застенчивых, неземных красавиц»[3].

Успешный ресторатор и управляющий гостиничным бизнесом, Серж Оболенский скрупулезно фиксировал и красочно описывал события давно минувшего:

«Во время русско-японской войны 1904 года (1904–1905. – *М. С.*) мой портрет написал человек, который впоследствии приобретет известность как один из лучших художников, которых произвела Россия. Это был Филипп Малявин, который тогда был только в начале своей карьеры. <…>

Он написал несколько портретов. Один, ставший знаменитым, – либерального государственного деятеля графа Витте[4]. Когда Малявин вернулся в Россию после своего триумфа в Париже (1900. – *М. С.*), мой отец каким-то образом убедил его написать мой портрет. На самом деле, он написал два (моих портрета. – *М. С.*). Когда он закончил первый, он его уничтожил, сказав, что тот был слишком стереотипным. Поэтому он написал другой на огромном холсте, который в конце концов закрыл почти всю стену нашей библиотеки в Санкт-Петербурге. В то время война с Японией заставила меня встряхнуться. Я был великим патриотом, тем более потому, что не имел никакой военной подготовки, которую получали большинство мальчиков и в которую мой отец не верил, как необходимой для детей моего возраста. У меня была серая деревянная модель русского линкора, точная копия тех обреченных военных кораблей, которые именно тогда неслись на всех парах к своей гибели при Цусиме*. Я гордился им, и для второго портрета Малявин написал меня с этим линкором.

Я очень хорошо его помню (Малявина. – *М. С.*). Это был моло-

* Цусимское сражение, состоявшееся в конце мая 1905 года, предопределило исход войны в пользу Японии.

жавый мужчина, напористый, очень одаренный и серьезный, преданный своему искусству. Он заставил меня надеть морскую униформу – матроску, белую сорочку и черные брюки, при этом держать макет и восхищаться им. Работа продолжалась и продолжалась. На этот раз Малявин был доволен результатом. Но я изрядно утомился, держа линкор. Картина была сделана гигантскими мазками – громадный портрет, мне он никогда не нравился»[5].

Филипп Малявин. Князь Сергей Оболенский. Фрагмент. 1899. Х.м. 178х99. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко

В этой отчасти пристрастной характеристике самоценно свидетельство, благодаря которому появилась возможность установить факт существования портрета, узнать о предыстории и нелегком процессе его рождения, выяснить имя портретируемого. После обнародования промежуточных результатов[6] предстояло определить местонахождение и дату создания картины, соотнести повествование с историческими реалиями, устранить, когда это требовалось, фактологические неточности, изучить источники, особенно дореволюционные и эмигрантского периода. Обозначив вектор поисков, мы прежде всего сосредоточились на российских музейных коллекциях. Дело в том, что в конце 1924-го или самом начале 1925 года лондонский арт-дилер, нанятый большевистским эмиссаром, разыскал бывшего владельца портрета, проживавшего в то время в Лондоне, и

предложил ему выкупить портрет. Как утверждает Оболенский, за картину запросили «астрономическую сумму», поэтому сделка сорвалась, а портрет, представляющий «художественную ценность», остался в СССР.

В 1920-е годы распределением произведений искусства по музеям, в том числе провинциальным, занималось Центральное хранилище Государственного музейного фонда Главнауки Народного комиссариата просвещения РСФСР, в чьих руках аккумулировались национализированные сокровища страны. Поскольку недвижимость Оболенских в Санкт-Петербурге по адресу: Мытнинская набережная, 3, и содержимое особняка были экспроприированы, портрет поступил в музейный фонд, а в 1927 году, вскоре после лондонской встречи, уже под обезличенным названием «Мальчик» (что подтверждает запись старой инвентарной книги), произведение стало частью собрания «Художественного музея им. А. В. Луначарского»[7].

Историю бытования портрета, считавшегося утерянным, мы проследили, редуцировав портретный репертуар Малявина русского периода до трех детских образов, формально коррелирующих с описанием князя Оболенского. Портреты создавались художником по заказу. Первый – Ники Ратькова-Рожнова, сына крупного петербургского промышленника Александра Ратькова-Рожнова; второй – мальчика в белом костюме (матроске) с длинными, до плеч волосами, чья личность пока не установлена; третий, недатированный, – мальчика в матроске. Время создания последней работы относят к 1899 году. Датировка, прочно закрепившаяся в искусствоведческой литературе, основывается на данных каталога отчетной выставки Императорской Академии художеств, на которой под № 13 экспонировался некий «Портрет мальчика»[8]. Отсутствие репродукции[9] и подтверждающих сведений из других источников заставило усомниться в корректности высказанного предположения, к тому же об участии портрета в каких-либо выставках не упоминает и сам князь Оболенский.

Мемуарист уверенно отсылает читателя к событиям Русско-японской войны. Весомость версии портретируемого добавляет иконография портрета. Вспоминая далекое прошлое, Оболенский обращает внимание даже на такие детали, которые стираются из памяти по прошествии лет, как цвет одежды во время сеансов – белая матросская блуза и черные удлиненные шорты. Предельно точен Оболенский и в описании предмета, находящегося в его руках, – деревянная модель линкора. В композицию действительно вводится корабль, но в виде образа, нарисованного на листе бумаги. Идея замены должно быть зародилась у художника не сразу. По свидетельству Оболенского, первый вариант портрета мастер уничтожил, посчитав

его «слишком стереотипным». Для второго портрета, очевидно, использовался новый холст бóльшего формата (178х99), что не противоречит результатам реставрации 1963/64 года, которая не выявила наличия нижнего красочного слоя.

Филипп Малявин предложил княжичу позировать с моделью линкора и «восхищаться» трофеем. Не удовлетворившись, однако, буквальной трактовкой, в окончательном варианте художник имплицирует корабль, таким образом переводя изобразительный замысел в символический пласт. При этом достоверность иконографии рисунка позволяет определить тип линкора. Применительно к названиям военных кораблей Оболенский использует распространенную для англоязычного ареала лексическую форму обобщенного понятия battleship. Один из таких трехмачтовых фрегатов типа «Дмитрий Донской» или «Владимир Мономах», сражавшихся впоследствии в составе 2-й и 3-й Тихоокеанской эскадр и затонувших в битве при Цусиме, демонстрирует юный князь.

В музейной среде до сих пор циркулирует мнение, озвученное еще в 1960-е годы, что на картине изображен Ника Ратьков-Рожнов, хотя в новейших публикациях исследуемый портрет предпочитают именовать как «Мальчик в матроске» или просто «Мальчик»[10]. Подобное заблуждение возникло на почве композиционного сходства, поскольку мастер задействовал ранее найденный прием, представив юного князя в трехчетвертном развороте, контрапостом подчеркнув динамику и выразительность его фигуры. На этом параллели исчерпываются. Перед нами два различных типажа: брюнет Ника Ратьков-Рожнов и шатен Сережа Оболенский, имеющий четко выраженный продолговатый овал лица, – физиогномический признак, по которому его можно узнать даже в зрелом возрасте.

Оставалось решить один из ключевых вопросов: в каком году Малявин портретировал Оболенского? Если придерживаться логики повествования мемуариста, то время появления картины приходится на завершающий этап Русско-японской войны, в которой Российский императорский флот потерпел «беспримерное поражение», но «подозрительно» юный внешний вид княжича не согласовывался с мемуарной хронологией[11]. Поиски продолжились. В очередной журнальной подшивке мы обнаружили черно-белую иллюстрацию портрета Оболенского с лаконичной подписью: «Мальчик»[12]. Теперь объяснимо, что страстное увлечение морским делом молодого человека, родившегося в семье потомственного офицера, написание портрета с изображением корабля, участвовавшего в морских баталиях во время Русско-японской войны, породили хронологические наслоения в воспоминаниях, созданных спустя десятилетия после описываемых событий.

История на этом не закончилась. Удалось в дополнение выяснить, что Ф. А. Малявин получил звание художника за портрет князя Оболенского. Журнал «Мир искусства» со ссылкой на газету «Сын отечества» от 1899 года фиксирует, что «Малявин получил звание художника за портрет мальчика»[13], ту же формулировку встречаем на страницах «Живописного обозрения» в пространном обзоре выставки выпускников Академии художеств[14]. И только в большом юбилейном очерке писателя А. И. Куприна, посвященном 55-летию со дня рождения друга, расшифровывается, что звание было присуждено за «портрет молодого князя Оболенского»[15].

Работа над портретом прямого отпрыска династии Рюриковичей по мужской линии была завершена в 1899 году. Для человека с богатым военным прошлым (о боевых заслугах Оболенского хорошо известно по обе стороны океана: он сражался на фронтах Первой мировой и в рядах Добровольческой армии; будучи американским подданным в годы Второй мировой войны служил в десантных войсках и разведке) портрет не отождествлялся с эстетическими категориями, а воспринимался, прежде всего, как свидетель ушедшей эпохи. Для отечественного искусствознания этот удивительной судьбы памятник имеет и художественно-историческую ценность, и дорог той вскрытой первозданной ролью, которую сыграл в творческой биографии Филиппа Малявина, получившего официальную «прописку» в профессии именно благодаря заказному портрету князя Сергея Оболенского.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Сёмина М.* Филипп Малявин. – М., 2014. Сс. 105–107.

2. *Obolensky S.* One Man in His Time: The Memoirs of Serge Obolensky. – London, 1960. P. 237. – Здесь и далее перевод М. Сёминой.

3. *Obolensky S.* Ibid. Pp. 56–57.

4. Местонахождение портрета Сергея Витте не прослеживается, равно как остается под вопросом точная дата его создания.

5. *Obolensky S.* Ibid. Pp. 56–57.

6. *Сёмина М.* В камере-обскуре: другой Малявин // Золотая палитра. – М., 2016. № 1(14). Сс. 7–8, 17–18.

7. На момент поступления портрета музей функционировал под этой вывеской. – См. описание к фонду в Государственном архиве Краснодарского края: Ф. Р-1674 (Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко); Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко: Русское искусство первой трети XX века. Каталог / Krasnodar Art Museum: Art of Russia 1st third XX th. Century. – Самара, 2011. С. 76. – В музейном каталоге ошибочно указано, что портрет был приобретен у част-

ного лица. Благодарю Ольгу Гармаш, главного хранителя ККХМ имени Ф. А. Коваленко, за это пояснение.
8. *Живова О. А*. Филипп Андреевич Малявин. 1869–1940. Жизнь и творчество. М., 1967. Сс. 54, 57, 255, 263.
9. Каталог конкурсной выставки в Императорской Академии Художеств 1899 г. – СПб., 1899. С. 4. – Благодарю Дмитрия Каминского из Санкт-Петербурга за присланный каталог.
10. *Милотворская М. Б.* Филипп Андреевич Малявин // Очерки по истории русского портрета конца XIX – начала XX века / Под ред. Н. Г. Машковцева и Н. И. Соколовой. – М., 1964. С. 428; Краснодарский краевой художественный музей… С. 76; Филипп Малявин. 1869–1940. Альманах. Вып. 385. – СПб., 2013. Сс. 42–43.
11. Для проверки обеих версий потребовалось сличить изображения княжича возраста девяти и четырнадцати лет (1899 и 1905 годы, соответственно). Поскольку интересующий нас фотографический материал отсутствовал в мемуарах, мы адресовали просьбу проживающему в Нью-Йорке сыну Сержа Оболенского. К сожалению, обращение осталось без ответа, хотя очень может быть, что такие фотографии просто-напросто не сохранились в фамильном архиве.
12. Живописное обозрение. – СПб., 1899. Т. II. № 51. 19 декабря. С. 1020.
13. К Парижской выставке // Мир искусства. 1900. № 1-2. С. 40.
14. *Гр. Каррик.* Художественное обозрение. Конкурсная выставка в академии художеств 1899 г. // Живописное обозрение. – СПб., 1899. Т. II. № 49. 5 декабря. С. 983.
15. *Али-Хан [Куприн А. И.]*. Ф. А. Малявин // Русская газета (Париж). 20 ноября 1924. № 178.

Марк Уральский

Кузнецкстрой: литературный миф как документ эпохи

Литературный миф всегда взрастает на очевидности, а, следовательно, может быть подвергнут *феноменологической деконструкции,* с целью вычленения из него реальных фактов истории[1]. Оставляя за рамками данной статьи дискуссионный вопрос о деконструкции как «методе анализа и критики»[2], обратимся к историческим фактам, породившим два литературных шедевра соцреализма – стихотворение Владимира Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» и публицистический роман Ильи Эренбурга «День второй». Оба эти произведения легли в основу одного из самых известных литературных мифов советской эпохи – «Кузнецкстрой». В нем факты истории строительства первого советского гиганта черной металлургии – Кузнецкого металлургического комбината им. Сталина (КМК), – тщательно отмытые от всякого рода примесей «натурализма», «сгущения красок», «преклонения перед стихийностью» и других эксцессов «мелкобуржуазного» видения советской действительности и «перенормированные» таким образом, чтобы свидетельствовать о бескорыстном трудовом энтузиазме широких масс во имя достижения Великой цели построения развитого социалистического общества, приобретали эпическое звучание, присущее структурам космогонического мифа[3].

«Реальные люди, их художественные прообразы и авторы, творящие ‘новый миф’ (выступали как. – *М. У.*) действующие лица единого утопического текста-мира.» Все без исключения творцы мифа «Кузнецкстрой», каждый по своему, создавали некий текст, «предназначенный нести ‘святую’ весть (‘зов’) о чуде коммунизма в иные пределы, ободрять, объединять, вдохновлять ‘простой советский народ’ на подвиги»[4].

Как рукотворный литературный миф «Кузнецкстрой» в целом был завершен к началу 1940-х годов, но из всего его корпуса впоследствии повсеместно использовалось лишь стихотворение Маяковского, с которого, собственно, все и началось.

В 1929 г. ответственный советский хозяйственник Иулиан Хренов, хороший знакомый Владимира Маяковского[5], возвратив-

шись в Москву из командировки в Кузбасс[6], рассказал поэту об одном «ударном объекте» первой пятилетки – строительстве в районе города Кузнецк гигантского металлургического комбината[7]. Из разговора с ним Маяковский узнал, что: «К этому месту будет подвезено в пятилетку 1.000.000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей»[8], – и, потрясенный «планов громадьем», поэт написал стихотворение, которое впоследствии все советские дети учили наизусть в школе – «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка».

В этом стихотворении, ставшем в СССР гимном всепобеждающего советского оптимизма, Маяковский представил «людей Кузнецка» как энтузиастов-идеалистов, добровольно (sic!) работающих в тяжелейших условиях во имя «светлой цели».

Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»

Как поэт, поднимающий «производственную» тему, Маяковский имел в русской литературе предшественника. Им можно считать Николая Некрасова с его знаменитым стихотворением «Железная дорога» (1864)[9], в котором поэт на основании подлинных фактов поведал миру историю чудовищной эксплуатации русских крестьян, работавших на строительстве Николаевской железной дороги между Петербургом и Москвой (1843–1851). «Что народный труд был в тогдашней России мучительством, это знали и видели многие, но Некрасов первый и единственный из русских поэтов закричал об этом во весь голос, не плаксиво и жалостно, а как разгневанный мститель, как закричал бы сам многомиллионный народ, если бы не был обречен на безмолвие»[10].

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой...

Н. Некрасов «Железная дорога»

Некрасов и Маяковский описывают, по сути своей, одно и то же – подъяремный труд на износ. Оба поэта писали с чужих слов. Некрасов, черпая сведения из публицистических материалов, в которых подобного рода труд осуждался[11], гневно порицал власть имущих, допускавших такое положение дел. Маяковский, слушая восторженный рассказ энтузиаста-большевика, был убежден, «что так надо» и, воспевая Кузнецкстрой, славословил советскую власть.

Как факт истории отечественной литературы здесь представляется важным отметить, что Маяковский в Сибири не бывал и, скорее всего, не знал о том, что именно в Кузнецке молодой Федор Михайлович Достоевский обвенчался с Марией Дмитриевной Исаевой. Венчание проходило в Одигитриевской церкви Томской епархии, сожженной в 1919 г. анархистами. В метрической книге церкви, которая, по счастью, уцелела, имеется запись священника о том, что: «1857 года 6-го февраля, № 17-й, служащий в Сибирском линейном батальоне № 7-й прапорщик Федор Михайлович Достоевский, православного вероисповедания, первым браком, 34 лет. Вдова Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя, служащего по корчемной части, коллежского секретаря, Александра Исаева, православного вероисповедания, вторым браком, 29 лет. Брак их совершен мною». Через два дня после венчания чета Достоевских покинула Кузнецк и отправилась в г. Семипалатинск, а оттуда в Санкт-Петербург. В 1861 г. Достоевский заканчивает публикацию своей знаменитой книги о сибирской каторге и каторжанах – «Записки из мертвого дома», а через три года Мария Дмитриевна умирает. На следующий день Достоевский делает в своих рабочих тетрадях знаменитую запись: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?»[12]

Экзистенциальный вопрос Достоевского остался без ответа, а вот тема сибирской каторги по прошествии 70 лет после выхода в свет «Записок из мертвого дома», получила в СССР новое наполнение. Советская власть в рамках трудовой мобилизации масс создала Сиблаг[13], который, в частности, окармливал и Кузнецкстрой[14], а советские писатели – литературный миф о трудовом героизме масс, воодушевленных идеями великого Сталина.

К этому факту отечественной истории мы еще вернемся. Что же касается стихотворения Маяковского, которое дало импульс мифотворчеству на тему Кузнецкстроя, то оно было опубликовано в ноябре 1929 г. в журнале «Чудак», а затем на страницах «Комсомольской правды» и имело ошеломляющий успех. Державшие нос по ветру тогдашние организаторы «интеллектуального производства»[15], сразу поняли: «Стихотворение Маяковского – шедевр публицистической лирики», «Кузнецкстрой – это ‘крупнятина’»[16], и ринулись в Кузбасс.

Из советских литераторов первого ряда – «*колонновожатых,* как их тогда называли»[17], на Кузнецкстрое побывали Демьян Бедный, Федор Панфёров и Василий Ильенков[18], которые, как ни странно, эту «крупнятину» переварить не смогли и на теме «Кузнецкстрой» ничем не прославились. Зато отличилась молодежная литературная бригада в составе Александра Бека, Исайи Рахтанова, Николая Смирнова и Лидии Тоом[19], которая, «перелистывая людей», собирала «исповеди больших и малых сынов века». Все собранные ими материалы должны были публиковаться в издательстве «Истории фабрик и заводов», где в 1932–1934 гг. вышеназванные литераторы руководили специальной редколлегией «Истории Кузнецкстроя». Одним из результатов работы литературной бригады стал сборник «Кузнецкстрой в воспоминаниях» (Новосибирск, 1934). В нем были опубликованы статьи руководителей стройки Бардина[20], Фракфурта[21] и др. Так же был издан целый ряд публицистических книг, легших в основу историографии Кузнецкстроя[22].

В 1937 г. на металлургическом заводе им. Сталина в г. Сталинск – бывший Кузнецк – была вскрыта «глубоко законспирированная и широко разветвленная шпионско-диверсионная организация руководителей служб, отделов, цехов». По результатам расследования к расстрелу и заключению был приговорен 431 человек, работавших на КМК, и в их числе три первых директора – идейные большевики Ф. Т. Колгушкин[23], С. М. Франкфурт и К. И. Бутенко[24]. Издательство «Истории фабрик и заводов» упразднили[25], а книгу, часть авторов которой оказалась «врагами народа», изъяли из библиотек. Такая же судьба постигла и другие издания о Кузнецкстрое, увидевшие свет в начале 1930-х гг.[26] После «генеральной чистки» 1937–1939 гг. в библиотеках остались только воспоминания Бардина, стихотворение Маяковского, из заглавия которого была удалена фамилия репрессированного Хренова, книги Эренбурга «День второй» и Александра Бека «Курако»[27]. Последний труд как бы венчал собой литературный миф о Кузнецкстрое. Согласно Беку «гениальный» инженер-большевик Курако долгие годы вынашивал в себе мечту о русском металлургическом гиганте в Кузнецке. Он посвятил в эти планы своего ученика Ивана Бардина, а затем скончался от сыпного тифа в 1920 г. Бардин же был рожден, «чтоб сказку сделать былью», – другими словами, воплотить мечту учителя в жизнь, естественно – под руководством партии и лично тов. Сталина.

Свое предназначение Бардин выполнил с честью, возглавив в качестве главного инженера техническое управление Кузнецкстроем. Во многом благодаря его организаторскому таланту, железной воле, жестокости, политической изворотливости и энтузиазму комбинат был построен в рекордно короткие сроки.

И литераторы, и работники Кузнецкстроя, писавшие об увиденном и пережитом, все как один были явно заворожены сиянием Великой Цели, никто из них не желал или не смел смотреть правде в глаза, а все, что отвечало на основной вопрос буржуазной экономики «какой ценой?», отсеивалось за ненадобностью, ибо было:

Единично нетипично
Неэтично нетактично
Неприлично ненаучно
Неудачно это точно,

Всеволод Некрасов. «Кто есть что»

Поэтому все их писания, как и «Все советские ‘производственные’ романы – все до одного – были фальшивы. Попросту говоря – лживы»[28]. И лишь одна только книга выпадала из этого ряда – «День второй» Ильи Эренбурга.

Эренбург писал Кузнецк с натуры. В конце сентября 1932 года он приехал туда, где на третий год с начала грандиозного строительства уже работало 220 тысяч человек, и неделю пробыл в городе и его окрестностях, посвятив это время «знакомству со стройкой и ее людьми. Он обошел строившиеся цехи: коксовый, доменный, прокатный, мартеновский. Беседовал с монтажниками, плотниками, землекопами»[29]. В результате на свет появился «производственный роман» о Кузнецкстрое, который был до неприличия «обнаженно правдив»[30]. Вот несколько примеров эренбурговской «обнаженки»:

«Когда люди пришли сюда, здесь было пусто и дико. <…> В стороне был город – Кузнецк. Над городом белели развалины крепостной церкви. Когда партизан Рогов взял Кузнецк, он спалил церковь и повесил попа. Возле развалин люди останавливались по нужде. Здесь был чудесный вид и на реку Томь, и на перепуганные домишки кузнецких мещан, но воздух здесь был трудный. <...> У людей были воля и отчаянье – они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали, забираясь в прожорливую глину; они потели злым потом и падали. <...> Крысы попытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку. Они шли с ним и в тайгу. Густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловитые клопы. Таракан, догадавшись, что не найти ему здесь иного прокорма, начал кусать человека... <...> Кузнецкий завод люди строили в сердце Азии. Земля промерзла на три метра. Ломы ее не брали, строители шли с клиньями. Часовая стрелка двигалась слишком быстро. На заснеженных полустанках цепенели обессиленные паровозы. Вокруг были болота и тайга. Людям приходилось

бороться с природой. Людям приходилось также бороться с людьми. Это была жестокая борьба. Человек оставался человеком: он зажигался на час или на два, но он не хотел гореть тем высоким и ровным пламенем, которым горят доменные печи. <...>

На стройке было двести двадцать тысяч человек. День и ночь рабочие строили бараки, но бараков не хватало. Семья спала на одной койке. Люди чесались, обнимались и плодились в темноте. Они развешивали вокруг коек трухлявое зловонное тряпье, пытаясь оградить свои ночи от чужих глаз, и бараки казались одним громадным табором. – Те, что не попадали в бараки, рыли землянки. Человек приходил на стройку, и тотчас же, как зверь, он начинал рыть нору. Он спешил – перед ним была лютая сибирская зима, и он знал, что против этой зимы бессильны и овчина, и вера. Земля покрылась волдырями: это были сотни землянок. – Люди жили как на войне. Они взрывали камень, рубили лес и стояли по пояс в ледяной воде, укрепляя плотину. <...> Они забирались в свои землянки. Крохотные печурки дымили. Находила зима. Мороз выжимал из глаз слезы, и от мороза плакали бородатые сибиряки – красные партизаны и староверы, не знавшие в жизни других слез. В трепете припоминали мечтатели из Полтавщины вишенники и темный, как сказка, юг. Ясными ночами на небе бывало столько звезд, что казалось, и там выпал глубокий снег. Но небо было далеко. Люди торопились с кладкой огнеупорного кирпича. Они устанавливали, что ни день, новые рекорды, и в больницах они лежали молча с отмороженными конечностями. <...>

В тифозной больнице строители умирали от сыпняка. Умирая, они бредили. Этот бред был полон значения. Умирая от сыпняка, люди еще пытались бежать вперед. На место мертвых приходили новые. <...> В январе стояли лютые морозы. Термометр показывал минус пятьдесят. Даже старые сибиряки приуныли. Прежде чем выйти из теплого, вонючего барака на улицу, люди сосредоточенно замолкали: их брала оторопь. Работа, однако, не затихала. Газета каждое утро повторяла: ‘Стране нужен чугун’ – и каждое утро люди шли на стройку – они торопились. Были в этом отвага, задор и жестокость – сердца людей полнились той же неистовой стужей. <...> Когда рабочий касался железа, он кричал от боли: промерзшее железо жгло, как будто его накалили. Люди строили не с песнями и не со знаменами. Строя, они не улыбались. Их подгонял голод и колонки цифр. Они валились без сил»[31]. А вот для сравнения поэтическое описание будней Кузнецкстроя из стихотворении Маяковского:

Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,

сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.

Свела
промозглость
корчею –
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.

Читаешь сегодня все это – и жуть берет. А ведь это только бытовые зарисовки. За ними – человеческая трагедия: загубленные жизни десятков тысяч людей, которых «освобождение от ига помещиков и капиталистов» превратило в бесправных рабов советского государства. «Их привезли издалека: это были рязанские и тульские мужики. Их привезли с семьями, и они не знали, зачем их привезли. Они ехали десять суток. Потом поезд остановился. Над рекой был холм. Им сказали, что они будут жить здесь. Кричали грудные дети, и женщины совали им синеватые тощие груди. – Они были похожи на погорельцев. Называли их ‘спецпереселенцами’. Они начали рыть землю: они строили земляные бараки. В бараках было тесно и темно. Утром люди шли на работу. Вечером они возвращались. Кричали дети, и все так же измученные бабы приговаривали: ‘Нишкни!’ <...> На осиновских рудниках работали заключенные: они добывали уголь. Руда с углем давала чугун. Среди заключенных был священник Николай Извеков <...>. Когда Извекова вычистили из санитарного треста, он начал проповедовать ‘близость сроков’. Он переписывал послания апостола Павла и продавал списки по пяти целковых. Он также служил тайные панихиды по усопшему государю. Его послали в концлагерь сроком на три года. Он грузил в шахте уголь. <...> Из других стран приезжали специалисты[32]. Они жили здесь, как на полюсе или как в Сахаре. Они удивлялись всему: энтузиазму, вшам и морозам. Жили они отдельно от русских, у них были свои дома, свои столовки

и своя вера. Они верили в доллары, в долларах им и платили. <...> Все иностранцы говорили: постройка такого завода требует не месяцев, но долгих лет. Москва говорила: завод должен быть построен не в годы, но в месяцы. <...> Стройка ширилась, как весенняя вода. Из Кузнецка люди прошли в Монды-Баш. Из Монды-Баша одни двинулись к Темир-Тау, другие повернули на Тельбесс. Людей в стране было много, и тайга что ни день уступала несколько саженей. Это был поход на тайгу. Снова шли строители: колхозники, казахи, бабы, комсомольцы, летуны и раскулаченные. Снова женщины вязали узлы, на кошевках брякали ржавые чайники, и вопили разбуженные ребята»[33], – так советская власть осваивала Сибирь.

Настоящая правда о Кузнецкстрое вскрылась после распада СССР. Выяснилось, в частности, что рабочие Кузнецкстроя в подавляющем большинстве своем (до 62%) были «труд- и спецпереселенцы»[34] из числа бесправных «раскулаченных», «врагов народа» и «вредителей» (А вот в поэме «Железная дорога» Некрасов особо указывает, что рабочие шли на стройку *добровольно,* гонимые голодом и нуждой.) По произволу новой власти их уделом являлся беспросветный рабский труд под надзором местных органов НКВД. Работали до изнеможения – по 12 и более часов в сутки, жили впроголодь. Трудиться обязаны были даже беременные женщины и подростки. Жили спецпереселенцы в малоприспособленных помещениях, часто просто в землянках и шалашах. Известно, что на стройке были случаи каннибализма[35].

Насильственное перемещение сотен тысяч людей из европейских регионов России в Сибирь, естественно, сопровождалось массовой гибелью переселенцев[36]. Подробности такого рода за все время существования СССР тщательно скрывались. Реальное положение дел освещалось, да и то выборочно, лишь в скупых отчетах специальных ведомств с грифом «Совершенно секретно»: «По сообщению Нач. Сиблага ОГПУ, из состава прибывших из Сев. Кавказа в Новосибирск эшелонов трудпоселенцев № 24, 25, 26, 27, 28 и 29 общей численностью в 10185 человек; умер в пути 341 человек, то есть 3,3%, в том числе значительное количество от истощения»[37]. Из официальной справки начальника отдела трудпоселений СибЛАГа для Западно-Сибирского крайкома ВКПб явствует, что в первом полугодии 1933 г. «в Западную Сибирь было завезено 131.955 чел. <...> Из этого числа убыло на 1 сентября 1933 г.: умерло – 1.403 чел., бежало – 15.524 чел., передано лагерям – 13.610 чел. <...> Остающиеся на 1 декабря трудпоселенцы нового контингента 71.899 чел. распределяются по характеру освоения (региона. – *М. У.*)»[38].

Эти документы эпохи и изложенные в них цифры и факты навряд

ли были известны советским созидателям мифа о Кузнецкстрое, но в отличие от Некрасова, вопиявшего о трагической участи русских рабочих-строителей: «А по бокам-то все косточки русские... / Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?», – они себя не мучили вопросом, сколько людей полегло на Кузнецкстрое. Вся «производственная» литература советского социалистического реализма, в том числе и «День второй» Эренбурга, с культурологической точки зрения являет собой феномен мирового масштаба именно потому, что только в ней с проникновенным *гуманистическим пафосом* и воодушевлением воспеты подневольный труд и массовое истребление собственного народа во имя идеологически мотивированных государственных интересов.

Но именно этого Эренбург при всем своем «либерализме», «скептицизме» и «правдивости» признавать не желал. В воспоминаниях «Люди, годы, жизнь» он обходит тему «рабского труда» стороной, зато делает акцент на мифологической составляющей своего произведения, которое теперь называет «повестью»: «Строительство Кузнецка я вспоминаю с ужасом и с восхищением; все там было невыносимо и прекрасно. <...> До поездки в Кузнецк я читал очерки, рассказы о строительстве. Увидел я не то, о чем читал. <...> Люди строили завод <...> в неслыханно трудных условиях. Кажется, никто нигде так не строил, да и не будет строить. <...> Я увидел самоотверженность одних, жадность, косность других. Строили все, но строили по-разному: кто по идее, кто по нужде, кто по принуждению. Для многих это было началом строительства не только заводов, но и человеческого сознания. Я назвал мою повесть ‘День второй’. По библейской легенде мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи; во второй – твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби. А хляби было много (ее всегда больше, чем тверди, как на земном шаре больше морей, нежели суши). Я не хотел об этом умолчать <...>. Я знал, конечно, что многие сочтут мой рассказ за клевету, лишний раз вспомнят, что я ‘неисправимый скептик’, будут говорить, что я захотел исказить прекрасную действительность, то есть не изготовил еще одной олеографии по установленному и одобренному образцу. Но когда я писал, я не думал ни о критиках, ни о редакторах, не гадал, издадут ли мою книгу, писал с волнением дни и ночи напролет»[39].

Эренбург, конечно, кокетничает. Он тоже «замазывал» факты – особенно, из числа тех, «что его ужаснуло», кое-что – на удивление мало! – при публикации вымарала цензура: «Вымарали те эпизоды и фразы, в которых изображение реалий жизни вопиюще не соответ-

ствовало идеологическим советским догматам. Вот характерный пример вымарки: ‘Четыре строителя шамотного цеха избили до крови казаха Кайрактова. Они кричали: “Киргизы проклятые! Хуже жидов! Мы работаем, а они в столовой для ударников жрут!” Четырех обидчиков судили за хулиганство и за шовинизм. Один из них на суде стал юродствовать: “Да что вы, товарищи! Я и не отличу, какой это казах, а какой русский”’. – Или другой пример вымарки: ‘Среди пригородных лачуг по ночам шлялся человек в лохмотьях. Он кричал, как птица. Это был адвокат Сташевский. Он дважды сидел в тюрьме и лишился рассудка’. Вымарали и все эпизоды, где речь шла о царившей на стройке мании вредительства, о подозрительности и враждебности к интеллигенции, о том, как просчеты администрации привычно списываются на происки классового врага». Однако в общем и целом: «Главное было продумано и не подлежало коррекции: он писал о стройке и энтузиазме, а не о бесчеловечных условиях, в которых трудятся люди, и не об их низком культурном уровне. Но внутренний редактор не слишком усердствовал, и при выбранном ракурсе в кадр попадали многие детали, годящиеся для совсем других повествований. <...> ‘День второй’ – не традиционный роман, хотя его главная коллизия строится по классической схеме любовного треугольника. Если ‘вынуть’ из ‘Дня второго’ эту коллизию, то останется огромный очерк, дающий впечатляющую социальную и человеческую панораму стройки. Эпический, воистину библейский зачин, кинематографический монтаж кадров, контрастность броско очерченных портретов и реалий быта, самый стиль письма, соединяющий пафос и иронию, трезвую фактографию и сентиментальность, делают этот очерк незаурядным произведением литературы»[40].

Эренбург сумел зафиксировать множество знаковых деталей истории Кузнецкстроя, превративших ее в документ эпохи. Поэтому возможность публикации «Дня второго» в СССР оказалась под вопросом. Тогда Эренбург пошел ва-банк. Он издал в Париже за свой счет 400 нумерованных экземпляров книги и разослал ее: «членам Политбюро, редакторам газет и журналов, ведущим писателям. Это было лотереей, и мне повезло...»[41] Экземпляр № 1 остался у Эренбурга; № 3 был послан Сталину. Сталин прочел «День второй» и, как ни странно, одобрил. По-видимому, он был согласен с основным концептуальным тезисом Эренбурга: «[Революция] признавала только два цвета: розовый и черный, и эти два цвета она клала рядом»[42], – и по достоинству оценил, с каким мастерством писатель противопоставлял документируемым им фактам «чернухи» примеры трудового героизма людей, тех, что «И в русской революции, и в мировом сдвиге видел[и] <...> все тот же неукротимый полет к вселенскому свету, к жизни новой»[43].

Именно тогда Сталин, должно быть, обратил внимание на уникальное качество Эренбурга-художника – умение совмещать несовместимое, не замазывать очевидные ужасы советской жизни, а представлять их в роли «попутчиков» при движении нового сообщества «свободных» людей к Великой Цели. Это была, конечно, «неортодоксальная», но очень качественная пропаганда. Из всех советских писателей такого рода художественное самовыражение было присуще только Эренбургу, и в эпоху сталинизма только ему одному (sic!) дозволялось[44]. В сталинской лотерее Эренбургу явно выпал счастливый номер: «16 января 1934 года книгу подписали в печать; в конце января отпечатали первые экземпляры из семи тысяч ее тиража»[45].

Публикация книги наделала много шуму в печати. Конец дискуссии положила статья в «Известиях», принадлежавшая перу Карла Радека[46] – недавнему сподвижнику Льва Троцкого, а ныне исправному проводнику сталинских установок, которому будущий Отец народов поручил влить эренбурговскую фактографию в русло официальной мифологии о построении Светлого Будущего. Радеку, «виртуозно гибкому идеологу и литератору», задача была вполне по плечу. Он доходчиво объяснил разбушевавшимся критикам-ортодоксам, как надо «правильно» понимать и интерпретировать казавшийся им крамольным текст: «‘Это не “сладкий” роман. Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни, но одновременно показывающий в образах живых людей, растущих из недр народной жизни, *куда идет наша жизнь*, показывающий, что все тяжести масса несет не зря, что они ведут к построению социализма и что это строительство одновременно творит новое человечество». Так была найдена формула, по которой «провела» роман сталинская бухгалтерия. Из всех книг о пятилетке Радек выделил две: ‘Книга Эренбурга – наиболее убедительная книга <...> о наших промышленных стройках, как книга Шолохова (имеется в виду «Поднятая целина». – *Б. Ф.*) до сих пор является наиболее убедительной из книг о коллективизации’. – Статья Радека дала ‘принципиальную установку’ критике, которая незамедлительно и дружно одобрила новый роман, понимая, кто именно его одобрил»[47].

Дискуссия о «Дне втором» продолжалась еще около года, но шла в позитивном ключе, заданном рамками радековской статьи, сам же Эренбург был вознесен на уровень «колонновожатых». Однако в отличие от стихотворения Маяковского, «День второй» довольно скоро как бы «подзабыли», и он выпал из обязательного «круга чтения» советских людей. Более того: «в 1938 и в 1949 годах критики новой генерации и нового времени объявили ‘День второй’ написанным по ‘дур-

ной ложнопроблемной схеме’, ‘искажающим образы молодежи и нашу действительность’. <...> В 1952 году при подготовке романа для собрания сочинений, в котором ‘День второй’ оказался самым ранним романом Эренбурга, от автора потребовали массы исправлений: смягчали выражения, вымарывали еврейские фамилии»[48].

После начала «оттепели» о нем, как и о других романах Эренбурга советского периода, забыли. Документов об ужасах сталинизма появлялось все больше и больше, а пафос первых пятилеток у советских людей последующих пяти- и семилеток ничего, кроме отвращения, не вызывал. Для «шестидесятников», «семидесятников» и иже с ними Илья Эренбург оставался только либералом из официоза, «заклятым другом» любимца партаппарата Шолохова, автором «Хулио Хуренито» и «Люди, годы, жизнь».

Что касается стихотворения Маяковского, то после ареста Иулиана Хренова его имя исчезло из литературного обихода на добрых 30 лет[50] и появилось там вновь лишь в конце 1960-х. Впрочем, само стихотворение изучали в средней школе непрерывно, вплоть до распада СССР. О трагической участи самого И. Хренова советским интеллектуалам поведал Варлам Шаламов в очерке «Несколько слов о Хренове»: «‘Человек из песни’ – Иулиан Петрович Хренов, которого звали уменьшительно то Ульян, то Ян, бывший директор Краматорского металлургического завода, <...> с девятого августа 1937 года <...>, в числе тысяч других ‘троцкистов’, плыл в верхнем трюме парохода ‘Кулу’ из Владивостока в бухту Нагаево (пятый рейс). Здесь-то, в трюме тюремного парохода, и обнаружилась ‘причастность’ Хренова к литературе. Чемодан Яна был свален, как и у всех, в общую кучу ‘вещей’. На руках у арестантов не было ничего, кроме свитеров, пиджаков, брюк, – наиболее предприимчивые выменивали на эти вещи хлеб, сахар, масло у команды... Но таких, опытных и энергичных, было немного... Остальные же хранили свитера и домашние вещи до севера, до конца... – Среди этих тысяч людей лишь один человек был с книгой – Ян Хренов. Книга, которую он взял в трюм, берег и перечитывал – однотомник Маяковского, с красной корочкой. Желающим Хренов отыскивал в книге страницу и показывал стихотворение ‘Рассказ Хренова о людях Кузнецка’. Но впечатления стихи не производили там, в пароходном трюме, никакого, и перечитывать Маяковского в такой обстановке никто не собирался. Не перечитывал стихи и сам Хренов. Грань, отделяющая стихи, искусство от жизни, уже была перейдена – в следственных камерах она еще сохранялась. – Хренов был бледен особой тюремной бледностью, кожа на пухлом лице его была с зеленоватым отливом. – Я не думаю, что Хренов возил книжку в качестве визитной карточки.

Рядом с ним на нарах лежали люди, на которых такая визитная карточка не произвела бы ни малейшего впечатления. Притом любителей Маяковского в те годы было немного. Свистопляска вокруг имени поэта только-только начиналась. Просто Хренову было приятно как можно долее сохранить, держать в руках перед глазами это особенное свидетельство былого. – В дальний путь тоже такую рекомендацию не имело смысла брать. Лагерное начальство и блатари не любят стихов. А от тех и других зависела судьба Хренова. – В том мире, куда плыл Хренов, было благоразумнее забыть о стихах, притвориться, что ты никогда стихов не слышал, чтобы не вызвать на себя огонь начальства, блатарей и даже собственных товарищей»[51].

КМК прогремел на всю страну еще раз в 1952 г., когда в ходе очередного процесса о «вредительской работе» на комбинате была раскрыта «преступная группа». Главные фигуранты «Дела КМК» являлись, согласно формулировкам обвинительного заключения Верховного суда СССР, «еврейскими националистами, [которые], объединившись на почве антисоветских взглядов, в период 1945–1950 гг. <...> проводили на Кузнецком металлургическом комбинате вредительско-подрывную работу», а именно: «систематически скрывали от государства готовую продукцию, переводя ее в незавершенное производство, тем самым не додавали народному хозяйству десятки тысяч тонн металла; умышленно засылали бракованную продукцию заводам оборонной промышленности и другим важным предприятиям нашей страны, чем скрывали их нормальную производственную деятельность вплоть до временной остановки отдельных цехов; замедляли прирост выпуска проката, укрывали дополнительные производственные возможности цехов и действительные размеры брака на комбинате, а в целях сокрытия своей вредительской работы они составляли заведомо ложные и фиктивные документы по отчетности и производственной работе комбината»[52].

Одновременно с этим они «сознательно подбирали и насаждали в подчиненных им цехах и отделах комбината еврейских националистов; установили преступную связь с еврейскими националистами из Еврейского антифашистского комитета и передали им ряд секретных сведений о производственной мощности комбината, которые впоследствии были переправлены в США; вели между собой и среди других лиц еврейской национальности антисоветскую агитацию, клеветали на национальную политику ВКП(б) и Советского Правительства и распространяли враждебные клеветнические измышления в отношении отдельных мероприятий, проводимых партией и правительством»[53].

Это был последний расстрельный политический процесс ста-

линской эпохи. Из 230 фигурантов этого процесса евреями были не более 30 человек, в большинстве своем руководящие работники КМК разного уровня. Четыре человека из числа «еврейских националистов и вредителей», засевших в руководстве КМК, были расстреляны: «Сразу по окончании судебного заседания, которое длилось всего один день», столько же получили по 25 лет лагерей, остальные отделались более легкими наказаниями. «Решением Верховного Суда СССР от 25 мая 1957 г. осужденные по ‘делу КМК’ были полностью реабилитированы. <...> Был и затянувшийся на несколько лет финал в виде освобождения из-под стражи выживших и реабилитации – для некоторых посмертной. И если невинно пострадавших людей обвиняли, шельмовали, изгоняли отовсюду и арестовывали с поспешностью, шумом и скандалом, то признание со стороны государства неоправданности и полной незаконности этих кар растянулось на несколько лет и происходило почти потаенно. – Таким образом блюлась мнимая незапятнанность политических риз власти...»

В вихре политических событий не раз изменялось и название города, где был возведен КМК. В 1932 г. Кузнецк был объединен с близлежащим поселком Новый Сад и назван Новокузнецк. Но уже через несколько месяцев его переименовали в Сталинск, и под этим именем он значился вплоть до 1961 г., когда на гребне хрущевской борьбы с «культом личности» опять не стал Новокузнецком. При этом за 85 лет, прошедших с начала Кузнецкстроя, он даже отдаленно не смог превратиться во что-то, напоминающее «город-сад»[54].

Нынешняя экологическая обстановка в Новокузнецке такова, что город и его окрестности становятся похожими, говоря словами Владимира Высоцкого, на «неродящий пустырь». Констатация сего печального факта – это все, что осталось от советского космогонического мифа, рассказ о котором мы, тем не менее, завершим словами утешения и надежды, высказанными по схожему поводу за 65 лет до написания стихотворения Владимиром Маяковским другим «великим» (в советской табеле о рангах) русским поэтом.

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную –
Вынесет все, что Господь ни пошлет!
Вынесет все – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придется – ни мне, ни тебе.

Н. Некрасов. «Железная дорога»

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Галанина Е. В.* Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания современной культуры // М.: Академия Естествознания, 2013; *Тарасов Н. А.* Теория деконструкции как философско-теоретическая основа эстетики постмодернизма // «Философия и общество», № 1, январь-март 2009. Сс. 174–187.

2. *Тарасов Н. А.* Указ. соч. Сс. 177–179.

3. НФИ КемГУ: Кузнецкстрой*:* «великая стройка коммунизма». 2.2.14. Тексты о Кузнецкстрое и космогонический миф: URL: http://www.nkfi.ru/sites/files/u3/umk/bak/tur_tu/ttu/t62.pdf. С. 30-31.

4. *Ковтун Н. В.* Русская литературная утопия второй половины XX века // Томск: Издательство Томского университета, 2005. С. 93, с. 99.

5. Хренов, Иулиан (Ян) Петрович (1901–1948), советский хозяйственный деятель, первый директор Краматорского металлургического завода, репрессирован, умер в ссылке. По свидетельству очевидца: «Маяковский не просто хорошо знал Хренова, [а] ‘очень его любил, <...> ценил его энтузиазм, безграничную энергию и преданность порученному делу’». – *Кушникова Мэри.* Остались в памяти края. Страницы литературно-краеведческого поиска // Пора свершений. За чеканной строкой поэта... См.: URL: http://www.kuzbasshistory.narod.ru/book/Pam_Kr/06_1.htm

6. Кузбасс или: Кузнецкий угольный бассейн – расположен на юге Западной Сибири, в основном, на территории современной Кемеровской области – одно из самых крупных угольных месторождений мира.

7. Проект комбината был разработан американской фирмой «Фрей» (Freyn Engineering Company, Чикаго).

8. Эти сведения предпосланы стихотворению в качестве эпиграфа, по-видимому, для подтверждения его актуально-фактографической достоверности.

9. Иногда исследователи называют произведение поэмой.

10.*Чуковский К. И.* Мастерство Некрасова. Собр. соч. в 15-ти томах. Том 10 // М.: Терра-Книжный клуб, 2012. С. 347.

11. Имеются в виду статьи Н. А. Добролюбова «Опыт отучения людей от пищи» (1860) и В. А. Слепцова «Владимирка и Клязьма» (1861).

12. *Достоевский Ф. М.* Полн. Собр. Соч. Т. 20. // Л.: 1980. С. 172.

13. Сиблаг – Сибирский сельскохозяйственный исправительно-трудовой лагерь СССР, затем Сибирский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ/НКВД СССР, самостоятельное подразделение в системе ГУЛАГа на территории современных Алтайского и Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей северного Казахстана. Картина жизни людей в Сиблаге описана А. Солженицыным в рассказе «Один день Ивана Денисовича» (1959).

14. *Красильников, Сергей.* Серп и молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е гг. // М.: РОССПЭН, 2003.

15. Определение Вячеслава Молотова, относящееся к советской творческой интеллигенции.
16. Определение писателя Исайи Рахтанова.
17. *Сарнов Б.* Сталин и Эренбург. В кн.: Сталин и писатели. Кн. 1. // М.: Эксмо, 2009. См.: URL: http://www.litmir.me/br/?b=119586&p=128.
18. На другом знаковом объекте этого времени – строительстве Беломорско-Балтийский канала (1931–1933) побывала группа из 120 писателей (Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Вс. Иванов, Виктор Шкловский, Ильф и Петров, Бруно Ясенский, Валентин Катаев, Вера Инбер и др.) и художников во главе с Максимом Горьким.
19. Бек Александр Альфредович (1903–1972); Рахтанов Исай Аркадьевич (1907–1979); Смирнов Николай Григорьевич (1890–1933); Тоом Лидия Петровна (1890–1976).
20. Бардин, Иван Павлович (1883–1960), советский металлург, академик (с 1932) и вице-президент АН СССР, Герой Социалистического Труда (1945).
21. Франкфурт, Сергей Миронович (Соломон Меерович; 1888–1937), инженер (закончил Политехнический институт в Гренобле), старый большевик, первый директор КМК, репрессирован 20 сентября 1937 года по обвинению «в контрреволюционной деятельности» и впоследствии расстрелян.
22. *Хренов, И.* От Кузнецкстроя к Кузнецкому металлургическому гиганту // М.– Л.: ОГИЗ, 1931; *Бек, А.* Главы истории Кузнецкстроя (1913–1920 гг.) // М.: Гос. из-во «История фабрик и заводов», 1933; *Бардин, И. П.* Рождение завода // Новосибирск: Западно-Сибирское краевое из-во, 1936.
23. Колгушкин, Филимон Тимофеевич (1887–1938), советский хозяйственник, старый большевик, первый директор Кузнецкстроя, репрессирован и расстрелян как «враг народа».
24. Бутенко, Константин Иванович (1901–1937), советский металлург и хозяйственник, в 1934–1937 гг. директор КМК, репрессирован и расстрелян как «враг народа».
25. В этом издательстве в конце 1934 г. к XVII съезду ВКПб был издан коллективный труд 38 советских писателей «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», под редакцией М. Горького, Л. Л. Авербаха и С. Г. Фирина – 600-страничная памятная книга, в которой впервые в истории мировой литературы Нового времени был воспет рабский труд. После 1937 г., когда ряд ее авторов и редакторов оказались «врагами народа», книга была изъята из библиотек и уничтожена.
26. *Кунин, М. И.* Сборник Кузнецкстроя. Под ред. И. П. Бардина // Томск: Издательство Кузнецкстроя, 1930; *Франкфурт, С. М.* Рождение стали и человека // М. : Старый большевик, 1935; *Хренов, И. П.* От Кузнецкстроя...
27. *Бек, А.* Курако // М.: Молодая гвардия, 1939. Курако, Михаил Константинович (1872–1920), металлург, большевик, объявленный основателем школы российских доменщиков.

28. *Сарнов Б.* Указ. соч.
29. *Фрезинский Борис.* Об Илье Эренбурге: Избранные статьи и публикации // М.: НЛО, 2013: URL: http://www.litmir.me/br/?b=218853&p=47
30. Ibid.
31.*Эренбург И. Г.* День второй. Собрание сочинений в 9 томах. Т. II. // М.: Художественная литература, 1964: URL: http://www.litmir.me/br/?b=139638.
32. Участие иностранных специалистов в строительстве КМК было значительным, только американских инженеров и высококвалифицированных рабочих-контрактников на Кузнецкстрое трудилось около 500 человек. Факты участия «буржуазных специалистов» в строительстве «гиганта социндустрии», как и то, что все оборудование и спецматериалы для КМК были приобретены у иностранных фирм – главным образом, немецких, – замалчивались официальной советской пропагандой. Более объективная информация на эту тему появилась только с конца 80-х. Нельзя не отметить тот факт, что, вернувшись на родину, никто из иностранных специалистов не поведал миру об ужасах Кузнецкстроя, свидетелями которых они были.
33. *Эренбург И. Г.* Указ. соч.
34. *Красильников, Сергей.* Указ. соч. Сс. 239–254.
35. *Красильников, Сергей.* Указ. соч. С. 104.
36. ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 19. Л. 4: Рапорт начальника ГУЛАГа ОГПУ М. Д. Бермана от 20 мая 1933 года на имя зам. председателя ОГПУ Я. С. Агранова и Г. Е. Прокофьева.
37. *Кушникова М. М.* Искры живой памяти. // Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1987.
38. *Красильников, Сергей.* Указ. соч. С. 105.
39. *Эренбург И. Г.* Люди, годы, жизнь. В 3-х томах. Т. III. // М.: Текст, 2005: URL:http://www.litmir.me/br/?b=125380&p=113.
40. *Фрезинский Борис.* Указ. соч.
41. *Эренбург И. Г.* Люди, годы, жизнь. Т. 1. С. 632.
42. *Фрезинский Борис.* Указ. соч.
43. *Слоним М.* Творческий путь Александра Блока // Воля России, 1921, 19 авг., № 283. С. 3.
44. Эренбург дважды награждался Сталинской премией первой степени за свои романы (1941 и 1947 гг.), а в эпоху «борьбы с космополитизмом», на пике компании государственного антисемитизма, стал первым отечественным лауреатом Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1952).
45. *Фрезинский, Борис.* Указ. соч.
46. Радек (Собельсон), Карл Бернгардович (1885–1939), деятель российского и международного коммунистического движения. Был репрессирован как «враг народа», приговорен к 10 годам тюремного заключения и убит в тюрьме.
47. *Фрезинский, Борис.* Указ. соч.

48. Ibid.
49. Михаил Шолохов: «Эренбург – еврей! По духу ему чужд русский народ, ему абсолютно безразличны его чаяния и надежды. Он не любит и никогда не любил Россию. Тлетворный, погрязший в блевотине Запад ему ближе. Я считаю, что Эренбурга неоправданно хвалят за публицистику военных лет. Сорняки и лопухи в прямом смысле этого слова не нужны боевой, советской литературе...». //«Буря» И. Г. Эренбурга и буря эмоций советских писателей. Отрывок из стенограммы (обсуждение состоялось в 1949 году в Союзе советских писателей): URL: http://wikers.ru/weekly/life/15224. Первая ссора Эренбурга «с Шолоховым произошла в Куйбышеве в ноябре 1941 г. на почве антисемитских высказываний Шолохова (отголоски этого см. в <письме – *М.У.*> № 24); в дальнейшем Шолохов неоднократно позволял себе публичные нападки на И. Э., вплоть до мая 1967 г. на [IV] съезде писателей». – *Фрезинский Б.* Я слышу все: почта Ильи Эренбурга, 1916–1967 // М.: Аграф, 2006. Письмо 254а. М. А. Шолохов.
50. Практика удаления «неугодных имен» из текстов Маяковского являлась в эпоху расцвета СССР делом обычным. Нимало не считаясь с особенностями стихосложения, присущими текстам поэта, из них в его поэмах «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» были изъяты имена Л. Троцкого, М. Лашевича, Н. Муралова, В. Антонова-Овсеенко.
51. *Шаламов, Варлам.* Несколько слов о Хренове. Собрание сочинений в 6 тт. Т. 4 .Сост. подгот. текста, прим., И. Сиротинской // М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2005. Сс. 572–574.
52. Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. // Стенограмма судебного процесса над членами Еврейского антифашистского комитета. Отв. ред. В. П. Наумов // М.: Наука, 1994; *Генина Е. С.* Кампания по борьбе с космополитизмом в Кузбассе (конец 1940-х – начало 1950-х) // Красноярск: Кларетианум, 2003; *Костырченко Г. В.* В плену у красного фараона. О политических преследованиях евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие // М.: Международные отношения, 1994. Сс. 274–276.
53. *Костырченко, Геннадий.* Тайная расправа и тихая реабилитация. «Дело» 1950–1952 годов на Кузнецком металлургическом комбинате // Лехаим, декабрь 2005, № 12 (164): URL: http://www.lechaim.ru/ARHIV/164/kost.htm
54. «Город-сад» – популярная в начале XX в. градостроительная концепция, предложенная английским архитектором Говардом Эбенизером (1850–1928), который в книге «Города-сады будущего» (1898) предложил как альтернативу бесконтрольного роста больших индустриальных городов, сопровождающемуся и загрязнениями окружающей среды, массово строить небольшие поселки, застроенные невысокими домами с приусадебными участками.

ИНТЕРВЬЮ. ЭССЕ. ЗАМЕТКИ

Свободы черная работа

Лев Гудков, директор Левада-Центра, отвечает на вопросы Надежды Ажгихиной, вице-президента Европейской федерации журналистов.

В сентябре 2016 года министерство юстиции России включило «Аналитический центр Юрия Левады» в перечень некоммерческих организаций, исполняющих функцию «иностранного агента». 14 марта 2017 года Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу негосударственного исследовательского «Левада-Центра» и признал законным включение организации в реестр «иностранных агентов».

Надежда Ажгихина: – *Лев Дмитриевич, события 26 марта* многих застали врасплох. Что же случилось на самом деле? И почему люди оказались не готовы к происшедшему?*

Лев Гудков: – Я отношусь к выступлениям 26 марта и с некоторой надеждой, и со сдержанностью. Во-первых, потому что никаких точных данных, кто был там, какой состав, пока, на момент нашей беседы, нет. Можно только предполагать. Во-вторых – сколько людей? – Предположим, 15 тысяч человек в Москве, 6-7 в Петербурге. Сработала тактика Навального, мобилизация, призыв. Самые молодые – они в сети, в «Контакте», это понятно. Кроме того, 26 марта не пришли многие из тех, кто обычно ходит на митинги, это старшие возрасты. На всех митингах, за исключением самого первого в декабре 2011 года, большинство составляли люди за 45. Они не пришли, поэтому пропорционально доля молодежи увеличилась. Потом, это – «движуха», это увлекательно, погода хорошая... Это я сдерживаю собственные ожидания. Что может пробудить надежды? Это будет просматриваться, возможно, через несколько месяцев, – действительно ли изменилось отношение молодежи к ситуации? Когда появятся такие данные, можно будет говорить о том, что у молодежи появились свои, отличные от других групп, установки и представления. И тогда уже можно, исходя из того, прогнозировать какое-то развитие ситуации. Можно будет с большей или меньшей уверенностью говорить о тенденциях. И посмо-

---

* 26 марта 2017 года по многим городам РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, прошли многотысячные марши протеста против коррупции. Организатором маршей стал А. Навальный, один из лидеров российской оппозиции.

треть – какая молодежь? Почему я сдержанно говорю? – Потому что до сих пор молодежь была абсолютно пропутинская.

Н. А.: – *Еще в 2015 году вы выступили с неожиданным для многих тезисом о том, что молодежь является главной опорой и питательной почвой режима.*

Л. Г.: – Это так, потому что вся социализация в этой группе пришлась на путинское правление, и она в наибольшей степени чувствительна к идеологической пропаганде. Они хотят уважать себя – без всяких на то оснований; поколение родителей считают неудачниками, лузерами. Они хотят самоутверждаться, и пропаганда им всячески поддакивает: «Нам нечего стыдится, мы – великая держава, мы показали зубы, мы заставили себя уважать, стали сильными, мощными». Критика Запада и конфронтация с Западом это подтверждают. Что молодому инфантильному сознанию чрезвычайно лестно, потому что не предполагает никаких усилий с его стороны. Именно поэтому я столь осторожен в оценках выступлений 26 марта.

Конечно, такого типа сознание характерно больше для провинциальной молодежи. В столицах картина более разнообразная и более контрастная – тут и активных сторонников Путина больше, и больше настроенных критически. Но в целом молодежь, при всей поддержке Путина, – аполитична и не хочет участвовать в политических акциях, никаких. Так что говоря о 26 марта, мы должны понимать, что речь идет о сравнительно небольшой части молодежи. Это интересно. И если мои предположения правильны, – то это должна быть молодежь, которая выросла в семьях с бóльшим социальным капиталом. А значит, что она будет и в будущем более влиятельна. Это – некоторые гипотезы.

Н. А.: – *Но люди оказались не готовы к этому!*

Л. Г.: – Боюсь, совершенно так же, как в 2011 году. Несмотря на все симпатии к происходящему, у меня тогдашние выступления вызвали больше тревоги, чем надежды. Потому что без организации, без серьезного осмысления и повседневной работы эйфория довольно скоро уходит в песок. Моральный протест и карнавал – это фазовые и нестойкие вещи. Почему неудачей кончился протест 2011–2012–2013 годов? Потому что все это было довольно инфантильно: «Мы не участвуем в политике, нам не нужны лидеры, мы выражаем наше моральное, стилистическое, вкусовое несогласие»… А для серьезной деятельности и успеха нужна организация – политическая, общественная, нужна повседневная систематическая работа по прояснению ситуации, объяснению своих позиций, выработке программы… Будничные вещи. Этого не было. Потому очень симпатичные выступления закончились ничем.

Н. А.: – *И на выборы стали ходить еще меньше?*

Л. Г.: – Последние выборы показали самую низкую явку за все время. Если сравнивать по числу участвующих – то «Единая Россия» потеряла в 2016 году, по сравнению с 2003, – 40%, при том, что «Единая Россия» получила абсолютное большинство.

Н. А.: – *Это помимо вбросов?*

Л. Г.: – Я не склонен считать, что вбросы имеют принципиальное значение. Они имеют место там, где есть протестные настроения. А где полностью советское сознание – «как начальство скажет, так и проголосуем», – там и вбрасывать незачем. Посыл о том, что выборы были фальсифицированы, предполагает, что у людей могут быть и другие мнения, чем у начальства. Другие взгляды. Это ложный посыл.

Н. А.: – *Если бы в Москве больше людей пришли к урнам, в России были бы другие депутаты, по крайней мере на уровне города?*

Л. Г.: – Конечно. Почти одновременно с нашими событиями проходили демонстрации в Чили: на улицы вышло 2 миллиона человек – на 18 млн. населения. Если грубо прикинем, откинем детей, станет ясно: 2 млн. взрослого населения – это фантастический результат! А тут – 15 тысяч на 15 миллионов…

Н. А.: – *Гражданская пассивность – это результат усталости, отсутствия энергии?*

Л. Г.: – Это восстановление советского опыта. Нарастающее раздражение, агрессия по отношению к тем, кто не согласен, выступает со своими программами. Вспомните Советский Союз. Как в старом советском анекдоте: двое стоят по шею в дерьме, один из них вовсю ругает советскую власть, а второй одергивает – «не гони волну!» Это очень важный механизм – приспособление и агрессия в отношении людей, выступающих с нравственными или просто реалистическими требованиями.

Н. А.: – *Это новый феномен?*

Л. Г.: – Нет. Как можно было людей мобилизовать кричать и требовать покарать всех отщепенцев, диссидентов? – Сталинское время не помню, но как принимали решения в отношении диссидентов, писателей, начиная с 1966 года, с Синявского и Даниэля и прочих, – помню хорошо. Это все осталось .

Н. А.: – *Вернулось в новых поколениях?*

Л. Г.: – Мой учитель Юрий Александрович Левада говорил: неважно, какие установки у молодежи, важно, что делают институты. Когда молодые начинают вписываться во взрослую жизнь – поступают на работу, создают семью, – то происходит то, что описано у Гончарова в «Обыкновенной истории». Человек ломается. И появляется стой-

кий цинизм, агрессивный цинизм слабых людей. Уверовавших в то, что дерьмо – всеобще и естественно. Это мощный механизм принудительного оппортунизма.

Н. А.: – *Недавно ваш центр опубликовал информацию о том, что сегодня люди в России больше удовлетворены своей жизнью, своим положением, в том числе и материальным, чем год и два назад. Это при том, что уровень потребления снижается неуклонно, и уровень доходов… В чем причина?*

Л. Г.: – Это очень интересный и парадоксальный факт. Я бы предложил такое объяснение. Снижение действительно идет, безусловно. Но патриотическая мобилизация, связанная с Крымом, со всей ее демагогией, с возросшей после 2014 года коммунистической риторикой и конфронтацией с Западом, создала атмосферу втягивания страны в большую войну. Опрошенные говорили: «Мы уже вступили в Третью мировую войну, но она пока еще в холодной фазе».

И этот подспудный страх большой войны на протяжении двух-трех лет резко снизил все претензии к власти и стал одним из факторов консолидации вокруг власти. А если на войне как на войне, то приходится отказываться от чего-то. Пропаганда в период победы Трампа подняла надежды на то, что вскоре произойдет перезагрузка и Трамп изменит мировую политику в отношении России. То ли Крым признают, то ли санкции отменят. То есть произойдет изменение международной политики на российских условиях. И когда Трамп победил, резко снизились антиамериканские настроения. Они были еще летом 2016 на уровне 83%, а к январю упали до 49%. А по отношению к Европе негативные настроения остались на прежнем уровне – 63%.

Н. А.: – *Хотя еще недавно Европу в России воспринимали исключительно позитивно… То есть пропаганда работает?*

Л. Г.: – Не то слово. И надо понимать, на что она опирается. Либералы, преувеличивая действие пропаганды, представляют человека как чистый лист. Это не так. Умелая пропаганда поднимает те представления, которые сложились давно. В советское время. Пропаганда не может убедить людей в том, что они живут лучше. Но она может убедить, что причины ухудшения лежат вовне. Это во-первых. Во-вторых, после резкого падения в 2015 году и паники, девальвации, когда обесценились сбережения и т. д., – произошла некая стабилизация. Были ожидания гораздо более пессимистичные, чем то, что произошло. Ждали худшего. В 2016 возникло ощущение стабильности. И главным стало – приспособиться.

Н. А.: – *И активизировались советские мифологемы?*

Л. Г.: – Это идет очень давно, начиная с 2000-х, и это фазовые процессы. В 2004 перед 60-летием Победы был всплеск, потом – после

мюнхенской речи Путина, когда был провозглашен антизападный курс. Но по-настоящему актуализировалось это в 2012 году как реакция на массовый протест, тогда все наши кривые показывали рост советских настроений.

Н. А.: – *Ваши последние данные показывают, что самые популярные в России исторические фигуры сегодня – Брежнев и Сталин.*

Л. Г.: – Сталин прежде всего. Это в 90-е годы Брежнев был синонимом былого благополучия. А Сталин – идея величия и победы. Если посмотрите на графики, увидите, что пики положительного восприятия Сталина – это периоды войны: Вторая чеченская, потом Грузия, потом Восток Украины. Понятен контекст: Сталин – это наша победа, мы демонстрируем силу, мы – держава, мы победили фашизм, у нас моральное право указывать всем, как жить, и именно исходя из морального права Победы. Сталин – символ Победы. На это не влияет даже то, что Сталин виновен в гибели людей.

Н. А.: – *Но власти открыли государственный Музей ГУЛага и одобрили памятник жертвам репрессий в Москве.*

Л. Г.: – А люди все равно не хотят этот памятник. Хотя у многих погибли родные. Это раздвоенное сознание. *Ресталинизация* – это память о репрессиях тоже, но память о репрессиях – это семейная память, прежде всего.

Н. А.: – *Сюрреалистическая картина мира…*

Л. Г.: – Скорее, оруэлловское «двоемыслие». Это разносится по разным плоскостям, по разным полочкам сознания. Сталин – это символ национального величия, коллективной идентичности, в этой картине реальности человек – материал *национального величия*, от него требуется подвиг и самопожертвование. Как Путин говорил в интервью немецкому журналу: главная черта русского народа – самопожертвование. То есть отказ от человеческой самости, самодостаточности, от человеческого достоинства.

Отдельный человек не имеет ценности перед величием страны. И происходит навязывание традиционных ценностей, мифы о тысячелетней Руси и т. д. Церковь активно в этом участвует, задает структуру коллективных представлений.

Но совершенно другой разворот, когда люди говорят о реальных проблемах. Тут главное – заботы о семье, своем окружении, свои интересы и полное равнодушие к политике, потому что это вне зоны личной ответственности и влияния. Это и есть способ выживания – демонстративная лояльность, но платить за это люди не хотят. Сказать им, что они – участники государственных преступлений, – тут они отказываются. «Это не я виноват, это кто-то.» То есть налицо характерная раздвоенность сознания.

Н. А.: – *«Хомо советикус» переместился во времени…*
Л. Г.: – Он воспроизводится, и это – сквозная тема наших исследований.
Н. А.: – *Вернемся к молодым. Они уж точно не смотрят ТВ и меньше ведутся на пропаганду советского типа.*
Л. Г.: – Меньше смотрят, но смотрят! В селе и малых городах России Интернет слабо представлен. И в целом Интернет выступает как дополнение, а не альтернатива ТВ. ТВ – это канал коммуникации, за ним авторитет, он транслирует мнение, авторитет власти. В Интернете нет авторитетов, это сообщество, не обладающее специализированным знанием.
Н. А.: *Можно ли считать, что доверие к СМИ в целом падает?*
Л. Г.: – Немножко меньше доверия. Снижается интерес ко всем СМИ. Но в чем эффект пропаганды – в том, что она безальтернативна. Технология власти держится не столько на принуждении, сколько на разрушении коммуникации. Разрыв связей коммуникативных – это значит, что мнение более компетентных групп не распространяется. Запреты на сайты, вытеснение независимых редколлегий из целого ряда СМИ – все эти меры разрушают систему коммуникации, вводя монополию. Сегодня на каждого москвича приходится 15-17 информационных источников, москвич живет в густом информационном пространстве. А две трети населения живут там, где только два источника – федеральное ТВ и местное. И если по местному передают о событиях области, то федеральный канал дает ту картину реальности, которая не имеет альтернативы. Можете выключить телевизор, но это не изменит картины.

22-мя медиакомпаниями, по данным Анны Качкаевой*, владеют три медиагпуппы, все – под госконтролем, они покрывают 95% аудитории. Два самых ярких независимых издания – «Ведомости» и «Новая газета» – имеют совокупный тираж 350 тысяч экземпляров. Прибавить сайты и другие независимые СМИ – получим в сумме 7 миллионов аудитории. Прежде всего – это крупные города, мегаполисы. А страна смотрит Соловьева, Киселева.

Эффект пропаганды очень значимый, потому что был сделан важный вброс об Украине – «к власти пришли фашисты». Все. Пропаганда времен Второй мировой войны, весь контекст победы. Какие могут быть разговоры с фашистами?
Н. А.: – *Что можно сказать об официальном отношении в России к Февральской революции, юбилей которой прошел в этом году?*

---

* А. Г. Качкаева, научный руководитель Высшей школы журналистики НИУ ВШЭ, специалист по медиакоммуникациям.

Л. Г.: – Ничего особенного сказать нельзя. Власть сама не знает, как быть. Нет концепции. Советская практика преподавания говорила: это первая фаза Октябрьской, и сама по себе не имела значения. Люди просто не знают, что это такое. Режиму крайне важно снять смысл демократических преобразований Февраля. А ведь это был разрыв с вековой монархической традицией, абсолютизмом; у России появился шанс стать демократической страной. Очень небольшая часть людей считает, что если бы не большевистский переворот, то Россия развивалась бы демократически, – всего 12-14%. Остальные повторяют, что это малозначительные события. Либо – чаще и чаще – что это заговор коррумпированных элит против законного правителя, или заговор генералов. Власть проскочила Февральскую революцию.

Н. А.: – *Октябрьскую не проскочишь…*

Л. Г.: – Не проскочишь, и неясно, как будут трактовать. Первоначально был такой посыл: давайте жить дружно, это трагическая история, давайте извлекать уроки из трагедии и ценить государство, и прочее. Это тоже не удается. Поэтому: как будет? – не могу сказать, как будет. Слишком сильно путинский режим зависит от советского прошлого, он не может от него отказаться. А для советского прошлого – это осевое событие, начало нового государства и т. д. С другой стороны, великая держава, империя.

Н. А.: – *Стали ли люди больше верить в Бога?*

Л. Г.: Стали говорить, что православные. В1989 году, когда мы начинали, было 16-19% верующих, а сейчас – 77%. За поколение произошла полная смена символической идентичности. При этом 40% не верят в Страшный суд, вечную жизнь и т. д. Православный для многих – значит русский. И только. Это понятно – нет столько квалифицированных священников, которые могли бы обучить основам веры… В результате возникает догматизм и магическое сознание, глубоко архаическое, варварское. Иконки в машине, священники освящают крейсера и казино… Священник для многих – это прежде всего шаман. Большинство называющих себя верующими приходят в церковь два раза в год, на Рождество и на Пасху. Хотя, с другой стороны, медленно, но верно растет число прихожан за счет молодых образованных женщин…

Н. А.: – *Довольно безрадостная в целом картина…*

Л. Г.: – Мне часто говорят, что я пессимист. Я не пессимист, я – скептик; мои данные не позволяют обнадеживаться, и я понимаю, что исторический процесс сам по себе чрезвычайно сложный и быстрых решений не может быть.

Н. А.: – *Многих волнует вопрос – почему надежды перестройки, 1991 года не состоялись? В чем причина?*

Л. Г.: – Во-первых, я бы не называл события 1991 года революцией. Это было движение среднего звена чиновничества, у которого не было перспективы. Кто такие советские интеллигенты? – Журналисты, преподаватели, инженеры, многие из которых работали на ВПК, – чиновничество.

Застой есть застой. Перспективы и желание изменить порождало внутреннее напряжение. Нельзя сказать, что это было последовательным движением в сторону правового государства. Потому все реформы определялись интересами этого слоя. Приватизация, очень осторожные реформы. Почему не удалась люстрация? Не такое уж было сильное сопротивление. *Было нежелание*. Кажется, даже у «мемориальцев». Почему выбрали Ельцина – секретаря обкома? Передали ответственность. Тому, у кого был опыт. Сняли с себя обязанность участвовать в ответственности. «Приди и владей нами…»

Отсюда границы изменений и характер реформ. Они не касались судебной системы, системы образования, не говоря уже о попытках ликвидировать политическую полицию. Все кадры остались на своих местах, разве что часть убежала из-за экономических причин. Плюс – «государственничество»… Что на эмблеме «Демократического выбора России»? Медный всадник! Особенно и обвинять кого-то трудно. Не знали, как быть. Все было в руках тех же советских юристов-правоведов.

Изменения не коснулись армии, ФСБ, суда; система власти практически осталась неподконтрольной обществу. Институты остались те же самые, и они обеспечивают воспроизводство.

Помню, Юрий Левада говорил с одним французским ученым; тот говорил: столько прошло лет, 20 лет после перестройки, а у вас ничего не выходит! А Левада спросил: а что было во Франции через 20 лет после Великой французской революции?.. Длинное историческое сознание не пессимистично, оно помогает понять перспективу и необходимые действия…

Н. А.: – *Просвещение?*

Л. Г.: – Дело не в просвещении. Недавно обсуждали в «Либеральной миссии»* проблематику репрессий. Наши опросы показывают, что люди и так знают о репрессиях. Преуменьшают масштабы, но знают. Сталин, с одной стороны, – виновник массовых репрессий, гибели

---

* Фонд «Либеральная миссия» был создан в феврале 2000 года. Фонд был организован на базе Экономического клуба, целью которого было объединение экономистов либерального направления и создание площадки для творческих дискуссий сторонников рыночных реформ. Позднее «Либеральная миссия» стала собирать не только экономистов, но и ведущих политологов, социологов, культурологов-юристов.

миллионов людей, с другой стороны, – эффективный менеджер и организатор победы. Одни и те же люди так говорят. Сшибка эта не случайна. Согласны с тем, что он совершал преступления. Но отказываются называть его государственным преступником. Потому что тогда надо называть преступной всю советскую систему. А это означает крах всей советской идентичности. Все прошлое страны – предмет национальной гордости – преступно.

Н. А.: – *В чем же выход?*

Л. Г.: – Надо развивать систему представительства. Наша либеральная оппозиция представляет только самих себя. Это последовательная тактика. Не хотели видеть проблем других групп населения – консервативных, проблем провинции, которая страдала и тяжелейшим образом переживала крах советской системы, когда сгорели накопления, когда задержки зарплаты составляли семь месяцев, – непонятно, как люди выживали… Главная проблема общества – проблема отсутствия солидарности. Движение в обществе идет все время, заметный рост числа конфликтов наметился, наши данные это показывают, но это – локальные конфликты. Фермеры, дальнобойщики... Необходимы условия для коммуникации и организации. Пока что мы видим нежелание этим заниматься. 85% говорят: «Политика – это грязное дело, я отвечаю за себя, за детей, а там я не могу ничего».

Фрагментированность общества, это надо понимать. Как и низкий уровень доверия. Поэтому надо не декларировать Конституцию и права человека, но указывать людям на конкретные проблемы и выступать от их имени, потому что силы движения определяются способностью консолидировать интересы разных групп. А наша оппозиция передралась.

Чем интересен Навальный? – Он начинал как популист и националист, но стал представителем разных групп населения и много делает на коммуникативном уровне; он преодолел запрет на медиапространство. Это очень важно. И в этом смысле Навальный становится все интереснее и интереснее. Он явно учится. Единственно: жить только на критике коррупции – долго не удастся. Это тактика всех популистов, от фашистов до коммунистов, – *негативный месседж*. И, по-моему, Навальный не очень это акцентирует, у него появляется и позитивная повестка дня. Соблазн надежды…

Н. А.: – *Что, на ваш взгляд, нужно знать о России тем, кто не живет в стране, но хочет ее понять?*

Л. Г.: – Мне кажется, самое важное – понять природу режима. Ни одно из определений не годится. Социальная и политическая наука на Западе обходит вниманием подобные режимы. Мне кажется, там его не понимают, и нет интереса к тому, как происходит *логика раз-*

ложения тоталитарных систем. Вся политология ориентирована на проблематику транзита и, соответственно, отклонений от транзита, от формальной модели – американской или европейской – демократии. Все остальное воспринимается не как своеобразие, а как отклонение. Это непродуктивно. Поэтому важно понять, на чем держится режим, – не только на насилии. Он держится на каких-то очень устойчивых установках по отношению к власти. Чем-то власть эта отвечает массовому сознанию. В одних случаях массовое сознание предельно тупое. В других – удивительно рационалистичное. В некотором смысле, массовое сознание лучше понимает природу нынешнего режима, чем современные политологи. Понимает, что власть опирается на силовые структуры и на подконтрольных олигархов, и режим защищает их и представляет их интересы. Плюс бюрократия. И массовое сознание, в этом смысле, трезво и рационалистично, и пессимистично. Цинично в каком-то смысле.

С моей точки зрения, в обществе отсутствуют моральные авторитеты. Есть суррогаты, как Церковь, но реальных авторитетов нет. И очень большая часть интеллектуальной и социальной проблематики остается нерешенной. Само массовое сознание не в состоянии справиться с этим. И в каком-то смысле – это преступление интеллектуалов, не могущих дать ответы на вопросы населения, которое нуждается в ответах. Я совершенно не склонен считать население быдлом, это не так; происходит болезненный процесс попыток разобраться, процесс тыкания в разные стороны…

Н. А.: – *Но соблазн надежды!*

Л. Г.: Он жив, конечно… Важно не терять длительного сознания, понимая перспективу и важность повседневной работы…

Москва

Ольга Матич: Люблю объединять

Интервью журналисту Юлии Горячевой

Ольга Матич (урожденная Ольга Борисовна Павлова, 1940 г.р., Любляна, Королевство Югославия) – литературовед, культуролог, профессор русской литературы Калифорнийского университета в Беркли (США), где и проживает. В послевоенные годы в Сан-Франциско из Югославии через Германию перебралась ее семья, включая деда – Александра Билимовича, видного русского экономиста, участника Белого движения, руководителя Управления земледелия и землеустройства в составе «Особого совещания» – правительства Юга России генерала Деникина. Двоюродный дед Ольги Борисовны – Василий Шульгин, юрист, публицист, депутат II–IV Государственной Думы, активный участник Белого движения. Вместе с А. И. Гучковым он принял в 1917 году отречение императора Николая II.

В конце 2016 года вышла новая книга Ольги Матич «Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи». Она повествует о русских корнях и богатой семейной истории, об этапах изучения литературы эмиграции, отношениях автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой.

Юлия Горячева: – *Ольга Борисовна, вам хорошо известно высказывание Иосифа Бродского про язык как капсулу: «...Выброшенный из родного языка, [писатель-эмигрант] или брошен или же отступает в него. И из его, скажем, меча язык превращается в его щит, в его капсулу. То, что начиналось как частная, интимная связь с языком, в изгнании становится судьбой». А вы, дочь эмигрантов первой волны, выросшая в русской и иноязычной средах за рубежом, дружившая с литераторами послевоенной эмиграции второй и более поздней третьей волны, какую метафору могли бы дать языку в вашем случае?*

Ольга Матич: – У меня такой метафоры нет. Я не могу сказать, что для меня русский язык «капсула»-щит. Бродский вырос в Советском Союзе, т. е. в русскоязычной стране, и поэтому у него другое отношение к родному языку. У меня скорее осознание *отсутствия* родного языка, даже какая-то глубинная языковая неуверенность. При этом я владею несколькими языками и с легкостью перехожу с одного на другой. Я родилась в Словении, детские годы прошли в скитаниях, в самом конце войны и после нее мы передвигались по разным

странам. Когда мне было четыре года, семья, осознавая приход к власти коммунистов в Югославии, бежала сначала в Австрию, затем в американскую зону Германии, где я выучила немецкий, и после пребывания в районе Мюнхена около трех лет мы эмигрировали в США, – так в восемь лет ко мне пришел английский. Русский всегда оставался домашним языком, но в детстве мне постоянно приходилось менять язык среды, в которой находилась. Думаю, что поэтому у меня нет ощущения родного языка, как и нет стабильной идентичности – она перетекает то в ее русскую часть, то в американскую.

Ю. Г.: – *Если говорить не про научную сторону, а про человеческое развитие, – что из эмигрантской литературы оказало на вас наибольшее влияние?*

О. М.: – Мне сложно ответить на этот вопрос. Вы ведь знаете, что было по крайней мере три большие эмиграции – старая; «новая», как ее в свое время называли старые, – послевоенная – эмиграция (или вторая волна) и третья волна. Для меня в каждой из них есть значимые авторы. Из третьей волны сначала это был Аксенов – и не только потому, что я лично с ним познакомилась в 1973 году. Я и до нашей случайной ленинградской встречи с удовольствием читала его рассказы. В 60-е годы он действительно воспринимался как новый голос.

Ю. Г.: – *Судя по вашим публикациям, знакомство с Василием Аксеновым переросло в дружеские отношения, недаром именно вам писатель в 1975 году отправил рукопись «Ожога». И, если не ошибаюсь, благодаря вам в 1975 году с ним был заключен первый преподавательский контракт в американском университете, где он десять недель читал курс современной русской литературы; вы послужили и прототипом милейшей калифорнийки в его повести «Круглые сутки нон-стоп». А какие личные качества Василия Павловича вам импонировали прежде всего?*

О. М.: – Я бы отметила его добродушие, щедрость. Еще он мне нравился своей открытостью: он был во многом более искренен, чем другие, к тому же, высказывался менее авторитарно. Вы ведь знаете, что российский интеллигент часто самоуверенно выражает свое мнение. У Аксенова тогда этого не было. Я, во всяком случае, этого в нем не помню. У него был ироничный стиль, но в меру. В своей книге я пишу, что ирония – своего рода дендизм. Этакое отмежевание себя от общества. А мне нравится, когда люди порой говорят о важном – просто. Без подковырки. Этого мне не хватало в среде эмигрантов третьей волны.

Ю. Г.: – *В вашей замечательной книге «Записки русской американки…» с интересом прочла о знакомстве Аксенова с вашим отцом –*

«сыном полка», Георгиевским кавалером Белого движения, одним из прототипов героя «Острова Крым».

О. М.: – Да, действительно, – общение со мной и моим отцом, Борисом Арсеньевичем Павловым отчасти повлияло на текст романа «Остров Крым». В первый приезд в Америку в 1975 году Вася прочел его воспоминания «Первые 14 лет», опубликованные в США в начале 70-х, об его участии подростком в Белой армии. Больше всего соратников Врангеля эвакуировалось именно из Крыма, в их числе был и мой отец.

Ю. Г.: – *А вам самой какое из произведений Василия Павловича больше нравится?*

О. М.: – Скорее всего, «Остров Крым»! Это самая оригинальная книга Аксенова, блестяще задуманная, пусть в оформлении местами не дотягивающая.

Ю. Г.: – *Василий Павлович был так же, помимо вас, движущей силой конференции «Третья волна: русская литература в эмиграции», не так ли?*

О. М.: – Да, я ее проводила в 1981 году в Университете Южной Калифорнии – когда Аксенов у нас преподавал. Это была резонансная конференция. В то время третьей волной и Советским Союзом в Америке усиленно интересовались. Было выделено много денег американскими грантодателями – National Endowment for the Humanities, фондами Рокфеллера и Форда, а также Университетом Южной Калифорнии и Русским Центром Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе. Среди других участников конференции (эмигрантов) были Юз Алешковский, Дмитрий Бобышев, Томас Венцлова, Владимир Войнович, Анатолий Гладилин, Сергей Довлатов, Наум Коржавин, Эдуард Лимонов, Виктор Некрасов, Мария Розанова, Андрей Синявский, Саша Соколов, Алексей Цветков… Как видите, почти все узнаваемые русские литераторы-эмигранты того времени с подчас противоположными политическими и литературными взглядами. Но мою главную, пусть и наивную, задачу – собрать для беседы враждующие литературные лагеря в эмиграции – конференция не выполнила. К примеру, Александр Солженицын на приглашение просто не ответил, Иосиф Бродский, Владимир Максимов и Александр Зиновьев в конечном счете отказались от участия. Максимов сначала принял приглашение, но узнав, что Синявский будет произносить вступительное слово, отказался.

Ю. Г.: – *Интересно в связи с этим услышать от вас, профессора-русиста, об этапах развития русистики в США…*

О. М.: – Было много фаз. Большой бум после запуска спутника в 1957 году, а также публикаций за границей «Доктора Живаго» и «Что

такое социалистический реализм» Абрама Терца. В шестидесятые – «Один день Ивана Денисовича» в Советском Союзе и так далее. За пределами русистики интерес к этим текстам был скорее политическим. Но в результате появились государственные гранты для изучения русского языка, литературы и истории. Хотя за пределами русистики всегда был интерес к русской классике, в особенности к Достоевскому и Толстому, – он значительно увеличился в шестидесятые и семидесятые, как и к русской литературе вообще. Получается, что советская литература (пусть отчасти это был *тамиздат*) сыграла важную роль в развитии интереса к изучению русистики на Западе. Со временем он ослаб, но в 1991-м – опять возрос, и опять-таки политические обстоятельства сыграли свою роль.

Ю. Г.: – *В вашей обстоятельной статье о литературе третьей волны эмиграции, опубликованной в 2014 году в журнале «Новое литературное обозрение», приведено высказывание поэта Дмитрия Бобышева про различия в ментальности у представителей разных волн эмиграции. «У первой волны Россия буколически-усадебная, у второй – страшная сталинская, а у третьей – брежневская, скучно-постылая». А как бы вы охарактеризовали эти волны? И как к ним относились в вашей семье?*

О. М.: – Первая и вторая волна изначально сильно различались. Первая – это досоветская эмиграция, люди, которые уехали в результате революции и победы большевиков в Гражданской войне. Они принадлежали своей эпохе, а вторая волна – к советскому обществу. И в этом главное различие между старой эмиграцией и второй эмиграцией. Вторая, «советская», эмиграция, как их в начале называли «первые», была другой, у них, к примеру, к монархии было совсем иное отношение. В старой эмиграции многие имели какие-то монархические иллюзии. Они говорили на законсервированном языке, случалось пренебрежительное отношение к последующим потокам эмиграции – как к чужим. Вторая эмиграция находила первую в чем-то смешной. Она и была такой, поскольку рассуждать о монархии в 50-е годы – смешно, не правда ли? Для старой эмиграции характерны воспоминания о России, которую они оставили. У нас дома вечно об этом говорили. При этом родители монархистами не были, состояли в Народно-трудовом союзе (НТС), который не был монархическим. Собрания филиала Союза часто проходили на нашей квартире.

…Мы поселились в Монтерее (на юг от Сан-Франциско), где имелась русская колония, потому что там находилась Военная школа языков. В русском отделе преподавали представители первых двух волн. Например, в ней преподавал русский язык племянник Николая II. Американские солдаты его любили за то, что только он учил мату.

Как моя мать мне объясняла, аристократия позволяла себе ругаться матом, а интеллигенция нет. В семидесятые и восьмидесятые годы был большой наплыв преподавателей третьей волны. Эта школа представляла обширный материал для социологического анализа всех трех волн. Там в самый разгар изучения русского языка – пиковые годы «холодной войны» – было около 300 русских преподавателей, и они и их семьи общались между собой. В отличие от многих «первых», мои родители хорошо относилась ко второй эмиграции. Среди близких друзей был Николай Моршен (Марченко), пожалуй, лучший поэт второй волны.

Что касается третьей, в основном, еврейской волны – возник вопрос отношения ее представителей к России. Например, моей матери были чужды те, у которых она подозревала русофобию. Кстати, Николай Моршен много общался с преподавателями третьей эмиграции. Именно он первым меня познакомил с ними.

Ю. Г.: – *В «Записках русской американки» вы тепло пишете о Саше Соколове, назвав его одним из самых талантливых писателей. Почему в таком случае на Западе он был обойден успехом?*

О. М.: – Во-первых, его очень трудно переводить. Например, роман «Между собакой и волком» (1980), который российские писатели (к примеру, Владимир Сорокин) и некоторые критики считают лучшей книгой Соколова, только сейчас вышел на английском языке. Его перевел живущий в США Андрей Богуславский, который, кстати, совсем недавно сделал и новый перевод «Школы для дураков». Я думаю, что выход перевода «Собаки» опять пройдет незамеченным. Его романы не для широкого, а для изощренного российского читателя и для тех, кто изучает русскую литературу. Чтобы их оценить, очень важно понимать контекст, в особенности языковой, – сложную игру с языком – и сложную интертекстуальность.

Возможно я была первой, написавшей о том, что «Палисандрия» является пародией на диссидентскую и эмигрантскую литературу о советской, в особенности сталинской, эпохе. Ее в свое время перевел на английский прекрасный переводчик Майкл Хайм, но и «Палисандрия» тоже, в основном, прошла незамеченной. Не надо забывать, что первая книга Соколова – «Школа для дураков» – была замечена западными критиками, по большей части, из-за благосклонного отзыва Владимира Набокова. Это высказывание сыграло существенную роль.

Ю. Г.: – *А что Саша Соколов сейчас делает?*

О. М.: – Он пишет, но предпочитает не говорить, о чем. Он живет в Канаде в горах над Ванкувером вместе с женой-американкой, тренером по гребле – Марлин Ройл. Я была у них летом. Живут они там

летом и осенью, а зимой и весной – во Флориде, где жена как раз и преподает греблю. Кстати, Саша в Вермонте, затем в Канаде преподавал горную лыжную езду.

Мы с ним много спорили о политике. Он считает, что «Крым – наш», хорошо относится к Путину. Мне же важно понимать, почему у него и его единомышленников такая позиция. Ведь для любой ситуации и, соответственно, позиции всегда много разных объяснений. В его случае мотивацией является дурное отношение Америки к России.

Ю. Г.: *– Ваши семейные хроники и воспоминания пронизаны миролюбием. Это врожденное или приобретенное?*

О. М.: – Я иногда вполне критически пишу о людях. То, что вы назвали миролюбием – отчасти результат формирования моей идентичности. Во-первых, я живу в разных мирах. Американском и русском. Во-вторых, мне интересно понять другого. Но если мне говорят что-то неприемлемое, то я спорю, как любой русский человек. Правда, мне важно не просто свое протолкнуть, лишь бы победить. Мне интересна сама дискуссия и диалог как поиск пути к согласию. И вообще, я люблю объединять людей различных воззрений.

Ю. Г.: *– Вы писали о том, что ваши родители так и не встали – сознательно – на путь ассимиляции. А как они относились к вашему стилю жизни, понимая имеющиеся отличия?*

О. М.: – Это не было проблемой. Главное, чтобы мы с братом оставались русскими, т. е. были бы русскими и американцами одновременно. Все подростковые годы я ходила дополнительно в Русскую школу. Я тогда себя американкой вообще не чувствовала – почувствовала лишь в университете и, что любопытно, – под влиянием левых американских студентов-марксистов. В подростковом возрасте я ездила в скаутские лагеря Организации русских юных разведчиков (ОРЮР), где мы по утрам сначала поднимали русский флаг, а следом американский. Затем пели скаутский гимн «Будь готов, разведчик к делу честному…», кончавшийся словами «За Россию будь всегда готов!»

…Именно в Русской школе я начала учиться у Владимира Маркова, ставшего впоследствии руководителем моей докторской диссертации о Зинаиде Гиппиус. Тогда он преподавал в Военной языковой школе в Монтерее, а детям – русский язык и литературу. Тогда же он «руководил» интеллектуальным кружком, куда из старой эмиграции входили наш ближайший семейный друг Константин Григорович-Барский и моя мать. В него входили Моршен и Николай Пашин, как и Марков, из второй эмиграции. Брат Пашина – Сергей Максимов, автор знаменитого в ту пору романа «Денис Бушуев». Кстати, Николай Сергеевич перевел с соавтором роман Оруэлла «1984» на русский язык.

Занятия в русской школе были по вечерам в будние дни и по субботам. Мы обожали Владимира Федоровича Маркова. Он всегда придумывал интересные вопросы для обсуждения. А потом Марков поступил в Калифорнийский университет в Беркли к Глебу Струве (сыну Петра Бернгардовича, кстати, другу моего деда Билимовича) и написал диссертацию о Хлебникове. Его книга о Хлебникове до сих пор считается одной из лучших работ о нем. Затем он стал профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где я училась. Он написал первую и до сих пор лучшую историю русского футуризма.

Ю. Г.: – *Ольга Борисовна, у вас репутация доброжелательного человека с хорошим профессиональным чутьем – именно вы приглашали русские таланты в США преподавать; благодаря вам искусствовед-славист Джон Боулт получил ставший столь удачным для него контракт с Университетом Южной Калифорнии; в бэкграунде много резонансных междисциплинарных проектов, в их числе конференции «Дисней и Эйзенштейн», по творчеству третьей эмиграции, по русскому авангарду… Что для вас в вашем профессиональном развитии было наиболее интересно?*

О. М.: – Все в свое время было интересно. Меня всегда интересует то, чем я занимаюсь в данный момент. Сожалею, что не стала искусствоведом. Живопись – это моя любимая форма искусства, о которой я иногда пишу.

…Люблю объединять людей и придумывать что-то интересное. К примеру, в последние годы занимаюсь Андреем Белым. Не только его литературной деятельностью, но и контекстом, в котором он созидал. И, наверное, самый интересный мой проект в этой сфере, это digital project, который называется «Mapping Petersburg». В создании сайта участвовали мои берклийские аспиранты. Это большой сайт по Петербургу начала XX века: 13 интерактивных маршрутов, по которым можно долго блуждать. Проект связан с книгой *Petersburg: Novel and City*, вышедшей в США в 2010 году. И что необычно – сначала был создан сайт, а потом из сайта родилась книга.

Другой сайт, недавно созданный под моим руководством, называется «Russian Writers at Berkeley». На нем можно послушать концерт Булата Окуджавы в 1979-м; выступление Дмитрия Пригова в 2001-м; большое интервью с Сашей Соколовым, которое мои аспиранты и я провели в 2015-м, выступление Марии Степановой в 2016 году. Все это сопровождено множеством фотографий авторов, их биографиями, суждениями специалистов и людей, которые были с ними знакомы.

Москва – Беркли

Сергей Голлербах

Памяти двух друзей

В 2017 году им исполнилось бы сто лет. Оба родились в бывшем Советском Союзе, пережили войну, беженские лагеря и смогли иммигрировать в Соединенные Штаты Америки, где прожили большую часть своей жизни. С обоими меня связывала долголетняя личная и профессиональная дружба. Эти люди – художники Юрий Викторович Бобрицкий (1917–1998) и Владимир Михайлович Шаталов (1917–2002). Несмотря на некоторую разницу в возрасте (оба были на шесть лет старше меня), мы были людьми того же поколения перемещенных лиц, ди-пи, представителями почти ушедшей сейчас второй волны русской эмиграции.

По сравнению с первой, послереволюционной, волной и третьей, начавшейся в семидесятые годы прошлого века, ее считают явлением малозначительным, почти не оставившим какого-то культурного наследия. Такая точка зрения кажется мне ошибочной и побуждает меня не только помянуть добрым словом моих друзей, но и рассказать об их творчестве – к сожалению, мало еще оцененном как в Америке, так и в России.

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ БОБРИЦКИЙ

Юрий Викторович Бобрицкий родился в городе Знаменка на Украине, молодость провел в городе Любытино, художественное образование получил в Харьковском художественном училище, но война выбросила его за пределы России, и в 1945 году он оказался в беженском лагере в Австрии, около маленького городка Парш. «Мы называли себя паршивцами» – со смехом говорил он потом.

В этом лагере были тогда два скульптора – Сергей Григорьевич Корольков из Ростова-на Дону и Андрей Иванович Дараган из Украины. В Австрии Юра Бобрицкий, двадцативосьмилетний красавец высокого роста и атлетического телосложения, встретил австрийскую девушку Ильзу Штраубингер, дочь богатых родителей, владельцев отелей. Молодые люди полюбили друг друга и поженились, несмотря на протесты со стороны ее родителей. Выйдя замуж, Ильза поселилассь с мужем в его лагере, променяв хорошие условия жизни на убогий быт дипийцев. У них родилась дочь Аленушка. Ильза научилась говорить по-русски. У Юры оказались родственники в Америке, старые эмигранты, – Степан Тимошенко, известный уче-

ный, специалист по сопротивлению материалов, и Владимир Васильевич Бобрицкий (псевдоним – Бобри), известный художник-иллюстратор и гитарист, друг знаменитого гитариста Андреса Сеговия. О своей родословной Юра говорил: «Мы – из панов». Когда его фамилию произносили как «Бобринский», он поправлял – «Бобри*ц*кий и не граф!»

С Юрой я познакомился в феврале 1950 года в мастерской шелкографии, куда меня устроил мой друг Алеша Ермаков (мы учились вместе в Мюнхенской академии художеств). Мастерская называлась «Хильда Ньюмен студио» и находилась на 112 улице и Бродвее. Кроме Юры, Алеши и меня там работал еще Юра Крыжицкий, внук академика-пейзажиста Крыжицкого. Мы печатали рисунки на галстуках и дамских блузках, а дизайнером был младший сын знаменитого русского иллюстратора и сценографа Мстислава Добужинского – Всеволод Мстиславович.

Работа наша была грязной и монотонной, но мы были счастливы и веселы, так как после почти девяти лет бедствований – войны, бомбежек и лагерной жизни – мы оказались в мирной, богатой стране, где могли свободно жить и творить. Кроме того, эта студия была своего рода русским оазисом в Нью-Йорке, и не единственным, а одним из многих. Юра и я стали изучать новый для нас город, рисовали, писали этюды, ходили в музеи.

Нам удалось также поступить в художественную школу – Лигу студентов-художников (Арт Студент Лиг), я – на короткое время, Юра – на более длительное, где он продолжал учиться у известного американского художника японского происхождения Ясуо Кунийоши.

В 1952 году студия шелкографии закрылась, и мы должны были искать новую работу. Попробовав себя в коммерческой графике и книжной иллюстрации, Юра Бобрицкий, выдержав экзамен, стал членом профсоюза работников сцены, и это во многом определило его дальнейшую жизнь. Осень, зима, весна были очень занятыми месяцами, но летом, когда театральный сезон заканчивался, время оказывалось свободным и давало возможность путешествовать. Юра Бобрицкий был по натуре человеком природы и как художник он не мог без нее жить. Купив себе автомобиль «Фольксваген», вроде маленького автобуса, он оборудовал его как ателье и походное жилище, пустился в путешествия по Америке и по европейским странам. Результатом стало множество великолепных пейзажей и рисунков пером, которые могли бы украсить музеи в любой стране.

Но тут я должен упомянуть одну черту характера моего друга: он лишен был желания себя как-то рекламировать, куда-то пробиваться. Без всякого самомнения, он был абсолютно чистым челове-

ком, любящим искусство в себе, а не себя в Искусстве. Всякая коммерция в искусстве была ему глубоко противна, галерейщикам он не доверял и поэтому не был связан с какой-либо галереей, хотя возможности представлялись. Как в искусстве, так и в быту, Юра был человеком дисциплинированным, работящим, он был и гостеприимным. В его квартире, а потом в доме, который Бобрицкие купили в городке Бронкс-вилл к северу от Нью-Йорка, часто собирались гости. Юра показывал свои работы, спорили об искусстве. В этих встречах не было ничего от богемы, никаких чудачеств, злоупотребления спиртным и, вообще, какой-либо распущенности. А как часто такое бывает в кругу художников! Юра обладал прекрасным, украинским чувством юмора, увлекательно рассказывал о своих путешествиях. Дом Бобрицких был одним из культурных центров старого, уже ушедшего русского Нью-Йорка. В саду у дома Юра поставил абстрактную скульптуру, но не своей работы, хотя он и занимался лепкой. То было громадное ребро кита, которое он привез не то из Исландии, не то из Норвегии. Наконец, Юра Бобрицкий был прекрасным фотографом и часто в местных клубах устраивал показы своих слайдов, сопровождая их интересными рассказами.

Пишу об этом для того, чтобы молодые поколения русских людей знали о существовании активной творческой жизни в среде «перемещенных лиц», людей второй волны. Эмигрировав в Америку и встав на ноги, мы включились в жизнь страны, но не подчинились искушениям рыночной экономики и продолжали традиции русской культуры. В этом заслуга той эмиграции, и Юрий Бобрицкий – один из лучших ее представителей. Украинец по происхождению, он не был украинским националистом, не противопоставлял свою родину Москве, как не делал этого и классик русской литературы, украинец Николай Васильевич Гоголь-Яновский.

Картины и рисунки Юрия Бобрицкого находятся во многих частных коллекциях, но, как я уже сказал, они недостаточно оценены. Причиной этому не только независимый характер художника. В пятидесятые-шестидесятые годы в Америке происходил расцвет абстрактного экспрессионизма, реалистическое искусство на художественном рынке считалось отжившим свое время. Честный художник Юра Бобрицкий не хотел идти «в ногу со временем», изменять себе ради успеха.

Тем не менее, он участвовал во многих выставках американских художественных обществ, получал призы, у него состоялись персональные выставки, в их числе – в Музее Рериха и в Украинском клубе в Нью-Йорке. Юра Бобрицкий ушел от нас в возрасте восьмидесяти одного года, слишком рано для нашего времени, когда люди живут до

ста лет. В столетие со дня его рождения особенно уместно вспомнить о нем как о человеке и как о художнике.

Мне хочется передать несколько забавных историй, им рассказанных. Еще до того, как Юра стал членом профсоюза работников сцены, он получил заказ иллюстрировать книгу о собачке по кличке «Курой» («Кудряшка» по-русски). Взяв блокнот, он пошел в заведение, где в клетках сидели бездомные собаки и кошки в ожидании, что их кто-то возьмет. Найдя подходящую по типу собачку, Юра сел ее рисовать. Однако, как только он начинал рисунок, собачка опускала голову и внимательно следила за его карандашом. «Смотри на меня!» – говорил он ей, она смотрела, но как только он начинал рисовать – повторялась та же история: собачка смотрела на карандаш, а не на художника. Эта смешная процедура длилась долго, пока Юра все же сумел закончить рисунок.

Другой рассказ, запомнившийся мне, касался украинца по имени Грицько, купившего старую ферму в штате Мейн. Юра поехал навестить его. Ферма оказалась в запущенном состоянии, дом покосившийся, подпертый балками. Видно было, что ферма куплена подешевке. Юра постучался в дверь. Ответа долго не было, потом послышались шаги, и открылась дверь, из которой с криком вылетела курица. Грицько появился заспанный, сказал, что предстоит много работы, надо чинить дом. Упомянул также, что купил корову и продает местным жителям, американцам, парное молоко. «Сначала покупали, а потом перестали. Увидели, как я цежу молоко через свои трусики. Но я-то их выстирал и всю мотню вырезал, а они все равно брезгуют.» Чем это не рассказ из «Вечеров на хуторе близь Диканьки»!

Однажды, вернувшись из поездки по Америке, Юра рассказал нам, как его ограбил медведь. Произошло это в одном из национальных парков где-то в средних штатах страны. Там для туристов устроены стоянки для автомобилей, маленькие кабины – бунгало – для ночевки и на лужайке – стол и скамейки. Юра оставил свой кожаный рюкзак, специально для него сделанный в Италии, на столике и зашел на минуту-другую в свою кабину. Вернувшись, он обнаружил, что рюкзака нет. «Кто украл? » – спросил он сидевших поодаль туристов. «Медведь», – ответили они. Юра не поверил, взял палку и пошел искать вора. И действительно, он увидел в лесу медвежонка, рвущего его любимый рюкзак с продуктами. Юра замахнулся на него палкой, медвежонок встал на задние лапы, и оказалось, что он всего лишь немного ниже Юры. Бороться с ним не было возможности.

На открытие своей выставки в Музее Рериха Юра Бобрицкий пригласил группу знакомых украинцев. Галерея с его работами была

на третьем этаже и, чтобы попасть туда, надо было пройти второй этаж, где висели полотна Николая Рериха тибетского периода его творчества. Юра со смехом говорил нам потом, что один из гостей, пан Михайло, взглянув на картины Рериха, сказал: «О це ж мистецтво вид Дракулы». Мрачные горные пейзажи напомнили пану фигуру пресловутого вампира графа Дракулу.

Все мы с радостью бывали в доме Бобрицких, смотрели его прекрасные картины и рисунки и слушали его рассказы, полные доброго юмора и наблюдательности. Что можно еще к этому добавить? Только одно: Юра, мы вспоминаем тебя в твое столетие и рады, что ты был среди нас.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ШАТАЛОВ

Художник и поэт Владимир Михайлович Шаталов был во многом полной противоположностью Юрию Викторовичу Бобрицкому. Общим у них было только то, что они называли себя «ровесниками Октября», родились и провели молодость в Советском Союзе, учились в Харьковском художественном училище и эмигрировали после войны в Соединенные Штаты Америки. На этом общность кончалась. Если Юра Бобрицкий был человеком творчески любознательным, открытым, любил путешествовать, принимать гостей, то Володя Шаталова можно было назвать внутренне скованным, носящим в душе силы неприятия и отталкивания.

Родился Володя в городе Белгород и, говоря о своей родословной, сказал мне как-то, что его предок, боярин Шаталов, не угодил чем-то царю Алексею Михайловичу и тот сослал его вглубь России, где род Шаталовых и пустил корни, вдали от белокаменной Москвы и блистательного Санкт-Петербурга, в котором веяли западные ветры. Поэтому, как мне кажется, Володя и любил глубинную Россию-матушку и не хотел видеть ее прегрешения.

Образованный и интеллигентный человек, Володя Шаталов не любил Запад, а город, где он прожил всю свою американскую жизнь почти безвыездно, был ему противен. В одном из своих стихотворений он говорит о мутной воде реки Делавэр, о том, что у него подрезаны крылья. Романтик душой, он представлял себе жизнь как непрекращающуюся драму. Но вот парадокс – в стране, где он не мог пустить корни, он никак не бедствовал: у него был свой дом, автомобиль, он участвовал во множестве выставок, получал призы, его картины покупались, он стал членом престижной Национальной академии дизайна в Нью-Йорке, одним из четырехсот пятидесяти ее членов на всю густозаселенную Америку.

Но имени он себе все же не создал. Надо также отметить, что в

Америку он прибыл художником, работавшим в русской реалистической традиции, однако современное американское искусство, абстрактный экспрессионизм, не мог не оказать на него влияния. Володя, несмотря на свое неприятие абстракции, стал все же во многом западным художником, правда, «с русской душой».

Ему чуждо было искусство итальянского Возрождения, он не любил Моцарта, предпочитая ему Бетховена, терпеть не мог итальянскую оперу и надрывных итальянских теноров; Сезанна и Гогена считал дутыми величинами. Кого же любил Володя Шаталов? Из старых мастеров – Веласкеса и Гойю, а в русской живописи – русские пейзажи и картины Борисова-Мусатова. И это вполне понятно. Для русского художника содержание и настроение в картине было важнее ее формальных достоинств.

Мы видим здесь два противоположных мироощущения, одно – основанное на гносеологии, то есть на познании вещи, другое – на психологии, на эмоциональном восприятии окружающего. Русский пейзаж – это серые деньки, вечерние звоны, заросшие пруды, весенние ветры и заброшенные погосты. Западная пейзажная живопись воспевает красоту и структуру природы – от голландцев семнадцатого века до импрессионистов, кубистов и американской Школы долины реки Гудзон. Что касается картин Борисова-Мусатова, то мне они всегда казались романтически упадническими, оплакивавшими уходящий быт дворянской России. Поэтому они и были близки по духу Володе Шаталову. Интересная деталь – в картинах Борисова- Мусатова много лилового, сиреневого цвета, который любил и Володя Шаталов. Цвет имеет свою духовную характеристику – и если желтый и красный цвета предполагают динамику и агрессивность, синий цвет – интроспективность, то сиреневый и лиловый цвет несомненно несут в себе некую грусть, почти траурность.

В работе над своими картинами Володя испытывал тяжелые творческие муки. «Если б ты знал, с каким трудом я начинаю писать», – сказал он мне однажды. Вот и тут снова контраст: большинство художников работают с увлечением, находя в творчестве уход от бытовых проблем, даже своего рода спасение от жизненных травм. Для Володи, как и для некоторых других художников, творчество было борьбой, возможно – с самим собой. Как-то раз Володя сказал мне, что считает себя больше поэтом, чем художником. Думаю, что в поэзии он мог точнее выразить свои неудотворенности и неприязни.

В 1977 году живущая в Филадельфии известная поэтесса Валентина Алексеевна Синкевич с небольшой группой поэтов основала альманах поэзии «Перекрестки», впоследствии «Встречи», про-

существовавший тридцать лет. В этом альманахе печатались стихи и были воспроизведены отдельные работы Володи Шаталова.

Шли годы, наступила старость, а с нею и болезни. Володя был два раза несчастливо женат, у него рос сын Борис, который впоследствии поселился в Калифорнии. Похоронив мать, художник остался совершенно один. Валентина Синкевич, его старая знакомая и во многом – его муза (он нарисал несколько прекрасных ее портретов), помогала ему в эти последние годы его жизни.

Считаю моего друга Володю Шаталова трагической фигурой, но не потому, что он оказался в эмиграции. Останься он в России, он был бы так же несчастлив и, скорее всего, подобно его боярскому предку, прогневал бы советскую власть и закончил бы свою жизнь не на берегах мутной реки Делавэр, а в Сибири, в ГУЛаге. Романтик в душе своей, он не мог не быть в конфликте с действительностью.

Скажу тут, что, став членом Национальной академии дизайна, он пожертвовал деньги для приза имени его родителей, Екатерины и Михаила Шаталовых. По правилам Академии, жертвователь мог указать сюжет картины для приза. Володя назвал его: для пейзажа романтического характера. Мне пришлось видеть картины, награжденные призом Шаталовых. Увы, это были экспрессионистические, даже слегка гротескные полотна. Что, пожалуй, вполне логично – романтика превращается в гротеск.

Каждый страдающий человек, не обременяющий своими проблемами других, достоин не только понимания, но и уважения. Свои страдания Володя Шаталов выражал в стихах и на своих полотнах. Одно из них было озаглавлено «Ностальгия». И это – ключ ко всему творчеству моего покойного друга, которого все мы вспоминаем с добрым чувством в год его столетия. Про усопшего в России говорили: «Он отмучился и нашел покой». Мир праху твоему, дорогой Володя.

Нью-Йорк

Валентина Синкевич

Памяти Евгения Александровича Евтушенко

1 апреля в Талсе, штат Оклахома, умер Евгений Евтушенко.

Сразу же скажу, что я считаю этого феноменально и разносторонне одаренного человека ярким явлением, поэтом гораздо большим, чем поэт, – не только в России. Жаль, что таких людей мать-природа издает микроскопическими тиражами. Мне посчастливилось лично встречаться с Евгением Евтушенко. А в последний, сложный для него период жизни, мы довольно часто вели долгие, иногда более чем двухчасовые, телефонные беседы. Попробую снова положиться на свою девяностолетнюю память и поделиться с читателями впечатлением о моих кратких встречах с ним в прошлом и восстановить кое-что из наших совсем недавних телефонных бесед.

Впервые я увидела Евтушенко сорок один год тому назад, в его первый американский приезд в 1966 году. Выступал он в Нью-Йорке в Квинс Колледже и в каком-то более близком к вокзалу Еврейском центре, куда я еле-еле достала билет с рук. Касса была закрыта, билеты распроданы. Зал – битком набит русскоязычной публикой. Поэтому поэт выступал без переводчика. Тогда я впервые услышала, как он артистично читает свой, уже знаменитый «Бабий яр». Остальные стихи не помню. После чтения задавались вопросы. На один из них – кого он знает из эмигрантских поэтов, – Евтушенко быстро ответил: Странника* и Ивана Елагина. Этот ответ удивил многих. Странника советский поэт мог знать по духовным беседам на «Голосе Америки». Но Елагина?..

Не так давно дочь Елагина Лиля Матвеева рассказала мне, что в тот первый американский приезд Евтушенко разыскал в Нью-Йорке ее отца и они весело кутили в нью-йоркском ресторане, куда советский поэт пришел с какой-то девицей из Боготы. Об этом событии есть строки Елагина в его гротескном стихотворении «Жил Диоген в бочке...»: «Лихо бокалом звякая, / Празднично пью при свечах. // Со

---

* Псевдоним архиепископа Иоанна Сан-Францисского, в миру – князя Дмитрия Алексеевича Шаховского.

мною поэт-гуляка, / Бабник и весельчак. / Девочка из Боготы / Смеется за нашим столом...» В ту же ночь «поэт-гуляка» прочел наизусть елагинское стихотворение:

Мне не знакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей – давно оставленной – России
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается поныне,
Когда в душе становится темно –
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.

Евтушенко несказанно порадовал эмигрантского поэта, всю свою жизнь мечтавшего быть услышанным *там,* на родине. Он писал: «Пойдут стихи мои, звеня, / По Невскому и Сретенке. / Вы повстречаете меня, / Читатели – наследники». То есть, если не сейчас, то хоть в будущем зазвенят его стихи по русским городам. А после той первой встречи с Евтушенко Елагин радостно говорил друзьям: «Мои стихи знают в России уже сейчас!»

Затем поэты неоднократно встречались в Нью-Йорке и в Питтсбурге, где Елагин читал лекции по русской литературе в Питтсбургском университете. Евтушенко старался пробить стихи своего эмигрантского коллеги в советскую прессу, но это ему удалось только через год после смерти Елагина.

В 1991 году филадельфийский Пенсильванский университет дал грант двум «самым знаменитым русским поэтам» на чтение лекций о русской литературе. «Самыми знаменитыми», особенно для иностранцев, тогда все еще были Евтушенко и Вознесенский. В таком порядке. Поэтому Евтушенко приехал первым, взяв с собой жену и двух малолетних сынишек. Семья комфортабельно устроилась в великолепном особняке, и глава ее с огромным успехом занялся преподавательской деятельностью. Студенты были в восторге от «русских лекций», обычно собиравших огромную аудиторию. Восторгались даже ломаным, но остроумным и живым английским «русского профессора», а тот ничуть не стеснялся своей английской грамматики и своего английского «прононса» – наоборот, ловко обыгрывал те или иные слова и фразы. На университетском кампусе часто видели высокую фигуру поэта, в его красочных пиджаках и галстуках: «Я не преподаю скромность, это не мой предмет», – сказал он где-то. А его пиджаки и галстуки почему-то раздражали многих. Но эти «многие» обычно

были из лагеря «бродскистов» (выражение Наума Коржавина). Евтушенко раздражал их не только пиджаками-галстуками.

В Филадельфии Евгений Александрович, как почти везде на нашей планете, почувствовал себя вполне комфортно. Он регулярно посещал «Норд-Ист» (филадельфийский Брайтон-Бич) с его русскими магазинами и ресторанами, выступал там в культурных центрах, бывал в частных домах, читал он и перед американской аудиторией в самых разнообразных местах. Я встречалась с ним довольно часто в Филадельфийском поэтическом центре и на дому у директрисы этого, уже несуществующего Центра. Здесь он всегда был окружен сонмом новых друзей и почитателей. Позже, уже в нашем веке, филадельфийский Читатель (с большой буквы!), знаток поэзии Евтушенко и литературный меценат Марк Авербух дал поэту грамоту с тысячедолларовым приложением к ней. Сделал он это в благодарность за «Бабий яр», «Братскую ГЭС», «Наследников Сталина», «Окно выходит в белые деревья...» и другие стихи, помогавшие его поколению осмыслить время, в котором оно жило. Верный себе, Евгений Александрович сразу же спросил меня о финансовом положении дарителя и только после моего уверения, что тысяча долларов его не разорит, поэт принял дар. Сейчас филадельфийская грамота Авербуха находится в Музее Евтушенко в Переделкине.

С Филадельфией у Евтушенко связано еще одно важное событие. В 1991 году в филадельфийской Церкви Св. Андрея Первозданного (ее возвели русские моряки, строившие на филадельфийских верфях легендарный крейсер «Варяг») Евгений Александрович обвенчался с Марией Новиковой. (Ее называли медсестрой. «Она врач», – поправлял муж.) До Филадельфии брак у них был гражданский. О женитьбе на Марии (Маше) поэт сказал строчкой своего стихотворения: «Последняя попытка стать счастливым...» Этот союз, четвертый для Евтушенко, можно назвать счастливым и самым продолжительным – с 1986 года до смерти поэта. «Мой ангел-хранитель», – постоянно говорил мне о своей жене Евгений Александрович.

О ком и о чем писал этот талантливейший себялюб, жизнелюб, женолюб, правдолюб, трудолюб?.. О себе, конечно, но одновременно и о мировых конфликтах и проблемах, вмешиваясь, споря, отстаивая свои взгляды в стихах, эссеистике и публицистике, взывая к стадионным тысячам, крича, надрывая глотку: «Граждане, послушайте меня!» И на весь мир, на разные лады провозглашал: «Оказалось, что смертно бессмертие ваше, Владимир Ильич». До последнего вздоха Евтушенко был совестью своего времени, он выдержал оглушительную славу, не снившуюся ни одному русскому поэту.

И выдержал такой же оглушительный спад. Дошло до того, что

чучело еще не так давно прославленного и превозносимого поэта сжигали на московской улице. «Клеветой мою душу прожгло, / меня сплетнями всеми хлестало...» И это не было преувеличением. Может быть, поэту помогало то, что он был сибиряк? Об этом он писал:

Я не знаю, что со мною станется.
Устоять бы, не сойти с ума.
Но во мне живет пацан со станции –
самой теплой станции – Зима...

И еще, может быть, потому, что Пацан со станции Зима жил по своим правилам, вписанным в его строки стихов, в названия книг... Например: «Людей неинтересных в мире нет...» Да, он всегда был окружен разными людьми – знаменитыми и заурядными, друзьями и недругами, защитниками и обвинителями. Правда, казалось, что последних было больше или они были более громкими, потому что друзья-защитники часто терялись, уходили в сторонку, когда надо было открыто, в печати, стать на сторону поэта. И об этом он писал и говорил. Но таковой была *его* жизнь, другой он не знал. И вот еще что: «Не умирай прежде смерти». О, как этого хотелось! И как, даже в последние месяцы и дни *своей* жизни, он старался из последних сил следовать этим словам. Намного раньше, к своему шестидесятилетнему юбилею, Евтушенко написал легкое, оптимистическое стихотворение «Нет лет»:

«Нет
лет...» –
вот что кузнечики стрекочут нам в ответ
на наши страхи постаренья
и пьют росу до исступленья,
вися на стеблях на весу,
и каждый –
крохотный зелененький поэт.
Нет
лет. <...>
Мы все,
впадая сдуру в стадность,
себе придумываем старость,
но что за жизнь,
когда она – самозапрет?

Мы, современники Евтушенко, были свидетелями того, как он,

без всяких «самозапретов» и, наверное, вопреки запретам доктора Маши, после ампутации ноги (в Талсе, в августе 2013, ему ампутировали правую ногу ниже колена), разъезжал с выступлениями буквально «от Москвы до самых до окраин» (Москва – Владивосток). И до последних дней он работал над гигантской, многотомной поэтической Антологией... Словом жил, будто нет ни лет, ни болезней, ни смерти!

Я вспоминаю, как однажды Евгений Александрович позвонил мне из Талсы, где он тогда преподавал, и сказал, что написал обо мне стихотворение. «Хочу Вам его прочитать. Если понравится – буду печатать.» Прочитал. Конечно – понравилось. Это стихотворение («Филадельфийский портрет») он публиковал в своих сборниках.

Какое-то время, кажется года два-три, мы не общались. А когда началось, что я до сих пор называю глупой и жестокой травлей, мне стало очень жаль поэта. Я поняла, что его никто не собирается защитить от обидных и нелепых нападок, зачастую замешанных на зависти к чужому успеху. Эти литературные интриги и склоки потоком шли отовсюду в интернет – наше современное чудо, распространяющее по всему миру лавину важной и полезной информации и, одновременно, всякий ненужный и вредный вздор. Неожиданно появилась глупая конфронтация: «Бродский – Евтушенко». Сталкивали лбами двух совершенно разных поэтов.

Евгений Александрович, будучи человеком современным (не чета мне), часто бродил по интернетным дебрям. Особенно больно было ему наталкиваться на обидные слова в свой адрес, сочиненные его бывшими друзьями. К сожалению, литературные интриги и сплетни поэт воспринимал более болезненно, чем свои серьезные болезни. Мне хотелось как-то и чем-то ему помочь. Но я понимала, что помочь не могу. Здесь нужен был литератор с известным именем в России и за рубежом, который громогласно бы сказал: «Господа, что вы делаете?! Прекратите эту недостойную и жестокую игру!» Но такого защитника у Евтушенко не нашлось. Евгений Александрович жаловался мне на инертность своих друзей и почитателей. Я старалась поддержать его другими высказываниями о нем – достойных людей, понимавших значение этого Поэта для русской литературы и для самой России. Я ему не раз говорила: «‘Не обращайте вниманья, маэстро...’, да плюньте Вы с самого высокого дерева на всю эту злую болтовню!» Цитировала Александра Гладкова: «Евтушенко – это медиум, через которого говорит время». И Шостаковича, писавшего после окончания Тринадцатой симфонии на слова Евтушенко (первая ее часть – «Бабий яр»): «При ближайшем знакомстве с этим поэтом мне стало ясно, что это большой и, главное, мыслящий талант». Напомнила, что композитор благодарил его за то, что он помог ему в

музыке выразить проблему человеческой совести. «Ведь Гладков и Шостакович не о каждом же говорили такие слова!» Это немного помогало, но яд был сильным и продолжал действовать.

В то смутное время я довольно часто звонила поэту в его оклахомскую Талсу. Мне казалось, что он рад моим звонкам, иначе наши беседы были бы гораздо короче. Ведь он преподавал, интенсивно работал над Антологией и постоянно писал стихи. В наших беседах Евгений Александрович рассказывал о своем житье-бытье в американской глубинке. Например, как он там очутился. Ему предложили преподавательское место в университете, и он отправился туда познакомиться с незнакомым городом. Шел к университету, и вдруг часы на площади заиграли мелодию Лары из «Доктора Живаго». Поэт принял это за добрый знак. И не ошибся. Оклахома была к нему добра. Его классы в университете были огромными, пришлось даже лимитировать число студентов: максимум 150 человек. Талса присвоила ему звание почетного гражданина города. «У меня все члены семьи – американские граждане. А я до конца своих дней останусь российским подданным», – сказал он с гордостью. В Талсе во многих дворах стоят нефтекачалки: некоторые счастливцы умеют выкачивать нефть из оклахомских недр и становятся богачами. Но нравы там пуританские, странноватые для русского поэта с донжуанскими наклонностями. Он рассказал мне забавный случай. Студентка помогла сокурснику, захотевшему стать писателем (влияние русского профессора?), справиться с английской грамматикой, которая у него была слабовата. В конце занятий в благодарность будущий писатель поцеловал ее руку. Студентка возмутилась такой наглостью и пожаловалась администрации. Начался подробный разбор «дела»: допрашивали «пострадавшую» – в какое место руки был запечатлен «преступный» поцелуй – выше или ниже часового браслета?..

Как-то Евтушенко сказал мне, что в его Антологии он напечатает русские стихи Шевченко. Я сказала ему, что его будут ругать обе стороны: украинцы – за то, что москали «украли» их национального поэта, а москали – за то, что печатает в русской антологии Тараса Хрыхоровыча. Но я слышала, что Шевченко со своими русскими стихами все-таки попал в Антологию. И Третья мировая не вспыхнула. К слову: конфликт Россия – Украина очень волновал Евтушенко. Он не мог понять, как два братских народа не могут помириться! Ведь сошлись же две противоположные системы – капитализм и коммунизм. И победили фашизм!

Евгений Евтушенко был замечательным собеседником: умным, чутким, находчивым; его сентенции и остроумные рассказы запоминались. Может быть, некоторые его меткие замечания и высказыва-

ния на ту или иную тему он уже где-то печатал, но для меня они были интересными и новыми. Например, он сказал однажды: «Россия не такая плохая, как хотят иностранцы, но и не такая хорошая, как хотелось бы нам, русским». Я как-то спросила его: зачем он свои письма-просьбы (Евтушенко ведь всегда за кого-то о чем-то просил) начинает так: «Я, Евгений Евтушенко, столько-то раз номинированный на Нобелевскую премию, автор стольких-то книг, член таких-то организаций... – ведь это же все есть в Вашем имени». Он мгновенно ответил: «Я это знаю. Но я знаю и людей, которым пишу. На них это действует, а мне хочется, чтоб мои просьбы выполнялись». (О его пиджаках-галстуках я не спрашивала, они меня не интересовали.)

Евтушенко никогда не говорил о моих стихах. Это был, конечно, знак, что они ему не нравились. Поэтому и я ни разу в наших беседах не упоминала свою поэтическую продукцию. А недавно он попросил у меня стихи для своей Антологии. И снова – ни звука. Но поэт хвалил мою эссеистику, довольно энергично уговаривал написать и издать в России автобиографию, к которой он дал бы предисловие. Я поблагодарила Евгения Александровича, но отказалась от его проекта: писать о себе книгу мне неинтересно, да уже и поздно.

Почти в каждой из наших бесед Евгений Александрович декламировал стихи какого-нибудь поэта, восторгаясь той или иной строкой стихотворения. Чаще всего он читал наизусть. Без такой феноменальной способности любить и даже восхищаться строками любого поэта, чем-то тронувшего чуткого и восприимчивого читателя, коим был до последнего своего вздоха Евгений Евтушенко, не было бы его поэтической монументальной книги «Строфы века».

Последний раз я говорила с ним недели за три до его смерти. Он был дома. Впервые очень жаловался на здоровье, чего не делал даже до и после ампутации ноги. На вопрос – «Женя, что с Вами?» – ответил: «Не хочу об этом говорить, еще нужны тесты». С обидой и горечью критиковал фильм «Таинственная страсть»: «Меня там унизили, оболгали, исказили факты. Друзья приходили ко мне на дом, сочувствовали. Но в печати никто с *именем* снова не выступил». А затем, как и в прошлом, стал читать чьи-то стихи – слабым голосом, но вдохновенно. Спросил – что нового у меня. Сказала, что в его отсутствие вышла интересная книга «Поэты в Нью-Йорке (редактор и составитель – Яков Клоц). «А Ирина Машинская есть в этой книге?» После утвердительного ответа сказал: «Хорошо». Я рассказала об этом Ирине, она была взволнована и глубоко тронута.

И вот в телефонной трубке последние слова Евгения Александровича, обращенные ко мне: «Валя, не умирайте раньше меня».

Вечная память, дорогой Поэт!

Виталий Рахман

Последний из шестидесятых,
Любимцев клятых,
Земной закончил славы путь,
Нет, не на нарах, не в остроге,
Не на лубянковском пороге,
Хотя и мог,
                но жребий доли –
Скончался тихо, в Оклахоме,
Объединив пространства суть.

Теперь судить, рядить, судачить,
Перебирая, кости мыть,
Где переделкинские дачи,
Пытаться будут жизнь членить.

Зло пошутив апрелем первым,
Он продолжает бить по нервам.
И время больше не помеха
Его душе в изломах лет.

Она скользит парижским метром,
Над миром бренным расставив вехи.
Там нет вождей и мэтров нет там,
Без пограничных ритуалов,
Без злых интриг и полных залов,
В зрачках и судьбах отражаясь,
И, пробуждая, возрождает
Надежду искрами свободы
В судьбе народов.

Филадельфия

Александр Кедрин

Друзья мои поэты, великие и малые

Началось все в далеком детстве, в далеком Ташкенте. Отец мой, поэт и художник-график питерской школы, очень меня любил и обчитывал стихами с младенчества. Делал он это великолепно: без подвывания и декламации. Как-то так, что алхимия слова продирала меня до печенок...

Конечно, мелодия стиха и его ритм имеют большое значение – это бесспорно, но магия слова или воздействует на человека – или нет. Так же, как музыка: есть же люди, которым медведь на ухо наступил, – они, бедные, получают от музыки минимальное удовольствие, если и получают что-то... Папа мой – ровесник века. Он родился 30 марта 1899 года в Питере, в потомственной дворянской семье. В гимназиях он не обучался – он сразу пошел в Выборгское коммерческое училище, где учился со Смидовичами, Струве, детьми Троцкого, Леманом... Это было элитное частное заведение. Фамилия-то была громкой: Евгений Иванович, дед его, был присяжным поверенным, т. е. адвокатом. Он увлекся политикой, вступил в партию КД и быстро сделал карьеру: в 30 лет он защищал Софью Перовскую на процессе цареубийц, в сорок – он гласный Городской думы, затем депутат Государственной, а после переворота возглавил министерство юстиции в правительстве Лианозова у Юденича в Париже. О нем писали Толстой и Бунин. Родной брат его Владимир Евгеньевич в чине генерал-майора воевал у Колчака...

В отцовском Коммерческом училище детей учили рисовать, лепить, петь, бальным танцам, версификации, т. е. технике стихосложения, и всем европейским языкам, – это кроме всего остального. Учили замечательно. Закончил с золотой медалью 8 мая 1917 года. Но грянул Октябрь, и все покатилось под гору. Надо было зарабатывать на хлеб, и отец пошел в только что организованный Институт ритма учителем танцев. Профессором, читавшим курс теории ритмической речи, был в этом же институте Александр Блок; отец говорил, что не пропустил ни одной лекции поэта. Знаком был папа и с семьей Николая Степановича Гумилева – бегал к нему с тетрадками стихов. Началась Гражданская война, и отец бежал на Алтай, где работал инструктором по туризму. Вернувшись в Питер, он успел окончить

училище барона Штиглица (будущее Мухинское), одновременно подрабатывая внештатным корреспондентом Бюро печати, которое помещалось в Смольном институте, так что он визуально знал всех вождей Октября. Политическая атмосфера в Питере накалялась с каждым днем. Отец поступил учиться в Академию художеств на графическое отделение, к К. Рудакову и В. Лебедеву.

Умер Блок, расстреляли Гумилева. Поэты и философы покидали родину кто как мог... Наступила эпоха Маяковского, Безыменского, Демьяна Бедного... Отец все чаще стал задумываться о своей дальнейшей судьбе. Сдав последние экзамены в Академии художеств, он рванул в Среднюю Азию, в Ташкент, как толстовский граф Вронский. Добровольная ссылка оказалась счастливым жребием: отец хотел затеряться в далекой глуши – так и вышло! В Ташкенте 30-х годов кипела интеллектуальная жизнь, он снова попал в среду поэтов и художников, съехавшихся сюда со всей империи. Репрессии и расстрелы докатились сюда с опозданием, уже перед войной... Отец встретил тут не только единомышленников, но и свою любовь – мою маму, выпускницу Среднеазиатского университета. Они поженились в 1939 году, в 1940 родился я, а в 1941 году грянула война... У начальства, которое только стало разворачивать репрессии (В. Гуляев, М. Курзин, А. Николаев и прочие), появились другие неотложные дела... Зарабатывал отец книжными иллюстрациями к Толстому, Гоголю, Достоевскому, но после 1937 года поступило указание: «бывшим» работы не давать! Мы жили втроем в маминой студенческой комнатушке, которая состояла из 17 квадратных метров, без водопровода, отопления и канализации. Голодали. Но как-то жили: Ташкент – город хлебный. Помогали нам соседи узбеки (жили мы в мусульманском районе города в квартале Шейх-хан-таур). Молочница, утром разносившая молоко, годами давала нам в долг, ежедневно по поллитровой баночке молока. Мама отказывалась – денег нету, но молочница настаивала: у тебя же ребенок, его надо кормить. Жили мы все дружно, все друг друга знали. Хотя с войной население квартала удвоилось за счет эвакуированных из России...

Особенно тяжело было летом: отсутствие канализации, перенаселенность, нищета, мухи, жара... В нашей семье, конечно, никогда не было коммунистов, отец решил эту проблему: еще в середине 30-х годов он организовал профсоюз художников Туркестана и его выбрали первым ответственным секретарем. Денег это не давало, но все же лучше, чем просто «художник», другая графа: служащий! Отец начал организовывать туристические горные походы по живописным горам Средней Азии. Ночевали у гостеприимных горцев, они художников кормили до отвала и просили сделать портреты передовиков для колхозных досок почета. Платили натурой, отец из каждого похода при-

возил полный рюкзак сухофруктов или орехов. Так мы и жили. Зимой печку топили кизяком (сушеный навоз). Хуже всего было с хлебом – на базаре буханка стоила 400 рублей. Выживали чудом.

Вечера поэзии не прекращались и в самые трудные годы. Собирались обычно у Волковых на улице Советской, недалеко от Союза художников (угол улицы Пушкина и Гоголя). Хозяин дома А. Н. Волков – замечательный живописец и поэт:

Словно белый кречет к серой бедане,
Крыльями трепещет в звездной синеве!
Ах, моя отрада, – зрелость спелых дынь,
Тина – тина – тина, тина – тина – тинь...
Пиала Аллаха и кумгана дым!
Тина –тина-тинь! Дост!..

Эти волшебные строчки я запомнил с раннего детства. Когда я немного подрос, отец стал брать меня на эти литературные сборища. Он читал там стихи – свои и троюродного брата, Дмитрия Борисовича Кедрина, трагически погибшего в Москве осенью 1945 года. Его стихи и эпиграммы были популярны уже тогда:

У поэтов жребий странный, слабый сильного теснит:
Заболоцкий безымянен, Безыменский знаменит...

Читали его «Зодчих» и, конечно, «Кофейню»

У поэтов есть такой обычай,
В круг сойдясь, оплевывать друг друга...

В «Зодчих» он использовал «бродячий сюжет» о двух владимирских мастерах, построивших царю Ивану Грозному невиданной красоты храм – «Василия Блаженного» на Красной площади. Легенда гласит о том, что царь повелел выколоть глаза строителям храма – чтобы не строили другим князьям красивые храмы... Очень похоже на правду, хотя документов нет.

Людмила Ивановна, вдова поэта Кедрина, говорила, что мужа убили по личному распоряжению Сталина именно за эту поэму, – тоже похоже на правду, тоже документов нет. Все мы в то время вождя народов И. В. Сталина конспиративно называли Иваном Васильевичем – по сходству инициалов и страсти к душегубству. Этот сюжет потом использовали и Вознесенский в поэме «Мастера», и Тарковский-младший в фильме «Андрей Рублев».

Постоянным гостем Волковых был Евгений Александрович Чернявский, литератор и поэт, входивший в свое время в ОБЭРИУ; он читал нам на память Заболоцкого, Хармса, Олейникова. Часто бывал сын расстрелянного в 1937 году татарского поэта Хади Такташа, Рафаил, – поэт, художник и искусствовед. Бывал и писатель Сергей Петрович Бородин, озвучивший однажды притчу о легендарном поэте, которого звали Хафиз, что значит на фарси – «поэт». Его стихи распевала вся Азия! Он был очень популярен. Одним из его перлов были стихи о родинке: «...Ради родинки смуглой одной, одного мимолетного взгляда, я отдам Самарканд с Бухарой и в придачу богатства Багдада...» Легенда такова. Однажды весной на самаркандский базар, во главе свиты, выехал сам Тамерлан... Весь базар пал ничком в грязь. И только один оборванец-старик с дерзким взглядом остался стоять... Тимур спросил подручного – кто это? Ему ответили: это сам Хафиз. Тимур, как и всякий восточный человек, был знатоком и ценителем поэзии, – и, наезжая конем на оборванца, он воскликнул: «Это ты, нечестивец, раздаешь мои города, которые я завоевал своей кровью, за какие-то там родинки?» – «О да, мой повелитель, – был ответ. – Теперь ты видишь, до чего довела меня моя щедрость?» Тимур расхохотался. Он был умным человеком, ценившим острое слово. Хафиза одарили халатом с эмирского плеча и взяли с собой на пир... Эту притчу Амир Сергоджан (литературный псевдоним Сергея Петровича Бородина) включил в свой замечательный роман «Звезды над Самаркандом».

Как-то летом 1953 года собрались мы у Сергея Петровича Бородина, нашего маститого писателя. Мы – это мама с папой, Бородины и Евгений Александрович Чернявский, папин друг. Чернявский читал на память Хармса, и все хохотали до икоты. Я уже был большой мальчик, мне было тринадцать лет. Но я не всегда мог понять, над чем смеются взрослые. Но из приличия тоже хохотал. Затем хозяин дома ушел в глубь квартиры и, покопавшись, принес нам рукопись Леонида Соловьева «Очарованный принц» – продолжение «Похождений Хаджи Насреддина в Бухаре». Автор еще не был реабилитирован и жил на поселении где-то далеко. (Книгу напечатают только в шестидесятые годы.) Сергей Петрович сказал нам: «Я вам расскажу, за что попал в лагерь Леня на десять лет без права переписки, – за анекдот».

...Ночь, тишина, все трудящиеся спят, но в Кремле горит окошко, товарищ Сталин не спит, он думает о нас. Покой товарища Сталина охраняет взвод тяжелой артиллерии, три генерала и семнадцать полковников. Но враг не дремлет: агент иностранной разведки нейтрализует тяжелую артиллерию, убивает полковников, усыпляет генералов и проникает в кабинет вождя. Товарищ Сталин поднимает

свой орлиный взор, замечает врага, хватает большую печать Советского Союза и бьет диверсанта в лоб. Диверсант падает. Вбегает Берия: «Ох, извини, Сосо, недоглядели, понимаешь». «Ничего, Лаврентий, садысь пиши, мысл есть: ‘Печать есть самое острое, самое верное оружие партии!’»

Отец отзывается:

Цветок душистый прерий –
Лаврентий Палыч Берия.

Все хохочут. До сих пор для меня непонятно, был ли это экспромт отца или крылатая фраза.

Отгремела война, я пошел в школу, некоторые соседи разъехались, но многие остались. С войны вернулись фронтовики. По улицам Ташкента разъезжали безногие инвалиды с орденами и медалями на груди на самодельных самокатах (кусок доски с приделанными четырьмя шарикоподшипниками); они отталкивались от земли кусками дерева и разъезжали со страшным грохотом по булыжной мостовой. Они пели военные песни и собирали милостыню... Им еще «повезло» – были инвалиды без рук и ног, их называли «самоварами», поводырями у них были оборванные дети, на груди у них был большой карман для подаяния с надписью: «Я воевал за вас». Конечно, им подавали... Хотя послевоенные годы были голоднее, чем в войну: страна лежала в развалинах и Узбекистан все, что мог, отправлял в Россию. Мы, мальчишки, тоже делали себе самокаты, только разъезжали на них стоя, но с тем же грохотом... От голода у отца началась дистрофия, и он к 1949 году потерял все зубы... А я заболел брюшным тифом, заразился в пионерлагере. Мама устроилась работать в Горно-лесной заповедник, и мы год прожили высоко в горах Чаткала (отроги Тянь-Шаня). Там я окреп после тифа. Каждую осень отец уезжал в экспедиции с друзьями-археологами Пугаченковой и Массоном Шишкиным и Альбаумом, Спришевским и Беленицким. Этим сезонным заработком мы и кормились целый год... Потом умер Сталин – я помню себя в марте 1953 года в огромной толпе перед большим фанерным раструбом радиорепродуктора, перед райкомом партии: вся толпа рыдала, и я тоже обливался слезами, хотя знал, что Сталин – палач и убийца. Массовый психоз. Я не был экзальтированным или истеричным, но когда все вокруг плачут, заплакал и я... С 1949 по 1956 год через нашу комнату прошло много людей из ГУЛага. Запомнились князь Сергей Николаевич Юренев, его отпустили из лагеря, но жить в столицах ему было запрещено; он потом уехал в Бухару (тоже археолог по специальности); искусствовед

Канский, он мне запомнился отсутствием носа и обмороженными пальцами. Мама гостей «оттуда» встречала моей оцинкованной ванночкой с горячей водой и мылом «К» от вшей.

С 16 лет я также стал работать у археологов во время летних каникул. Когда мне исполнилось 14, отец подарил мне томик А. Блока; довольно быстро я выучил его наизусть: стихи были мне знакомы. Когда я заканчивал школу, зимой 1957 года, в Доме ученых, куда я ходил в изокружок, я встретил свою первую любовь и стал бегать за ней, обчитывая ее стихами, – но кончилось это печально: моя Наташа стихов не любила, у нее были другие интересы. Среди одноклассников я так и не встретил никого, кто понимал бы и ценил поэзию. Но судьба пошла мне навстречу: муж старшей сестры моего друга детства, Семен Габай, оказалось, писал стихи... Мы сразу подружились и стали запоем читать друг другу стихи, – наконец-то я нашел сверстника-единомышленника! Семен тогда заканчивал Институт русского языка и литературы, факультет журналистики. Начались 60-е годы, повеяло «оттепелью». Началась эпоха других стихов и по форме и по содержанию. Мы все думали, что вот-вот все изменится, несмотря на традиции строя и государства:

Темен жребий русского поэта,
Неисповедимый рок его ведет:
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот!...

Эти стихи М. Волошина мы с восторгом повторяли друг другу, с надеждой, что все это уже позади! Началась эпоха Окуджавы и Ахмадулиной, Вознесенского и Евтушенко, в которого я был влюблен за его стихи: «...Со мною вот что происходит: совсем не та ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет...» Как это все ново, как откровенно, как душевно и как это про меня!

1960-й год. Евтушенко выступает в Ташкентском Союзе писателей на Первомайской улице, зал – битком. Но я все же протиснулся и, затаив дыхание, слушаю любимые строчки, с которых поэт начал свой вечер... Я в задних рядах, Евтушенко – на трибуне, рядом с единственной дверью. Поэт все читает и читает, и я не могу понять, что же происходит... Вот он начал: «...ты спрашивала шепотом, / А что потом, а что потом...» – зал бурно аплодирует – а я совершенно потрясен, как мне кажется, откровенной пошлятиной, которая так нравится публике... Я уже сижу как на иголках – и тут он меня доканал: «...Я делаю себе карьеру – тем, / что не делаю ее, / я делаю себе карьеру, / как у Пастера, у Мольера, как у Толстого...» – пауза – «Льва!..» Все

аплодируют стоя – я же с гневом проталкиваюсь вперед, прохожу мимо поэта, так меня разочаровавшего, чуть не плюнув в него, и, хлопнув дверью, покидаю сборище... Мое мнение резко переменилось о поэте, он всегда был любимцем публики, своего рода феноменом, – писал ли «Бабий Яр» и «Братскую ГЭС», или проникновенные стихи о посещении в грузинском Гори дома-музея «отца народов», с очень искренним восторгом, а через полгода, с не менее искренним гневом – «Наследникам Сталина»... Что же мы видим? Как мне казадось, тогда мы видели звезду, очень яркую, но не звезду поэзии, а поп-звезду! Конечно, я не прав... наверное... Неправ в том, что с поэтом, нравится он тебе или нет, так поступать нельзя! Прошло более 40 лет, и я, уже в Нью-Йорке, разыскал Евгения Александровича, чтобы извиниться перед ним... И сделал это не с глазу на глаз, а прилюдно. Он был очень удивлен, сказал, что совсем не помнит далекий Ташкент 1960 года... И подарил мне на день рождения свою антологию «Строфы века» с очень для меня лестной дарственной надписью. Познакомившись с ним поближе, я не переставал удивляться его феноменальной одаренности, уму и шарму, но своего мнения о нем как о поэте, не переменил. Муза, как известно, дама капризная и брезгливая, она не прощает малейшей фальши...

В 1966 году я спросил у Беллы Ахмадулиной, как она относится к Евтушенко? Я ожидал, что она, как обычно все покинутые жены, скажет мне что-либо негативное, но она сказала лишь: «Саша, вы знаете, мы все многим обязаны Евтушенко!» Больше я не задавал ей некорректных вопросов. Ее ответ прекрасно характеризует и его, и ее. Действительно, Евгений Александрович – очень яркое явление в нашей литературе несмотря ни на что!

Поэтов травили, ловили
На слове, им сети плели;
Куражась, корнали им крылья,
Бывало, и к стенке вели.

Наверное, от сотворения,
От самой седой старины,
Они как козлы отпущения
В скрижалях земных учтены.

В почете, и все ж на учете,
И признанны, но до поры...
Вот вы рядом с ними живете,
А были вы с ними добры?..

Эти строки написал поэт-фронтовик, великий русский поэт Булат Окуджава. Наполовину грузин, наполовину армянин, так вышло. Другой русский поэт, Наум Коржавин, написал о нашем времени:

Я не стремился быть аскетом,
Я не хотел гореть в огне,
Я просто русским был поэтом
В года, доставшиеся мне...

Ну что же, что он еврей? Так и Мандельштам, и Пастернак – евреи, а Пушкин был вообще эфиопом... А Лермонтов – частично шотландец, ну и что? Все они – гордость русской литературы!

И еще Окуджава:

Берегите нас, поэтов, берегите нас.
Остается век, полвека, год, неделя, час,
Три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все – за одного!

Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, бродит наш Дантес,
Он минувшие проклятья не успел забыть,
Но велит ему призванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь,
Он уже убил однажды, он не хочет вновь.
Но судьба его такая, и свинец отлит,
И двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
От поспешных приговоров, от слепых подруг.
.....
Будут вам стихи и песни, и еще не раз...
Только вы нас берегите. Берегите нас.

Как верно и сильно написано. Поэтов надо беречь. Поэт – птица вещая...

Когда я попросил мою кузину Светлану Дмитриевну, дочку поэта Дмитрия Кедрина и тоже поэта, познакомить с Беллой Ахмадулиной, она мне отказала, сказав: «Да, мы знакомы, мы соседи, но знакомить тебя с ней я не буду: она сильно пьет...» Почему поэты пьют? Ответ как бы очевиден: поэт всегда под высоким напряжением.

Художник Анри Матисс писал: «...если у тебя есть талант, но нету трудолюбия и трудоспособности, – у тебя нет ничего!» Это, конечно, верно, но судьба поэта зависит не только от этого, яркий пример – Маяковский: «...Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс!» Тут не только взаимоотношения с властью, хотя и это многое решает – «красный граф» Толстой прожил жизнь вольготно и вкусно! Я думаю, что все решают взаимоотношения с Музой: «...Художник, поэт, музыкант – на что ты растратил свой звонкий талант?» Маяковский отдал пролетариату весь свой звонкий талант – и с чем остался? С пулей в сердце!

И еще важный компонент: образование – самообразование! Сколько замечательных русских художников так и остались региональными, провинциальными... Мне, русскому художнику, так обидно за державу: во всем Нью-Йорке, во всем замечательном музее Метрополитен, висит один Репин – «Портрет Гаршина», и один Айвазовский – «Закат на Днепре»... У любого художника, поэта, музыканта – лишь одна крошечная жизнь, за которую он обязан получить образование и самообразование, которое и не успеваешь втиснуть в рамки своей жизни – по причине ее кратковременности, а еще ведь надо реализовать свою Идею, свой Вымысел, сделать его правдоподобным и прекрасным! Стать Мастером! Задача невыполнимая в принципе, поскольку жизнь коротка! Приверженность к вину – это не доппинг – это попытка растянуть отпущенное тебе время: оно концентрируется, спрессовывается и... все равно его не хватает. Как у Высоцкого, Ахмадулиной, Эрнста Неизвестного, Файнберга и многих, многих других.

Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый – век необычайный,
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней!

Это тоже московский поэт – Николай Глазков, он тоже сильно пил.. И еще его:

Мне говорят, что «Окна ТАСС»
Моих стихов полезнее,
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия...

Белла Ахмадулина ворвалась в нашу жизнь ташкентской богемы внезапно, еще до первого сборника «Струна». Что-то проскальзыва-

ло в периодике, что-то передавали друг другу изустно. Но вот вышел журнал «Кругозор» с гибкой, голубого цвета, грампластинкой. Зазвучал ее чарующий голос:

Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловень надменный,
таинственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной.
.....
О, мне б его уверенность на миг
и фамильярность с тайною простою!

Но нет, я этой милости не стою,
пускай прольется мимо рук моих...

Странное стихотворение, называлось странно: «Газированная вода». Все мы сразу повлюблялись в нее. Город кишел ахмадулянтами и беллагвардейцами, готовыми на все ради вечера еще не известного поэта. Мы все посмотрели фильмы «Живет такой парень» и «Я шагаю по Москве», где Белла появляется в эпизодах. Она, конечно, была очень мила и симпатична, но для меня она была только Музой – и только Музой. Я писал ее воображаемые портреты, лепил... Когда я впервые перешагнул порог ее квартиры в писательском доме на улице Черняховского, я совершенно обомлел от неожиданности: меня встретила юная женщина с рыжей шевелюрой, маленького роста и, к тому же, толстая... Но когда она сказала мне: «Входите, Саша, я вас ждала...» – звук ее голоса уверил меня в том, что это действительно Белла Ахмадулина. Затем она спросила: «Вы, наверное, поклонник Эдуарда Асадова?» – я ответил, что впервые слышу о таком поэте, а люблю Хлебникова и Мандельштама, Пастернака и Ахматову и, конечно, Беллу Ахмадулину. Я достойно ответил на женскую провокацию, и мы проговорили до утра.

Я читал ей стихи ташкентских моих друзей-поэтов – она читала свои стихи своим завораживающим голосом, и я уже не обращал внимания на ее неожиданную для меня теперешнюю внешность. Белла – человек удивительный, и дело не только в ее редкостном таланте поэта, но и в ее человеческих качествах: доброте, искренности, щедрости и честности. Мы сразу с ней подружились.

Вот что сказал о ней Иосиф Бродский во вступительном слове на ее вечере в Amherst College (штат Массачусетс, США): «Исследователи, поскольку она ворвалась в нашу жизнь в конце 50-х, часто причисляют ее к поколению Евтушенко и Вознесенского – этих

‘Роллинг Стоунс’ русской поэзии. Если указанная ассоциация и имеет место, то только в силу хронологии. Белла Ахмадулина – поэт гораздо более высокой личностной и стилистической чистоты, нежели большинство ее сверкающих, либо непрозрачных, современников. Ее поэзия отличима от чьей бы то ни было мгновенно. Вообще, ее стих размышляет, медитирует, отклоняется от темы: синтаксис вязкий и гипнотический – в значительной степени, продукт ее подлинного голоса, который вы сегодня услышите вечером. Развертывание ее стихотворения, как правило, подобно розе, оно центростремительно и явственно отмечено напряженным женским вниманием к деталям, которое иначе можно назвать Любовью. Чистый результат – уникальное ахмадулинское смешение частного и риторического – смешение, которое находит отклик в каждой душе. Этим объясняется ее популярность – не только в кругах знатоков поэзии, но и у широкого русского читателя...» (1987).

Белла – одна из очень немногих, дружбою с которой я горжусь. Я привез в США четыре ее сборника с автографами.

О Господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!
Я Вас люблю! Застенчивость калеки
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для Вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!
Вот кожа моя – голая, большая:
как холст для красок, чист простор для ран!

«Сказка о дожде», 1963

Ташкентская богема приняла Беллу Ахмадулину сразу. Общество разделилось на беллагвардейцев и ахмадулянтов... Впрочем, и те и другие мгновенно полюбили ее стихи одинаково! Беллагвардейцы любили Беллу безоглядно и не пытались ей подражать, а ахмадулянты пытались не то чтоб подражать, – это невозможно, всякий сразу понимал, но перестроиться, писать по-новому, свежее, искреннее... Дай Бог! Стихи поэта, холсты художника всегда исповедальны, и это никуда не спрячешь... Я по ее стихам сразу понял, что она – человек очень одинокий и беззащитный, как и всякий настоящий поэт впрочем... Когда мы с ней познакомились, она только что удочерила ребенка, девочку Аннушку. Спустя годы она и сама родила – и тоже девочку, Лизу (в браке с Эльдаром Кулиевым). Но ни замужества, ни дочери ее от одиночества не спасали... Поэт

одинок всегда и везде. Наиболее счастливым, как мне показалось, был ее последний брак с брутальным Борисом Мессерером. Он как мог ее от одиночества спасал.

Почему невозможно подражать Ахмадулиной? Причин много: она человек уникального таланта, но самое главное, наверное, сформулировал в свое время Осип Эмильевич Мандельштам: тот, кому нечего сказать, все же может слагать стихи, дело это нехитрое – тут одно слово влечет за собой другое, и создается впечатление, что там что-то есть, а на самом деле – пустота. Ахмадулиной всегда есть, что сказать, и делает это она с необыкновенным изяществом, силой и красотой.

...В Нью-Йорке я живу с мая 1995 года. Я сразу ринулся в библиотеки, музеи и галереи. Мне казалось: ну вот теперь-то – уже точно свобода! Ура! И что же оказалось? Король-то голый... За очень редкими исключениями, что в поэзии, что в живописи... Увы. При этом обилии всего и разного количество почему-то не переходит в качество. В одном Нью-Йорке 30.000 художников – больше, чем было во всем Союзе художников СССР, – и что же мы видим? Ранний Вознесенский писал:

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы –
я деградирую.
.....
Но верю я, моя родня –
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации
стихи напишут за меня!

Они не знают деградации.

Его ирония оказалась вещей, поэт мученически умирал, потеряв голос и буквально, увы...

Но тогда, в шестидесятые далекие годы в далеком же Ташкенте, в далекой молодости – Оттепель! Мой приятель Семен Габай перезнакомил меня со всеми своими друзьями: каждый второй – поэт! Семен и сам пишет стихи. Его однокурсники работают в редакциях газет, а Оля Полевая – на телевидении диктором, Саша Файнберг уже издал свой первый сборник – «Велотреки», Миша Кириллов заведует отделом литературы и искусства в редакции молодежной газеты «Комсомолец Узбекистана»; все они любят «настоящее» искусство и

поэзию. Богема собирается по вечерам в центре города – в Сквере Революции, в кафе «Уголок». Завсегдатаями там были Изяслав Вильскер, Коля Волков, Роберт Ураганов... А было еще и множество других пиитов, строчки которых память не удержала... Коля Красильников, Витя Ляпунов, Вадим Новопрудский, Володя Стриньковский, Юра Ласский... Вот вспомнился Игорь Бяльский: «У меня была собака в золотые дни, когда / Так счастливо совпадали солнце, воздух и вода...» Игорь сейчас живет в Иерусалиме, издает толстый литературный журнал наподобие былого «Нового мира». Журнал так и называется: «Иерусалимский журнал». Бяльский – главный редактор и издатель... Он приезжал ко мне в Нью-Йорк, читал с успехом свои стихи в «Русском самоваре».

А была же еще и великая поэзия Востока: Рудаки, Руми, Хайам, Джамили, Навои – мы все были пропитаны ею: «Пусть ураган небытия, разлуки ураган, несет меня, как легкий прах, пустынями ночей...» Это Алишер Навои... Была и молодая узбекская поэзия, например, Раим Фархади, Абдулла Арипов, Саида Хакимова, Муххамад Салих. Половина из них писала по-русски, а вот с другой половиной была проблема: нужен был переводчик... Национальные поэты искали себе русских поэтов, которые бы талантливо интерпретировали их вирши. Порою это были хорошие стихи, мало общего имеющие с авторским текстом. Говорят, так случилось с Расулом Гамзатовым: его раздули русские переводчики. Не знаю, может быть. Перевод стихов национальных поэтов был важной статьей дохода для голодных поэтов русских. Помню томик корейской поэзии в переводе Ахматовой, Франсуа Вийона – в переводе Эренбурга, Пьера де Ронсара – в переводе Владимира Левика, Роберта Бернса – в переводе Самуила Яковлевича Маршака, утверждавшего, что стихи нельзя переводить на другой язык в принципе – каждый раз это исключение из правила.

«Горные вершины спят во тьме ночной...» Это стихотворение Гёте в переводе Лермонтова; я знаю пять других переводов, но с лермонтовским им невозможно соревноваться. То же и с Хайямом: знаю подстрочник, знаю перевод Тхоржевского, Руммера, Державина, Плесецкого – все хороши, но последний лучше всех.

Муххамад Салих (настоящее его имя Салай Мадаминов), он из Хорезма. У меня в те дни проходила персональная выставка в Доме архитекторов, который рядом с Домом литераторов на улице Пушкина в центре Ташкента. Побывав на моей выставке, Виктор Соснора захотел познакомиться со мной. Муххамад Салих, угрюмый молодой человек, привел Виктора Соснору ко мне. Его я знал уже давно – по публикациям. Я очень обрадовался новому знакомству. У

меня сидел мой единственный друг среди живописцев – Гарик Зильберман, который тоже любил поэзию. Салих хотел, чтобы знаменитый петербургский поэт переводил на русский его вирши. Не знаю, на чем они поладили, но дружба наша с Соснорой протекала лет 10-15. Я дарил ему свои работы, он мне – свои книги... Но потом ушел как-то в модернизм, а я всегда был за искусство левое, но – «не левее сердца».

Весной 1965 года Габай предложил мне персональную выставку в редакции газеты «Комсомолец Узбекистана», я, конечно, согласился, предупредив его, что у меня уже закрывали выставки и изгоняли за авангард и из художественного училища, и из театрально-художественного института. До сих пор не понимаю, при чем здесь авангард? Моя живопись той поры была чисто импрессионистической. Чем руководствовалось начальство – не понять. То ли фамилия моя продолжала их нервировать, то ли моя независимость, то ли упорство в нежелании стать «пролетарским художником соцреализма»? По совету отца я стал изучать технологию и заниматься керамикой. Что давало мне и живые деньги, и безопасность в глазах начальства, которое считало, что керамика – это посуда.

В мае 1965 года, в одной из комнат редакции, мы с моими друзьями-поэтами развесили по стенам мою графику и живопись, разместили керамику. Прошло три дня. В ЦК полетели сразу три депеши: «В советскую печать проникли контрреволюционеры и устраивают выставки абстракционистов». На ковер вызвали главного редактора Рыбкина и всех завотделами, мы все приготовились к самому худшему. Сколько Рыбкин ни твердил: «Там нет ни одной абстрактной работы, приходите и увидите!» – начальство из ЦК на выставки не ходит, а мнение непреклонно: выставку снять к чертовой матери... Мы повесили носы. Один Миша Кириллов хохотал: «Сказали снять – так снимай... по одной работе в день!» Действительно, выставка провисела еще месяц, постепенно сокращаясь. Три работы с той выставки: «Натюрморт», «Тени прошлого» и «Чай» – находятся сейчас в в США, в музее Зиммерли в Нью-Брунсвике в собрании Нортона Доджа. Несмотря на скандал, я успешно сдал экзамены в институте и получил диплом с отличием. Логика начальства непостижима.

Почему одного поэта, Фитрата, расстреливают в тридцатые, а другого, Хамида Алимджана, возносят до небес? Сын Алимджана Сарвар становится членом правительства. Его внучка Гуля выходит замуж за моего приятеля Фируза Ашрафи, архитектора. Они живут в шикарной квартире на улице Жуковского, переименованной в улицу Хамида Алимджана. Зигзаги судьбы, вероятно, объясняются поэмами Алимджана, безмерно восхвалявшего «вождя народов». Мой отец

завещал мне никогда не идти против совести, никогда не идти на уголовку и никогда не восхвалять вождей ни словом, ни работами. Феномен «величия» Хамида Алимджана, наверное, немного раскрывает анонимная эпиграмма: «В стране томатов, баклажан, где даже солнышко хохочет, Хамид не только Алимджан – хамит там всякий, кто захочет». Как легко, казалось бы, сделать талант успешным. Композитору – напиши ораторию «Великий вождь», поэту – «Сталину слава», художнику – «Портрет любимого вождя», скульптору – величественный памятник, – и все, игра сыграна. Два самых крупных живописца Туркестана – оба замечательно талантливы: Курзин и Волков. Курзин избегал конформизма, результат – 17 лет Колымы. Александр Николаевич Волков в 1924 году пишет гениальную «Гранатовую чайхану» – она сейчас в Третьяковке, но после нее ничего сопоставимого с ней... Почему? Открывая его богато изданные альбомы, натыкаешься на портреты Ленина, Сталина... Его усердие не осталось незамеченным, он награжден званием Народного художника УзССР, его холсты, посвященные соцсоревнованиям и комсомолу Узбекистана, закупаются музеями, он процветает... А его сверстник Михаил Курзин вернулся из лагерей развалиной, с поражением в правах, все его прежние холсты были уничтожены... Оба умерли в 1957 году. Две судьбы и, казалось бы, одинаково талантливые художники...

Мой отец никогда не изображал вождей... Даже умирая от дистрофии в первые послевоенные годы. На портреты вождей была совершенно иная шкала расценок. Да и начальство заметит! Друг детства Дамир, скульптор, говорил мне: «Саша! Ты просто дуролом! Вот я за неделю вылеплю Ильича – а потом на эти деньги живу года два, и живу вольготно! Зачем тебе пейзажи и натюрморты?» Но я помнил завет отца.

Из ташкентских поэтов мне был ближе всего Саша Файнберг. Он дарил мне свои стихи, а я ему мои (уже абстрактные) тарелки. Мы с ним тесно подружились. Он посвятил мне несколько стихотворений, из которых наизусть я помню только «Веселую балладу»:

Голодный художник рисует жаркое.
И кисть, как шумовка, поет под рукою,
когда помидоры кармином он кроет
и сажею мажет горячий казан.
В картине под соусом мясо дымится.
Он краску на мясо кладет, как горчицу.
Пылает морковка, лучок серебрится.
И это приятно голодным глазам.

А сытый художник, скорбя и горюя,
белилами пишет пустые кастрюли.
И, с кремом жуя заварные рогули,
он старый сухарь на столе создает.
Рисует, стаканчик вина опрокинув,
забвения пыль на порожних графинах.
И кошка худющая смотрит с картины,
как жарится в кухне его антрекот.

Биограф и критик – два славных канальи –
их творческий путь изучив досконально,
явление это объявят нормальным,
искусство и жизнь гармонично спаяв.
И явится миру их вывод несложный,
что личное в жизни художника ложно,
что съедено, то воссоздать невозможно,
поэтому каждый по-своему прав...

Мой выбор материала (керамика) оказался счастливым и обеспечил мне какие-то деньги. Главное же, начальство на художника, занимающегося керамикой, смотрело сквозь пальцы, поскольку народные мастера Узбекистана, керамисты-гончары, делали только посуду. Я немало потрудился, изучая химию силикатов и конструкции муфельных печей, электротехнику, прежде чем в подвальной кладовке соорудил себе мастерскую керамики. Начал я с орнаментальных мотивов, жанровых композиций в стиле восточных миниатюр и неожиданно для себя пришел к совершенной абстракции. Я использовал традиции народной керамики, но стал экспериментировать с красителями по фарфору, со смальтой, что расширило мою палитру. Восточный орнамент сам по себе уже абстрактен. Я вспомнил, что и Пикассо, и Кандинский, Шагал и Чехонин расписывали тарелки. И я решил рассматривать тарелку (по-узбекски – ляган, большая плоская тарелка для праздничного стола) как предметную плоскость, как холст. Я увлекся Кандинским, прочел его книгу «О духовном в искусстве», где нашел фразу: «Абстрактное искусство – тяжелейшее из искусств. Здесь необходимо прекрасно рисовать, обладать обостренным чувством композиции и цвета и, самое главное, – быть настоящим поэтом».

Мои друзья – поэты, архитекторы и журналисты – были в восторге от этих экспериментов – никогда в Ташкенте не было ничего подобного! Архитекторы обрушили на меня поток заказов – и не только на тарелки, но и на керамические рельефы. В 1976 году я выиграл конкурс на стометровый рельеф для правительственного

санатория «Узбекистан» в Сочи. В течение года я справился с заказом. За годы я как монументалист, работающий в керамике, в Ташкенте стал вне конкуренции... Стал и человеком обеспеченным. Я делал огромные работы в метро, Дворце искусств и дворце «Дружбы народов», в аэропортах и театрах.

С начала 1960-х я был влюблен в поэзию молодого Вознесенского. Журнал «Юность», затем сборники «Мозаика», «Треугольная груша», «Парабола»... Его неотразимые выступления на стадионах, его язык, метафоры, оксюмороны, – все говорило о том, что пришел большой поэт.

Лежу, бухой и эпохальный.
Постигаю Мичиган.
Как в губке время набухает
в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом, как берлога,
лежат озябшие зрачки.
Перебираю, как брелки,
прохожих, огоньки...

После этого были «Антимиры» – читаешь их уже другими глазами. Я продолжал восхищаться Андреем, но уже чувствовал что-то произошло, что-то пошло не так... Впервые я увидел его в мае 1983 на вернисаже моей выставки в Центральном Доме архитекторов в Москве. Он же тоже архитектор... Пригласил меня в свою мастерскую, рядом. Я сходил. Но дружбы не вышло... Почему? Не знаю... Мне показалось, что он рвется в придворные поэты... Может быть, я был неправ, трудно сказать. Он был товарищем Беллы, значит, он – табу! Замечательно талантливый Андрюша Вознесенский так и не стал Великим русским поэтом... Почему? Не мне судить Андрея Андреевича... Может, его досмерти напугал Хрущев на встрече с интеллигенцией? Или сломал конформизм? Или квартирный вопрос? Я не знаю... Сам он считал своим лучшим, самым звонким своим стихотворением «Плачь по двум нерожденным поэмам»:

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.

На черной Вселенной любовниками
отравленными

лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой половинной –
две самых поэмы моих
соловьиных!

Может, в этом тексте и ответ? В этом же сборнике идет и «Секвойя Ленина», и «Лонжюмо»... Кому из нас в СССР не приходилось идти на компромис? Кто из нас перешагнул красную черту невозврата, а кто не перешагнул? И поэзия, и живопись всегда исповедальны – поскольку являются надрациональными формами самопознания... А обещал он, казалось, много...

Знаю по себе, по моему отцу, по друзьям отца: кому – «народного художника», кому – на Колыму. А с отцом было проще – ему просто перестали давать работу (был он книжный график). Брали измором. Детство и юность свою вспоминаю, как свирепую нищету, какой в сытой Америке никто и вообразить не может... Меня исключали из всех заведений, где я учился... Обвиняли в диссиденстве, авангардизме, тунеядстве – я не был ни тем, ни другим, ни третьим. Разгоняли выставки, душили и давили. Затем сменили тактику на огромные гонорары. Меня стали включать во все комиссии, советы, выставкомы, президиумы. Дали звание: « Заслуженный деятель искусств». Я по наивности подумал: оставили в покое, справедливость торжествует... Понадобились годы, чтоб разобраться и понять: меня заглатывают, я становлюсь частью системы, ее винтиком. И я решил «рвать когти» – человек не может сражаться с машиной.

«Берегите нас, поэтов». Но задача государства не беречь художника, а растлить его! И так было всегда и во все времена, и на Востоке, и на Западе. Свободный художник опасен всегда и везде.

Борис Мессерер тоже был на моей выставке 1983 года, оставив мне очень теплую запись в книге отзывов. И Белла приезжала в Ташкент, мы принимали ее у себя дома, на улице Художников. Последний раз мы с Машей были у них на Поварской перед отъездом в Нью-Йорк.

В Нью-Йорк я прилетел не с пустыми руками: привез книги всех любимых поэтов и записи тоже... Но мне не хватало живого общения со стихотворцами... И вот меня знакомят с человеком-легендой, с ККК – питерским поэтом Константином Константиновичем Кузьминским, совершившим литературный подвиг: он издал за свой счет в 9-ти томах «Антологию новейшей русской поэзии ‘У Голубой Лагуны’». «Голубая Лагуна» – это русская муза в изгнании, стихи русских поэтов-иммигрантов. Сказать, что Костя был странным

человеком – ничего не сказать! Он был старше меня на три недели, но весил в два раза больше – был грузным. И к тому же – нудистом. Его собственные стихи для меня были неудобочитаемы, неудобопроизносимыми, непривычными.

Наша дружба началась на Брайтон-Бич, где он жил в двухкомнатной квартире с женой Эммой и семейством из трех русских борзых. Было совершенно непонятно, как он там размещался со своим архивом и коллекцией... Он был очень образован и умен, но со странностями. Ежедневно он выгуливал своих собак в обычном облачении: бурка и папаха, без всего остального... Летом – босиком. Его появление всегда было сенсацией, он был местной достопримечательностью: все знали его, и он знал всех. В советской печати появилась фотография экзотического поэта с тремя огромными псами и подписью: «Поэт Кузьминский, живущий в Нью-Йорке, – безработный и вынужден зарабатывать на жизнь, выгуливая чужих собак». Видимо, так его хотели унизить, но вышло наоборот. Для Кости это была желанная реклама. Он жил на пособие и на то, что ему приносили многочисленные друзья и почитатели. Он был невероятно популярен. В 1999 году он переехал с Брайтон-Бич со всеми коллекциями и домочадцами, в отдельный дом на берегу речки. Я посетил его один раз на новом месте, езда на машине – три часа. На память я написал с него этюд. С нами был общий знакомый – Феликс Комаров, за рулем – художник Жорик Поладян.

Художник, поэт, музыкант... В каких они взаимоотношениях меж собою? А с аудиторией, с Музой, с властью наконец? Как это все взаимосвязано? Зачем художник пишет холсты, а поэт – стихи? Зачем я написал эти воспоминания? Уж точно не для самовыражения, а для самопознания. С теми, кто пишет для самовыражения, мне не по пути.

Почему я, художник, не могу жить без поэзии? Другие художники прекрасно же обходятся! Почему из моего поколения мне ближе всего Окуджава и Ахмадулина, именно их стихи имеют такую власть надо мною? Есть такое мудреное слово *синестезия*, подразумевающее межчувственные ассоциации, – «единство чувств».

Уже в 80-е годы в Москве был издан двухтомник великого Леонардо да Винчи; там я наткнулся на строчки, которые мне объяснили многое. Цитирую по памяти: поэзия – это странное искусство говорить стихами о том, что словами невыразимо в принципе!

Однако мои друзья-поэты все же это делают перьями по бумаге – я же это делаю красками по холсту... Алхимия слова. Что тут скажешь?

Нью-Йорк, 2016
Подготовка текста – Ю. Сандулов

Ирина Тишина

Открывая русскую Америку

Богатейшие фонды Дома Русского Зарубежья имени Александра Солженицына, созданного для сохранения и популяризации культурного наследия русской эмиграции, насчитывают более 18 тысяч музейных предметов, около 90 тысяч единиц хранения архивных документов, более 130 тысяч экземпляров печатных изданий. Книги и статьи, выставки и фильмы, созданные на основе архивного и музейного собрания ДРЗ, возвращают в Россию имена выдающихся писателей, музыкантов, философов, ученых, оказавшихся за пределами своей исторической родины. Знаменитые русские американцы – инженеры-изобретатели Александр Понятов и Георгий Александрович, художник Сергей Голлербах – в их числе. Ценнейшим вкладом в развитие отношений Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей стало плодотворное сотрудничество Дома и Свято-Троицкой Духовной семинарии в Джорданвилле.

У ИСТОКОВ ЭПОХИ ВИДЕО

В 1947 году в Голливуде компания «Ампекс», основанная русским эмигрантом, инженером Александром Матвеевичем Понятовым, впервые продемонстрировала прототип аудиомагнитофона Model 200-A, с которого началась эра магнитной записи в США. Вскоре, благодаря разработкам Понятова, телевизионщики всего мира получили возможность использования видеозаписи, в том числе повторов отдельных эпизодов и замедленной съемки. На протяжении многих лет процесс видеозаписи называли «ампексированием», а в аппаратных телестудий висели фотографии изобретателя.

В течение десятилетий мировые электронные гиганты – Sony, Matsushita, JVC, Toshiba и другие – в производстве бытовой видеоаппаратуры основывались на патентах, принадлежащих А. Понятову. Заслуги русского инженера отмечены престижными американскими наградами и многочисленными премиями. Однако имя столь выдающегося человека, во многом определившего направление научно-технического прогресса середины двадцатого столетия, в России было известно лишь узкому кругу специалистов.

В 2013 году ДРЗ при участии ряда архивов, в том числе архива

Стэнфордского университета, была представлена первая российская фотодокументальная выставка «Русский триумф на чужбине. Пионер видеоэры инженер Александр Понятов». Киностудия «Русский путь», важная составная часть многопрофильной структуры ДРЗ, подготовила к показу одноименный фильм – первую документальную ленту о жизни и деятельности изобретателя...

«АХ, ЕСЛИ Б МОГ ВЫРАЗИТЬ В ЗВУКЕ...»

Нажимая на кнопку громкой связи телефона или активируя функцию конференц-связи, большинство из нас и не догадывается, что их использование возможно благодаря разработкам потомка русских эмигрантов «первой волны» Георгия Всеволодовича Александровича. Георгий Всеволодович создавал приборы звукозаписи для «Битлз» и «Роллинг стоунз», оснащал студии ведущих теле- и радиокомпаний мира, разрабатывал ультразвуковые измерители плотности материалов и дистанций, которые до сих пор используются в самолетостроении. Им получено 18 патентов на изобретения, в числе которых метод записи стереопластинок, аппарат для сверхскоростной записи магнитных лент и многое другое. Слушая телевизионный прогноз погоды и глядя на меняющееся изображение за спиной диктора, знайте: это тоже придумал Г. В. Александрович, а само изобретение известно под названием Front Projection System – фронтальная проекция изображения.

Георгий Всеволодович – давний друг Дома Русского Зарубежья, однако материалы о жизни и деятельности изобретателя в рамках выставки «Динамика жизни. Русский инженер в США Г. В. Александрович» впервые представлены в стенах ДРЗ только в 2013 году. Для своего творческого вечера Георгий Всеволодович подготовил уникальную презентацию биографических материалов, вызвавшую живой интерес у аудитории – студентов высших учебных заведений, инженеров-специалистов звукозаписи, историков. На экране – редкие семейные фото, аттестаты и патенты, россыпь многочисленных изобретений. Интеллигентный, скромный, обаятельный, сохранивший «тот» – богатый, утонченный – русский язык, Георгий Всеволодович надолго останется в памяти тех, кто имел удовольствие слушать его или общаться с ним.

«Я СЧИТАЮ СЕБЯ РУССКИМ ХУДОЖНИКОМ...»

Один из самых известных американских художников из русской эмиграции Сергей Львович Голлербах поднялся на сцену конференц-зала ДРЗ под аплодисменты чествовавших его поклонников. Удивительно деликатный, остроумный, он говорил стоя, до конца не веря «в

эту сказку» – в теплый юбилейный прием на родине по случаю открытия выставки «Нью-Йоркский блокнот», приуроченной к 90-летию художника. «В вашем Доме я действительно дома», – повторял Голлербах, с благодарностью и смущением слушая похвалы и признания.

Коллекция художника в фондах ДРЗ началась всего с пяти с небольшим работ, а сегодня Дом Русского Зарубежья располагает самым большим собранием произведений Сергея Голлербаха в России. Летом 2013 года из Нью-Йорка в Москву прибыли 67 графических работ художника, часть из которых и была представлена в рамках экспозиции.

Организаторы выставки подготовили и ее великолепную видеопрезентацию. Под легкий джазовый аккомпанемент одна за другой возникали фигуры нью-йоркских прохожих. «Фигура человека для меня – его душа», – признается Сергей Львович. На блокнотных листках, будто только что вырванных торопливой рукой, легкие штрихи и невесомые мазки передавали энергию движения, фиксировали мгновение, запечатлевали ускользающий «кадр»... Иногда линия силуэта прерывалась, как прерывается синкопированный ритм нью-йоркского джаза, и продолжалась снова – вариацией черно-белых тонов и еле уловимых оттенков…

Сам Голлербах вспоминал: когда-то старый учитель посоветовал ему «постараться уловить не содержание, не настроение – а *состояние момента*»... В противовес художнику-монументалисту перед нами «художник-моменталист», ценящий каждый миг повседневности, выразительной своей неприглядностью и «непричесанно-стью»...

«Я считаю себя русским художником, и многие эмигранты моего поколения мечтали вернуться в Россию, но не дожили, – с грустью заметил Сергей Львович и добавил, – а я – дожил!..»

АРХИПАСТЫРЬ РУССКОГО МИРА

Состоявшийся два года назад торжественный вечер-встреча, вечер-презентация книги «Митрополит Антоний (Храповицкий) – архипастырь русского рассеяния. Материалы конференции» и открытие выставки «К истории создания Русской Православной Церкви Заграницей», безусловно, войдут в историю Дома Русского Зарубежья и в историю отношений двух, ныне объединенных, русских православных Церквей. В 2014 году предстоятель Русской Православной Церкви за границей митрополит Илларион (Капрал) впервые посетил ДРЗ для того, чтобы принять участие в представлении труда, ставшего завершающим этапом работы конференции о жизни и деятельности человека удивительной судьбы и высокого предназначения – митрополита Антония (Храповицкого).

Конференция, проведенная в 2006 году в стенах Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, была организована при непосредственном участии Государственного архива Российской Федерации и сопровождалась выставкой, посвященной памяти митрополита Антония.

17 мая 2012 года в честь юбилейной пятой годовщины подписания акта о восстановлении канонического общения между РПЦЗ и РПЦ Московского Патриархата ДРЗ представил свою, совместную со Свято-Троицкой семинарией и монастырем, выставку в Русском доме в Белграде.

В 2014 году экспозиция была представлена в стенах самого Дома, органично дополняя презентацию книги о первом предстоятеле РПЦЗ. В составе выставки – редкие документы и фотоматериалы из архивного собрания ДРЗ и архива Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле: фотографии и переписка митрополита Антония (Храповицкого), его телеграммы и обращения к Великому князю Николаю Николаевичу, послания Архиерейского Синода РПЦЗ, фотографии, рассказывающие о жизни Свято-Троицкой обители.

«Прошло 10 лет, как большевики захватили власть над Россией. 10-ю годовщину своего владычества справляет в России кровавый интернационал…» – читаем мы в Окружном послании Председателя Архиерейского Синода РПЦЗ митрополита Антония (Храповицкого) от 27 октября 1927 года, написанного в Сремских Карловцах (архив ДРЗ). Рядом на стенде – другое послание: «Состояние нашего беженства продолжается. Не должно нам взирать на наше пребывание заграницей как на кратковременное, но устраивать свою жизнь здесь как бы надолго. Если же вместо долгого пребывания на чужбине нам придется вскоре возвратиться на родину, то мы тем большую радость получим; а если пребывание наше вне родины продлится, то обрекши себя на подвиг терпения, мы легче будем нести крест изгнанничества...» (архив ДРЗ). Митрополит Антоний поддерживает и пронзительным словом выражает мысли и настроения разрозненной паствы, укрепляет ее дух и призывает к терпению...

О духовном подвиге первоиерарха русской православной эмиграции, о необходимости единения и о важности сохранения памяти о тех, кто сберег веру в изгнании, говорили архиепископ Женевский и Западноевропейский (РПЦЗ) Михаил (Донсков), ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, директор Фонда русской истории при Свято-Троицком монастыре протоиерей Владимир Цуриков, директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко, исполнительный редактор «Журнала Московской

Патриархии» Сергей Чапнин, директор Дома Русского Зарубежья Виктор Москвин...

И это лишь часть огромной работы Дома по возвращению на родину памяти о выдающихся представителях отечественной науки и культуры на американском континенте. Благодаря исследовательской работе ДРЗ впервые в России выпущена кинолента об изобретателе телевидения Владимире Зворыкине, подготовлены экспозиции о создателе калифорнийского виноделия Андрее Челищеве и об инженере и дизайнере «General Motors» Захарии Аркус-Дантове.

В 2016 году более трехсот коробок с архивными документами и музейными предметами от потомков русских эмигрантов из США и от «Нового Журнала» Дом Русского Зарубежья получил благодаря подвижнической деятельности членов Комитета «Книги для России». Все это стало возможным благодаря труду Людмилы Оболенской-Флам, Людмилы Селинской, Николая Решетняка, их соратников и всех дарителей. Летом 2017 года завершится строительство нового здания музея Русского Зарубежья, который откроет свои двери в 2018-м; продолжается серьезная работа по созданию его экспозиции, и дары эти обретут свое достойное место в фондах и на выставочных площадках нового музейного центра. Неисчерпаемая Русская Америка постепенно раскрывает свои, неизвестные России, страницы...

Москва

БИБЛИОГРАФИЯ

БЛОК МАРИНЫ ГАРБЕР

Андрей Грицман, Борис Херсонский. Свитки. Библейские стихи / Библиотека журнала «Интерпоэзия». – Калифорния: Numina Press, 2016, 100 с.

Слова были вначале или Слово?
Олово речи в тигле синего времени.
Попробуй переведи на язык оригинала
«Нашедший подкову»
из бутылки на странице без имени.
А. Грицман. «Хамсин»

Слово подвержено множеству толкований, и Священные писания представляют собой лишь его своеобразную интерпретацию, поскольку первичность высказывания не принадлежит авторам библейских текстов: «приор», по выражению Мандельштама об авторе «Божественной комедии», – Господь Бог. Библия состоит из открытых для интерпретации текстов, то есть таких, которые Умберто Эко называл *opera aperta*. Собственно, подобной попыткой интерпретации и предстают «Свитки. Библейские стихи» – сборник, включивший стихотворения и эссе одесского поэта Бориса Херсонского и москвича/ньюйоркца Андрея Грицмана. Поскольку «духовное» подразумевает не только «свет веры и истины», но и высокую степень эстетического восприятия, то поэзия, наряду с теософией, становится своеобразной «наукой», точнее, тонким искусством толкования Библии. Определение О. Гертман-Балла, предложенное критиком касательно другого адресата, приложимо и к этой книге: «поэзия как духовная практика».

«Свитки. Библейские стихи» интересны не только тематической цельностью, обозначенной уже в названии книги, но и различием поэтических и духовных интенций. К слову, несмотря на богатейший опыт «духовной поэзии» в русской поэтической традиции, в контексте современности уместнее говорить о (пока?) несостоявшихся, но потенциально интересных совместных «проектах» такого рода. Ведь легко представить спаянные по тому же тематическому принципу, но разнящиеся поэтикой, сборники, скажем, Светланы Кековой и Ольги Седаковой, или Ирины Ермаковой и Марии Галиной, или же Олеси Николаевой и Елены Игнатовой (да, почему-то именно женщины-поэты первыми приходят на ум)... Вернувшись же к разбираемой здесь книге, заметим, что если Грицман рассматривает мир с позиции талмудиста, то Херсонский представляет христианскую модель мировосприятия. Безусловно, «Свитки» прежде всего предлагают читате-

лю религиозное осмысление современности и – обратное – современное осмысление религии посредством поэтического искусства. Первое, на что обращаешь внимание при чтении настоящей книги, это плотность поэтических текстов, свойственная обоим поэтам, но проявляемая по-разному: близкая к потоку сознания, «изнаночная» и потому непредсказуемая речь Грицмана – и многоплановая, будто показывающая образ и предмет под разными углами речь Херсонского.

Значение и назначение Священного писания выходит за пределы сугубо религиозного, многое зависит от того, *кто* читает Книгу Книг. Библия – это и образец «духовной поэзии», и история любви, и «учебник жизни», и, не в последнюю очередь, собрание притчей. Стихотворения Бориса Херсонского приближены к притчевому слогу, значительно ориентированному на «напевное» фольклорное говорение:

А наши-то бабы да мужики
пришли сюда из-за той реки,
из-за той ли реки, из-за тех ли камней,
из-за тех ли деревьев и их теней,
мы не дети Адаму, мы со стороны,
нет на нас никакой вины.

«И сказал Каин Авелю…» или «И Бог отправит тебя в Египет...» – чем не начало библейской притчи? Примеров «перечислительного синтаксиса» (по выражению М. Эпштейна) и песенно-поэтических анафор, нередко используемых в Библии, в поэзии Херсонского довольно много: «как обрадуется», «как возликует», «как возвеселится» («Из Второзакония»); «восхожу к Отцу моему», «восхожу, вспоминая юность», «восхожу, вспоминая детство», «восхожу, вспоминая, что таблетки…», «восхожу, если вдуматься, к послежизни» («Псалом – Песнь Восхождения»), или многажды произнесенное «пусть» в «Псалме гневном», или повторы «я брошен», «я порван» и «Ты ушел», «Ты оставил», «Ты отнял» в «Псалме-жалобе», или рефрен «что за огромная рыба, Господи» в стихотворении «Иона (спиричуэл)»… Из христианства проистекает определенный дидактизм, «проповедничество» Херсонского, поучительные выводы некоторых его текстов, – не морализаторство, а собственно откровения, – обычно к концу оговоренные четким этическим уроком. Подобно тому, как в библейских притчах нравственный посыл облечен в формы узнаваемого и осязаемого, нажим в «повествовательных» стихотворениях Херсонского – почти всегда на *очевидном* в прямом смысле слова: *видном очами*, явственном, иногда сугубо бытовом, житейском, подручном, как «бабушкин мир вязанья и манной кашки» или как «мир дворовый, заоблачный, загаженный голубями»… Сюжетная канва (внешний, формообразующий критерий) неизменно

сопровождена лирическим наполнением (внутренний критерий), и, собственно, их гармоничное сочетание, их смыслонесущее единение становится содержанием стихотворения. Все лица, антропонимы и образы в этих стихотворениях, включая как архетипические, так и конкретного «лирического героя», находятся в библейском и в настоящем времени одновременно. Примеров такой «вездесущести» множество: «Двенадцать веков назад я тоже был очень стар. / Но она обнимала меня. И забыть не могла»; или:

А в доме Давидовом души, как пчелы – мельтешат и жужжат.
Иногда к ним добираются наши, русские старики –
навестить родню, подкинуть немного деньжат,
или – коливом накормить, посидеть у Хеврона-реки.

Иными словами, «герои» Херсонского существуют в вечности, поскольку время в его стихотворениях – не состоящая из эпохальных отрезков прямая, а скорее амальгамный сплав времен; время, а иногда и пространство, суженное до точки (в этом отношении особый интерес представляет отчетливая параллель между Потемкинской лестницей и Голгофой в «Псалме – Песнь Восхождения»). Причем в таком наложении и совмещении не видно швов, эпохи не сменяют друг друга, время цельно и неделимо.

Иеремия, ты слышишь, я
плачу с тобой вдвоем,
так рыдают высохший водоем
и проломленная городская стена,
моя столица осталась одна
по ту сторону бытия.

Воистину, времена – всегда одинаковые, или – почти всегда:

Раз в сто лет сменяется оккупационный режим.
Поворот колеса истории всегда на пользу чужим.
Ставят наместника, идола, солдат у ворот,
привозят свои монеты и вводят их в оборот.

В порядке короткого отступления замечу, что киевский литератор Юрий Каплан, трагически погибший несколько лет назад, составил совместно с Екатериной Кудрявцевой без малого пятисотстраничную антологию русской поэзии по библейским мотивам («Библейские мотивы в русской лирике XX века». – Киев: «ЮГ», 2005). Однажды он заметил, что во времена войн и конфликтов библейские темы, образы, сюжеты и аллюзии возникали в русской поэзии с особенной частотой; так, к примеру, по

словам составителя, во время Великой Отечественной «даже в стихах самых воинствующих среди советских поэтов атеистов стали прорезаться библейские мотивы».

В самой возможности бесконечного «прикладного» осмысления Библии – сила Книги Книг. Поэт же, берущийся за такое осмысление, в каком-то смысле уподобляется то священнику, то псалмопевцу, то священнописателю, то пророку. Закономерно, орудием в попытке гармонизации мира и противостояния хаосу становится слово:

и русский стих о пророке лежащем в пустыне
с углем горящим в груди пророке доныне
не восставшем не жгущем глаголом наши сердца
но пока только хаос и первоначальные воды
тоху-ва-боху мир бесконечной свободы
броуновского движения не помнящего Творца

Слово – как формообразующая и смыслонесущая величина, инструмент мироупорядочивания, спасительная соломинка в водах потопа... И в богоборческом «Псалме-жалобе» уже не поэт уподоблен Творцу, а Творец – поэту. Так, по замечанию Пастернака, «образ входит в образ»:

осталось лишь слово одно, осталась надежда одна,
что Ты вернешься и камешек подымешь с морского дна,
вернешься, подымешь куколку и песок отряхнешь,
разорванный листик склеишь и мотив – допоешь.

Любопытно сравнить этот отрывок из стихотворения Херсонского со строчками Андрея Грицмана:

Я останусь один и закрою глаза,
и сквозь веки забрезжит фигура Отца.

И взлетит из долины последнее слово,
чтобы эхом безгласным откликнуться снова
и разбиться беззвучно о скалы в Эйн-Керем,
растекаясь листвой по масличным деревьям.

Если из поэзии Грицмана «вычленить» ключевые слова, то это будут «дым» и «свет», причем дым у поэта предстает повсеместным, плотно окутавшим землю, хоть и не беспросветным. Это та же земля, «пуста и безвидна», «тоху-ва-боху», что упоминается Херсонским. Здесь «сера адская дымит», горят «в туманной гавани костры», «дымятся башни Вавилона», «в

воздухе запах гари, судьбы и субботы», «мистика ветра, дымная горечь», «всё наполнено копотью, костной мукой, / дымом и тенями транзитных судеб»… Свет же у Грицмана расщеплен, почти случаен и нередко обозначен то искрами, то редкими вспышками: «в солнечной пыли – истина света». И от подобного ощущения рассеяния света (читай: *Божественного*) возникает естественное стремление сначала – к его высвобождению, потом – к накоплению.

Стихи Грицмана можно сравнить с петляющей дорогой, то проваливающейся в темноте или тумане, то чернеющей выбоинами и ухабами, то выныривающей из непроницаемости, чтобы тут же быть поглощенной. Такая дорога непредсказуема, «поэта далеко заводит речь», точнее говоря, это «петляющее», зачастую сбивчивое говорение неслучайно отмечено неологизмами, неосинтаксисом и смысловыми сдвигами, которым неопытному путнику порой трудно следовать, – от последнего требуется определенное усилие соучастника. Даже грицмановские каламбуры возникают из подспудного стремления расщепить и акцентировать: «хоть шаром покати, хоть Шароном», «кому там нужны твои карма и сутра?», «вот она, жизнь твоя – места имение личное»… Однако цель настоящей поэтической речи почти всегда предельно ясна: она неуклонно стремится к свету – мерцающему, неопределенному, размытому, но, тем не менее, существующему. Ибо поэт *a priori* верит в вездесущесть Божественного. «Вещи ускользают, тают, дрожат на ветру, мерцают, состоят из порывов и промельков – они стирают свое существование в мире, это хасидизм как антиязычество», – пишет М. Эпштейн в эссе «Хасид и талмудист. Сравнительный опыт о Пастернаке и Мандельштаме» («Звезда», 2000, № 4). Но Грицман не похож ни на подмечающего Божественное в повседневном Пастернака, ни на «изогнутого в позе писца» и чтеца Мандельштама; его поступь тяжелее пастернаковской, предумышленно зыбче мандельштамовской. Даже когда поэт, слышится, вот-вот окажется «проводником», Слово неизбежно, неуловимо ускользает, вырывается, подобно неостановимо летящему поезду:

Я не вижу снов на языке, но я верю,
мне голос какой-то иногда слышен:
чудные строки, – но если проснуться –
этот состав уходит на дальний канадский север.

Скорее, перед читателем поэт-путник, почти растворенный в шатком пейзаже, посему и слова его порой похожи на обрывки речи, доносимые ветром. Это речь человека *вечно идущего*, словами Грицмана – «вечность долины становится речью». Отсюда – закономерные ритмические сбои и преднамеренные смысловые смещения, кружащий, ищущий взгляд, выхватывающий из пейзажа «божественные искры», когда

глаз расширяется
до размеров неба и моря
и беспредельно просит всё больше и больше.

Мотив бездомности и скитания – один из центральных у Грицмана, потому интонационно его стихотворения варьируются: от отчаяния, спровоцированного неизбывным одиночеством, – до смиренного приятия выбора, «двуствольности судьбы», и, наконец, до едва уловимой надежды на обещанное возвращение. Образ не Агасфера и не блудного сына возникает при чтении стихотворений Грицмана, а потомка Авраама, Ицхака, Яакова и Моисея, ведь сам термин «переселенца» предельно важен в иудаизме, как и чувство идентичности и единства. Посему время поэта – это «время исхода, когда все безысходно»…

В стихотворении Грицмана «Иерусалим» неслучайно мелькает «лик Гумилева» («Пыль. Гумилева лик, / мираж в жаре, растаял, / жить устав»). Вспомним о мерцающем «свете истины», упомянутом выше… В известном стихотворении Гумилева «Слово» слова делятся на мертвые (разрушительные, обеззвученные) и живые (созидательные, Божественные). Более того, живое слово у Гумилева – не только орудие созидания, но и Создатель, не только инструмент, но и сам ремесленник: «И в Евангелии от Иоанна / Сказано, что Слово это – Бог». Следуя этой аналогии, можно утвердить, что поэт равнозначен своему слову, и такое приравнивание подтверждает не только уникальность поэтического голоса, но и, прежде всего, ответственность поэта за сказанное им. «Нету более священной миссии / навеки и поныне. Снова: / каждый сам за себя в ответе»… Эти слова Грицмана – и о призвании поэта, и о двух, сопряженных с этим призванием чувствах – одиночества и ответственности.

Ибо сказано в Евангелии от Луки (12:48): «И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут».

* * *

Хельга Ольшванг. Трое. Стихи 2013–2015. – N.Y.: Ailuros Publishing, 2015. – 68 с.

В знаковом стихотворении «Трое», давшем название поэтической книге Хельги Ольшванг, библейская драма изгнания из рая, с одной стороны, снижена обыденным и уменьшительным определением, а с другой, поднята на новый уровень, ибо родители здесь предстают детьми, а райский сад – (детским) «садиком»: «забрали из садика мать и отца»... Стержень стихотворения – мотив доступности, незапретности плода, которая снижает стимул, желание и, в каком-то смысле, жизнь: «им хочется яблока реже». Отчасти в этом же – стержень поэзии Ольшванг, поскольку «доступность» в равной мере касается поэтического приема, темы, формы

и образа. О таком отказе от «доступного» пишет Владимир Гандельсман в предисловии к сборнику как о «вопросе нарушения однажды найденного» и стремления к «непрерывному обновлению». Если попытаться сжать определение этого стержня, то речь пойдет о выявлении невидимого: не то чтобы лежащее на поверхности совсем не интересовало поэта, но ее зрение фокусируется на скрытых гранях и плоскостях (а такие есть у любого предмета, даже у лежащего под рукой), будто ждущих – не объяснения, нет, но обнаружения и показа:

Выяснится дверь, пола
пиджака внутри
приоткрытого стекла,
скважина в двери…
«Солнце рухнет и очнусь…»

Стихотворение «Трое», однако, движется дальше, и родители, в начале приравненные к детям, ближе к концу оборачиваются «присяжными» и «подсудимыми» одновременно. «Да, каждый из нас состоит из троих», – эта фраза не столь о христианской тройственности, хоть и о ней тоже, сколь о многосоставности личности, предмета, явления. Оборотная, изнаночная сторона родителя – ребенок в нем, присяжного – подсудимый; «…и все виноваты» – это и приговор, и синхронное признание вины. К слову, мотив вины – снова обиняком, не в лоб, едва-едва, скупейшими из средств, – озвучен уже в первом стихотворении книги, в котором говорится о выносе рождественской елки после отшумевших праздников (здесь спонтанно вспоминается «Ель» Окуджавы: «и в суете тебя сняли с креста»), где смысл замыкающего текст причитания «вынести, вынести бы» намеренно двоится: в нем слышны и мольба, и что-то от бормотания «преступника», поспешно избавляющегося от улик. Статичности и стерильности Дантова рая у Ольшванг противопоставлена «темная» сторона Эдема. И действительно, после кругов немыслимых мук, вечно проживаемых грешниками в аду, рай великого флорентинца кажется несобытийным, скучноватым местом, причем не вопреки, а, собственно, в силу тонко просчитанной райской гармонии. Чтобы «оживить» рай, в него необходимо привнести толику ада. Отсюда – «благодатные ‘погрешности’», «блуждающее слово», частая «смена планов», склонность к «сладости противоречия, бессмыслицы, тайны», которые отмечает Гандельсман. Вопреки канону, поэзия – как преодоление гармонии.

Ольшванг притягивает «потаенный закон» бытия и «лязг отворяемого» одновременно. Это и «мир под водой» с отпечатанными в нем «следами рыб», и все «заштопанное-законопаченное», все то, что «завалено, задвинуто» и «заслонено», «закрыто наспех чем попало», шкафы, ящики, ниши,

«в антресолях манящих коробки», обычно плохо затворенные двери и окна, которые нуждаются в немедленном и замедленном отворении («медленная панорама», как говорит поэт). В желании «отпереть оконце» или створку «неплотно прикрытого <…> шкафа смешное нутро» ощутимы как радетельная осторожность жеста, так и его запретность (снова ауканье образов рая и его плодов), равно как и связанное с запретом детское любопытство (читай: не праздное), служащее незаменимым инструментом миропознания: «Дверь прикрыта, но все залетает обратно». Словно руки шарят в темноте, натыкаясь на предметы, нащупывая и извлекая их (хочется сказать «на свет», но слишком тускло это освещение, чтобы называться «светом») из невидимого бытия, из глубины на поверхность, из одной плоскости в другую, зачастую не менее затемненную. Ольшванг запечатлевает тот трудноуловимый момент, «когда из рукавов, из шапок, / из горловин, сапог и складок / вываливаясь, наг, / навстречу миру плачет смертный…»

Здесь тотчас следует оговориться, что поэзия Ольшванг по своей сути антифотографична, поскольку точное фиксирование в определенном смысле убийственно, ведь схваченное вспышкой невольно каменеет и, не подлежа изменению, становится безжизненным и неподвижным. В этом смысле фотография – сродни монументу: «каждая точка, штрих / сохраняется насмерть, одним щелчком». Напротив, Ольшванг ближе намеренное расшатывание установленного порядка и поиск нужного в этом хаосе; ее взгляд уходит и уводит «за» границы возможного и очевидного; неслучайно закавыченное выше междометие «за» («что там за пустота») преображается в одном из стихотворений книги в предлог, оговаривающий скользящее положение предмета, обычно скрытого глазу. Подобная речевая тактика подразумевает относительную незначительность «компонентов» поэтической речи: место и время высказывания, его потенциальные реципиенты («Не видно – где мы, кто ты не видно…») и даже тема – все это оказывается второ- и третьестепенно, главностепенны – личность говорящего и конкретная обстановка, то есть то, что называют «речевой ситуацией». Собственно, эти два качества во многом определяют поэтический стиль Ольшванг.

Динамичный синтаксис и континуальность жестообразной поэтической фразы придает стихотворениям поэта поступательный характер. Благодаря «инвентарным спискам», по Пригову («мир камер палаты / колонн мир и ванн / мир обоев и пола / мир кухонь осенние цены мир мебели…»), разворотам идиом и фразеологизмов («Снег идет ступеням / и оврагам…», «…Некуда теперь им / жить в твоем краю. / Некем...», «Мимо них ребенок плачет, накрывают стол…», «…зреет мир к войне / мимо них – безвидных»), неологизмам и формообразованиям («окружающая быстро среда», «голубогая», «гулит») и частым, слишком частым для цитирования, инверсиям возникает ощущение несуетного движения, тяги к познанию,

которая, если верить Платону, именуется свободой. Вообще, понятие «свободы» в западноевропейском смысле и «случая» в древнегреческом удивительно совпадают в этой поэзии, внемлющей как Декарту, так и Эпиктету. Свобода начинается с поэта, с его позволения – себе же – ошибиться, споткнуться, неожиданно повернуть в другую сторону, отступить вглубь гипотетической сцены или подняться над ней:

Я отстраняюсь до тех пор, пока
не разгляжу оставленное было,
во всех деталях, место: окоем
залива и прибрежные аллеи
бегоний, пляж, колени и лопатки,
окурки на песке и чешую
колониальных крыш…

Поэзия Ольшванг – отчасти об одновременности всего, о множественности и разнонаправленности векторов – речи, взгляда, движения, бытия – и, в то же время, о спаянности вышеперечисленного. Так, например, в стихотворении «Центральный парк» подчеркивается не только многоголосица высказывания (утка – утке, экскурсовод – туристам, дерево – дереву), но и диалогичность, обратимость речи и взгляда, обоюдное вглядывание – человека в природу, природы в человека. Вариативность, неровность поэзии Ольшванг, ее то избыточность, то минимализм (главное, не топтаться на месте и при этом никуда не торопиться), помимо прочего, достигается посредством смысловых и лексических усечений и удвоений: одно звено тянется, позвякивая, другое, напротив, сжимается до предела, третье же вообще выпадает… Подобно тому, как из глубины угла выныривает вещь, из пропусков и провалов, пауз и «прыжков через само собой разумеющееся», по Бродскому, «выныривает» речь. Лакуны в поэтической речи – это, по сути, те же антресоли и шкафы с неплотно прикрытыми дверцами, тот же скрытый мир, на мгновение становящийся чуть явственней:

Что там за пустота, вдали там за скелет,
за тьма, за голубь там, фасад, за рай, за дом,
за входы там, за верхний свет,
что там гулит, курлычет, плачет мимо звезд
внутри?

Мысль или чувство, оказывается, могут быть переданы отрывистым, кратким, почти телеграммным слогом: «стих / умер умер умерла»; или же лексическим повтором сродни известному всеволодо-некрасовскому «свобода есть свобода»: «в траве / повторяется роза в траве повторяется роза». Здесь к месту вспомнить слова того же Вс. Некрасова о том, что «повтор

неизбежно выводит в визуальность». В стихотворениях Хельги Ольшванг есть приметы как художественного, так и умышленно *антипоэтичного* – в классическом смысле – определения: редкие и зачастую сугубо внутренние, нестрогие аллитерационные и фонетические рифмы, неустойчивый ритм, временами более четкий, временами напрочь отсутствующий… И в то же время, эти стихотворения густо и щедро артикулированы. Ценное, штучное в них продиктовано чувством свободы, автаркией от канона, от рая и от блага, от косности и гармонии одновременно.

Свобода – уже благо. Свобода – самобытийна.

* * *

Анна Гальберштадт. Transit. Стихотворения. – М.: Вест Консалтинг, 2016. – 102 с.

Корни поэзии Анны Гальберштадт уходят не в русскую, а в западную поэтическую традицию, англоязычную, американскую. Неслучайно при чтении «Transit» вспоминается «Страна между нами» Каролин Форше – интонационное созвучие сборников уловимо. Уже сами названия этих книг говорят читателю о том, что перед ним – поэзия человека в пути, путника, странника, Вечного Жида, – что, согласимся, означает не совсем то же, что «путешественник» или «турист». Вспоминается и «Canto immigranto» Марины Темкиной, книга, прочно связанная с американской (или даже сугубо нью-йоркской) традицией. «Интенсивная работа над драматизмом подтекста», которую отметил Юрий Милорава в одном из предисловий к книге Гальберштадт (второе написала Полина Барскова), исключает поверхностность, быстроту и беглость впечатлений, точнее, само слово «впечатления» несовместимо с речью кочевника, с ее сбивчивостью и неспешностью, с вынужденной отстраненностью и неизбежным выталкиванием говорящего, выражаясь по-цветаевски, «в себя, в единоличье чувств». Эти стихи сторонятся наносного и бутафорного, даже когда, казалось бы, беспристрастно каталогизируют окружающий мир:

О, где же красота которая должна спасти мир,
В день страдания, страха, тревоги о будущем
В день ипохондриков и маниакально-депрессивных
Стеснительных, страдающих от низкой самооценки,
Неуверенных в себе и просто некрасивых,
Дважды разведенных и брошенных любимыми
Наркоманов, алкоголиков, игроков,
Клептоманов, анорексиков и булимиков
Женщин тратящих всё на шмотки
Пока мужья трахают их лучших подруг,
Секретарш и просто знакомых.

Не менее «каталогичен» и Нью-Йорк в «Оде Нью-Йорку», и Кони-Айленд в одноименном стихотворении, литературный и музыкальный уклон которого, по правде, приводит к составлению списка совсем иного порядка и наполнения – *культурного*. Мир в стихотворениях Гальберштадт неизменно намеренно неоднороден. Причиной этому можно считать не столь попытку отражения нашей разносоставной реальности, сколь доминирующую на этих страницах мысль, достаточно четко выраженную в процитированном выше стихотворении: о потребности в красоте – потребности, обостренной трагедией, несовершенством, изъянами, а порой и откровенным уродством:

Иммигрантские дети играли в прятки
в пыльных коридорах
в то время как проститутки
поднимались с клиентами
из ООН третьего мира на пятый этаж.

Или такой соединительный штрих: «Иммигрантская солидарность – евреи празднуют рождество / закусывая пекинской уткой и Чоу Фан».

Для поэта не менее ценно и важно сопряженное с красотой, острое чувство свободы, зачастую спровоцированное изгнанничеством, выкорчеванностью, одиночеством и неминуемым безразличием среды и ландшафта:

Господи, благослови Нью-Йорк за безразличие
Прохожих которым по х-ю
За возможность быть здесь кем угодно.
Тут не нужно пытаться залатывать пропасти
Пытаться сшивать разные миры друг с другом
Прятаться в крепости из книжек и фантазии.

Но вот парадокс: поэт занят собственно сшиванием миров, латанием пропастей... Только происходит это подспудно, почти ненароком, естественно и, возможно даже, вопреки каким-то эстетическим целям (в скобках замечу, что естественность зачастую и не предполагает осознанной целенаправленности). «Стихотворение не пишется», – говорит поэт, – и оно действительно не пишется, да и сам разговор о «писании» таких стихов равнозначен бессмысленному разговору о том, что жизнь (не)живется, любовь (не)любится, смерть (не)умирается. Эти стихи пишутся сами собой, иногда – на полях, в виде комментария к проживаемому, причем условная инертность такого письма исключает автоматизм; их невозможно задумать, а затем исполнить и изложить, им можно лишь подчиниться; их можно записать, но их нельзя выдумать. Любопытна следующая деталь:

Гальберштадт нередко озаглавливает свои тексты фразами, будто вырванными из разговора, или черновыми дневниковыми пометками («В Вильнюсе летом очень приятно», «Так бывает только впервые», «Длинное стихотворение про Вильнюс»). Примечательно название одного из семи разделов книги: «Просто и понятно». Здесь мгновенно вспоминается повторяемое толстовскими персонажами в «Смерти Ивана Ильича» утверждение о том, что жизнь должна быть «легка и приятна»; или, как иронизирует Гальберштадт: «Формула счастья / как хлеб проста». Разумеется, посыл у книги, как и у гениальной повести классика, прямо-таки противоположный, и мнимую, сторонящуюся формальных изысков простоту (доходчивость?) не следует приравнивать к простоте содержательной или смысловой. Это та простота, которой, пожалуй, нет ничего сложнее:

Уравнение было простым
супер понятным
жизнь которая не сложилась
а могла бы
и смерть
которая сделала все по плану.

«Transit» – книга об одновременных, синхронных, взаимосвязанных понятиях – легкости и тяжести бытия. Сборник построен на тех же, по сути, контрастах, о которых говорилось выше: красоты и уродства, отстраненности и вовлеченности, мнимого холодка наблюдателя и полной погруженности соучастника. Память, оказывается, может быть немилосердной и, в то же время, щадящей, она обладает не только ранящими, порой убийственными, но и целебными свойствами. Неслучайно в стихах Гальберштадт мелькает образ «больного», выходящего из «полукоматозного» состояния. Это – книга *блуждающей* памяти: «римские каникулы», Вена, проводы в Вильнюсе, детство, молодость – и вдруг уже *постиммиграционный* Нью-Йорк… Таким образом, композиция книги отображает плутания памяти, она намеренно не упорядочена, подвижна, зигзагообразна. Каждая деталь в этих стихотворениях служит связующим звеном, скрепляющим стежком, всё – повод для воспоминания и, следовательно, для восстановления. В «Transit» снова и снова возникает образ путника, хоть иной раз речь идет о скрытых внутренних путях, в равной степени тернистых:

Потребность в забвении постепенно
превратилась в потребность запомнить,
отдать дань памяти об умерших родственниках
среди них – о стодвухлетней прабабушке
которую по какой-то непонятно причине

было необходимо убить
до того как я родилась.

Парадоксальна свобода, сравнимая с «диковинным цветком» в груди, как парадоксально и неожиданно чудо, не требующее объяснений, как необязательны и излишни рифма, ритмическая строгость, упорядоченность пунктуации, унификация прописных и строчных, линейность композиции, логичность выводов и прочее – сковывающее. Зачастую в конце пройденного (прожитого) отрезка возникают то вышеупомянутые ежеминутно раскрывающиеся, наполненные воздухом, веющие пастернаковской «выпиской из тысячи больниц» цветы, то дождь после духоты венецианской выставки «с душком», то неприступная крепость «из книжек и фантазий», то никем не обещанный свет в конце темного туннеля «иммиграция тире развод», то синяя вязаная шапка, сжатая в отпустивших тебя руках, – какой по-детски беспомощный, отчаянный жест! Оказывается, что забывать «слова не на одном, а на трех языках» – неслыханная роскошь, дар судьбы – равно как и ее удар. А у избранничества, как видим, есть своя, и отнюдь не волшебная, изнанка:

Распятый еврей
в набедренной полосатой
повязке из таллеса
взирает сверху
на избранных
скитаться
избранных страдать.

Невозможно предугадать, что вдруг откроется взгляду, – «то ли ворота, то ли лес», – эхом названию транзитной гостиницы в период «венских каникул», выпавших эмигрантам 70-80-х. Сшиваются времена и поколения, страны и языки; в русские тексты вклинивается синтаксическая калька с английского, вроде «никогда гладко» (к менее удачным хочется отнести сочетание «органические хлопья», пожалуй, понятные лишь русскоязычному американцу), или фразы на литовском, как, например, в «Длинном стихотворении про Вильнюс», – но и остранение способствует *всесовмещению*. Взаимосвязь проявлена и в авторской склонности к самоцитате – чтобы акцентировать и не забыть; так, в разных стихотворениях образы иногда повторяются, например, рисующая акварелью горилла в венском зоопарке, или из совсем другой плоскости – несуществующие евреи Вильнюса… Трагедия – а следовательно, и память о ней – всё объемлет, всё совместит, даже несовместимое, антагонистичное; она сравнима с костром, на котором сжигают одновременно «библию и гитлеровский Mein Kampf».

«Transit» – своего рода кадиш по прошлому (как не вспомнить здесь

Аллена Гинзберга, которого автор чтит, – при этом не наследуя его тяги ни к разрушению, ни к обнажению, ни к срыву в разверстое). Эта черта с особенной яркостью проявляется в замечательном «Длинном стихотворении про Вильнюс». «Свое» в данном тексте передано через ощущения отчужденности и, в то же время, открытости, и такая *равностепенность* разноречивых понятий к концу «длинного» и не отпускающего стихотворения, наконец, сводит к минимуму формальное разделение на «свое» и «чужое». Люди не совпадают и отдаляются друг от друга не в целом и не в деталях, как принято считать, а в силу пресловутых ничего не говорящих «общих мест», которые в настоящей книге отсутствуют начисто.

Книга «Transit» тактильна и зрима, ее фоны и ландшафты объемны, как бывают выпуклы и рельефны добротные театральные декорации. Нет, речь не о декоративности per se, а скорее о жизненной драматургии – в шекспировском понимании. Города и веси в сборнике – тоже искусство, ценные артефакты: есть здесь и «готика и барокко», кружевная «ювелирка готических игл», «готические дворы» Вильнюса; и «бриллиантовая брошка», «Jew-велирка», и ар-деко Нью-Йорка; и пейзажи Кватроченто в римских пригородах; и «эстетично разрушающиеся стены» Венеции, ее воистину «декадентское тление»; и «романтический свет» от Витебска до Парижа… Любопытно, что чем короче разрыв, тем больше перемен открывается взгляду странника, и, напротив, длительность отсутствия «замыливает глаз» и по возвращении многое кажется незыблемым, неизменным. Длительность и расстояние располагают к объемности панорамы, к взгляду «в целом», в то время как краткость разлуки подталкивает к всматриванию в мельчайшие детали, безделушки и мелочи – всегда, разумеется, относительные. Отдельные здания в этих городах-музеях, городах-ларчиках – цвета «свернувшейся крови», «роскошной кожи», темных оттенков, с облупившимися фасадами; так архитектура города исподволь говорит нам о горожанах, стены дома – о людях, некогда живших в них. Но «декорации» – также и фон, необходимый для соположения с «действом». Как там сказано у А. Городницкого о родном городе? – «Здесь русская трагедия идет / На фоне европейских декораций!»

Трагедия в книге Анны Гальберштадт – еврейская, русская, литовская; личная и всеобщая, гулкая и раскатистая. Но при этом – посильно смиряемая, сдерживаемая приглушенной интонацией, замедленным и неровным шагом идущего:

Вид улицы ночной, печальной и пустой,
сжимает горло.
Я поворачиваю влево, чтобы не пересекать тот сквер,
где я фотографировалась с папой
после окончания восьмого класса.

А синагога старая с небом голубым и облаками белыми
на потолке,
открыта ли она еще?
Мама заказывала там кадиш по погибшим родственникам.
Можно ли мне заказать там кадиш по моему детству?

* * *

М. Л. Гаспаров. Записи и выписки. Издание третье. – М.: Фортуна Эл, 2016. – 352 с.;
Ольга Балла. Упражнения в бытии. – М.: «Совпадение», 2016.

Книга известного российского филолога Михаила Леоновича Гаспарова «Записи и выписки» вышла в свет в 2001 году и вызвала множество споров, примечательная часть которых касалась не значения книги, которое по своему жанровому охвату, тематическому наполнению и своеобычному стилю неоспоримо, а собственно определения самого жанра книги. Одним из наиболее метких из предложенных критиками определений можно назвать отрицающее любую классификацию – «нежанр» (термин В. Курицына), но, пожалуй, еще точнее трудноопределимый жанр книги обозначил сам автор, вынеся его в название: «Записи и выписки». Книга намеренно фрагментарна, мозаична, неоднородна; под ее обложкой соединены в единый текст цитаты и авторская реакция на них, ассоциации и комментарии, афоризмы и определения, сны и наблюдения, литературные анекдоты и окололитературные истории («словарные» разделы «От А до Я»), воспоминания о семье, детстве, студенческих годах, коллегах и литераторах, а также ответы на вопросы анкет и интервью (биографический раздел), эссе о филологии, критике и обществе (раздел эссеистики) и, наконец, очерки, связанные со стиховедением, переводами, семиотикой (раздел очерков и переводов). Однако любая попытка четкого жанрового или тематического дробления «Записей» заведомо обречена: несмотря на разносоставность, разделы книги тесно спаяны – как личностью Гаспарова, так и узловыми темами профессионального и социального значения, к которым автор неизменно возвращается, о чем бы ни велась речь, – это и язык, и связь античности с современностью, и понятия «вкуса» или «знания» (заметим, что последнему противополагается не «невежественность» как таковая, а осознание ограниченности всякого знания, его относительности и неполноты – воистину сократовский посыл), и, наконец, понятия «текста»: концептуальная метафора «жизнь как текст» – одна из центральных в книге.

«Записи и выписки» интересны не только высказанными мыслями и идеями, но и демонстрацией этих идей, так называемой *наглядностью* содержания, как сказали бы формалисты; есть в этом писательском опыте дюжая толика научного эксперимента: Гаспаров пишет о всеохватности и тут

же показывает читателю, как достигается эта всеохватность (посредством расширения жанровых границ, освоения чужих текстовых пространств, например, или же тематически, соединяя частное с профессиональным, или же стилистически, смешивая личностные интонации с намеренно отстраненными); пишет о конспективности и незамедлительно предоставляет «конспективно» выполненные переводы, в которых рифмы опущены, а оригиналы значительно сокращены; пишет о том, что жизнь есть текст (центральный мотив книги), и предлагает нам такой текст, где жизнь предстает во всем своем многозвучии.

«Учить я не могу, а могу только ‘показывать, как я делаю, и побуждать делать иначе’», – цитирует Гаспаров С. Аверинцева, соглашаясь с ним. Примеров такого подхода – от мысли к подтверждающему ее примеру – в «Записях» чрезвычайно много, и почти каждое утверждение, высказанное на этих страницах, предстает неким ответвлением, которое готово широко разрастись. Возьмем, к примеру, понятие «конспективности», соотносимое не только с научно-творческим методом, но и с человеком, сознательно выбравшим его: человек конспектирующий – это и человек-исследователь, мыслитель, и человек-студент, вернее было бы сказать – вечный ученик, мастер, не перестающий быть мастеровым, учитель – учеником… Посему так примечательна многомерность самого Гаспарова, предстающего перед читателем одновременно в нескольких проекциях – частной, читательской, профессиональной, социальной. И если подобная многоплановость и ее осмысление побуждает нас отнести книгу к одному из литературных образцов постмодернизма (невзирая на отношение автора к этому направлению), пусть будет так. Но, возможно, верно и то, что такой тип человека (и следовательно, его жизненный текст), которым предстает автор «Записей», существовал всегда, до всевозможных «пост», – но «человекотекстом» он вышел из-под пера Гаспарова. Речь идет о том типе интеллигента, жизненная миссия которого проявляется в служении «хранителем у алтаря культуры», а посильное сохранение цивилизации становится главным законом выживания – как отдельно взятого человека, так и человечества в целом. Книга Гаспарова складывается сама собой, собирается из разнородных фрагментов, копится по мере накопления опыта, книжного и жизненного, по мере формирования реакции на него; сказать, что «книга пишется» для автора равнозначно бессмысленному утверждению вроде «жизнь живется» – бессмысленному в силу очевидности и естественности процесса. Кажется, будто Гаспаров несколько раз говорит нам «ceci n’est pas une pipe», по аналогии с известным полотном Магритта и, дальше, с книгой Фуко, точнее, «ceci n’est pas un livre» («это не книга»), в то время как мы держим в руках законченное произведение, многостраничный том в твердом переплете. Разве это не то же, что помещенная в раму трубка французского сюрреалиста? Чем не постмодернистский ход?

«Записи и выписки», собственно, и начинаются с двух эпиграфов, соответствующих постмодернистскому видению мира: о соавторстве цитируемых и прочитанных (Стендаль) и о том, что прочитанное составляет биографию человека (Мандельштам). Такое видение прослеживается через всю книгу Гаспарова: жизнь отдельного человека и общества в целом, культура и история – все является текстом. «Если наша жизнь не текст, то что же она такое?» – этот, вполне риторический, вопрос Р. Тименчика появляется на первых страницах книги, а все следующее за ним представляется своеобразной попыткой ответа на него. Но Гаспаров также берет слегка другой уклон, и под этим углом жизнь (читай: текст) видится не законченным продуктом и результатом труда – двойного труда, писательского и читательского, – а процессом, то есть жизненным/текстуальным движением. Здесь речь не столь об активном читателе (автор как раз против наложения читательского опыта на литературный и за посильное отстранение от личного; читатель представляется ему зеркалом, причем, непременно кривым), сколь о писателе – знак равенства: читателе, – не домысливающем свое, не читающем между строк, чему нас настойчиво учат в школе, а о человеке, создающем свой текст из прочитанных, творящем «свое» через постижение «чужого» или посредством «переупаковки чужого», как где-то полушутя роняет Гаспаров («Только таким подражательством я и учился всю жизнь.»).

Такой подход как нельзя точно совпадает с профессиональными интересами филолога, знатока античности, стиховеда. Гаспаров пишет о том, что дешифровка любого текста должна касаться всех доступных контекстов – биографического, исторического, бытового, культурного, лингвистического, жанрового и т. д. Не это ли ключ к прочтению «Записей», вкладываемый автором читателю в руки? Ведь настоящая книга представляет собой как сплав вышеперечисленных контекстов, так и, пользуясь определением ее автора, своеобразное «практическое развертывание концепции». Гаспаров будто бы находится где-то по центру между крайними полюсами, при этом двигаясь в двух направлениях одновременно. Посему так примечательна антидогматичность любого его высказывания, учитывающего и логику, и чувственную одухотворенность, но не тяготеющего к главенству иррационального над рациональным. Посильное стягивание полюсов – до точки: «Что я делаю там, в той точке, где скрещиваются лучи? То, что делает переключатель на стыке проводов» (эссе «Обязанность понимать»). Это не совсем то, что М. Эпштейн называет «альтернативным сознанием», хотя тоже опирается на принципы дополнения и отстранения, но не отсекая и преодолевая, а объемля и усваивая. Согласование, расширение, акцентирование, сопоставление, систематизация и выявление нового – все это составляет научно-творческий подход Гаспарова, проистекающий из понимания текстового характера культуры.

Движение зачастую предполагает преодоление материала, препят-

ствий на пути, стены, пролегающей между людьми, языками, культурами. Отчасти роль таких «препятствий» в «Записях» выполняют противоречия, которыми наполнена книга – в высказываниях о патриотизме или о любви, например, вообще обо всем чувственном (любопытно, что в «непрофессиональных» оценках Гаспарова превалирует эмоциональный окрас: «скучный Фет», «хаотический Бальзак», «удушающий Пруст»). Любая требующая разгадки тайна для Гаспарова имеет несколько возможных решений. И дело не в отсутствии позиции, а во всеохватности взгляда, ибо если автор и отрекается от чего-либо, то только от себя и своего. «Я существую только по попущению общества. <…> единственное мое заведомо личное право – умереть с голоду. Все остальные права – дареные», – это горькое и трезвое признание говорит о конкретном месте и времени и о зыбкости – не позиции говорящего, а факта его существования. Самоотречение как способ бытия прежде всего важно для открытости, без которой невозможно понимание чужого и дальнего; оно, согласно Аверинцеву, сравнимо с «шансом дышать ‘большим временем’ вместо того, чтобы задыхаться в ‘малом’». Гаспаров пишет о необходимости отдаления «от взгляда изнутри к взгляду издали», отказа от «недоказуемых постулатов вкуса». Кажется, мало кто из коллег-филологов до него (возможное исключение – Аверинцев) с такой настойчивостью говорил о посильном избавлении от субъективного, об отстранении не как о залоге объективного видения, в принципе невозможного, но как о залоге понимания литературы, искусства, культуры в целом, как о «фундаменте взаимопонимания» между эпохами.

Тихое служение – так можно означить избранный Гаспаровым подход, ставший своего рода профессиональной и жизненной задачей. «Скромный толмач», – называл автор Аверинцева, в значительной степени характеризуя этим словосочетанием и самого себя. «Записи и выписки» – книга о самоотречении через науку и самоутверждении через творчество; ее стилистическая и жанровая эклектичность, тематическая многослойность и, не в последнюю очередь, духовная открытость ее автора внятно подтверждают это впечатление.

По сути, многое из того, что мы привыкли принимать за конечный «продукт», за набор неоспоримых измышлений, за строго оформленный результат, является процессом – то вширь, то вглубь, – будь то культура, историческое время, литературный текст, литературное течение (ведь даже авангард автор определяет как одну из «попыток переработки усвоенного», а Парфенон рассматривает как образец модерна в прошлом), сама истина, наконец, или же, из менее обобщенных понятий, – образование. К слову сказать, последнее, по мнению Гаспарова, является непрерывным освоением предыдущего опыта, созданного до нас. Отсюда гаспаровский интерес к живой античности, чрезвычайно насущной, в которой он видел «не лавку древностей, не коллекцию книг и картин, а способ существования», как

писал М. Айзенберг в эссе «Вне образа и подобия» по несколько другому поводу.

Писать о популярной книге, выдержавшей три издания, в свое время удостоившейся весьма подходящей ей премии Андрея Белого, книге, вызвавшей широчайший читательский и критический отклик и породившей несколько гипотез относительно того жанра, в котором она выдержана, нужно с осторожностью: есть вероятность повтора, невольного попадания в чужой след. Пожалуй, есть смысл говорить главным образом с двух связанных между собой позиций – личного резонанса и резонанса во времени, то есть говорить собственно о третьем издании, о том, какое отношение эта книга имеет ко дню сегодняшнему. «Записи и выписки», как и любое другое классическое (в смысле вневременное, всевременное и, добавлю, обязательное) произведение, современна и актуальна. Например, «расчлененный» на четыре разрозненных и, в то же время, неразъемных части – что придает книге некоторое композиционное сходство с музыкальным произведением – раздел словарных подтекстов «От А до Я» стилистически напоминает «фейсбучные посты», емкие и резонансные, – таковы гаспаровские выписки и комментарии к ним, иногда предельно сжатые, иногда более развернутые. Или же более конкретный пример: когда автор цитирует кем-то произнесенные, по всей видимости, на полном серьезе, слова «вон Анна Каренина семь раз переписывала ‘Войну и мир’», невольно думаешь о недавней киноинтерпретации (восьмом переписывании?) великого романа К. Шахназаровым; и чуть ниже, уже из Ходасевича, о том, что, по-видимому, скоро придется организовывать «общество людей, читавших ‘Анну Каренину’»… Есть в книге и мысли, приложимые к сегодняшней политической ситуации – о «стихийных массовых социальных сдвигах», например, или о роли языка в политических конфликтах… К слову о многогранности: автор «Записей», «ученый муж», нередко предстает человеком с тонким чувством юмора (в одной такой шутливой связи даже упомянут «Новый Журнал»). Примечательна и авторская ирония, усмешка над собой, проступающая повсеместно, к примеру, в эпиграфе, предваряющем один из «цитатных», что важно, разделов о раздражающем эффекте изобилия цитат (из Набокова), – но Гаспаров как раз неизменно «платит по векселям». Его шутливые или ироничные приписки, заметки на полях, иногда обнесенные скобками, не ослабляют серьезности сказанного: «Я – временно исполняющий обязанности человека (звучит ли это гордо?)». Жизнь-текст-труд – не цепочка скрепленных дефисом понятий, а три в одном, неразъемное, сгущенное до предела целое.

Всё есть труд – непреложность этого утверждения, как ни парадоксально, подтверждается в автобиографических очерках Гаспарова. Труд как преодоление: одоление нарушенного цветового восприятия систематическим многолетним посещением Третьяковки, отсутствия слуха – походами в кон-

серваторию, и только боязнь толпы и напористость «самого грубого из искусств», выражаясь по-цветаевски, помешала регулярным походам в театр. Гаспаров пишет и о борьбе (трудом!) с собственной чувственной «невосприимчивостью», которую он, несомненно, преувеличивал. Автобиографические очерки Гаспарова написаны густым и скупым языком. О своем детстве, о родителях автор пишет ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы впечатление от плотного, но преднамеренно интонационно сдержанного текста было не менее действенным, чем от детального, подпитанного отступлениями и прочей лирикой, которой он всячески сторонится. И если возникает смутное чувство нехватки, значит, автор не ошибся: недостача – не порок, избыточность – вот изъян. Отсутствие выводов, недосказанность, паузы представляются чем-то вроде намеренных щелей, необходимых то ли для воздуха и дыхания, то ли для глубоко сокрытого, чему автор не позволяет выйти на поверхность: «Я пишу не о себе, а о своих словах, поступках, записанных мыслях, смотрю на себя как на объект, подлежащий реконструкции. А не о внутреннем своем, которого я не помню или довыдумываю». Гаспаров вообще сторонится оценочности взгляда, любого морализаторства, иезуитства, которое способно нанести больший вред, чем собственно недосказанность (вспоминается цветаевское утверждение о Гоголе, сжегшем второй том «Мертвых душ»: «Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого.»).

Айзенберг называет подобный стиль «медленным письмом» (эссе «Чтение как проблема»), закономерно связанным с соответствующим ему типом чтения – тоже медленным, «когда сознание читающего отвечает ритмическим импульсам текста, ищет в нем свое подобие – живую, эластичную ткань, а та по ходу дела становится соприродна то мысли, то переживанию, то телесному движению или мускульному усилию». Вряд ли Гаспаров «одобрил» бы такое – вовлеченное – прочтение; вспомним его видение читателя как кривого зеркала; ведь он настаивал на необходимости изучения не собственного зеркального изображения читающего, а строения объекта, поставленного перед ним; его материал, форму, фактуру; однако полное отстранение, к которому стремится автор, и невозможно, и противоестественно: на каком-то этапе, учитывая законы оптики, мы, вольно или невольно, непременно замечаем в зеркале собственное лицо, склоненное над объектом. Чтение, как бы мы ни сопротивлялись и ни отгораживались, представляется инструментом не только познания мира, но и самопознания. Если текст тождественен жизни, то попытка понимания устройства текста приравнена к попытке понимания жизненных механизмов, ходов и нюансов, главных действующих лиц...

Сам Гаспаров представляется человеком медленного действия, скрупулезного, дотошного, для которого оттенки и детали не менее важны, чем цельность картины, общность посыла или сюжетостроение. Его педантич-

ность подчас кажется гипертрофированной: так, при просмотре кинофильма Гаспаров сетует на отсутствие брошюрки, по типу театральной программки, но в более расширенном варианте, в которой бы указывалось, на какие кадры и приемы следовало бы обратить внимание; или еще эпизод: автор пишет о той радости, которая охватывает его при столкновении с примерами автоматического письма у Пушкина, Блока или Ахматовой, потому что усматривает в этом «привычку», механистичность, больше от наработанного, чем от снизошедшего свыше, а труд для него всегда оказывался понятнее, ближе и надежнее стихийного вдохновения; и если автор чему-то и завидовал, то не таланту человека, а его трудолюбию. «Герой труда» – говорила Цветаева о чтимом Гаспаровым Брюсове, – эти слова мы вправе повторить и о самом Гаспарове. Такой подход профессионала, не терпящего дилетантизма и не доверяющего себе («третьестепенный стиховед», «мертвый, хоронящий своих мертвецов» – вот несколько примеров его жесткой самохарактеристики), возникает и складывается не в силу мнимой невосприимчивости, а именно из недоверия себе.

В интернете размещена анкета, некогда предложенная сотне «экспертов», в которой литераторы разной степени известности перечисляют имена десяти лучших, по их мнению, поэтов; примечателен ответ Гаспарова: «Как ученый я занимаюсь фактами, а не оценками, а как читатель я слишком мало уважаю свой вкус, чтобы его оглашать». В «Записях и выписках» автор приводит слова Аверинцева, смысл которых, несомненно, разделял: «Кончая лекцию, мне всегда хочется сказать: а может быть, всё совсем наоборот». Кстати, с Аверинцевым его сближали не только любовь к слову, не только сходство темпераментов, не только внутренняя упорядоченность (и порядочность; в ответе на вопрос о том, что стало бы для автора самым большим несчастьем, Гаспаров ответил: «Совершить подлость»), общность душевного склада, но и необоримое чувство сомнения в собственной правоте. Непреходящему ощущению собственной неправоты и невежественности – вот чему следует учиться у Гаспарова, – самодисциплине, сдерживанию, укрощению человека в профессионале и исследователе. Инструментом такой самодисциплины для Гаспарова стала наука: если от описанного у Овидия эпизода падения Икара перехватывает горло, необходимо переключиться на ритмику, на звук, на синтаксис, на проверку гармонии алгеброй, где алгебра отчасти выполняет функцию щита и глушителя... Наука стала средством защиты от повышенной (sic!) восприимчивости: «Красота с детства пугала меня, на нее было больно смотреть, как на солнце». В одной из анкет Гаспаров пишет, что, если бы существовал выбор, то хотел бы снова быть человеком, а в интервью на похожий вопрос отвечает, что предпочел бы стать камнем. Он был тем и другим: говорил и писал о том, о чем, казалось, ему было что сказать (человек), а о том, о чем сказать было невозможно, умел молчать (камень). Ему не составляло усилий при-

знать – «я не умею», «я не имею права», «это не в моей компетенции», поскольку избавление от эгоцентризма способствует пониманию «другого»: быть камнем, чтобы быть человеком. Лишь исключительно отзывчивый человек способен говорить о недостаче доброты в самом себе, потому что наличие добра прежде всего сообщает человеку ощущение его катастрофической нехватки.

Пожалуй, дневниковая форма «записок», в которой выдержаны разделы «От А до Я», являющиеся по сути четырьмя вариациями одного и того же раздела, способствует воспитанию чувства слова – в лапидарности заметок ощутим его удельный вес, его смысловая емкость и точность. Книгу Гаспарова я читала почти параллельно с другой, тоже написанной в формате записей и комментариев, тоже концентрированной и сжатой, почти «карманной», как полушутя окрестил ее сам автор. Речь о книге литературного критика Ольги Балла «Упражнения в бытии», по стилю более лиричной, местами даже исповедальной (без ошеломляющей интимности, разумеется), чем книга Гаспарова, но, в сущности, близкой отдельным ее разделам, поскольку в обоих случаях просматривается попытка упорядочения мыслей, определений, наблюдений… Книга Балла, безусловно, интонационно отличается от гаспаровской, она пишется от первого лица, и ее читатель оказывается лицом доверительным, одним из посвященных во внутреннюю – насыщенную, динамичную, плотную – жизнь пишущего. Гаспаров же проступает «сквозь текст», иногда почти вопреки ему; здесь гораздо меньше прямых «я», больше (само)иронии, кажется, будто гаспаровское «я», опираясь на мысль, преодолевает и исповедальность, и лирику. Закономерно, «герои» этих книг тоже разные: у Балла – открытый, вверяющийся, у Гаспарова – нарочито отстраненный, сдержанный, но несуетные искания, чувство сомнения в сказанном, доброжелательность как определяющее по отношению к миру качество и определенная внутренняя несогласованность, собственно и подталкивающая к поиску, сближают их. Для одного жизнь представляется духовным усилием, в то время как для другого – по большей части культурным. Для обоих важно чувство связи с «другим», но если у Балла превалирует мысль о человеке, то у Гаспарова – о слове человека, о тексте «другого». При этом обе книги хочется причислить, пользуясь определением Балла, к «романам с бытием, с жизнью, с книгами, с другими людьми, с <…> собой». Оба автора пишут о сродных вещах, но делают это по-разному, – об «иллюзии завершенности», например, или о «механизмах свободы», или же о степенях – свободы в несвободе, света во мраке, тепла в холоде, счастья в несчастье, веры в неверии и даже истины во лжи… Возникает любопытный эффект от этих двух, параллельно читаемых книг, причем, не общее, а несходное создает вожделенное ощущение сбалансированности, будто тяжесть и легкость бытия уравновешены совокупностью разных взглядов на него. «Чужой текст – это интен-

сивная, насыщенная среда для самостоятельной жизни», – Балла оформляет опыт в емкое определение: Гаспаров наглядно «демонстрирует» определение озвученными примерами. Балла ведет свой текст, Гаспаров ведом чужим текстом («Мое дело – додумывать чужие мысли. Но ведь в этом и состоит культура?»). Разница этих двух правомерных линий объяснена Гаспаровым в эссе «Критика как самоцель», в котором он говорит о том, что критика – это наука забывать, а филология – наука помнить; критика отвечает на вопросы, поставленные в произведении, филология эти вопросы восстанавливает. Однако оба – и критик, с характерным для него усилием высвобождения, и филолог, занятый противоположным по своему уклону усилием накопления, – заняты реконструкцией, «производством опыта», по определению Балла. Примечательно, что по совокупности, если отсеять слова, связанные с профессиональными интересами Гаспарова (такие как «перевод», «наука», «диалог», «вкус», «стиль»), наиболее часто упоминаемым словом в «словарных» разделах «Записей и выписок» оказывается слово «бытие» (и с чуть меньшей частотой совсем, казалось бы, для него неожиданные – «дети», «любовь», «старость», «смерть», «жизнь»).

«Записи и выписки» Михаила Гаспарова и «Упражнения в бытии» Ольги Балла предназначены для медленного и многократного чтения. Видится логичным подвести условную черту под откликом об одной книге цитатой из другой, косвенно связанной с ней, ведь и чтение, и письмо, и разговор о тексте – бесконечный, не имеющий финального разрешения, но и не бесплодный процесс: «Каждая прочитанная книга – совершенно независимо от того, в какой мере мы согласны с тем, что там написано, насколько взволновал нас ее предмет, насколько это вообще нам интересно и близко – становится нашей записной книжкой: слепком с того времени нашей жизни, когда мы ее читали, с того состояния, в котором читали. На нее – вполне невольно и во многом незаметно – липнут наши личные смыслы. Она ‘улавливает’ нас, закрепляет нас в себе. Поэтому перечитывание неминуемо становится перечитыванием самого себя». (О. Балла, «Упражнения в бытии»)

Марина Гарбер, Лас-Вегас

Марк Уральский. Неизвестный Троцкий: Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны / Серия «Прошлый век. Воспоминания» // Пред. С. Гардзонио; с приложением статьи «Памяти И. М. Троцкого» Я. М. Цвибака (А. Седыха). – Иерусалим – Москва: «Гешарим / Мосты культуры». 2017. – 702 с.

Издательство «Гешарим – Мосты культуры» возникло давно, еще при советской власти, в 1990 году, и считается теперь старейшим в России еврейским издательским предприятием. Не только старейшим, но и наиболее заслуженным: за последовавшие годы оно сумело выпустить, как в

России, так и в Израиле, множество заметных книг по истории российского еврейства, русско-еврейских отношений и, в частности, культурных связей между двумя народами. Теперь издательство выпустило новый том, пополнивший эту обширную библиотеку.

Новая книга представляет собой подробное изложение жизни и творчества одной из не то чтобы совсем «неизвестных», а скорее, из не слишком известных, однако примечательных фигур русско-еврейской литературы, журналистики и общественной жизни. Герой повествования Минахем Элияху (на русский манер – Илья Мордухаевич или, чаще, Маркович) Троцкий родился, как и его без всяких оговорок знаменитый коллега-антагонист Лев Троцкий, в 1879 году на территории современной Украины (а именно – в Ромнах Полтавской губернии), пребывал, как и тот, уже с 1900-х в эмиграции, зарабатывал, как и тот, журналистикой, приобрел в России известность, публикуя зарубежные корреспонденции в московской газете «Русское слово» Ивана Сытина, – по оценкам авторитетных экспертов, «самой распространенной и самой осведомленной газете русской» (Венгеров), «наиболее осведомленной из газет во всех отношениях» (Суворин) и с середины 1900-х годов «самом крупном по финансовым оборотам ежедневном издании России» (Боханов). Когда же разразилась Первая мировая война и в России рухнул старый режим, он не вернулся на родину, в отличие от своего известного земляка, а остался за ее пределами, продолжил там активно выступать в прессе, преимущественно русскоязычной, заниматься общественной деятельностью, сменив при этом множество стран пребывания (из Австрии переехал в Германию, затем жил в Дании, вновь в Германии, позднее в Бельгии, во Франции, в Голландии, Швейцарии, Аргентине, наконец в США), сумел реализоваться если и не сполна, то в большой мере, и завершил свои дни в Нью-Йорке в 1969-м.

Автор его жизнеописания Марк Уральский известен своими сочинениями в жанре (по его же собственному определению) «документальной беллетристики», а также исследованиями в области истории культуры, в частности, целым рядом содержательных публикаций о том же Илье Троцком в разных зарубежных и российских сборниках и периодических изданиях. Крепкий профессионал и, кроме того, энтузиаст своей темы, Уральский сумел выяснить в деталях и убедительным, в общем, образом продемонстрировать читателям, кем же был его герой в действительности. Исследователь смог обнаружить и представить своим читателям архивные и печатные материалы, безвозвратно, как казалось многим, отошедшие в небытие.

Журналистская профессия и общественная деятельность дали Илье Троцкому возможность знакомиться и содержательно общаться затем со многими видными представителями отечественной и мировой культуры – такими, как нобелиаты Бунин, Бьернсон, Гамсун, Гауптман, Льюис,

Пиранделло или их не увенчанные нобелевскими лаврами коллеги Адамович, Алданов (один из основателей «Нового Журнала»), Альтенберг, Брандес, Дон Аминадо, Дымов, Жаботинский, Зудерман, Келлерман, Куприн, Стриндберг, Шницлер. «Илья Троцкий, – справедливо констатирует его биограф, – образно выражаясь, играл роль ‘живого моста’, соединявшего в начале XX в. скандинавскую, австро-германскую и русскую культуры». В другом месте автор книги о Троцком подчеркивает: «На протяжении полувека он был деятельным посредником между литературами России и Скандинавии, осуществляя деловые контакты русских писателей со скандинавскими издателями и критиками, представляя русскому читателю информацию ‘свидетеля времени’ о литераторах скандинавских стран».

Разумеется, уже поэтому публицистическое, мемуарное и эпистолярное наследие «неизвестного Троцкого» являет собой богатый фонд исторических фактов, оно представляет собой в совокупности немаловажную часть обширной документации по истории российского Серебряного века и эмиграции из России трех «волн»: предреволюционной, «первой» и даже «второй» (то есть периода Второй мировой войны). В частности, переписка Троцкого, представленная в настоящей книге, раскрывает интеллектуально состоятельной части русскоязычной аудитории целый ряд эпизодов, существенных для понимания обстоятельств и результатов деятельности ключевых фигур российской эмиграции и эмигрантской культуры, рассказывает о перипетиях становления еврейского сообщества в Латинской Америке, свидетельствует о непростой жизни выходцев из России по обе стороны Атлантики.

Книга позволяет увидеть, что «неизвестный» Троцкий был не только предприимчивым и влиятельным общественным деятелем своей эпохи, энергичным литературным функционером, усердным благотворителем, достойным уже за свои многочисленные добрые дела благодарной памяти потомков, – но и добросовестным свидетелем грандиозных событий, случившихся на его веку и непосредственно у него на глазах, а также вполне самостоятельной творческой величиной, литературные достижения которой имеют право на внимание новейших читателей. Хотя биограф и характеризует его как «вполне заурядного очеркиста, без особых аналитических, метафизических или идейных амбиций», многие сочинения которого «не содержат тонких психологических характеристик, ярких, запоминающихся образов». Это, представляется, излишне строгая оценка: обильно цитируемые биографом тексты Троцкого разных лет позволяют не согласиться с ней; надо помнить, кроме того, что в сытинском «Русском слове» посредственностей не держали. Гораздо более справедливым выглядит другое замечание Уральского о том, что его герою были «присущи и цельность мировидения, и твердость убеждений, и пусть не ‘брильянтовый’, однако собственный, узнаваемый и располагающий к себе литературный стиль».

То, что тексты Троцкого представлены его биографом в большом количестве и больших объемах, щедро, иногда по несколько страниц подряд, непосредственно или в подробном, близком к тексту пересказе, – пожалуй, достоинство книги. Однако логичным продолжением этого достоинства становится тот недостаток, что некоторые фрагменты повторяются (как, например, мемуар Троцкого о Зудермане и Толстом).

Увы, не удалось исследователю избежать и неточностей. Скажем, упомянутое во второй главе столичное «крайне правое суворинское ‘Новое слово’» – в действительности газета «Новое время», ни «крайне правой», ни даже «консервативной» (как утверждает на другой странице автор монографии) в тогдашней России вовсе не считавшаяся. Напротив, она позиционировала себя как издание «прогрессивно-националистическое» и, как умела, старалась поддерживать свою репутацию «русской ‘Таймс’», «трибуны мнений». Можно вспомнить, что именно из «Нового времени» многие россияне смогли обстоятельно узнать о европейском литературно-художественном модернизме; там же появились некогда тексты Буренина, Вентцеля (более известного современникам как Бенедикт и Юрьин) и князя Волконского (известного также как Анчар Манценилов), опознанные позднейшими исследователями как ранние образцы «литературы абсурда», и, например, рождественская «детская сказка» «Революция домашних животных» некоего Барона Эн, трансформировавшаяся сорок лет спустя в антиутопическую повесть «Скотный двор» Оруэлла.

Есть в книге и другие ошибки. Московская «Русская мысль» была, вопреки странной обмолвке автора монографии, не газетой, а толстым ежемесячником. Упомянутый биографом Троцкого «московский Суворинский (иначе: Малый) театр» – ложное соединение двух разных зрелищных заведений: московского Императорского Малого театра и петербургского (петроградского) частного Малого театра (или, иначе, Театра Литературно-художественного общества, Театра Суворина, Суворинского театра), труппа которого долгое время работала в том здании на набережной Фонтанки, которое называлось первоначально Апраксинским театром и в котором располагается теперь Большой драматический театр имени Товстоногова. Частный Театр Незлобина едва ли правильно называть московским, поскольку эта антреприза постоянно работала не только в Москве, но также в Петербурге (Петрограде) и Риге. Издававший энциклопедические справочники петербуржец Ефрон почему-то стал в книге Эфроном, «танцующий философ» Волынский, по паспорту Флексер, – Флекснером, сионист Пасманик – Пасманником. Другой автор, печатавшийся под псевдонимом Жак Нуар, почему-то, вопреки принятому в книге порядку, не назван по своему паспортному имени: Яков Окснер. Один из германских приятелей Троцкого именуется то Хюзлером-Хезлером, то Хюльзеном-Хеслером, то Хюльзеном-Хеселером; известный еврейско-австро-германо-американский

режиссер Райнхардт – то Рейнгардтом (что, впрочем, представляет собой традиционное русское искажение, распространено в литературе и потому, можно считать, допустимо), то Рейнгардом (что, конечно, неверно). Нью-йоркский Бахметевский архив напрасно упоминается автором как Бахметьевский, а кочевавшее по разным городам «Издательство З. И. Гржебина» – как «Издательство З. И. Гржебин». Подготовленная писателем-знаньевцем С. И. Гусевым (более известным как Гусев-Оренбургский) «Багровая книга» об украинских погромах 1919 года была опубликована не «буквально по горячим следам», как сказано в монографии, а лишь спустя немало лет после ее создания в результате не вполне выясненных пока, но явно непростых событий. Сам Гусев описал в июле 1922-го историю этого сборника – в «Справке», напечатанной затем в первом, малотиражном харбинском его издании, – следующим образом: «Настоящая книга [была мной] составлена по материалам ‘Комитета помощи пострадавшим от погромов’ при Российском Красном Кресте, в г[ороде] Киеве. / Использованы материалы по совету и с разрешения председателя ‘Комитета помощи’, известного общественного деятеля, примыкавшего к [антибольшевистскому] ‘Союзу Возрождения России’, Николая Ивановича Ильина. / Пролог составлен по данным доклада Ильина. Первая часть – по докладам и отчетам с мест. Вторая и третья части – по протоколам опроса пострадавших и свидетелей погромов. / Книга писалась спешно, при Деникине в г[ороде] Киеве, под звуки обстрелов и гул погромов; заканчивалась в разгаре эвакуации в Ростове. / Книга преследовала цель абсолютно объективного исследования. Первоначально предполагалось, что книгу издаст ‘Союз Возрождения России’, но разгром деникинского добровольческого движения помешал этому: два года книга лежала под спудом. / Впоследствии Госиздательство в Москве приобрело ее, но ввиду предупреждения, что она увидит свет только через несколько лет, пришлось взять ее обратно. Книга [была затем] приобретена книгоиздательством Гржебина в Берлине, где должна была выйти под редакцией и с предисловием М[аксима] Горького, но второй год лежит без движения. / В настоящее время она выпускается ‘Дальневосточным Еврейским общественным комитетом помощи сиротам – жертвам погромов’ в Харбине, который приобрел право на одно издание». Весь доход от реализации тиража был предназначен для жертв погромов 1919 года. Первое же российское издание появилось спустя еще год, в 1923-м, – в Петрограде (в качестве места издания была указана Москва), под маркой Госиздата, но с указанием, что оно было «исполнено издательством З. И. Гржебина», с измененным заглавием – «Книга о еврейских погромах на Украине в 1919 г.», в редакции «буревестника революции» и с его же «предисловием», помещенным в конце многострадального сборника.

Кроме того, вызывает недоумение безоговорочная поддержка исследователем некоторых более чем дискуссионных утверждений его героя.

Например, автор монографии принимает как безукоризненные мнения Троцкого, будто с середины 1910-х годов «верность союзническим обязательствам» России перед государствами Антанты и «война до победного конца» были единственно возможным и благим для страны политическим выбором, что поборники независимости или хотя бы автономии Финляндии, Украины и Кавказа были «антирусскими элементами», а выражение ими их вполне обоснованных взглядов было не более чем «разглагольствованиями». Современный читатель может возразить на все это; едва ли должна считаться верной система представлений, ставшая одной из немаловажных причин возникновения двух мировых войн, крушения в 1917 году российского государства и последовавших затем в надорвавшейся стране ужасов коммунистического режима.

Перечисленные нами детали, однако, не влияют на общую весьма положительную оценку труда Марка Уральского об Илье Троцком. Более заметный недостаток книги – не очень внимательная работа ее литературного редактора, пропустившего немало таких выражений, как «менее многочисленная группа». Не редкость здесь, увы, и слова-паразиты типа «буквально», и мало уместные просторечные обороты («попал под раздачу», «валом валили»), и чрезмерно громоздкие для «документальной беллетристики» многоступенчатые пассажи вроде такого: «...в ‘Заграничных откликах’ был напечатан текст телеграммы на имя <...> адвоката, защищавшего Бейлиса на процессе, подписанный группой российских еврейских литераторов, проживавших в то время за границей <...>, в котором в частности говорилось <...>». Обращает на себя внимание и откровенно небрежная работа корректора, сумевшего, например, уже в кратком – хотя и содержательном – предисловии С. Гардзонио не заметить неверное (WordORT) написание названия поддержавшей выпуск монографии о Троцком организации «Всемирный ОРТ» («Образовательные ресурсы и технологический тренинг», World ORT).

Надо надеяться, при переиздании этого добросовестного и полезного труда все досадные упущения будут устранены.

Евгений Голлербах, Санкт-Петербург

Н. В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии. 1902–1920 / Серия ВМБ – Наше недавнее; вып. 1. – М.: Русский путь, 2016. – 464 с.

«...Один из существенных способов сохранить связь с прошлым – собирать письменные воспоминания старых людей, независимо от того, досталась ли им в жизни заметная историческая роль или рядовая. Всякий человек, кто долго жил, был непременно свидетелем или участником неповторимых событий, происшествий, обстоятельств, и доносит до нас какую-то хоть частицу, а часто целые пласты, – эмоционального воздуха

эпохи. Языка, быта, людских наружностей и психологии.» Так писал в 1983 г. Александр Исаевич Солженицын, предваряя первую книгу из созданной им серии «Всероссийская мемуарная библиотека. Наше недавнее». Никто и представить не мог, что скоро начнется перестройка и необозримое наследие эмиграции хлынет на родину. Хотя Александр Исаевич в самые непростые годы все равно сохранял веру, что обязательно вернется в Россию.

Великий писатель огромное значение придавал сохранению памяти российских изгнанников. Дважды, сразу после высылки из СССР в 1974, а также в 1977, он обращался к эмиграции с призывом писать воспоминания и присылать их ему. Тогда то, что эти свидетельства когда-нибудь пригодятся в новой России, казалось, в лучшем случае, утопией. И кто мог представить, что это собрание воспоминаний станет основой огромного научно-просветительного центра Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына, ныне одного из главных символов Таганской площади в Москве.

Собирая мемуары, Александр Исаевич решил также начать их издательскую серию. Первой книгой в 1983 г. стали записки Николая Владимировича Волкова-Муромцева «Юность. От Вязьмы до Феодосии. 1902–1920». Впоследствии книга эта была переиздана в 1997 в московском издательстве «Русский путь». И вот в 2016 году она опять увидела свет.

230 километров от Москвы по Минскому шоссе. С одной стороны – поворот на Вязьму, с другой – на музей-заповедник «Хмелита». Место, где прошли детские годы Грибоедова и где сегодня стараниями замечательного подвижника, реставратора, ученика великого Петра Дмитриевича Барановского*, Виктора Кулакова во времена застоя был создан музей-усадьба автора «Горя от ума».

Долгие годы после революции и Гражданской войны имение пребывало в запустении. В конце 1960-х, когда за ее восстановление взялся Кулаков, от него оставались лишь сгоревшие стены. А ведь когда-то это была одна из самых известных усадеб Смоленской губернии. После Алексея Федоровича Грибоедова, послужившего прототипом Фамусова, имение переходило из рук в руки, пока его не приобрел сподвижник Столыпина Петр Александрович Гейден. В усадьбе Гейдена «Хмелита» и вырос его внук, Николай Владимирович Волков-Муромцев. Там прошло благословенное детство, оттуда он перебрался в большевистскую Москву. Его чуть не расстреляли на Лубянке, дальше был Юг, участие в Добровольческой армии и эмиграция в Англию. Там он сумел окончить географический факультет Кембриджа, воевал с нацистами, а на старости лет обосновался в Кентском графстве, где создал свою ферму.

---

* Барановский П. Д. (1892–1984), основатель музея в Коломенском и Музея им. Андрея Рублева в Андрониковом монастыре. Считается, что в свое время именно он выступил против уничтожения и тем спас храм Василия Блаженного.

Когда Солженицын прибыл в Лондон, Волков-Муромцев отправился к нему в отель и предложил свою рукопись воспоминаний. Она была совершенно не готова к изданию. Наталья Дмитриевна Солженицына взялась за приведение ее в порядок, и в 1983 книга Н. В. Волкова-Муромцева открыла серию «Всероссийской мемуарной библиотеки».

Воспоминания Николая Волкова-Муромцева – это ярко, сочно выписанная история его первых лет жизни в имении родителей, начала анархии во время Первой мировой, странствий по охваченной войной России, описание заключения в Лубянской и Бутырской тюрьмах, картины жизни в Крыму во времена Врангеля и горького жребия изгнания в Турции. Воспоминания обрываются 1920-м годом.

Порой просто поражаешься памяти мемуариста. Он рассказывает о старике Прокопе, водовозе, который еще помнил, как в «Хмелиту» в 1812 г. вошел со своими гвардейцами Мюрат, о том, как мирный и спокойный ритм провинции постепенно подтачивала война, о мешочниках и дезертирах, заполонивших Россию. Четко, ясно выписаны месяцы, проведенные в большевистских тюрьмах и портреты тех, кому так и не удалось выйти на волю, – офицеров, интеллигентов, дворян, расстрелянных за свое происхождение. Он пишет о товарищах по Белой армии, о разломе прежней жизни.

«От Вязьмы до Феодосии» кому-то могут напомнить «Доктора Живаго». Мощное полотно вздыбленной страны, трагедия бесконечного горя и, в то же время, непоколебимая уверенность автора в будущем России. Которая никогда не покидала Волкова-Муромцева, узнавшего в конце жизни, что его «Хмелита», как град Китеж, снова воскресла.

* * *

Лейб-гвардии Конная артиллерия в боях и операциях Великой войны. – М.: Вифсаида: Русский путь, 2016. – 368 с.

В октябре 2014 представители Объединения потомков офицеров лейб-гвардии Конной артиллерии под руководством Кирилла Владимировича Киселевского (ныне, к сожалению, уже ушедшего) дарили Дому Русского Зарубежья свой архив. Полтора десятка томов объемом в 500 листов, аккуратно переплетенных. Собрание документов Общества взаимопомощи офицеров лейб-гвардии Конной артиллерии в Париже, описанных офицерами-эмигрантами под руководством генерал-майора, Великого князя Андрея Владимировича. В отличие от большинства архивов русского рассеяния, зачастую чудом уцелевших в пожарах, переездах и войнах, материалы были оформлены и обработаны на самом высоком уровне.

Среди этих бумаг Игорем Домниным, исследователем русской военной эмиграции, заместителем директора Дома, были обнаружены воспоминания Великого князя Андрея Владимировича. На полях Первой мировой князь командовал лейб-гвардии Конной артиллерией; потом, после револю-

ции, каким-то чудом избежав расстрела в Кисловодске, он жил во Франции. Андрей Владимирович занимался широкой благотворительной деятельностью и был почетным председателем Союза измайловцев, Русского историко-генеалогического общества и, конечно, Общества взаимопомощи офицеров лейб-гвардии Конной артиллерии.

Несколько фрагментов мемуаров князя Андрея в свое время увидели свет в Париже на страницах небольшого эмигрантского издания «Парижский вестник». Однако новая рукопись, обнаруженная в архиве, оказалась намного более полной. Именно она, наряду с мемуарами полковника Владимира Сергеевича Хитрово «Поход в Восточную Пруссию» и произведением офицера Бориса Аркадьевича Лагодовского «3-я батарея Лейб-гвардии Конной артиллерии 1914–1917 гг.» стала основой большого, прекрасно подготовленного тома «Конная артиллерия в боях и операциях Великой войны 1914–1917 гг.» Для работы над томом понадобились серьезные источниковедческие изыскания. Рукопись полковника Хитрово была найдена в США, в архиве Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, труд Бориса Лагодовского – в собрании, переданном в Дом Русского Зарубежья.

Книга изящно оформлена, снабжена иллюстрациями, в основном – фотографии авторов сборника с их боевыми товарищами на полях Первой мировой (из архива Объединения, публикуются впервые). К книге приложен DVD со схемами военных действий и краткий исторический очерк лейб-гвардии Конной артиллерии, составленный К. В. Киселевским.

Эти труды русских офицеров, написанные в Париже более полувека назад, имеют огромное значение для историков Первой мировой. Так, скажем, Восточная Пруссия в сознании многих прежде всего связана с трагедией армии генерала Самсонова. Однако в работе Хитрово можно найти сведения и о других соединениях, в том числе и о дивизиях генерала от кавалерии хана Гуссейна Нахичеванского. Полковник Б. А. Лагодовской, воскрешая имена своих товарищей, писал: «Я верю в то, что кровь известных и бесчисленного количества неизвестных героев в рядах лейб-гвадии Конной артиллерии, обильно пролитая на полях сражений Аустерлица, Бородина, Лейпцига, Балкан и многих, многих боев Великой войны, не будет забыта Армией Возрожденной России». – Слова, которые можно взять эпиграфом к этой, вне сомнения, выдающейся книге.

* * *

Солженицынские тетради: Материалы и исследования. Вып. 5. – М.: Русский путь, 2016. – 376 с.

«Мне все время не хотелось, чтобы Вы включались в здешний срам и блуд, в здешнюю кровавую муть, потому что я понимаю, что значит жить внутри своей книги и каково выходить из нее наружу, когда она все еще не окончена и все-таки уже виден конец. Но я понимала, что, пребывая в беде,

‘читающая Россия’ ждет Вашего голоса и вправе рассчитывать на отклик.» – Так писала Лидия Корнеевна Чуковская за океан Александру Исаевичу Солженицыну вскоре после выхода его знаменитого трактата «Как нам обустроить Россию». На дворе стоял 1990 г., все рушилось, а полуслепая героиня русского сопротивления тотальной советской системе лжи продолжала писать Солженицыну. Уже не таясь.

Их переписка началась в 1967 и не прервалась в 1974 после высылки писателя из СССР. С надежными людьми они передавали свои послания через границы – без всякой уверенности, дойдут или нет. Оба были великими воинами за правду и ничего не боялись. В своих письмах спорили о путях России, о религии и Церкви, о предательстве прежних товарищей. Переписку эту, сохранившуюся до наших дней, подготовили к печати незабвенная Елена Цезаревна Чуковская и Наталия Дмитриевна Солженицына.

Пятый выпуск «Солженицынских тетрадей» (читатели «Нового Журнала» имели возможность познакомиться с моими рецензиями на предыдущие выпуски) представляет читателям завершение этой огромной публикации. Выборочно представлены письма с 1980 по 1993. Потом, когда писатель вернулся в Россию, надобность в переписке уже отпала. Хватало телефона и личных встреч.

Публикация эта потрясающе злободневна – такой в ней звучит нерв современности! «Вероятно, у Вас верное ощущение, что сила зла у нас (в СССР. – *В. Л.*) давит, как никогда. Но и здесь (на Западе. – *В. Л.*) разложение, разврат и падение духа никогда еще не были такими крайними. Очевидно, спасение человечества, если оно возможно, – на каких-то новых, третьих путях. И во всяком случае – не на бескрайней идеологии ‘прав человека’, как говорят диссиденты и Сахаров тоже: нельзя говорить о правах, упуская обязанности, – человечество тут же и рассыпется. ‘Идеология прав человека’ – это давно знакомая нам анархия.» Палитра вопросов, по которым спорили Александр Исаевич и Лидия Корнеевна огромна, и, уверен, без этой переписки уже никогда не обойдутся историки русской общественной мысли XX века.

Другая «жемчужина» Солженицынского наследия, которая ждет читателя, – это его доселе не публиковавшийся очерк об Анне Ахматовой. Писатель вспоминает свое восхищение, как он торопился к ней на встречу осенью 1962 г. и как все-таки не сказал, что работает над «Архипелагом ГУЛаг». Он слишком боялся говорить о главной тайне своей жизни: «Скорбно: великому соотечественнику, современнице, такому большому, понимающему сердцу – и не открыться: нельзя», – писал Солженицын впоследствии.

Пятые «Тетради» были изданы, когда уже отпели и похоронили на Сен-Женевьев-де-Буа одного из ближайших друзей и соратников Александра Исаевича – Никиту Алексеевича Струве, главного редактора издательства YMCA-Press, исследователя русской культуры и православия,

человека, благодаря которому человечество узнало «Архипелаг ГУЛаг» и «Собачье сердце». В изданной книге можно прочесть удивительное письмо, которое Никита Алексеевич Струве отправил Александру Исаевичу и Наталье Дмитриевне в ноябре 1990 года. Тогда в Государственной библиотеке иностранной литературы состоялась выставка книг YMCA-Press, и до конца не верящие в это чудо москвичи могли спокойно брать в руки книги Бердяева, о. Сергия Булгакова, Набокова и др. Никита Алексеевич впервые оказался в России, которой служил всю жизнь, и в большом развернутом письме-отчете описал Солженицыным Москву времен перестройки, общество разброда и, в то же время, возвращения ранее запрещенных духовных основ, прежде всего – православия.

Гениальные люди, как известно, втягивают за собой в бессмертие тех, кого они встречали на жизненном пути. «Солженицынские тетради» представляют судьбы двух российских инженеров-самородков. Одного из них, изобретателя экологических электростанций Александра Горлова, в 1971 г. чуть не убили за помощь опальному писателю. Другой – Владимир Васильев, которого Александр Исаевич однажды встретил на необозримых просторах ГУЛага. О Владимире Александровиче, гидротехнике и гидрографе, благодаря которому были орошены засохшие пустыни Семиречья, Солженицын писал в «Архипелаге». Судьба Васильева также стала основой для замечательного рассказа Александра Исаевича «Как жаль».

Можно долго писать о новом выпуске этого издания. Здесь и фундаментальная статья о восприятии писателя в Польше, и его переписка с другим изумительным мастером прозы – Валентином Распутиным, и материалы скульптора Дмитрия Шаховского, автора памятника над могилой Солженицына в некрополе Донского монастыря... Открытие бездонного мира, созданного Александром Исаевичем Солженицыным, и мира, который его окружал, продолжается.

Виктор Леонидов

Матич О. Записки русской американки: Семейные хроники и случайные встречи. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 584 с.: ил.

Белым движением и эмиграцией я интересуюсь вот уже двадцать лет. Как у многих, знакомство с темой для меня начиналось с мемуаров (не скрою, что до сих пор это мой самый любимый жанр). Но неожиданно пришло время, когда воспоминания стали писать представители не первого, а уже второго поколения эмиграции. К нему смело можно отнести Ольгу Борисовну Матич, урожденную Павлову, известного литературоведа из Калифорнии. Об известности Ольги Борисовны можно судить не только по ее многочисленным исследовательским работам в области славистики, но и по приглашениям на радио, а в 2006 г. об О. Матич российский телеканал НТВ снял фильм.

Записки разбиты на две части. В первой Ольга Борисовна описывает свою многочисленную родню: Шульгиных, Пихно, Билимовичей, Павловых, их сложные отношения и порой трагические судьбы. В результате читатель может не только почерпнуть много интересных деталей о *той* эпохе, но увидеть известных людей глазами родственника. Например, знаменитый В. В. Шульгин предстает не политиком, а скорее, мечтателем, жаждущим путешествий и открытий. Стоит отметить, что воспоминания Матич вышли вслед за переизданием публицистического наследия В. В. Шульгина* и позволяют сравнить Шульгина-политика и Шульгина-родственника. Не менее любопытно узнать, что ветви семьи Шульгиных выбрали разную идентификацию – русскую и украинскую (Сс. 92-97). Впрочем, не следует пересказывать подробности, которыми изобилует книга.

Вторую часть мемуаров Ольга Борисовна посвятила своим друзьям. Как правило, ими были уже не «старые» изгнанники и их дети, а советские литераторы, составившие третью волну эмиграции (В. Аксенов, А. Синявский, Э. Лимонов и другие) и американские интеллектуалы. В результате на многие проблемы О. Матич смотрит русским, американским или даже советским взглядом, временами подвергая своих друзей критике. Именно критике, а не сведению счетов, которыми часто страдают мемуаристы. Это, несомненно, является достоинством работы. К положительным сторонам издания также следует отнести большое количество ссылок на архивы разных стран (масштабное историческое исследование!), где проживали описываемые лица, и наличие иллюстраций.

Трудно найти в рецензируемой работе недостатки, но они есть. Например, донской атаман А. П. Богаевский (с. 183) был избран на этот пост в 1919 г. и не мог проживать в занятом красными Петрограде. Пожалуй, к изъянам следует отнести частый переход с одной темы на другую. Возможно, такова была задумка автора?

Однако «Записки» не ограничиваются одним описанием событий. Так, Ольга Борисовна постоянно обращается к семейной памяти, к своей двойной идентичности (русская она или американка?); на примере отца размышляет о возвращении белых в Россию…

В заключение хочется сказать, что чтение этих мемуаров привело рецензента к неожиданному выводу. Так, Ольга Матич – родственница известных деятелей эмиграции (уж не говоря про семейно-дружеские связи с Красновыми, адмиралом Шевелевым, художницей Киселевой, семьей Струве и Набоковым), дочь добровольца Белой армии; ее семья проживала в Югославии, Германии, США – крупных центрах русского рассеяния, была связана с НТС и кадетами, а сама Ольга была скаутом-разведчиком. Таким образом, в судьбе автора отразилось почти все многообразие Русского Зарубежья. И политическое, научное, и молодежное, и военное с литературным. Поэтому я бы сравнил «Записки русской американки» с мас-

штабным трудом Р. Б. Гуля «Я унес Россию». Без сомнения, книгу Ольги Матич можно назвать «энциклопедией русской эмиграции».

А. Ю. Вовк

---

* *Шульгин В. В.* Россия, Украина, Европа: избранные работы / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. А. В. Репников. – М.: Содружество «Посев», 2015; *Шульгин В. В.* 1920 год. Очерки. Три столицы / Сост., авт. вступ. ст. коммент. и прим. А. В. Репников. – М.: Содружество «Посев», 2016.

Анна Иделевич. Вспять реки ДНК. – Нью-Йорк: «Либерти», 2017.

Я думаю, роман Анны Иделевич можно охарактеризовать строкой Тютчева: «Как сердцу высказать себя?» Намерения автора полностью ей соответствуют. Но читателя, полагаю, больше интересует не столько авторская интенция, сколько авторский ответ на содержащийся в строке вопрос. Попробуем разобраться.

В романе об ученых, точнее, о биологе Марке Вайнберге, который задался целью найти «эликсир бессмертия», а говоря современным языком, – код ДНК, отвечающий за конечность человеческой жизни, главным героем, тем не менее, становится не он. Главной героиней книги, наполняющей ее трепетом чувства и жизни, осмысляющей ее, оказывается Аэлита Ландау, его коллега. Таким образом, первое место в этом поединке мужского и женского начал отдано женщине, ее мечте о вечной любви. Это предпочтение (помимо самой стилистики) сразу же определяет гендерную принадлежность романа.

Оправданно или нет, но понятие «женская проза» стало сегодня одной из дефиниций литературы. Критики пишут о ее специфике, рассматривают ее особенности, отмечая как недостатки, так и достоинства, присущие текстам прекрасной половины человечества. Замечу мимоходом, что само это словосочетание – «прекрасная половина», как и понятие «Прекрасная Дама», на мой взгляд, в наше время безнадежно пропахли нафталином. Женщина как гарант будущей жизни, как сподвижник и помощник мужчины – вот основная роль главной героини романа Иделевич.

Однако «Вспять реки ДНК» – не семейный роман. Это роман о взаимодействии мужчины и женщины не столько и не только в любовном дуэте, сколько в интеллектуальном партнерстве; роман о мужских и женских приоритетах, о вечном двигателе жизни, который каждый из них понимает по-своему: Марк – как поиски кода ДНК, способного обеспечить человеку реальное бессмертие, Аэлита – как поиски бессмертной любви, что в ее сознании и есть залог вечной жизни.

Это главная тема романа. Утопия ли это? Возможно. Фэнтези? Тоже возможно. К таким выводам приходишь, размышляя хотя бы над самим именем героини. Это имя заимствовано из одноименной повести А. Толстого и

принадлежит марсианке. На мысль о фантастике наводит и то, что, будучи в сомнамбулическом (или, по диагнозу врачей, – шизофреническом) состоянии, Аэлита каким-то таинственным образом получила клочок пергамента с непонятным набором букв и цифр, – вероятно, генетическим кодом бессмертия. Эти «непонятности», пожалуй, наиболее уязвимы в романе, но их легко прощаешь автору за многие достоинства и за поставленный в романе глобальный вопрос: а нужно ли нам бессмертие? За поэтичность и несомненное обаяние героини. За нескончаемые разговоры, обнаруживающие незаурядные интеллектуальные возможности героев и тем самым вовлекающие и читателя в интеллектуальный дискурс. Читатель не только следит за перипетиями сюжета, но и невольно мысленно принимает участие в философских спорах героев. Это безусловные плюсы романа. К плюсам же можно отнести и отсутствие вульгарных любовных сцен. У Иделевич они целомудренны, как и в классической литературе.

Конечно, нельзя не сказать о языке романа. Возьмем хотя бы начало книги: «Южный берег острова Оаху погрузился в густой серебристый туман, словно мерцающая монета, брошенная на дно фонтана. Облако зацепилось кормой за бархатные вершины гор и повисло в сомнении, никак не решаясь пролиться дождем на едва пробудившийся город». Уже по этим строчкам можно догадаться, что Иделевич пишет стихи. Плохи они или хороши, в данном случае, не столь важно. Важно другое: она мыслит как поэт.

Сюжет ее романа чрезвычайно прост. Двое молодых людей – Марк и Аэлита – случайно встречаются при восхождении на Фудзияму. Совместное преодоление нелегкого пути сближает их. И если они поднимались на гору попутчиками, то спускаются с нее уже людьми близкими. Однако первое совместное преодоление трудностей – не последнее, что их сближает. Выясняется, что они коллеги, любят литературу, особенно поэзию, не чужды философии. К тому же, оба родились в СССР, но выросли и получили образование за границей (как и сама Анна Иделевич). Тут, вероятно, уместно заметить, что Иделевич, будучи по профессии биологом и работая в Гарварде, предпочитает писать по-русски. Это довольно редкий случай, когда дети эмигрантов сохраняют верность языку страны, где родились.

Но вернемся к роману. Иделевич отказывается от линейного повествования. Ее герои довольно часто предаются своего рода литературным медитациям. Так, в текст вплетается рассказ о родителях Аэлиты, об их неудачном браке. Но поскольку рассказ этот никак не связан с самой героиней и не влияет на сюжет, его можно посчитать вставной новеллой, написанной, кстати, с большой психологической достоверностью.

Другая «новелла» посвящена чудовищному цунами, обрушившемуся на Северо-Курильск в 1952 году. Формальный повод для появления в романе этой вставной главы – землетрясение, застигшее Аэлиту в Японии. Но в

отличие от картин землетрясения, где преобладают описания, картина цунами воссоздана на столь высоком художественном уровне, что можно с уверенностью говорить: писательский потенциал Иделевич достаточно высок, от нее можно ждать в будущем освоения новых, литературных, Фудзиям. («Вспять реки ДНК» – это дебют прозаика.)

Наконец, третья новелла, наиболее связанная с внутренним сюжетом романа, ключевая, – это история пророка Моисея, которую рассказывает дед Марка. Рассказ деда – апокриф. В нем есть персонаж по имени Крам (анаграмма имени Марк). Крам, как и Моисей, во избежание смерти, был положен матерью в корзину и пущен по течению реки. Из реки его выудил рыбак; он его и воспитал. Но однажды Крам узнал историю Моисея, столь похожую на его собственную, и вознегодовал на то, что судьба обделила его славой. В ответ старый рыбак говорит ему следующее: «Вот глядишь ты на Моисея и кажется тебе, что счастливей его нет на свете. А быть может, он на самом деле Божий раб. Покорный и прирученный, словно домашний осел. И когда его седлают, он идет туда, куда его зовут. Ступает там, где прикажут. Беспрекословно и слепо внимает указаниям, заветам и урокам, сходящим к нему свыше, не смея возразить или хотя бы осмыслить их суть. Но не равняй себя с ним... С рождения тебе отведено то, что не дано другим, невиданная, первозданная сила – сила собственной воли!» Дед как бы предостерегает внука. За избранность человек платит чрезвычайно высокую цену – теряет свободу выбора. Мысль сама по себе очень любопытная, но, к сожалению, не получившая должного развития в книге.

Говоря о романе, нельзя забыть о третьем его герое – Роберте Старке, с которым Марк знаком с детства. (Кстати, именно он и рассказывает Аэлите об их с Марком детстве в Израиле и пересказывает притчу о Моисее.) Роберт тоже биолог. Обстоятельствами он вовлечен в судьбу Аэлиты и Марка. Любовный треугольник? Если угодно, да. И все же читателю, когда он закроет последнюю страницу, остается самому домысливать, как сложатся взаимоотношения героев книги. Иделевич оставляет читателю простор для размышлений.

Роберт – антипод Марка. В отличие от Марка, он не ставит перед собой головокружительных научных задач, не ведет отшельнический образ жизни, не чурается комфорта. Собственно, в романе он стал бы штампом благополучного научного работника, если бы... если бы не Аэлита, к которой он явно неравнодушен. Так, шаг за шагом высвечивается роль Аэлиты, читай – женщины, как облагораживающего жизнь начала. И как сдерживающего.

Увлеченный фантазиями, обуреваемый честолюбием, Марк готов принести в жертву своей работе не только комфорт и респектабельный образ жизни, но и любовь. Да, он достиг определенного успеха в своих поисках. Рыбы, над которыми экспериментирует руководимая им лаборатория, живут теперь в десять раз дольше, чем жили раньше. Но, говорит Аэлита,

«‘эти рыбы ведут себя странно... Марк, я боюсь, что рыбы будут жить уже всегда. Но только не так, как следует, не так, как положено Богом. Понимаешь, они перестали... Ну... в общем, они потеряли интерес’. – ‘К чему потеряли?’ – начиная удивляться, переспросил Марк. – ‘Друг к другу, – ответила она. – Они охладели, Марк. Ко всему! Плывут, едят, прячутся в водорослях, ютятся на дне, но они не создают потомство. Они обходятся сами собой. Им никто больше не нужен. Марк, мы не можем применять это на людях. Это слишком рискованно’... – Марк рассмеялся в голос. ‘Это исключено, – ответил он. – Чего именно ты боишься? Того, что люди перестанут делать детей? Этого не произойдет.’ – ‘Я боюсь, что люди перестанут друг друга любить’, – потерянно отвечает ему Аэлита».

Потерянность ее настолько велика, что влечет за собой нервный срыв. В больницу, где лежит Аэлита, стремительно врывается Марк. Он бледен, взволнован, он боится ее потерять, ему кажется, что для него нет ничего и никого дороже ее. И он шепчет Аэлите: «Тихонько, не спеши... В нашем распоряжении все время во Вселенной». Так заканчивается роман, оставляя читателю возможность домыслить дальнейшую судьбу героев. По авторскому замыслу, по горячему, чисто человеческому побуждению, роман в целом и его концовка, в частности, должны убедить читателя, что герои будут жить вечно и любить вечно. Что ж, оптимизм – прекрасное качество души. Но, боюсь, иногда он вступает в противоречие с законами литературы. И потому ответ на тютчевский вопрос, я думаю, дан другим писателем – А. Толстым: «Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей Вселенной, зовя, призывая, клича, – где ты, где ты, любовь?..» На мой взгляд, героев не ждет ни вечная жизнь, ни вечная любовь... Это вытекает из всей логики характера Марка, выстроенного Иделевич и подчеркнутого многими авторскими комментариями, вплоть до последнего: «Предвкушение грядущего успеха настолько будоражило рассудок, что в последние дни Марк мог думать лишь о том, как совсем скоро он окажется на той заоблачной высоте, которая не снилась даже богам Олимпа». Так может ли любовь победить честолюбие? Вопрос остается открытым. Решать читателю.

Ксения Кукина

ОБ АВТОРАХ

АЖГИХИНА Надежда (1960, Томск). Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет журналистики в 1982 г., кандидат филологический наук. Старший преподаватель ф-та журналистики МГУ. Работала в «Огоньке», «Независимой газете», Союзе журналистов России. Ведущая рубрик и авторских колонок в «Журналисте» и «Новом вторнике». Вице-президент Европейской федерации журналистов. Автор и редактор 19 книг о современной культуре, развитии СМИ, правах человека и гендерных проблемах. Живет в Москве.

БАКУНЦЕВ Антон Владимирович (1973, Таллинн). Окончил факультет журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Автор более 120 научных работ, в т. ч. сб. «Авторское право на произведения литературы в Российской империи. Законы, постановления, международные договоры (1827–1917)» (2005), монографии «И. А. Бунин в Прибалтике: Литературное турне 1938 года» (2012).

БЕЛЯЕВ Александр. Поэт, член Американского ПЕН-центра, лауреат международного поэтического конкурса Atlanta Review – обладатель приза International Merit Award Poetry 2016, автор нескольких поэтических сборников на русск. и англ. языках (Россия, США).

ВОВК Алексей Юрьевич (1984, Москва). Окончил МПГУ. Кандидат исторических наук. Автор статей на темы Русского Зарубежья. Учитель истории. Работает в ГБОУ Лицей № 1574, Москва.

ГАЛЬБЕРШТАДТ Анна. Поэт, член Американского ПЕН-центра, лауреат международного поэтического конкурса Atlanta Review – обладатель приза International Merit Award Poetry 2016, автор нескольких поэтических сборников на русском и английском языках, вышедших в России и США. Живет в Нью-Йорке.

ГАРБЕР Марина (Киев). Поэт, эссеист. Магистр искусств, преподаватель английского, итальянского и русского языков. Автор четырех книг стихотворений (последняя – «Каждый в своем раю», 2015). Поэзия, проза, переводы и критические очерки публиковались в журналах «День и ночь», «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литеrrатура», «Нева», «Новый Журнал», и др. Эмигрировала в США в 1989 году, долгое время жила в Европе. В настоящее время живет в Лас-Вегасе.

ГЕЛЬБАХ Игорь (1943, Самарканд). Окончил физический факультет Тбилисского университета. С 1989 г. жил в Мельбурне (Австралия), затем в

Тель-Авиве (Израиль). Автор книг прозы на русском языке: «Признания глиняного человека», «Утерянный Блюм», «Показания Цаплина», «Очертания Грузии», две из них переведены на английский язык. Повесть Игоря Гельбаха «Играющий на флейте» номинирована на Русского Букера в 1994 г. Лауреат премии им. Марка Адданова за лучшую повесть Русского Зарубежья (2012).

ГОЛЛЕРБАХ Сергей Львович (1923, Царское Село). Художник, эссеист. Действительный член американской Национальной академии дизайна, член Общества акварелистов, Общества художников Одюбон и др. общественных организаций США. Автор книг «Заметки художника», «Жаркие тени города», «Мой дом», «Свет прямой и отраженный», «Нью-Йоркский блокнот», «New York on My Mind», «From a Personal Point of View». Живет в Нью-Йорке.

ГОЛЛЕРБАХ Евгений (1963, Южно-Сахалинск). Историк, литературовед, кандидат фил. наук. Автор книг «Трепетный провокатор: О прозе Андрея Синявского», «Распространение русской печати в мире: 1918–1939 гг.», «К незримому граду: Религиозно-философская группа ‘Путь’ (1910–1919)», «Книги революции: Государственный книжный фонд как инструмент советской культурной политики между двумя мировыми войнами», «Хлеб да соль: Из истории российского германофильства: Петербургское издательство ‘Пантеон’ в преддверии I Мировой войны» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

ГОРЯЧЕВА Юлия Юрьевна. Междисциплинарный специалист. Окончила факультет журналистики МГУ и магистратуру Норвичского университета (США). Работала в журнале «Иностранная литература» и в «Независимой газете». Сотрудничает с отечественными и зарубежными изданиями. Член Союза журналистов Москвы. Автор книг по истории Русского Зарубежья: «Афон. Форт-Росс. Русское дело» и «Новая Россия – соотечественники Зарубежья: единое культурное пространство».

ГУДКОВ Лев (1946, Москва). В 1971 году окончил факультет журналистики МГУ; доктор философских наук. Ведущий научный сотрудник Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 1991–2003 – заведующий отделом теории, позднее – отделом социально-политических исследований ВЦИОМ. С декабря 2006 – директор Левада-Центра. Автор книг и статей по теории и методологии социологии, социологии литературы, этнонациональных отношений, по социальным проблемам постсоветского общества. Живет в Москве.

ГУСАЧЕНКО Андрей Сергеевич (1982, Ростовская область). Имеет высшее экономическое образование. С 1984 года живет в Риге. Студент магистрантуры Латвийского университета, факультет истории и философии. Пишет на

темы истории Русского Зарубежья, русской межвоенной Латвии, Белого движения.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор книг стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романа «In Search of Van Dyck»; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology». Печаталась в «Гранях», «Континенте», «Встречах», в НРС и др. Главный редактор ж. «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present» (США). Ее стихи вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold». В 2013 году награждена Национальной литературной премией им. Шекспира за мастерство переводов. В США с конца 1970-х., живет в Филадельфии.

КЕДРИН Александр (1940, Ташкент) Родился в семье художника В. Н. Кедрина. Образование: Республиканское художественное училище, Ташкентский художественный институт, отделение керамики. Член Союза художников СССР, а так же член Союза архитекторов СССР. В 1983 присвоено звание заслуженного деятеля искусств. С 1995 года живет и работает в Нью-Йорке. Работы находятся во многих музеях мира.

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. Окончил Николаевский кораблестроительный институт. С 1989 года живет в США. В 1989–1991 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на радио «Свобода». Был гл. редактором ж. «Метро», гл. редактором и ведущим авторской телепрограммы на русско-американском телевидении RTN/WMNB (2000–2003). С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com. Автор книг «Игры мимики и жеста», «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом», «Три ‘Ц’ и Верлибрарий» и др.

КУКИНА Ксения (Катав-Ивановск, Башкирия). Окончила Санкт-Петербургский Европейский университет. Рецензия на роман А. Иделевич – авторский дебют.

ЛЕОНИДОВ Виктор Владимирович (1959, Москва). Литературный критик, исследователь истории Русского Зарубежья. Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель нескольких книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей по проблемам наследия русской эмиграции. С 1989 г. по приглашению академика Д. С. Лихачева работал в Фонде Культуры; один из организаторов Архива-библиотеки Российского ФК. Автор известных песен, посвященных русской эмиграции.

ЛИТИНСКАЯ. Елена .(Москва), выпускница филологического факультета

МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. Автор пяти книг стихов и прозы. Публикации в журналах: «Новый мир», «Новый Журнал», «Слово/Word», «День и ночь», «Зарубежные записки», «Дети Ра», и др., а также в сборниках и альманахах. Президент Бруклинского клуба русской поэзии, заместитель главного редактора журнала «Гостиная». Живет в Нью-Йорке.

МАЛИШЕВСКАЯ Елена (Киев). Окончила киноведческий факультет КГИТИ им. Карпенко-Карого. Писала о кино, работала на телевидении. Автор нескольких сценариев документальных фильмов и телевизионных проектов. Первый поэтический сборник «Хроника среды» вышел в 2014 г. Публикации в журналах «Крещатик», «Радуга», «Палисадник». С 2015 г. ведет свой литературный проект «Вход с веранды» в «Доме Турбиных», музее М. Булгакова в Киеве.

НИКОЛИН Анатолий Игнатьевич (1946, Екатеринбург) – прозаик, поэт. Окончил факультет русской филологии Донецкого государственного университета. Автор восьми книг стихов и прозы. Произведения публиковались в журналах «Брега Тавриды» (Симферополь), «Донбасс», «Москва», «Новый Журнал». Член Союза русских, украинских и белорусских писателей Республики Крым. Лауреат литературной премии им. Марка Алданова. Живет в Мариуполе, Украина.

РУБИНСКАЯ Ирина (1955, г. Кирсанов Тамбовской обл.). Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского университета. Работала в Харькове переводчиком. С 1996 г. в Израиле. Автор четырех книг стихов – «Коммуналка», «Пока»,«Наперечет», «Может, поможет». Работает заместителем редактора издательства «Достояние» (Иерусалим).

САНЧУК Виктор. (1959, Москва). Учился на филологическом и историческом факультетах МГУ. Во времена СССР работал сторожем, столяром, геофизиком. С началом перестройки – журналист изданий «Бюллетень Христианской Общественности», «Экспресс-Хроника». Переводчик немецкой и южно-славянской поэзии. Автор нескольких книг стихов. С 1999 живет в Нью-Йорке.

СЁМИНА Майя (1977, Ленинград). Окончила аспирантуру Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва), кандидат искусствоведения, член SHERA (США) и Ассоциации искусствоведов (Россия). Имеет ряд публикаций по вопросам медиевистики, исследователь художественной культуры Серебряного века, автор монографии о жизни и творчестве Филиппа Малявина. Биограф американской журналистки, поэта и переводчика Мэри Рид.

СИНКЕВИЧ Валентина Алексеевна (Киев). Поэт, литературный критик, эссеист. На Западе с 1942 года. Сб. стихов: «Огни», «Наступление дня», «Цветенье трав», «Здесь я живу», «Избранное», «Триада» (И. Михалевич-Каплан, В. Синкевич, Н. Файнберг), «Поэтессы Русского Зарубежья» (О.Анстей, Л. Алексеева, В. Синкевич), «На этой красивой и страшной земле», «При свете лампы»; сборники эссеистики: «...с благодарностию: были», «Мои встречи: русская литература Америки».

УРАЛЬСКИЙ Марк (1948, Новокузнецк). Окончил МИТХТ. Был близок к литературно-художественному андеграунду, о котором написал книги «Камни из глубины вод», «Немухинские монологи: портрет художника в интерьере андеграунда», «Избранные, но незванные: Историография независимого художественного движения», «Небесный залог: Портрет художника в стиле коллажа». В 1980-х гг. участник литературно-художественной группы «Мансарда», московского Клуба поэтов. Под псевдонимом «Николай Марин» выпустил сборники стихотворений «Янус», «Антология русского верлибра». С 1992 г. живет в Германии. С 1999 г. публикуется в «NOVUM-Verlag» (Австрия), «Крещатик» (Германия) и др.

ШЕСТАКОВ Сергей. (1962, Москва). Автор шести книг стихотворений. Заместитель главного редактора литературно-общественного журнала «Новый берег» (Копенгаген). Стихотворения публиковались в журналах «Звезда», «Знамя», «Нева», «Урал», других периодических изданиях и альманахах, переводились на английский, белорусский, венгерский, французский, украинский языки.

ШЕРОН Жорж (1952, Лос-Анджелес). Доктор филологических наук. Печатался в журналах «Новое литературное обозрение», «Звезда», альманахах «Минувшее», «Диаспора». Автор более сотни публикаций. Первая публикация в «Новом Журнале» появилась в 1988 году.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

General Sponsor of The New Review, Inc.: Zimin Foundation

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Benefactors: The Tcherepnin Society, Mr. P. Tcherepnine; Mr. & Mrs. I. Vechesloff;
Sponsors: Russian Nobility Association in America, Inc.; Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin; Mr. S. Hollerbach;
Fellows: The Orthodox Hospitaller Knights, Countess Tatiana Bobrinskoy; Mr. & Mrs. B. Pushkarev;
Friends: Mr. & Mrs. R. Colacicchi; Mr. & Mrs. V. Galitzine; Ms. Molchadskaya; Mr. A. Moussaian; Mrs. L. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff, Mrs. M. Sechkarev, Mrs. V. Sinkevich.

It requires the support of loyal friends for year 2017:

Patron –	$ 5,000 and up
Benefactor –	$ 2,000 and up
Sponsor –	$ 1,000 and up
Fellow –	$ 500 and up
Friend –	$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined, in a letter on March 9, 1990, that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to The NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Николай Сарафанников – тел.: 7-495-304-4879
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-812-579-7581
Монреаль, Канада: Генрих Иоффе – тел.: 514-279-1045
Париж, Франция: Виталий Амурский – e-mail: vitaly.amoursky@gmal.com
Израиль: Рина Левинзон – тел.: 2-586-2333
Альберт Фейгельсон – e-mail: nikalbert@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Магазин «Фаланстер»: Москва, Малый Гнездниковский пер., д.12/27,
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France
на сайте журнала: **www.newreviewinc.com** (кнопка: Подписка), через **PayPal** Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: **www.newreviewinc.com** (кнопка: Подписка)

Анна Иделевич, родом из Сибири. Она преподает в Гарварде, занимается исследованиями в области нейронауки.
Анна является автором многих научных публикаций.

«**Вспять реки ДНК**» – роман о мужских и женских приоритетах, вечном двигателе жизни. Мужчина видит его в научном поиске кода ДНК, способном обеспечить реальное бессмертие. Женщина – в бессмертной любви, что в ее сознании и есть залог вечной жизни.

Ксения Кукина, литературный критик

«*Чего именно ты боишься? Того, что люди перестанут делать детей?* – спрашивает герой романа, мечтающий осчастливить человечество, найдя код бессмертия. – «*Я боюсь, что люди перестанут друг друга любить*», – отвечает героиня. Это ли не ответ Предвечной Софии?

Павел Прагин, член СПР,
член СП Белоруси – России, Москва

О романе Анны Иделевич «**Вспять реки ДНК**» хочется сказать словами булгаковского героя: «*Мы в восхищении!*». Роман читается на одном дыхании, написан легким слогом и в то же время с глубоким смыслом и высоким чувством, чему научиться невозможно. Это – дар!

Геннадий Соболев-Трубецкой
Член Союза писателей России

312 страниц, $19 пересылка в США бесплатная
Заказы можно делать:
на сайте LibertyPublishingHouse.com
Письмом с предоплатой –
Liberty, POB 1058, New York, NY 10025
Visa/MasterCard – по телефону 212-213-2126